МАКСИМИЛИАН
ВОЛОШИН



МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

В ДВУХ ТОМАХ

Общая редакция Б А Филиппова, Г П Струве и Н А Струве

YMCA-PRESS

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Вступительные статьи Б Филиппова
и Э Райса

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève - 75005 PARIS
1982

Обложка работы С. Голлербаха

ISBN 2 - 85065 - 009 - 9



ПОЭТ КОНТРАСТОВ И МЯТЕЖЕЙ

Жизнь – бесконечное познанье.
Возьми свой посох и иди!
И я иду – и впереди
Пустыня, ночь и звезд мерцанье...

Он пришел в поэзию как живописец. Плотный, коренастый, весь обросший золотисто-рыжими волосами, с круглой бородой, тяжеловесный, но, "несмотря на свою толщину ("триста фунтов мужской красоты" – говорил он про себя)... был необыкновенно легким и подвижным человеком".[1] "Кстати, особенность его толщины, вошедшей в поговорку, – рассказывала о нем хорошо и многолетне дружившая с ним Марина Цветаева. – Никогда не ощущала ее избытком жира, всегда – избытком жизни, как оно и было..."[2] Всю жизнь – странник, даже когда он осел в своем любимом Коктебеле, и тогда неутомимый ходок по горам и побережьям Крыма, неугомонный чудак-искатель – не только причудливых, окаменелых в воде обломков дерева – габриаков; не только красивых камешков приморья, но и людей и истин, впечатлений и созвучий, звездных путей и преданий, космических и исторических предзнаменований. А в живопись он пришел как поэт. Акварелист и рисовальщик, в последние годы жизни зарабатывавший

Автор статьи убежден, что о литературе, тем более поэзии, нельзя рассказывать: ее можно лишь показывать. Поэтому пусть читатель не сетует на автора за обилие и величину цитат: думается, помянуть поэта лучше всего именно так.

свой скудный и тяжкий хлеб акварелями уроднившегося ему навеки Коктебеля (ведь как поэта его давно не печатали!), он и в пейзажах своих был поэтом, а часто и подписывал их однострокими или двустроками, дополнявшими красочное вѝдение живописца пейзажным словотворчеством певца Киммерии:

Луна восходит в тишине
Благоухающей полынью...

Пленительно-певучи и ритмически подобны походке пешехода по горным узким тропинкам пустынных всхолмлений и гор его киммерийские стихи, одообразные и написанные уверенной рукою живописца. Эти одические или элегические зарисовки сухой и кремнистой, насквозь прожженной солнцем древней земли Тавриды – хранительницы бесчисленных культур – скифов и эллинов, гипербореев и готов, генуэзцев и татар, византийцев и русичей...

Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...
По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре.
По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль
И лежит земля страстнàя в черных ризах и орарях.

Вечные блуждания, странствия – звездные и поддонные, по земным путям и перепутьям – и по эонам мировой и космической истории: "Блуждая в юности извилистой дорогой"; "Как некий юноша, в скитаньях без возврата"; "Снова дорога"; "Мы пятый день плывем"; "Опять бреду я, босоногий"; "На дно миров пловцом спустился я"... – Да разве все перечислишь!

Максимилиан Волошин – литературное имя, Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин родился 16 (28) мая 1877 года. По отцовской линии он принадлежал к старинному дворянскому казачьему роду, один из предков поэта, бандурист-певец, слагатель украинских дум, был мучительно истерзан взявшими его в плен поляками – с него живого содрали

кожу. Мать поэта, Елена Оттобальдовна, русская немка, фигура оригинальнейшая и внешне, и внутренне. Всю жизнь сына не покидавшая, прожившая с ним и в России, и в эмиграции, она сыграла в его жизни большую роль. "Седые, отброшенные назад волосы, орлиный профиль с голубым глазом, белый, серебром шитый длинный кафтан, синие, по щиколотку, шаровары, казанские сапоги. Переложив из правой в левую дымящуюся папиросу: Здравствуйте!"[3] – приветствовала она гостей сына.

Когда, после участия сына в студенческом революционном движении и ссылки его в Туркестан ("И я был сослан в глубь степей" – вспомнит в стихотворении "Пустыня" поэт), а затем – в эмиграции, Елена Оттобальдовна появится в своем чудовищном для тех времен костюме в Париже, впечатление это произведет ошеломляющее. Хорошо знавшая Волошина сестра жены Брюсова, Б. Погорелова, рассказывает не лишенную юмора сценку: "По словам парижан из мира художников и писателей, с которыми Волошин вел знакомство, он производил там большое впечатление: "Настоящий сын степей!" ... Они не могли постичь ни его сущности, ни даже его французского языка. Одна дама из этого круга, жена поэта Рене Гиля, рассказывала моей сестре: Этот Макс прямо удивителен! Тут у нас произошла история... Мы так хохотали... Приходит однажды Макс и приглашает нас к определенному часу в ресторанчик, по случаю приезда... de mon mère... Приглашение мы приняли, но были в большом недоумении: кого же мы увидим? Что подразумевал Макс: ma mère или mon père? Рене заявил, что вечером в ресторане выяснится. Друзья собрались в указанном месте. Появляется наконец и Макс в сопровождении... женщины, но волосы стриженые и... в брюках! Оказалось, что и матушка у Макса – довольно оригинальная дама. Она ходила стриженая и в брюках!.. Рассказывали в Париже и о том, как однажды на собрании художников-импрессионистов (а Волошин принадлежал к их числу) он выступил с речью. Говорил о древнем Востоке, который и по сей день вдохновляет художников, ищущих подлинной красоты. Волошин, конечно, говорил по-французски. Но язык

этот был настолько экзотичен, что председатель собрания, благодаря оратора, отметил, с чисто французской вежливостью, что слушатели поняли почти полностью речь, произнесенную на языке загадочного, отдаленного Востока".[4]

Ариадна Владимировна Тыркова рассказывала автору этих строк, что такую путаницу в артикле французы объясняли костюмом матери Волошина. Мать Волошина все, иногда даже в глаза, звали "Пра" – "Праматерь", она была матриархом Коктебеля, единственным человеком, как-то, хотя бы немного упорядочивающим весьма неорганизованную жизнь сына. Не очень продолжительный и очень неудачный брак Волошина с видной антропософкой Маргаритой Сабашниковой сыграл в жизни поэта, может статься, лишь ту роль, что значительно укрепил связи его с антропософским движением: в эмиграции поэт участвовал, как и Андрей Белый, в строительстве Гетеанума, был заядлым пацифистом во время войны 1914 года, так что многие даже почитали его в то время германофилом... Но ни Маргарита Сабашникова, ни другие женщины – хотя поэт и часто влюблялся – не играли в его жизни значительной роли. Может статься, он в этом отношении был в какой-то мере подобен Гоголю. Во всяком случае, у нас нет причин не доверять свидетельству хорошо знавшего Волошина Сергея Маковского: "Откуда эта неестественная, душевная и физическая, застенчивость Макса, у которого недаром ведь была слава вечного девственника, хоть он и отрицал это? Еще в первой молодости он женился, и тотчас почти – с женой разрыв... Разойдясь с Волошиным, она сохранила с ним товарищескую связь. Злые языки утверждали, что она никогда не была ему женой. Я спросил ее про мужа с полушутливой откровенностью: Скажите, кто он, и почему так странны его дружеские приключения с женщинами?

Подумав, она отвечала с какой-то полуобиженной усмешкой: Макс? Он недовоплощенный"...[5]

Думается, таков же был и брак поэта с Марией Степановной, недавно умершей женой его, которую "в страшный двадцатый год нашел на дороге, близ Коктебеля" поэт: "умирав-

шую" с голоду "сестру милосердия. Привел ее в дом, и она осталась там навсегда, и впоследствии стала его женой".[6]

Марии Степановне мы все должны быть бесконечно благодарны за заботу о преследуемом и бедствующем поэте, за сохранение его поэтического и художественного наследства – в трудных условиях голодных и военных лет...

Гностики говорили: духи пàрные обретают полноту личности лишь воссоединением с другим: женой, мужем. Но есть духи непàрные, навеки обреченные одиночеству. Может статься, и вечное беспокойное странничество Волошина и его отъединенность от всех – при дружестве со многими, его одинокость – в шумной сутолоке всегда толпящихся вокруг него людей – все это объясняется его предопределенной непàрностью, преджизненной обреченностью на одиночество? Антропософ-философ Б. Дикс (Леман), поэт-символист, друживший с Волошиным, писал в статье о нем, еще даже не выпустившем первую книгу своих стихов: "Есть души, обреченные одиночеству. Души, приносящие с собой тайну воспоминаний, тайну далеких грез, иных, полузабытых существований. И, приближаясь к ним, мы смутно сознаем, что они лишь проходят среди нас, молчаливые и удивленные, не сливаясь с нашей жизнью... Одиноко стоит М. Волошин среди наших поэтов..."[7]

Да, я помню мир иной –
Полустертый, непохожий,
В вашем мире я прохожий,
Близкий всем, всему чужой...

Но, конечно, связь Волошина с антропософией не нужно преувеличивать. Превосходно образованный (конечно, не так, как всевед-мудрец Вячеслав Иванов, но во всяком случае несравненно больше, чем другие поэты-символисты), несмотря на свое полугерманское происхождение влюбленный не в нордическую культуру, а в средиземноморскую (практически не слишком хорошее знание, скажем, французского языка, над чем посмеивались его приятели-французы, отнюдь

не мешало ему быть первоклассным переводчиком французских поэтов и прозаиков), Волошин был поклонником Эллады и платоновского учения об идеях. Отсюда и его учение о том, что он – в этом мире лишь прохожий; отсюда и его неоднократно поминаемые в стихах ”пещеры” – те пещеры, из коих мы, по Платону, лишь смутно, как во сне, воспринимаем идеи вещей и явлений: отсюда и предмирное одиночество:

Нам путь закрыт к предутренней Пещере:
Сквозь плоть нет выхода – есть только вход.
А кто-то, за стеной, волнуется и ждет...
        Ему мы открываем двери.
Не мы, а он возжаждал видеть твердь!
И наша страсть – полет его рожденья...
Того, кто в ласках тел не видел утоленья,
        Освобождает только смерть!

С русскими символистами сложились у Волошина отношения сложные: его вскоре невзлюбил деспотически-властный, не терпящий ни малейшего проявления самобытности и своеволия Валерий Брюсов. Поэтому лишь первые пять-семь лет нашего века Волошин – частый гость символистских журналов и альманахов. Затем – он публикует стихи, а еще в большей степени – статьи о французской литературе и живописи, о французской жизни и французском и русском театре, критические очерки и статьи о русской литературе и живописи – в журналах и газетах, альманахах и сборниках ”общей”, так сказать, не специфически-символистской печати. Много сотрудничает в ”Аполлоне”– органе акмеистов. Брюсов и наиболее правоверные символисты рассматривают его как ”изменника” боевому знамени направления. Он – изгой. Он – одиночка.[8]

Поэты-антропософы продолжают считать Волошина до конца его жизни верным антропософом. Так, покойный Д. И. Кленовский, тоже крымчанин, пишет: ”Знаменитая крымская дача поэта М. Волошина в Коктебеле, где перебывали

в качестве радушно принятых гостей почти все лучшие русские поэты того времени, явилась местом их встречи со многими, тоже гостившими там, антропософами (в частности, с руководителями петербургского антропософского общества Б. А. Леманом и Е. И. Васильевой), и общение с ними, а также с хозяином дачи, убежденным антропософом, не могло пройти бесследно... Волошин был знаком с Рудольфом Штейнером и даже жил одно время в мировом центре антропософского движения — Дорнахе (Швейцария), где работал над постройкой так называемого Гетеанума. ...Многие стихи на оккультные темы... являются просто недоступными для читателя, незнакомого с оккультным миропониманием..."[9] Думается, что многое, принимаемое антропософами за штейнерианское в поэзии Волошина, является скорее платоновскими и неоплатоновскими мотивами в его творчестве. И даже такие строчки, как:

России нет, она себя сожгла,
Но Славия воссветится из пепла! —

отнюдь не яляются следствием, как думал Д. И. Кленовский, "утверждения Р. Штейнера, что славянскому народному гению предопределена в будущем ведущая духовно-культурная миссия в истории человечества: на смену нынешнему периоду романо-германской духовной культуры придет (сроки называть еще рано) период культуры славянской..."[10] Учение славянофилов, в частности, теория культурно-исторических типов Данилевского, Гоголь и Достоевский, Тютчев — вот истинные предшественники этой мысли:

Так семя, дабы прорасти,
Должно истлеть...
Истлей, Россия,
И царством духа расцвети!

Ведь этот евангельский образ — негасимая свеча "Бесов" Достоевского!

Нет, скорее и от антропософов Максимилиан Волошин так же отъединился, как и от символистов, как и от социализма, как и от всех окружающих, оставаясь ко всем ним благодушным — и закрытым, всепомогающим — и в толпе людской одиночествующим. Крепко дружившая с ним Марина Цветаева видела в Волошине сочетание двух обликов: "греческого мифа и германской сказки": "Физика Макса была широкими воротами в его сущность, физическая обширность — только введением в обширность духовную, физический жар его толстого тела — только излучением того светового и теплового очага духа, у которого все грелись, от которого все горели; вся физическая сказочность его — только входом и вводом в тот мир, который был им и которым он был. Но этим Макс и сказка не исчерпаны. Это действующее лицо и место действия сказки было еще и сказочник: мифотворец. ... Не сказитель, а слагатель. Отношение его к людям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение ее на свет".[11]

Жизнь как "творимая легенда". И — задолго до Евреинова — "театр для себя" — великий вымысел, привносимый сознательнейшим образом в жизнь. Для душевной помощи страждущим. Так, жила некрасивая, небогатая женщина. Одаренная, неплохо писавшая стихи, тонко понимавшая и чувствовавшая прекрасное и высокое. Звали ее Дмитриева, и она, с ее непривлекательной внешностью, не решалась даже сунуться в какую-либо редакцию. А тут встретился с нею Волошин, пожалел ее, сдружился с нею, и вот в редакцию самого эстетского журнала тех дней стали поступать надушенные какими-то изысканными духами письма от одинокой незнакомки, не желающей показываться кому-либо на глаза, со столь же изысканными, некричащими, чисто женскими стихами. Звалась эта незнакомка-невидимка странно звучащим именем Черубины де Габриак. Русские люди, в частности поэты, любят по-иностранному звучащие слова, часто не зная, что это самые-рассамые русейшие названия: "габриак" — окаменелые от долговременного лежания в воде корни и куски дерева; "иверень — иверни" — осколки, черепки... Вот и попались на Черубину де

Габриак, как на блесну рыба, и Сергей Маковский, и Николай Гумилев, и немало других сотрудников "Аполлона", заочно в нее влюбившихся... А когда обнаружился обман, произошла траги-фарсовая дуэль Волошина с Гумилевым...

Органически сплетая в одну жизненную ткань творимую легенду и реальность, Максимилиан Волошин был другом многих — и особенно многих женщин, — не становясь при этом возлюбленным, а лишь другом. И оставаясь тем же непàрным духом, одиночкой. Вовсе не оригинальничая, он был своеобычным даже в своем костюме. То — в каком-то подобии греческой туники, смахивающей скорее на славянскую запашную рубаху, подпоясанный кушаком, в сандалиях и в веночке из полыни или ромашек на разлохмаченной голове, то в "городском костюме" — парижского не преуспевающего художника... Таким его запомнил Осип Мандельштам во врангелевском Крыму: "... Когда Волошин появлялся на щербатых феодосийских мостовых в городском костюме: шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка — город охватывало как бы античное умиление, и купцы выбегали из лавок".[12] Будучи отзывчивым, доброжелательным, более того, постоянно деятельно помогая людям, он был как бы и не тут, чем-то неприсутствующим рядом с вами, надмирным: "... И ни с кем не говорилось так "по душе". Он был отзывчив на все необычайно и выслушивал собеседника не для того, чтобы спорить, а наоборот — увлекательно развивал высказанную мысль и попутно строил соблазнительные парадоксы, заражая своей кипучей, бесстрашной фантазией. Душа у него была поистине вселенская, причастная всем векам и народам", — пишет о нем хорошо его понимавший С. К. Маковский.[13]

О том же как бы неприсутствии в мире действительности с раздражением рассказывает в своих воспоминаниях, к которым мы еще обратимся, И. А. Бунин.

Вечный странник. Невольный и по врожденной к тому склонности. Степи Туркестана и Дикое Поле Украины — и Греция, Испания и Руан, Дорнах — и Москва, Петербург и Крым. И Париж, Париж, который вместе с Коктебелем, по его словам, был его родиной — родиной духа. Основу духа человеческого

Волошин видел не только в отдельных людях и народах, но и в обликах городов – вернее, в душах городов, в образах искусства, в обликах самой земли. Вот Венеция – "Резные фасады, узорные зданья": "О, пышность паденья, о грусть увяданья! Шелков Веронеза закатная Кана!" Вот афинский Акрополь: "Серый шифер. Белый тополь. Пламенеющий залив. В серебристой мгле олив Усеченный холм – Акрополь".

Как струна, звенит колонна
С ионийским завитком...

А вот излюбленный, навеки пленивший поэта Париж:

Парижа я люблю осенний, строгий плен,
И пятна ржавые сбежавшей позолоты,
И небо серое, и веток переплеты –
Чернильно-синие, как нити темных вен.

Поэт хорошо чувствует не только само искусство, но и ту поддонную бытийность, которая вскрывается художником. Бродя по залам Лувра, он отмечает, что

Есть беспощадность в примитивах.
У них для правды нет границ –
Ряды позорно-некрасивых,
Разоблаченных кистью лиц.
В них дышит жизнью каждый атом...

Волошин все свои стихи любил строить на контрастах. Сосуществование, а то и соединение воедино красоты и безобразия, зверства и святости, мятежа и всеполноты бытия – в основе основ и его мировосприятия, и его творчества. Бунин вспоминает: "... был у него... грех: слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции..."[14] А приятельница Волошина, Евгения Герцык, повествует: "Подмечено, как, рассказывая о своей беседе с Реми де Гурмон, тонким эссеистом и языковедом,

он с особенным вкусом останавливается на обезображенном виде его: лицо изъедено волчанкой, обмотано красной тряпкой, в заношенном халате, среди пыльных ворохов бумаг – таким он увидел изысканного поэта. Парадоксальность в судьбе человека всегда манит его. В судьбе человека – в судьбе народов, потому что Волошин с легкостью переходил и на широкие обобщения. Заговариваем о революции – ведь так недавно еще 5-й год. ...''Революция? Революция – пароксизм чувства справедливости. Революция – дыхание тела народа...''[15]

Позднее, в его историософских размышлениях – поэме ''Путями Каина'', он резко подчеркнет эту трагическую диалектику бытия: сосуществование противоположностей, слиянно-нераздельное единство контрастов – и мятеж, как первооснову не только бытия, но и абсолюта – Бога:

В начале был мятеж.
Мятеж был против Бога
И Бог был мятежом,
И все, что есть, началось чрез мятеж.
Из вихрей и противуборств возник
Мир осязаемых
И стойких равновесий...

Особенно контрастно-четки, до плакатности и постоянного противопоставления мятежа и успокоенной благостыни, дьявольского взвихрения и Божественной тишины – послереволюционные стихи о России и революции. Но стихи о революции и терроре якобинцев, но и ''гностические'' стихи дореволюционного Волошина также строятся на резчайших контрастных сопоставлениях. ''Он антропософ, – вспоминает Бунин, – уверяет, будто ''люди суть ангелы десятого круга'', которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел...''[16] Полагаю, что здесь отнюдь не антропософия, а Достоевский с его утверждением – устами Митеньки Карамазова, – что в каждом человеке дьявол с Богом борется, а поле битвы их – сердца человеческие...

А как перекликается евангельское ''не мир принес я в мир, но меч'' с размышлениями Волошина в статье его ''Демоны разрушения и закона'': ''Меч воспринимал таинство Св. Крещения и нарекался христианским именем''. И в той же поэме ''Путями Каина'' – о мече:

Он вместе с кровью напитался духом
Святых и праведников,
Им усекновенных...
... И в этом меч сподобился кресту –
Позорному столбу, что обратился
В священнейший из символов любви.

Чрезвычайно характерны и для понимания контрастности, как основной характеристики бытия, и для понимания колористического вӣдения Волошина в его стихах (и акварелях также) приводимые ниже выдержки из его статьи ''Чему учат нас иконы?''

''Смерть охраняет. Жизнь разрушает. ...Варварство русских людей сохранило для нас дивное откровение русского национального искусства. Благочестивые варвары, ничего не понимавшие в красоте тона и колорита, каждый год промазывали иконы слоем олифы. Олифа, затвердевая, образовывала толстую стекловидную поверхность, из-под которой еле сквозили очертания ликов. Но под этим слоем сохранились нетронутыми первоначальные яичные краски, которые теперь возникают перед нами во всем своем горении. Олифа была той могилой, которая сохранила и донесла нетронутым старое искусство до наших дней. ... Никогда нельзя было предположить, что в коричневой могиле олифы скрыты эти сияющие, светлые, *земные* тона. Господствующими тонами иконной живописи являются красный и зеленый: все построено на их *противоположениях*, на гармонии алой киновари с зеленоватыми и бледно-оливковыми, при полном отсутствии синих и темно-лиловых. О чем это говорит? У красок есть свой определенный символизм, покоящийся на вполне реальных основах. Возьмем три основных тона: желтый, красный и синий.

Из них образуется для нас все видимое: красный соответствует тону земли, синий – воздуха, желтый – солнечному свету. Переведем это в символы. Красный будет означать глину, из которой создано тело человека, – плоть, кровь, страсть. Синий – воздух и дух, мысль, бесконечность, неведомое. Желтый – солнце, свет, волю, самосознание, царственность... Дополнительный к красному – это смешение желтого с синим, света с воздухом – зеленый цвет, цвет растительного царства, противопоставляемого животному, цвет успокоения, равновесия, физической радости, цвет надежды... Лиловый (мистика) и желтый характерны для европейского Средневековья: цветные стекла готических соборов строятся на этих тонах. ... Лиловый и синий появляются всюду в те эпохи, когда преобладает религиозное и мистическое чувство. Почти полное отсутствие этих двух красок в русской иконописи – знаменательно! Оно говорит о том, что мы имеем дело с очень простым, земным, радостным искусством, чуждым мистики и аскетизма".

Вот отсюда даже в пейзажной – дневной – лирике Волошина преобладание гаммы красных, охряных и зелено-оливковых тонов. А вот из его цикла "Руанский собор":

Гаснет день. В соборе все поблекло.
Дымный камень лиловат и сер.
И цветами отцветают стекла
В глубине готических пещер...

... И храма древние колонны
Горят фиалковым огнем...
Как аметист, глаза бессонны
И сожжены лиловым сном.

А православие Волошина, как и древняя русская икона (в его представлении) – "земное, радостное, чуждое мистики и аскетизма" мироприятие. Я назвал бы его не антропософским мировосприятием, а, скорее, религиозным материализмом, сродни – не по телеологии, а по настроению и вещности – Н. Ф. Федорову.

”Творчество Волошина — плотное, весомое, почти творчество самой материи, с силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той — мало насквозь прогретой, — сожженной, сухой, как кремень, землей, по которой он так много ходил и под которой ныне лежит”, — сказала в ”Живом о живом” Цветаева.[17]

Мне кажется, что все без исключения говорят, что Волошин до стихов о России и Октябрьской революции и Волошин послеоктябрьской эпохи — это небо и земля. Мне кажется, это вытекает из недооценки природы творчества Волошина. Да, видят в нем контрасты; видят в нем и певца мятежа, но как-то не до конца осознают эту психологическую и эстетическую природу поэта. Ведь Волошин, как вспоминает о нем Цветаева, ”в другой свой дом, Россию.., явно вернулся. Этот французский, нерусский поэт начала — стал и остался русским поэтом. Этим он обязан революции”.[18] Да разве был он ”французским, нерусским” поэтом? Разве Гоголь написал в Риме только свой чудесный ”Рим”, а не многие еще лучшие страницы своих русских повестей? В воспоминаниях Евгении Герцык приведен примечательный разговор с поэтом: ”... Когда Волошин слышал... разговоры ”о православии, о России”, у него делалось каменно-безучастное лицо. А меня раздражали его все те же пестро-литературные темы.

— А Россия, Максимилиан Александрович, почему вы никогда не задумываетесь над ее судьбой?

Он поднимает брови, круглит глаза:

— Как? Но я же для того и жил в Париже, а теперь, чтобы понять Россию, мне нужно поехать на крайний восток, в Монголию.

Он в то время носился с этим планом...

Но так ли это нелепо? Ведь в последние годы жизни он и вправду нашел, выносил, дал *свое* понимание России, ухватил срединную точку равновесия в гигантских весах Востока и Запада”.[19]

Уже в военные годы, живя в Париже, Дорнахе, Биаррице, Волошин не захлебывается патриотическими восторгами тех дней, напоенных ”враждующих скорбным гением”. Он пред-

видит не победные стяги конца войны, а бездны смерти, поражений, великого национального пленения и падения. А уже в России, особенно когда Октябрь сбросил прямо на заплеванную подсолнухами, грязнейшую мостовую прекраснодушные лозунги и восторженные надежды Февральской революции, поэт, уже 23 ноября 1917 года, приветствовал Октябрь весьма выразительно:

С Россией кончено. На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях.
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноища, как падаль.

И поэт, еще лет десять тому назад смотревший на революцию как на "пароксизм чувства справедливости", сейчас, как бы ясно предвидя грядущие испытания, посылаемые России за первородный грех, – и грехи смертные ее, – призывает очистительную кару Божию на головы родины и свою:

О Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи,
Германцев с Запада, Монгол с Востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!

Ибо это будет не *последняя,* не преоборимая духом, смерть России, а лишь искупление грехов ее. Ибо это будет новое рождение самой плоти – не только духа – России, преображение ее, воскресение в духе и плоти:

Так семя, дабы прорасти,
Должно истлеть...

Истлей, Россия,
И царством духа расцвети!

"Для многих людей отношение их к земле — мера их патетической силы, мера того, что они вообще могут понять, — пишет Евгения Герцык... — Карамазовы исступленно целуют землю... По-другому, и к другой земле склоняется Волошин — к земле в ее планетарном аспекте, к оторванной от своего огненного центра, одинокой. ...Перелистав книгу стихов Волошина, нельзя не заметить сразу, что самые лирические ноты вырывает у него видение земли. ...В нем будят жалость "и терпкий дух земли горячей", и "горное величие весенней вспаханной земли". ...В своем физическом обличье сам он такой материковый, глыбный, с минералом иззелена-холодных глаз, Макс Волошин как будто и вправду только что возник из земли, огляделся, раскрыл рот — говорит... История человека начинается для него не во вчерашнем каменном веке, а за миллионы миллионов лет, там, где земля оторвалась от солнца, осиротела. Холод и сиротство в истоке. Но не это одно. Каждой частицей своего телесного состава он словно помнит великие межзвездные дороги. Человек — "путник во вселенной":

... солнце и созвездья возникали
и гибли внутри тебя".[20]

Таково мироприятие Волошина. Человечество — и земля в хороводе хладных или огненных, но не греющих светил. Дух — и материя. И никакой — или очень мало — душевности. Обратили ли вы внимание на то, что в стихах и статьях Волошина — люди и земля с ее з е л е н ы м растительным миром: зверей, вообще животного мира, — нет. Иной раз еще птицы, и то — как вестники чего-то. Ну, как в его анализе цветовой гаммы русской иконы: красное — человек; зеленое и зеленоватое — растительный мир; еще — желто-охряное — солнечный свет. Или — или — символы-идеи бытийности: солнце, свет, воля, самосознание, царственность — желтое; успокоенность,

равновесие, надежда — зеленое; плоть, кровь, страсть — красное. И, статься может, Запад и влек его потому, что так недоставало ему лилового и синего — воздуха, бесконечности, неведомого, мистического переживания. Он и влекся, больше умом, а не полнотой души, к уветливости и мистике средневекового города, к относительно гармоническому строю цехового патриархального быта и хозяйствования, и говорил Бунину: "Надо возвратиться к средневековым цехам!"[21] (Почему — Бунин никак не уразумел). Но уют (больше того, "гемютлих") средневекового цехового города, но мистика средневекового католицизма пленяли Волошина лишь эстетически, а душой, всецело, он принять это не мог. Он нацело был лишен и чувства с ы н о в н о с т и, и переживания о т ц о в с т в а. Скорее — и в религии — оставленность. И он влекся к картинам террора 1793 года, террора 1918 — 1919 гг. всем к р а с н ы м в его сознании: не революционным красным, а иконно-духовным и плотяно-страстным:

... Вечером, при свече
Вызывали по спискам мужчин, женщин,
Сгоняли на темный двор,
Снимали с них обувь, белье, платье,
Связывали в тюки. ...
... Делили кольца, часы.
Ночью гнали разутых, голодных,
По оледенелой земле,
Под северовосточным ветром
За город, в пустыри,
Загоняли прикладами на край обрыва,
Освещали ручным фонарем.
Полминуты работали пулеметы.
Приканчивали штыком.
Еще не добитых валили в яму.
Торопливо засыпали землей.
А потом с широкою русскою песней
Возвращались в город, домой.

А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы.
Разрывали землю, грызлись за кости,
Целовали милую плоть.

(Не ловите меня на слове: соприкосновения с "животным миром" здесь н е т: псы здесь – не Божье творение, не друзья человека, даже – не насельники лесов или полей: они здесь – пособники палачей...)

Из классических четырех стихий – земля, огонь, воздух, вода – уроднены Волошиным лишь земля и огонь. Но и огонь Волошина светит, да не греет. Этот его пламень, костер (часто "догорающий на берегу п у с т ы н и") – не средоточие семьи, дружества, земной любви, а стихия мятежа, разрушения, смерти. И такова его и с к о н и красная Русь:

Вся Русь костер. Неугасимый пламень
Из края в край, из века в век
Гудит, ревет... и трескается камень,
И каждый факел – человек.
Не сами ль мы, подобно нашим предкам,
Пустили пал? А ураган
Раздул его, и тонут в дыме едком
Леса и села огнищан.

Но можно ли с у д и т ь и о с у д и т ь других, когда все и каждый виноваты в этом русском (а ныне уже не только русском, а мировом) пожаре?

Я сам огонь. Мятеж в моей природе.
Но цель и грань нужны ему.
Не в первый раз, мечтая о свободе,
Мы строим новую тюрьму.

Ибо мятеж, ибо стремление к абсолютной свободе – с логической неизбежностью приводит к абсолютному рабству. Таков исторический детерминизм огня-мятежа-социализма

(вспомните шигалевское: "выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого"). И хотя историю Руси–Московии–России Максимилиан Волошин и мыслит как сосуществование контрастных начал – палаческой имперскости и мятежной, анархической вольницы – Гришек Отрепьевых, Разиных, Пугачевых, в Октябре "повоскресавших из гробов", – хотя Россию кромсали ножами усобицы, татарва, разрывали напополам Никоны да Петры, но мировой фатум едва ли приведет ее к заветной мечте, невидимому Граду Китежу, ибо "вся Русь костер", огонь в ее природе: уже и сами цари и императоры были по душе большевиками (в империи "быль царей и явь большевиков"), революционным, насильственным путем на свой лад обра̀зившими страну и народ:

Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить
Склонениям и нравам вопреки
За сотни лет к ее грядущим далям.
Не то мясник, а может быть, ваятель,
Не в мраморе, а в мясе высекая,
Он топором живую Галатею
Кромсал ножом и шваркал лоскуты...

И революция пришла – званая и неожиданная, кровавая и беспощадная: "Расплясались, разгулялись бесы по России вдоль и поперек", и все пошло задарма и прахом:

Быть царевой ты не захотела –
Уж такое подвернулось дело:
Враг шептал: развей и расточи.
Ты отдай свою казну богатым,
Власть холопам, силу супостатам,
Смердам честь, изменникам ключи.
Поддалась лихому наговору,
Отдалась разбойнику и вору,

Подожгла посады и хлеба,
Разорила древнее жилище
И пошла поруганной и нищей
И рабой последнего раба...

И если европейская, светлая (в представлении поэта) "святая Киевская Русь" сменилась татарщиной и тяготой, кровью, потом и мукой Московии, где "от кремлевских тугих благолепий стало трудно в Москве дышать"; затем "тяжкой коронованною плотью" петербургской имперскости – и ушла в глубину озер, укрывшись там вымечтанным всею мукою и всею верою народною Невидимым Китежем – идеей подлинной Святой Руси (святая мечта староверья – и славянофилов, Достоевского и Римского-Корсакова...) – то ныне остается лишь одно:

Молитесь же! Терпите же! Примите ж
На плечи – крест, на выю – трон!
На дне души гудит подводный Китеж –
Наш неосуществленный сон!

История – не творение людских воль, даже не Божий Промысел: она – фатум – предопределение со времен чуть ли не образования космических солнечно-звездных систем. Но и сам Бог у Волошина – не Отец, не Милостный Промыслитель: он ближе к Богу библейскому: "Бог наш – есть огнь поедающий", пишет Волошин. Бог – скорее грозный Бог Книг Бытия, а не христианский Отец Небесный. Христианин ли Волошин? Ведь он и о христианстве, конечно, порушившем пластическую гармонию эллинского мира, свидетельствовал, что "горючим ядом было христианство". Конечно, христианство Волошина не было горячим христианством от полноты души, от полноты сердца. Оно – интеллектуально, как и все его творчество. Но оно напоено страстью, страстью интеллектуальной. Его Бог – Бог мятежа и трагической диалектики мира. И он саму субстанцию мятежа, как мы видели, рассматривает как одну из сущностей Бога. Бог

Волошина – Грозный Судия, он сродни Богу Константина Леонтьева. Но Леонтьев был порывистым, в самой своей противоречивости цельным и горяче-страстным. Не то Волошин. "Он всегда казался пришедшим очень издалека – так издалека, что суждения его звучали непривычно... Те, кто знали его в эпоху гражданской войны, смены правительств, длившейся в Крыму три с лишком года, верно запомнили, как чужд он был метанья, перепуга, кратковременных политических восторгов. На свой лад, но так же упрямо, как Лев Толстой, противостоял он вихрям истории, бившим о порог его дома. Изгоем оставался он при всякой власти... И когда он попеременно укрывал у себя то красного, то белого, и вправду не одного уберег, – им руководил не оппортунизм, не дряблая жалостливость, а твердый внутренний закон".[22]

Его дом в Коктебеле – "Дом Поэта" – и сделался для многих местом спасения, иной раз удававшегося, да и вообще он многих старался спасти (многих и спас):

Усобица, и голод, и война,
Крестя мечом и пламенем народы,
Весь Древний Ужас подняли со дна.
В те дни мой Дом, слепой и запустелый,
Хранил права убежища, как храм,
И растворялся только беглецам,
Спасавшимся от петли и расстрела.
И красный вождь, и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер,
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища, защиты и совета.
Я делал все, чтоб братьям помешать
Себя губить, друг друга истреблять.
И сам читал в одном столбце с другими
В кровавых списках собственное имя.

"К весне (1918 года, Б.Ф.), – рассказывает Н. А. Тэффи, – появился в городе (Одессе, Б.Ф.) поэт Макс Волошин. Он был в то время одержим стихонеистовством. Всюду можно было

видеть его живописную фигуру: густая квадратная борода, крутые кудри, на них круглый берет, плащ-разлетайка, короткие штаны и гетры. Он ходил по разным правительственным учреждениям к нужным людям и читал стихи. Читал он их не без толку. Стихами своими он, как ключом, отворял нужные ему ходы и хлопотал в помощь ближнему. ...И везде он гудел во спасение кого-нибудь".[23]

Проклинать м я т е ж, буйство стихий, к р а с н у ю субстанцию мироздания – кровь, человека, страсть, землю, плоть – Волошин не мог, как не мог проклинать и разбосячившуюся Русь не только русских, но и белакунов, дзержинских и радеков, интернализировавшуюся общностью преступлений – и борьбы, мук и разгула, мучителей и мучеников: обовшивевшая, в проплеванных и задымленных махрой и матом вокзалах; в разболтанных вагонах, мчащих обезумевших от голодухи и террора матерей и спекулянтов, бандитов и беспризорников; в умирающих городах и выжигаемых продотрядами селах, Русь все же оставалась Русью:

Я ль в тебя посмею бросить камень,
Осужу ль страстной и буйный пламень,
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя...

И, как уже неоднократно подчеркивалось, та же пристрастность к контрастам, та же глубинная трагическая диалектика неслиянно-нераздельных противоположностей, так оскорбившая прямолинейного Бунина, показавшаяся ему *только* (хотя в бунинском восприятии была и правда, но только очень отчасти правда) эстетизированьем над кровавой бойней и застенком:

Люблю тебя побежденной,
Поруганной и в пыли...
Люблю тебя в лике рабьем,
Когда в тишине полей
Причитаешь ты голосом бабьим
Над трупами сыновей...

К р а с н о е — глина, земля, созданный из глины человек — плоть его. Но она, как и огонь, — не горяча, не божественна, как у Достоевского ("Так, Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость"); как у В. И. Бельского — Н. А. Римского-Корсакова (у которого, в "Китеже", осажденный град молится Земле-Богородице); как у Клюева ("Богородица наша землица"). Земля Волошина — не душевна. Он и хотел бы, но даже животный мир для него на земле несущественен. Он почти совсем его не обнаруживает, во всяком случае, не замечает. Холодное астральное тело. В сонме планет и бесчисленных миров — одиночествующее. И человек на ней — бесконечен лишь в перерождениях своих, заключен в темницу времени. И это трагедия: "Быть заключенным в темницу мгновенья". Да, хочется верить, что есть личное бессмертие...

Русская ли вера Волошина? Да, и в России была и есть такая вера. Не всем дана вера всецелая. А вот в древнем Господине Великом Новгороде вера была подстать городу буйной вольницы и буйного вечевого народоправства: вера, может статься, и крепкая, но требующая укрепления в ней; вера, требующая уверения, чтобы быть вполне уверенным: требующая, так сказать, материальной проверки и заверки веры: вера Фомы Неверного: вложу руку свою в язвы гвоздные Твои — тогда поверю. Ибо вера скептика и реалиста по природе своей — вера крепкая, но желающая осязаемой помощи свыше: "верю, Господи, помоги неверию моему!" Вот, может быть, только в Новгороде — изо всей Руси — и построена (еще в 1195-1196 гг.) церковь во имя Уверения Неверного Апостола Фомы... Думаю, что вера (и творчество) Волошина были не отвлеченными, а хотя и интеллектуальными, но одержимыми интеллектуальной страстью поисков, верою вечного странника, верою Фомы: верю, но требую материального уверения.

Вот искал он и горячей веры. Задумал новую книгу "Племена". Задумал и осуществил триптих, посвященный трем праведникам Земли Русской. А известно, что на семи праведниках и вся земля держится. "Протопоп Аввакум", "Сказание об иноке Епифании" и "Святой Серафим Саровский". Первые

две поэмы, по сути дела, – переложение в свободные стихи, близкие к ритмической прозе, житий, ими самими написанных, Аввакума и Епифания: да ведь и были они, огнепальный протопоп и более смиренный, но столь же твердый в вере Епифаний – сотоварищами по духовной битве с никонианством:

И слышал я:
Отец рече Сынови:
– Сотворим человека
По образу и по подобию огня небесного...
И голос был ко мне:
"Ти подобает облачиться в человека
Тлимого,
Плоть восприять и по земле ходить.
Поди: вочеловечься
И опаляй огнем!"

... Опять мятеж, пусть и духовный, но опять огонь. И огнь опаляющий...

И только святой Серафим – серафичен. Но та теплота, какая озаряла и проницала, и все вокруг освещала и насыщала благодатью – не передана Волошиным. Это слишком не в его натуре. Серафичность Серафима – не алокрыла и не сияет небесной лазурью, а среброкрыла – и от нее несколько холодит, как от кристаллически чистого родника. И лишь мольба Волошина слышится к Богоматери, мольба и о вере, и о спасении: "Господи, Пресвятая Троица, Богородицею помилуй нас!"

Ты – Покров природы тварной,
Свет во мраке,
Пламень зарный
Путеводного столба.
В грозный час, когда над нами –
Над забытыми гробами
Протрубит труба,
В час великий, в час возмездья,

В горький час, когда созвездья
С неба упадут...

В час Последнего Страшного Суда отмолят поэта и Русь молитвенники и заступники за грешную, но страдающую люто землю и людей ее.

"Весной 1920 года, – рассказывает Юрий Терапиано, – в феодосийском литературном кружке Флак я познакомился с Максимилианом Волошиным. Он говорил о своей новой поэме святой Серафим Саровский: "Все уже готово, остается только отчеканить стихи", – запомнилась мне его фраза. ... Рукопись (поэмы) ... вполне законченную, позднее привез в Константинополь феодосийский поэт Петр Лампси. ... Волошин, как передавал Лампси, вручил ему свою рукопись в момент эвакуации Феодосии Добровольческой Армией. Сам он решил остаться в России, но просил, если представится случай, опубликовать эту рукопись заграницей".[24]

Но уже в двадцатом году у Волошина появилась мысль: не эмигрировать ли: жить стало нечем – и просто чрезвычайно опасно. Пересылая 5 апреля 1920 года рукопись своей книги "Племена" (в том составе и том виде, в каком она была задумана автором, она никогда не увидела света) кн. А. К. Шервашидзе и его жене, Н. И. Бутковской, поэт писал: "Дорогой Александр Константинович! Посылаю тебе текст моей книги "Племена", которую ты согласился попытаться устроить в Лондоне у Сытина. Очень и очень прошу о том же Наталью Ильинишну. Мне очень важно издать ее заграницей по двум причинам. Во-первых, невозможность издать ее полностью в России в ближайшие годы и желание ее закрепить немедленно. Во-вторых, необходимость заработка, хотя бы та сумма, которую я могу за нее получить, и осталась, за невозможностью переправить деньги в Россию, заграницей (*кто знает, не придется ли и мне через некоторое время очутиться там самому*). ..."[25]

Поэта не печатали почти. Но когда, хотя бы и чрезвычайно редко, появлялись в печати его вещи – начиналась подлинная травля Волошина. Так, когда в берлинском литературно-

критическом и библиографическом журнале "Новая Русская Книга" появились в начале 1923 года "Стихи о терроре", вышедшие затем в Берлине же отдельной книжкой, его буквально доносительной статьей в пресловутом журнале "На Посту" разнес некий Б. Таль (сам-то журнал был чуть ли не литературным органом ГПУ...): "Поэтическая контрреволюция в стихах М. Волошина".[26] Поэт должен был отчаянно защищаться, ведь статья в таком органе – это первый шаг, чтобы попасть в "органы", как называли и до сих пор называют ГПУ–НКВД–КГБ... В своем "Письме в редакцию" Волошин пишет: "... Стихи мои достаточно хорошо заряжены и далеки от современных политических и партийных идеологий: они сами сумеют себя отстоять и очиститься от нарастающих на них шлаков лже-понимания".[27] Но преследования не прекращались. Даже когда Волошина обвиняли не в прямой контрреволюции, а в социально-политическом безразличии, это было опасно: ведь уже тогда начали всячески подчеркивать, что "кто не с нами – тот против нас". И когда вышла, скажем, в сборнике "Недра", в Москве, в 1925 году, поэма "Россия", ее разругал некий Кротков.[28] А муж Лидии Сейфуллиной, Валериан Правдухин, даже похвалил ее за мастерство, но... "Поэма М. Волошина, – писал он, – представляет собой историко-философский трактат, написанный густыми и тяжеловатыми крепкими словами. Волошин субъективен: его космический национализм с безликим и глухим духом истории объективно далеко не обязателен. Он – лишь свидетельство об яркой поэтической разновидности человеческой особи, социально довольно безразличной".[29] Констатация исторического "субъективизма" (следовательно, – немарксизма) и социально-политического безразличия привели к тому, что Волошин был совсем вытеснен из литературы, и лишь участвовал в нескольких выставках художников: стал зарабатывать свой тощий хлеб продажей акварелей... Своим гостям – а Дом Поэта был открыт всем, не только литераторам, – он продолжал охотно читать свои стихи, но уже избегал читать некоторые особенно запретные в те времена. "Читал Макс охотно и много. Часто читал свою лирику, последние вещи: "Путями Каина" и всегда "Дом

Поэта", – сообщает Л. Дадина. – Стихов о революции я почти не слышала. Но много говорил о страдании, которое выпало на долю русского народа, и об очищении страданием не только каждого человека в отдельности, а и всего русского народа в целом. Вспоминал страшную историю России. Читал свое большое стихотворение "Россия".[30] Как читал Волошин свои стихи? Об этом, о временах несколько более ранних, имеется свидетельство Андрея Седых.

"Сорок лет прошло с того времени, как Волошин впервые читал в небольшом кругу свое стихотворение "Святая Русь", а я и сейчас вижу его как живого: крепкого, коренастого, прочно стоящего на земле, слышу все модуляции его горячего голоса. Читал он это стихотворение немного по старинке, по-актерски, – был в нем и "соловьиный посвист", и горечь "последнего раба", и подлинный облик взвихренной Руси, "бездомной, гулящей, хмельной..."[31] А в последние годы жизни поэта в его доме, проходном дворе и бесплатной гостинице для поэтов и прозаиков, прочего люда, нуждающегося в отдыхе, перебывали и самые неожиданные постояльцы и случайные посетители. "Помню, – рассказывает Л. Дадина, – как однажды в мастерскую к нему ввалилась компания комсомольцев, человек двадцать. Веселая, здоровая молодежь. ... Просили Макса что-нибудь прочитать. Он прочитал совершенно неподходящее для такой аудитории... легкое, прелестное стихотворение о Коктебеле. Воцарилось неловкое молчание. Наконец, один из комсомольцев небрежно сказал: "Довольно художественно".[32]

Да, времена изменились. И если прежние посетители Дома Поэта или просто встречные на дороге называли Макса Волошина Зевсом, то теперь, как вспоминает бывавший в Коктебеле Родион Березов, встречавшие Волошина на тропинках Коктебеля комсомольцы раскрывали от изумления рот – и спрашивали: "Как поживаете, товарищ Карл Маркс?"

Было в Доме Поэта и голодно, во всяком случае, его хозяевам, зимою и холодно, но местные власти, невзирая даже на некоторые защитительные грамоты и мандаты, данные Волошину знавшими его издавна Луначарским и Каменевым,

хотели поэта крепко прижать — им была не по душе та колония литераторов и художников, которая образовалась в его доме. В 1924 году поэт должен был обратиться за защитой к Л. Б. Каменеву: "... В Коктебеле я живу уже тридцать лет, имея здесь клочок земли, дом, мастерскую, большую французскую библиотеку и литературный архив, что представляет большую личную и культурную ценность, но весьма малую рыночную. О скромности обстановки моего жилища может свидетельствовать то, что во время всеобщего грабежа, сопровождавшего смены Крымских правительств, во всем поселении оно единственное не было ни разу ограблено. Сюда из года в год шла ко мне тяга писателей и художников с севера и создала из Коктебеля, который я застал совершенно пустынным заливом, небольшой литературно-художественный центр. ... С начала Советской власти ни одна комната не была отдана за плату. Двери моего дома раскрыты всем и без всякой рекомендации — в первую голову писателям, художникам, ученым и их семьям, а если остается еще место — всякому, нуждающемуся в солнце и отдыхе, кому курортные цены не по средствам. Ставится одно условие: каждого вновь прибывающего принимать как своего личного гостя. ... За 1923 год через мой дом прошло 200 человек, а за текущий — 300. ...Местные власти сами стали эксплуатировать Коктебель как курорт и усмотрели во мне неприятного конкурента. В порядке бытовом это формулировалось так: "Ишь — буржуй — комнаты даром сдает: нашей власти признавать не хочет", или же: "В Коктебеле можно было бы расторговаться, если бы не Волошинский странноприимный дом...". ... В истекающем году было сделано несколько попыток уничтожить К/октебельскую/ Х/удожественную/ Колонию путем произвольных обложений и налогов, что, конечно, не трудно, т. к. она существует без всяких средств и не принося никаких доходов. Мне предлагалось в ультимативной форме немедленно выбрать "промысловый патент на содержание гостиницы и ресторана", т. е. записаться в "нэпманы", со всеми налоговыми последствиями этого, под угрозой выселения всех "жильцов" и запечатания дома. А все мои "Грамоты" и "Удостоверения"

объявлялись "властью на местах" – недействительными..."[33]

Судьба грозила оставить поэта не только недоедающим, но и без крыши над головой. Спасло Волошина то, что в доме его останавливались и некоторые "знатные" советские особы: привилегированные литераторы, некоторые из начальственных лиц...

Поэт не роптал. Он все испытания принял так, как он выразительно оттенил свое отношение к Октябрю эпиграфом к стихотворению "Северовосток" – словами св. Лу, архиепископа Труаского, обращенными к Аттиле: "Да будет благословен приход твой, Бич Бога, Которому я служу, и не мне останавливать тебя".

Замолчанный и полунищий, Волошин умер в Коктебеле 11 августа 1932 года. А перед этим не без гордости сказал в своей поэме "Дом Поэта":

Мои ж уста давно закрыты. Пусть!
Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

*
* *

Мы много сказали о к р а с н о м тоне в творчестве Волошина. Ну, а контрастный ему з е л е н ы й тон – и тона зеленоватые? Это, пожалуй, если не вся, то большая часть его киммерийской пейзажной лирики. Поэт и похоронен там, в Коктебеле, на скале, чем-то напоминающей профиль певца Тавриды. Теперь и Коктебель переименован в Планерское, и, хотя Дом Поэта стал его музеем и Домом творчества советских писателей, но, конечно, душа Волошина живет не в официальной музейной и творческой казенной постройке, – казенщина не может не обезличивать! – а в его стихах, в его акварелях, в доброй памяти о нем как неповторимом, боль-

шом человеке. И все-таки... И все-таки, любящий русское звенящее слово, помнящий Поэта, войдя в его дом, не сможет не почувствовать, сквозь официальщину плакатов и музейной казенной экспозиции, откуда-то несущегося привета певца-странника:

Войди, мой гость. Стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога.
Со дна веков тебя приветит строго
Огромный лик царицы Таиах...

БОРИС ФИЛИППОВ
1977, март.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Андрей Седых. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1962, стр. 19.
2. Марина Цветаева. Проза. Нью-Йорк, 1953, стр. 141.
3. Марина Цветаева. Там же, стр. 162.
4. Б. Погорелова. Скорпион и Весы. Новый Журнал, Нью-Йорк, № 40, 1955, стр. 172-173.
5. Сергей Маковский. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955, стр. 318.
6. Андрей Седых. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1962, стр. 23.
7. Книга о русских поэтах последнего десятилетия. Под ред. Модеста Гофмана. СПб.-Москва, 1908, стр. 367.
8. См., например, единственную до сих пор сводную био-библиографическую работу о Волошине. Евгений Ланн. Писательская судьба М. Волошина. Изд. Всероссийского Союза Поэтов, Москва, 1927, стр. 28.
9. Д. Кленовский. Оккультные мотивы в русской поэзии. Грани, № 20, 1953, стр. 130, 133-134, 136.
10. Там же, стр. 134.
11. Марина Цветаева. Проза. Нью-Йорк, 1953, стр. 183.
12. Осип Мандельштам. Начальник порта. Собр.сочинений в 3-х томах, т. 2, Вашингтон, изд. 2-е, 1971, стр. 113-114.
13. Сергей Маковский. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955, стр. 313.

14. И. А. Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, стр. 79.
15. Евгения Герцык. Воспоминания. Париж, 1973, стр. 79.
16. И. А. Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, стр. 191-192.
17. Марина Цветаева. Проза. Нью-Йорк, 1953, стр. 137.
18. Там же, стр. 194.
19. Евгения Герцык. Воспоминания. Париж, 1973, стр. 88.
20. Там же, стр. 89-91.
21. И. А. Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, стр. 192.
22. Евгения Герцык. Воспоминания. Париж, 1973, стр. 91.
23. Надежда Тэффи. Воспоминания. Париж, 1931.
24. Юрий Терапиано. Встречи. Нью-Йорк, 1953, стр. 16-17.
25. Новый Журнал, Нью-Йорк, № 39, 1954, стр. 133-135. Курсив мой.
26. На Посту, 1923, № 4, стр. 151-164.
27. Красная Новь, 1924, № 1, стр. 312.
28. Рабочий Журнал, 1925, № 3, стр. 156.
29. Красная Новь, Москва, 1925, № 3, стр. 289.
30. Л. Дадина. М. Волошин в Коктебеле. Новый Журнал, № 39, 1954, стр. 189.
31. Андрей Седых. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1962, стр. 22.
32. Л. Дадина. М. Волошин в Коктебеле. Новый Журнал, № 39, 1954, стр. 189.
33. Память. Исторический сборник. Нью-Йорк, 1977.

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН И ЕГО ВРЕМЯ

1

Трудности Волошина, как житейские, так и литературные, – обратная сторона сложности и несовершенства его человеческого устройства. Вечно неприкаянный, нервный и беспорядочный, он созревал и находил самого себя медленно и с трудом, с колебаниями, с мучительным топтанием на месте, путаясь в своей личной нелегкой судьбе, в противоречиях своей натуры и в тяжести своего немалого культурного багажа.

Как человек он для нас, в первую очередь, и интересен. Поэтическим дарованием, и большим, Волошин несомненно обладал. Но за всю свою жизнь он так и не сумел окончательно выбрать своего пути – между поэзией, живописью, эзотерикой, между историками, поэтами и богословами и, наконец, простым и искренним русским исканием Божьей правды, в его случае особенно мучительным, из-за оторванности его от русской стихии – мало было в России людей, более глубоко пропитанных западной культурой, чем М. Волошин. Да и неизвестно – хотел ли он выбирать. Сухой западный формализм должен был глубоко претить его духовно-насыщенной непосредственности. Ко всему еще, привелось ему очутиться безоружным посреди апокалиптических событий, очевидцем, участником и жертвой которых ему суждено было стать.

И хотя ничего не смог он им противопоставить, кроме своей душевной чистоты и высокого самопожертвования, многие годы Бог таинственно хранил его на прославленной коктебельской даче.

По этой же причине трудно о Максе Волошине писать. У него все перепутано, все вместе, все сразу. Да к тому же

часто все не на своем месте. Но в этом и сказывалась его подлинная человечность. В нашу эпоху всеобщей, калечащей душу специализации мы привыкли к тому, что у каждого противоестественная "полнота с одной стороны". И если нам попадается человек, у которого на первом плане его целостная личность и который поэтому не умещается в привычные нам внешние рамки и схемы, нам становится не по себе, и мы не знаем, с какого конца к нему приступить.

Волошин – человек не нашего времени. Он так и не остался ни поэтом, ни живописцем, ни оккультистом, ни пророком – в прямом, узком смысле этих слов. Но все эти начала в нем уживались вместе и одновременно. Это только одна из причин некой как бы недовоплощенности его облика.

В беспорядочном нагромождении и переплетении всего со всем – масонства с католицизмом, Родена с Аввакумом и богемы с аскетизмом, как только схватишься за какую-либо из беспорядочно торчащих во все стороны нитей, за ней потянется все сразу – клочок рыжего крымского чертополоха на обломке резного деревянного украшения из недостроенного Гетеанума и глубокомысленные размышления о перевоплощении рядом с непристойной шуткой парижских художественных кофеен. В основе своей Волошин так же бесформенно мягкотел, как и Розанов, только он вылеплен из иных и иначе замешанных материалов. Он не только воплощенный беспорядок, но и глубоко несовершенное и несчастное существо, трудная для разрешения задача, поставленная судьбою перед ним самим.

Последователь многих оккультных и эзотерических учений, от Бхагавад-Гиты до Мейстера Экхардта, от масонства до штейнерианства, он много и упорно работал над собой. Только объект его усилий, хотя и наделенный чрезвычайно ценными возможностями, был особенно неблагоприятен и неподатлив.

Взять хотя бы его затруднения в области половой жизни, о которых сохранились свидетельства лиц, близко его знавших. Они его называли "недовоплощенным". Можно заметить, вплоть до очень поздних лет его жизни, нали-

чие препятствий на его личном пути, замедлявших созревание его творчества и затруднявших его путь к духовному совершенству.

Об этом приходится пожалеть тем более, что несовершенства Волошина-человека долгое время отрицательно отражались и на многих его стихах, которые, при всей их формальной виртуозности, зачастую оставались внутренне противоречивыми, хаотическими, перегруженными тучей всевозможных инородных тел.

Тем не менее, глядя издалека на его жизненный и творческий путь, мы ясно различаем соответствие между его трудной, неустоявшейся, полной соблазнов и блужданий молодостью и роковыми канунами первой мировой войны, когда человечество, ожидавшее последней и окончательной победы над историей и над космосом (которую, казалось, можно уже было достать рукой), провалилось в бездну, из каковой и ныне еще не видно выхода и каковая грозит поглотить все мироздание.

Точно также зрелые годы поэта совпали с первыми порывами урагана, продолжающего потрясать основы человеческого бытия. В это время сумбурные искания и тягостные конфликты первого периода его сознательной жизни сменились той высокой отрешенностью — несомненно вне- и сверх-литературного свойства, — подлинная духовная ценность которой подтвердилась его почти чудесной невредимостью посреди дико разбушевавшихся страстей:

Но в эти дни доносов и тревог
Счастливый жребий дом мой не оставил,
Ни власть не отняла, ни враг не сжег,
Не предал друг, грабитель не ограбил.

Некоторые современники (Ходасевич, например) сообщают, что советская власть потому и пощадила Волошина, что не принимала его всерьез как противника, рассматривая и его гневные обличения, и его личное бесстрашие, как безобидное чудачество и даже юродство. Любопытно, что ту же

самую ошибку, хотя и исходя из диаметрально противоположных соображений, делает в своих воспоминаниях И. А. Бунин. Но из этого только видно, что крайности сходятся и действительно сошлись в данном случае на непонимании истинного значения подлинной духовной силы – и только из-за ее внешней неприглядности, мнимой несвоевременности и дон-кихотского контраста кажущегося бессилия Волошина перед лицом всемогущей партии.

Вместе с тем, он – явление глубоко и специфически русское. Как раз тот факт, что его облик не исчерпывается поэзией, что поэзия – только одна из струн его многоголосой души, одно из проявлений его многообразного я – специфическое и неотъемлемое свойство русскости. Русский человек никогда не переставал оказывать упорное, хотя и снаружи незаметное, сопротивление всяким попыткам втиснуть его в рамки каких бы то ни было внешних, рациональных схем или отвлеченных правил. Он постоянно выпирает из любых перегородок, искусственно стесняющих естественное развитие и проявление его личности. Даже советскому режиму не удалось сломить эту неподатливость, это спасительное природное упорство русского народа. Ныне новоприбывшие из СССР, рожденные и воспитанные в советских условиях молодые люди, приходят на парижские собрания с не меньшим опозданием, чем их выросшие при покладистом старом режиме предшественники из так называемой "первой" или "старой" эмиграции. И покидают они их не менее глубокой ночью, в пылу нескончаемых споров, хотя и знают, что завтра им предстоит ранний уход на часто неблагодарную, изнурительную работу.

2

Я лично предпочитаю акварели и гуаши М. Волошина многим его стихам.

Как художник, Волошин – явление исключительное. Он не только не похож ни на кого другого, но вместе с другим

гением российской живописи, литовцем Чурленисом, предвосхитил самые передовые стремления мирового искусства наших дней.

В этом отношении показателен также его ранний интерес к французскому художнику Одилону Рэдону, которому он посвятил стихотворение еще в 1907 году, когда тот был совершенно неизвестен вне узкого круга знатоков. Широкое признание и высокую оценку специалистов Рэдон получил лишь за последние десять лет. Это показывает, насколько художественная мысль Волошина опередила его время. Однако лучший показатель – его собственные произведения, никем тогда не понятые, ни за границей, ни, тем более, в едва пробуждавшейся от спячки передвижников России.

Чурленис не был абстракционистом в том смысле, как, скажем, Ланской, Поллок и Карл Аппель, хотя он первый создал доныне непревзойденные образцы беспредметного искусства, дойдя до последних пределов дерзновения в своих поисках. Но он, в то же время, сразу опередил всех своих последователей раскрытием грандиозных лирических просторов, потрясающих нас до глубины души, как бы таящихся за пределами полотна. Картины Чурлениса – волшебные призмы, преломляющие идущие во все стороны лучи. Как живые существа, они спаяны со всем мирозданием. Глядя на них, как-то не верится, что дело ими ограничивается. Каждая из них кажется как бы случайной, временной остановкой в вихревом устремлении куда-то в неведомые дали, ни на секунду не скованном ограничениями, свойственными всякому искусству.

Чурленис полярно противоположен, скажем, Пуссэну, стремящемуся монументально увековечить схваченное на полотне мгновение, которое, усилиями художника, как бы высвобождается из-под законов времени.

Живопись Волошина открыла иные пути современного искусства, быть может, пока менее известные и разработанные, чем пути абстракционистов, но не менее направленные в будущее и, возможно, уже идущие им на смену. Это – фантастические пейзажи и видения, на какие беспредметная живопись только смутно намекает, очертания которых с некоторых пор

все отчетливее вырисовываются в творчестве художников молодого поколения. Предельная необычайность этих видений мало утешит обывателей, обиженных исчезновением привычного для них "реализма". Среди этих новых веяний, одно из наиболее интересных – группа художников Дорнаха.

Независимо от того, как относиться к личности и творчеству Рудольфа Штейнера, в наши дни уже стало трудно полностью отрицать могущественный животворный импульс, сообщенный им почти всем областям человеческой деятельности, от личного самоусовершенствования и философии истории до разных отраслей искусства, биологии и педагогики.

Как и у Баха, на расстоянии почти что не верится, чтобы один человек за свою короткую жизнь (а жизнь Штейнера была, даже по человеческим масштабам, недолгой) смог столько создать, открыть столько новых горизонтов и, в критическую для человечества пору, проложить пути, если не к спасению, как считают его безоговорочные последователи, то к поискам возможного исхода, чтобы разрубить все множащиеся гордиевы узлы всеобщего духовного оскудения и материалистической науки.

Хотя у живописцев группы Дорнаха есть немало искусственного, нарочитого и малокровного, что всегда неизбежно, если художник, вместо того чтобы без оглядки следовать своему внутреннему чутью, применяет какие бы то ни было пришедшие извне теоретические или миросозерцательные установки, у них можно встретить и немало подлинного, интересного, носящего отпечаток сильной и своеобразной личности.

При всех, часто весьма резких, индивидуальных различиях их объединяет некий общий стиль, на первый взгляд напоминающий беспредметное искусство. Дорнахцы не ограничивают свою проблематику уместностью или неуместностью каждого штриха в общей экономии картины и его соотношением с целым, а стараются уловить таящуюся за красочными мазками трансцендентность.

Учитывая частую неполноценность программной музыки, можно на тех же основаниях усомниться в ценности метода

дорнахцев. Но никакое художественное творчество так или иначе невозможно вне соприкосновения с трансцендентностью. Беспредметная живопись, как и музыка, и вообще любое достойное этого имени искусство, живет исключительно той долей запредельной стихии, какую ему, как фетовской ласточке, удалось зачерпнуть и запечатлеть. Марксистское искусство в большинстве случаев мертво, не только из-за предвзятости, но и из-за врожденной бедности и бессодержательности его духовных истоков. Редкие, хотя и яркие исключения, вроде Б. Брехта или Иржи Волькера, питаются стихией отталкивания от существующего или неосознанной духовностью. Сознательное стремление воплотить трансцендентность действует ослабляюще только тогда, когда автор довольствуется повторением теоретически известного, вместо познания его на личном опыте. Если концом одного своего крыла дорнахская живопись и приближается к программной музыке, то конец другого – уходит в бесконечность.

В своих гуашах и акварелях, еще до появления самостоятельной школы живописи в Дорнахе, Волошин уже предначертал ее стиль.

И тут проявилась его личная судьба. Как известно, большую, может быть наибольшую часть своей жизни он провел в Крыму, на коктебельской даче. Яркий и своеобразный пейзаж этой захолустной части Крыма глубоко сроднился с его душой и стал одной из основных тем всей его личности и творческой деятельности.

Кроме того, в молодости своей он провел некоторое время в ссылке в среднеазиатских пустынях, о которых позже писал:

И тени мертвых городов
Уныло бродят по равнине
Неостывающих песков...

Эти впечатления наложили отпечаток на всю его живопись, как и на многие из лучших его стихотворений. Поразителен гигантский охват (хотя большинство их написано на очень

небольших кусках бумаги или картона) его фантастических, геологических, лишенных растительности пейзажей, все-таки чем-то напоминающих крымское побережье и Центральную Азию.

Лучшие из них – настоящая космогония по невообразимой сложности и подробности, и тем не менее – они всегда охвачены единством и целеустремленностью замысла. В них чувствуется буйный разгул жизнетворческих сил, предваряющих и геологию, и биологию, потрясающих и претворяющих все сущее своим пламенным дыханием, разминающих предмирную субстанцию по никому неведомым, неисповедимым планам мироздания.

Никто до него еще в этих краях не бывал, и многие из его видений еще вольются в сознание и художественное творчество грядущих поколений. Они – одно из великих прорастаний духа в современном мире, которому предстоит необозримое будущее.

3

Для того, чтобы по заслугам оценить поэзию Волошина, с точки зрения не наших ожиданий, а его стремлений, не надо забывать, что в его лице мы имеем дело с интеллигентом до мозга костей, прежде и больше даже, чем с поэтом. А потому и стихи его написаны языком интеллигента.

Тем не менее, стихи это настоящие. Потому что для Волошина язык интеллигенции был его родным языком – наиболее для него родной областью русского языка.

Существует два критерия оценки стихов. Наиболее распространенный признает подлинной поэзией исключительно словесную магию – ту заклинательно-волшебную удачу, которая нас "волнует, мучит, как своенравный чародей", только "божественный глагол" "звуков райских". Поэзия сводится почти исключительно к музыкальному фактору, который, по сути дела, все-таки только одна из ее составных частей.

Как для Поля Валери, для таких ценителей поэзия – явление языка и больше ничего: "la structure de l'expression

a une sorte de réalité, tandis que le sens ou l'idée n'est qu'une ombre". С этой точки зрения содержание в поэзии фактор столь же сомнительный, что и "литература" в живописи.

Для других же поэзия, как и ум, – нечто, не поддающееся никакому определению – "A poem shuld not mean but be", по словам американского поэта и эссеиста Арчибальда Мак-Лиша. Она ускользает от всех усилий эстетики ограничить ее суть какими бы то ни было свойствами. Она – бесконечно разнообразна и неуловима. В одном случае может оказаться поэзией именно то, что убивает ее в другом. Тут все зависит от свойств каждой творческой личности и даже каждого отдельного стихотворения как живого организма. Тяжеловесность и корявость у Кюхельбекера и Баратынского такое же достоинство, как легкость у Пушкина и Фета.

Помню, например, одну мою беседу с Ю. К. Терапиано, для которого лучшими стихами у Пастернака были две заключительные строфы ирпеньского "Лета" с их мажорным концом:

> И арфой шумит ураган аравийский,
> Бессмертья, быть может, последний залог.

Стихи эти безусловно замечательны, но для Пастернака мало характерны, и я им предпочитаю, например, "После дождя", "На пароходе", "Импровизацию" или, из более поздних, "Еву" или "Траву и камни" (тогда еще неизвестные), обильно насыщенные незаменимой пастернаковской единственностью.

В частности, среди многих своих других заслуг русский ренессанс сильно расширил границы возможностей поэзии, что и вооружило против некоторых его представителей часть эпигонов акмеизма, столь сильных в русском литературном Париже между обеими мировыми войнами. Особенно пострадали Бальмонт, Бунин, Брюсов и М. Волошин. Если первые двое были обесценены по причинам, к обсуждению которых мы здесь не можем приступить, то последним двум было вменено в вину именно вышеуказанное отклонение от общепринятой тематики и напевности.

Не станем останавливаться на Брюсове, а отошлем читателя к замечательному очерку В. Н. Ильина в июльском номере ''Возрождения'' за 1965 год.

Что же касается Волошина, то литературность и музейность тем его молодости, как и политический пафос его зрелого творчества, при всей их несомненной глубине и подлинности, оставили холодным предшествующее нашему поколение, и, думается мне, на нас лежит обязанность воздать ему должное.

Писал Волошин медленно и с трудом, но зато его словесная культура неизменно оставалась необычайно высокой. Единственный из символистов второго призыва, он ждал свыше десяти лет, прежде чем выпустить свой первый сборник стихов.

У него нет и следа ни импровизаторской легкости Бальмонта, ни медиумической чуткости Блока. Несвойственно ему было и усидчивое серийное производство Брюсова.

Для этого его отношение к слову было чересчур ответственным. Уже в первые годы нашего века в стихах Волошина появились следы влияния эзотерических учений. С первых же выступлений в печати его мастерство оказалось несравненно высоким, даже для той исключительной эпохи.

Первые представители русского Ренессанса, символисты, подняли стихотворную культуру на высоту, еще небывалую с пушкинских времен. И все их огромные достижения все-таки не стали всеобщим достоянием, как оно было в России в 20-е годы XIX столетия, когда *все* печатавшиеся стихи были превосходны. В начале нашего века, сразу же за тремя-четырьмя корифеями, простиралась обширная пустыня словесного убожества и некультурности, в которой еще сказывалось тяжелое наследие шестидесятников.

Немногие корифеи довели русское стихотворное искусство до совершенства, гибкости и утонченности, незнакомых даже спутникам и соратникам Пушкина. Стих этих поэтов пушкинской плеяды был проще, крепче и естественней, но им и не снилось умение передавать такие оттенки чувств и настроений, какие давались, например, Сологубу, Блоку или Анненскому. Не обладали они и широтой, многообразием и красочностью тематики символистов.

Высокая степень поэтического совершенства, достигнутая последними, особенно заметна, если присмотреться к переводам обеих рассматриваемых нами эпох. Переводы Батюшкова, Жуковского или Козлова не отличались ни особой близостью к подлиннику, ни словесной находчивостью и гибкостью. В лучшем случае это были хорошие оригинальные стихотворения, лишь навеянные теми или иными иностранными текстами.

Из этого перечня мы, конечно, исключаем изумительную "Илиаду" Гнедича, никем в мире (кроме самого Гомера) не превзойденную. Но и ее ценность больше в гениальном уразумении сущности подлинника, чем в переводческом искусстве как таковом.

Лучшие переводы того времени больше говорили о личности переводчика, чем автора. Не один англичанин охотно променял бы байроновского "Шильонского узника" на его переложение Жуковским, в руках которого натянутая и бледная поэма Байрона оживает и звенит никогда ее автору и не снившейся музыкой.

Но если обогнать в поэтическом искусстве Байрона не так уж трудно, то "Лесной Царь" Жуковского оказался, пожалуй, сильнее самого Гете! Взять хотя бы гетевское "Er hat den Knaben wohl in dem Arm" – рядом с "К отцу весь издрогнув малютка приник"; или, соответственно, "Ein Nebelstreif" – с "то белеет туман над водой". Хотя тут мы сравниваем лучшего Жуковского с не лучшим Гете, все-таки и это достижение немалое.

Особенно бросается в глаза контраст между малозначительными, посредственными и даже плоскими подлинниками Цедлица и Гейне и до глубины души потрясающими лермонтовскими "Воздушный корабль" и "Они любили друг друга..."

Все это больше "вариации на тему", чем переводы.

Иначе дело обстояло у символистов. Хотя Бальмонт в общем продолжал традицию весьма вольных, изобилующих неоправданной отсебятиной "вариаций на тему", в его обширной переводческой деятельности немало было и удач. Несмотря на все недостатки его перевода "Витязя в тигровой шкуре"

Руставели, более чем достаточно отмеченных критикой (как грузинской, так и русской), приходится признать, что никто еще не перевел на русский язык эту поэму так, как Бальмонт, даже Заболоцкий, перевод которого "Слова о полку Игореве" не уступает в гениальности гнедичевой "Илиаде". Бальмонт передал общую атмосферу поэмы Руставели вернее даже, чем несравненный ее украинский переводчик Микола Бажан, близость к подлиннику и четкость формулировок которого достойны всяческого удивления.

Анненский тоже легко и далеко отступал от текста, и об его переводах можно сказать то же, что и о Жуковском: что они ближе к самим себе, чем к подлинникам. Только напрасно стали бы мы искать у Жуковского таких ошеломляющих удач, как, например, "Богема" Рембо или особенно "Два Парижа" Тристана Корбьера. Да и в его Еврипиде больше удач, порою поразительных и своей смелостью, и своей уместностью, чем обычно принято думать.

Если не считать исключительной удачи его "Армянской лирики" — вообще во всех отношениях лучшего его создания и лучшего из всех мне известных переводов армянской поэзии на иностранные языки, другие переводы упорно трудолюбивого, но не особенно одаренного Валерия Брюсова не отличаются большими достоинствами. Он обладал и вкусом, и мастерством, и познаньями, и даже любовью к поэзии — она была одной из немногих искренних его привязанностей. Но, в противоположность Гнедичу, он бывал наиболее близок к подлиннику как раз в наиболее безразличных его частях, в его соединительной ткани. Тогда как яркие моменты зачастую портил. Кроме того, в его переводах обычно слабо чувствуется личность автора подлинника. У него все они похожи один на другого, и особенно — на самого, на какие угодно темы одинаково умело сочинявшего стихи, Брюсова.

Подлинно высокие достижения стихотворной культуры Ренессанса сосредоточены главным образом на переводах Вячеслава Иванова, Сологуба и Волошина.

Переводы Сологуба обладают редчайшим достоинством, свойственным лишь наилучшим, весьма немногим образцам

этого жанра в мировой литературе: оставаясь предельно к ним близкими, они лучше своих подлинников. Хотя Жуковскому и удалось превзойти самого Гете в разработке темы и образов "Лесного царя", он очень далеко отступил в сторону от поэтического стиля Гете, тогда как Сологуб достигает того же результата, не выходя за пределы атмосферы и образности переводимого им автора. Возьмем хотя бы два раза повторяющееся четверостишие верленовского стихотворения

Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.

В переводе Сологуба оно выглядит так:

Не блеснет украдкой
Луч на тверди медной,
После жизни краткой
Умер месяц бледный.

Не менее значительным мастером перевода был и М. Волошин. Не говоря даже о совершенно исключительных во всех отношениях отдельных удачах, тоже лучших, чем подлинники, как "Боги" Анри де Ренье или "Ноябрь" излюбленного им Верхарна, его короткое "Предварение о переводах" достаточно, чтобы дать представление об его знакомстве с предметом. Когда Волошин говорит: "Можно перевести смысл, можно перевести стиль, можно перевести синтаксис и ритм, но нельзя перевести рифмы, которая иррациональна в каждом языке", — то уже видно, что его умение переводить идет гораздо дальше того, что обычно в этом отношении признается достаточным... "Можно перевести стиль, можно перевести синтаксис". Я сам не умею их переводить и не знаю никого во всей мировой литературе, кто бы сумел перевести стиль, кроме весьма немногих исключительных мастеров (Рюккерт, например), среди которых в России на одном из первых мест стоит М. Волошин.

Тем не менее, он ставит своему искусству строгие и скромные границы: "... в стихотворном переводе приходится жертвовать не столь важным для главного: если стихотворение построено на игре созвучиями, переводчик неизбежно отступает от точного смысла и главным образом от синтаксиса, стараясь найти равносильный звуковой эффект. Если же главное лежит в содержании, в образе, в синтаксическом развертывании фразы, то переводчик должен честно пожертвовать рифмой".

Все-таки, в большинстве его переводов поражает умение, почти буквально придерживаясь слова подлинника, не жертвовать ни образом, ни рифмой, да к тому же сохранить еще и стиль, и личные особенности переводимого автора и ряд других теоретически неуловимых данностей.

Если он чем-нибудь иногда и поступается, то действительно только второстепенными, слабыми сторонами оригинала.

4

Не потому я так пространно остановился на переводчиках русского символизма вообще и на Волошине в частности, что переводы ценнее их оригинальных произведений, а вследствие того, что на этом примере наглядно видны их великие достижения в области стихотворной культуры, в наши дни снова утерянные, по вине нынешних властителей России и на горе русской культуре ими выдуманного соцреализма.

На самом деле мастерство Волошина в первых же его оригинальных стихотворениях не менее высоко, чем в его переводах.

На стиль его ранних стихов повлиял Брюсов. И Волошин, и Брюсов – поэты современного, верхарновского города-спрута, запускающего свои безглазые щупальцы в живую плоть окружающей его, в страхе перед ним отступающей природы. Оба они перегружены бескрылым, городским, книжно-музейным, теоретическим знанием. Им обоим "много лет",

намного больше, чем двадцати-тридцатилетним молодым людям, какими они тогда были.

Но в то время, как Брюсов радостно приветствовал и восторгался самыми современнейшими проявлениями тогдашней городской цивилизации – трамваями, автомобилями и шумными проспектами, электричеством озаренными витринами, – Волошин охотно удалялся в сумрак Булонского леса, где ”плывут из аллей бриллиантами фонари экипажей”, или под тысячелетние узорные своды готических соборов.

Независимо от Брюсова, Волошин поддался влиянию западно-европейских символистов, щеголявших декоративным изобилием драгоценных камней, тяжелых драпировок и всякой прочей грузной, душной комнатной мишуры, как Уолтер Патер, Вилье де Лиль Адан, Уайльд, Гюисманс и бесчисленные их последователи.

Это было стилем эпохи. Вернее, наименее жизнеспособной, наиболее для нас устарелой ее части. Мы ведь все-таки удержали от тех времен не мертвенно-гиератическую торжественность Пювис де Шаванна или перегруженного всяческим изобилием Фортуни, а легкие, населенные грациозными танцовщицами или всадниками пастели Дега и страдальческую остроту красочных воплей Ван-Гога.

Поэтому не знаю, как отнесутся к первой стихотворной манере Волошина нынешние юные читатели в СССР. Не почувствуют ли они себя чужими среди всей этой нарочитой антикварной и ювелирной роскоши? Узорные здания Венеции ”горят *перламутром* в отливах тумана”, а в Париже вечером ”загорались *бриллианты* в зубчатом кружеве ветвей”. В других местах – ”в *бирюзовом* небе тучи”, ”тона *жемчужной* акварели”, ”осенний цвет листвы – *топаз*”, ”и были дни как муть *опала*, и был один, как *аметист*”, ”*алмазность* пытки”, ”звезд *алмазный* трепет”, и еще, про звезды же, ”*алмазных* рун чертеж”, ”*алмазная* паутина” солнца, ”*алмазы* влажной синевы”, ”*алмазный* торс” Ориона, в ”звездно-*алмазной* пыли”, ”*аметистовые* (где он только отыскал такие!) розы”, ”как *аметист* глаза”, ”снежный *хрусталь*” далеких гор, ”*рубины* винных лоз”, и опять – ”*рубин* вина”, луна – ”*жемчужина* небесной

тишины", "*жемчугами* расшит покров... над горами", "*жемчужная* Андромеда", "*жемчужные* утра", "заливы черные сияют, как *оникс*", "*сапфиры* лучей", "*сапфиры* ночи", на закате опять "*шафран... топазы*... излом волны сияет *аметистом... смарагдами* огней". О витражах даже целая строфа:

Хризолит осенний и пьянящий,
Мед полудней — царственный *янтарь*,
Аметист — молитвенный алтарь,
И *сапфир* испуганный и зрящий.

На 12 эпитетов — 5 ювелирных, причем на 16 слов, составляющих строфу, — 12 эпитетов. А в строфе:

Груды зданий, как *кристаллы*;
Серебро, агат и *сталь*;
И церковные порталы,
Как седой *хрусталь*.

Здесь на 14 слов — 8 эпитетов, из которых 5 ювелирных.

Даже стигматы у него "священные *кораллы* на ладонях".

Драгоценные металлы упоминаются не менее настойчиво, чем самоцветные камни: "*золото* испанских майолик", "день раскрыл *златое* око", "небо *золотистое*", "лира *золотая*", "огня *златокудрый* бог", "темное *золото* полудней", "*золото* мгновений", "*золото* смол зноя", "*золото* лучей", "речные *серебряные* излучины", "равнина вод обведена *серебряной* каймой", и т. д., и т. д., и т. д...

Такое изобилие сокровищ может неприятно поразить неподготовленного читателя, несмотря даже на поэтическую оправданность и действительность их применения в каждом отдельном случае. Становится как-то душно, тяжко и не по себе от стольких драгоценностей. Да и вряд ли можно приписать это исключительно влиянию декоративных элементов раннего символизма. Во всяком случае, не похоже, чтобы Волошин без разбора загромождал свои стихи модными словами. Он для этого чересчур изощренный, строгий к себе и, несмотря ни на что, немногословный художник.

Скорее можно объяснить это изобилие его обостренной чувствительностью, его болезненно-яркой восприимчивостью, мягкостью его душевного склада, раненного резкостью жизненных впечатлений, а потому и так остро на них реагирующего.

Тем более, что все эти камни и металлы никогда не упоминаются у Волошина некстати, без надобности. У него не беспорядочное нагромождение, а тщательный отбор наиболее подходящего, наиболее выразительного словесного материала. Проблема скорее в том, откуда берется в раннем творчестве Волошина такая яркость, чем в использовании для ее изображения того или иного словесного регистра. Хотя в поэзии менее, чем где бы то ни было, слова бывают случайными.

Тот факт, что Волошин охотно сводит все живое — растения, погоду и т. п. — к неживой, металлически-каменной мишуре, указывает на его внутреннее неблагополучие, неуравновешенность, на потерю или на неумение найти правильную цель в жизни. Это роднит его со многими модернистами — с Нарбутом, с Сельвинским, с Пикассо, беру первых пришедших мне на ум среди многих десятков других, — потому что сведение жизни к механике и к мертвой материи — одна из наиболее ярких отрицательных черт нашей эпохи и проявляется далеко не в одном только искусстве. "Как солнце мечет в зыбь *стальную алмазные* потоки *стрел*".

Да и не одними только драгоценными камнями и металлами пользуется Волошин. В его стихах оживает весь реквизит гюисмансовского *Дез-Эссэнта*, установившего канон эстетики символизма на десятки лет вперед. Тут и "линялые *шелка* реки"; и "на старых каштанах сияют листы, как строй *геральдических лилий*"; и "платье цвета *эвкалипта*"; и

Барельефы, ветки эвкалипта,
Полки книг, бумаги на столах, —
И над ними тайну-тайн Египта —
Бледный лик царевны Таиах...

Вот где его подлинный мир, в котором он чувствует себя как дома.

В первый период своей деятельности Волошин подходит к поэзии с теми же заданиями и теми же приемами, что и к живописи:

Монмартр... Внизу ревет Париж –
Коричневато-серый, синий...
Уступы каменистых крыш
Слились в равнины темных линий...

Он орудует красками с такой же спокойной уверенностью, как если бы перед ним находились палитра и мольберт: "и фиолетовые тени текут по огненным полям"; "там в окне, в зеленой мгле подводной бьются зори огненным крылом"; "закат сиял улыбкой алой. Париж тонул в лиловой мгле"; "вьются зарницы, как синие птицы"; "пустые, черные как кровь корзины пурпурной клубники"; "и арки черные и бледные огни уходят по реке в лучистую безбрежность"; "в черно-синем огне расцветают медяные тучи";

Вечер... тучи... алый свет
Разлился в лиловой дали:
Красный в сером – это цвет
Надрывающей печали...

Его краски не только ярки и разнообразны, но и необычны, хотя всегда художественно естественны: как умелый живописец, Волошин умеет достигать желанного эффекта употреблением – на первый взгляд – наиболее неожиданных тонов. Почти всегда Волошин достигает именно того воздействия, которое ему нужно. "Зеленые сумерки", "голубая пыль", "снежная луна", "гиацинтово-синяя", "как синий лед мой день", "фиолетовые розы", "тонким дымом розовеет... миндаль"; у соборов "дымный камень лиловат и сер"; "бронзовые склоны" крымских гор, "красные щебни", "фиалковая риза моря" вечером, "синие зарницы", "лиловые вершины",

"синие дни", "хребтов синели стены", "желчь шафранного тумана"; "синеет полоса ночной земли"; "лиловые тучи"; "волокна тонких дымов синеют, лиловеют"; "далей просинь", "синий Сирос, синий Парос" (острова греческого архипелага); "синие лунные львы", "иссиня-серые камни", "синий вечер", "синяя зелень персидского фаянса", "красный лист", "красные холмы", "рдяный закат", "горы, как рыжие львы"; пламя у него "багровое, золотисто-темное и седое", и от него тянет "лиловое облако дыма"; дальше – "лиловый горизонт", "лилово-дымчатые" безлистые кусты, "лиловая мгла", "сизая тоска", "розовый глянец" волн, "зеленые бездны", "зелено-золотые дали вечеров", "камней отблеск ртутный";

Скрыты горы синью пятен и линий –
Переливами перламутра...
Точно кисть лиловых бледных глициний,
Расцветает утро.

Все это действенно, естественно, нет ничего приблизительного.

Кроме красок, Волошин умело использует в стихах ряд других приемов заправского живописца. Он воспринимает внешний мир не так, как рядовые люди и даже другие поэты, а как художник, видящий не столько то, что есть, сколько отпечаток бытия на полотне или на бумаге. Его слова улавливают зрительную суть предметов: "устало мерцают в отливах тумана далеких лагун огневые сверканья"; "падают, вьются, ложатся с усильями по лесу полосы света и мглы"; зимним вечером "все линии не резки";

Зданье на холм поднялось
Цепью изогнутых линий.
В кружеве легких мимоз
Очерки царственных пиний.

или:

Как мне близок и понятен
Этот мир – зеленый, синий,
Мир живых, прозрачных пятен
И упругих, гибких линий.

Порою все эти линии переплетаются в характерные для него геральдические формы: "и в замках Франции сияет лунный серп средь лилий Генриха и саламандр Франциска".

Все, существующее во внешнем мире, для Волошина – лишь формы художественного восприятия:

Леса готической скульптуры!
Как жутко все и близко в ней.
Колонны, строгие фигуры
Сибилл, пророков., королей...
Мир фантастических растений,
Окаменелых привидений,
Драконов, магов и химер...

Его метафоры достигают большой смелости и рельефности. Он часто соединяет понятия весьма отдаленные одно от другого, с неизменной удачливостью:

Милой плотью скованное время,
Своды лба и звенья позвонков
Я сложу, как радостное бремя,
Как гирлянды праздничных венков.

Здесь метафора не только прием словесной живописи, но и глубинное свойство мистического темперамента автора, часть структуры его миросозерцания. Волошину ведомы все тайны пластического мастерства, и он не стесняется прибегать к обнажению приема: "по озерам прозелень, полосы и стальные отливы", или "нити стремительных линий се́рые сети сплели", или:

И сквозь дымчатые щели
Потускневшего окна

Бледно пишет акварели
Эта бледная весна.

Это, отнюдь не дилетантское, знакомство с техникой живописи дает крайнюю изощренность красочных оттенков, почти пастернаковскую новизну видения:

Мир стряхнул покров туманов.
Четкий воздух свеж и чист.
На больших стволах каштанов
Ярко вспыхнул бледный лист.

Какое богатство феноменологических определений лунной стихии в пятом сонете венка "Lunaria":

С какой тоской из влажной глубины
Все смертное, усталое, больное,
Ползучее, сочащееся в гное,
Пахучее, как соки белены,
Как опиум волнующее сны,
Все женское, текучее, земное,
Все темное, все злое, все страстно̀е,
Чему тела людей обречены...

Как ни затасканы все мыслимые и немыслимые эпитеты, касающиеся лунного света, ни одно из его свойств, упомянутых в этих стихах, не встречалось нигде раньше. И в то же время ни одно из них не вымучено, не притянуто за волосы...

По темпераменту Волошин в значительно большей мере живописец и даже геральдист, чем лирик. То, что он прибегал к слову, – лишь частный случай и вопрос наиболее подходящей формы для выражения себя – в каждом отдельном случае. Он гораздо больше живет и мыслит красками, линиями и формами, чем эмоциями, ощущениями или словесными созвучиями. Его настроения рождаются из зрительных впечатлений и придают им специфический для него колорит.

В этом отношении наиболее показательно его до неприятного обостренное стихотворение "Зеркало":

Я – глаз, лишенный век. Я брошено на землю,
Чтоб этот мир дробить и отражать...
И образы скользят. Я чувствую, я внемлю,
Но не могу в себе их задержать.

Характерно, что Волошину не удавалось адекватное выражение обычных человеческих чувств, например, любви:

И не противясь древней силе,
Что нас к одной тоске вела,
Покорно обнажив тела,
Обряд любви мы сотворили...

В результате чего даже "во тьме кощунственных сердец и в кровь вино не претворилось". Это уже отказ от любви, признание в своей непричастности, своей неспособности к ней. Любви не было. Была покорность чему-то, чему, на самом деле, следовало воспротивиться, какая-то безрадостная необходимость:

Напрасно обоюдоострый меч,
Смиряя плоть, мы клали меж собою:
Вкусив от мук, пылали мы борьбою
И гасли мы, как пламя пчельных свеч...

Для подлинной любви, "которая и жжет и губит", Волошину недостает простоты:

О, для чего с такою жадной грустью
Мы в спазмах тел палящих ищем нег,
Устами льнем к устам и припадаем к устью
Из вечности текущих рек?

За этим, по сути дела философским, вопросом о цели любовной близости не чувствуется ни страсти, ни боли, а

только спокойная любознательность. После чего поэту только остается интеллектуально-блестяще формулировать: "сквозь плоть нет выхода — есть только вход".

Как и у всех мало темпераментных людей, у Волошина любовная лирика легко соскальзывает в по-настоящему родную для него область книг и искусства:

Я ваш ли видел беглый взгляд,
И стан, и смуглые колени
Меж хороводами дриад
Во мгле скалистых стран Пуссэна?

Его портреты, в первую очередь, — не изображения человека, а произведения живописи. Их краски и технический реквизит, а также и пейзажный фон, как и в итальянском кватроченто, важнее, убедительнее и удачнее самого лица:

А сзади напишу текучий,
Сине-зеленый, пенный вал,
И в бирюзовом небе тучи,
И глыбы красно-бурых скал.

То же самое и в стихотворении, посвященном Ел. Дмитриевой, и в замечательном "Портрете", начинающемся строкой "Я вся — тона жемчужной акварели...", который изображает не лицо, а "ауру" женщины.

5

Арсеналом чисто поэтической техники Волошин орудовал не менее блестяще, чем приемами живописца. Например, в только что указанном "Портрете" он с таким умением подбирает подходящие, создающие нужную атмосферу изобразительные подробности, что хотя мы и не видим лица, присутствие человека ощутимее, чем оно может быть в самом обстоятельном и "похожем" портрете классической школы:

Я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма,
Я шелест старины, скользящей мимо,
Я струйки белые угаснувшей метели,
Я бледные тона жемчужной акварели.

Интересны его особенно многочисленные эпитеты. Волошин принадлежит к числу людей, которые думают не субстанциями, а атрибутами, не предметами, а их свойствами, прилагательными. Такие люди обычно не умеют строить и плохо играют в шахматы. Им не хватает внутреннего стержня, мужского начала. Хотя его эпитеты всегда продуманны и умеренно новы, их часто несколько подряд, что свидетельствует все-таки об его неумении найти единственно-верное, незаменимое слово: "говорил Цицерон плавно, красиво и остро"; "цветок гиацинта холодный, душистый и белый"; "легкость стройная обвисшей мягкой ели". При всей их меткости, им не дана захватывающая дух яркость и ослепительность эпитетов, например, Хлебникова, Мандельштама или Цветаевой.

С точки зрения чисто формальной Волошин достиг исключительной виртуозности. Труднейшая из всех поэтических форм, существующих на европейских языках, — венок сонетов — блестяще ему удалась.

Венок состоит из 15-ти правильных сонетов, причем последняя строка каждого из них служит первой строкой следующего. Последний, 15-й сонет венка состоит только из этих промежуточных строк, причем он тоже должен соответствовать строжайшим сонетным правилам и иметь цельный грамматический и логический смысл. Две из его рифм повторяются 22 раза, другие две — по 12 раз.

Во всей мировой литературе таких венков — по пальцам перечесть. В таких богатых литературах, как английская или немецкая мне до сих пор не пришлось встретить ни одного художественно полноценного и просодически безукоризненного сонетного венка. Имеется сонетный венок у основателя словенской литературы Франца Прешерна, другой у проживающего в США и пишущего на языке идиш поэта Арона Лейелеса. Но не помню я венков даже в романских литературах (испанская,

французская, португальская, итальянская) после конца барокко.

Одним словом, форма – редчайшая из-за своей почти что непреодолимой трудности. А там, где она встречается, – она служит примером головоломной виртуозности, а не выражением заветных мыслей и настроений автора. Русской же литературе, вообще бедной сонетами, особенно повезло с венками. У Бальмонта и у Брюсова они менее содержательны, чем у позднейших поэтов, но формально безукоризненны. В советское время их писали Сельвинский и Кирсанов. Но, модернизма ради, они разрешили себе кое-какие вольности.

Удачнее всего венки Вячеслава Иванова, С. К. Маковского и М. А. Волошина. Венок Маковского – одно из его наилучших созданий. Особенно замечателен насыщенный мифологически-конкретной эзотерической мыслью венок Вячеслава Иванова из книги "Человек". Интересен, хотя и менее значителен, его же венок из книги "Пламенеющее сердце".

А у Волошина венков – целых два: "Corona astralis" и "Lunaria", что при малом количестве им написанного составляет весьма высокую пропорцию. Многие из входящих в них сонетов сохраняют самостоятельную ценность, а иные из читателей Волошина, верно, и не подозревают, что хорошо известный им сонет "Изгнанники, скитальцы и поэты..." – лишь скромное звено в сложнейшей цепи "Corona Astralis". Именно в свои венки Волошин вложил максимум эзотерического содержания, не всегда даже доступного для людей, не достаточно знакомых со всеми арканами штейнерианского и масонского гнозиса.

Заключительный сонет "Lunaria" – одно из лучших стихотворений Волошина вообще, хотя каждая из составляющих его строчек разветвлена до размеров целого самостоятельного сонета.

Успех, с которым автор справился с такой умопомрачительной задачей, доказывает поистине неограниченность технических возможностей его.

Но приведем еще примеры его умения владеть стихом.

После Пушкина ни один из русских поэтов не владел звукописью так, как Волошин. Конечно, пушкинская звукопись, лишь незаметно подчеркивающая смысл, осталась для

него недоступной. Не обладая врожденной музыкальностью, Волошин создавал свои аллитерации сознательно-волевым усилием. Поэтому они "выпирают", и, возможно, он ими в какой-то мере щеголяет.

И есть ему чем щеголять! В этом отношении особенно поразительно его стихотворение "Стигматы". Уже во второй строфе:

Дух пронзают острые пилястры,
Мрак ужален пчелами свечей.
О, сердца, расцветшие, как астры,
Золотым сиянием мечей!

поражает изобилие *п, р, с,* тогда как третья:

Свет страданья, алый свет вечерний
Пронизал резной узорный храм,
Ах, как жалят жала алых терний
Бледный лоб, приникший к алтарям!

как и последние две строки стихотворения "Знаю вас, священные кораллы на ладонях распростертых рук!", со своими *а, л* и *р*, независимо от всего прочего, создают картину почти физической предметности, чисто мистического переживания.

Но имеется немало и других, хотя, может быть, и менее массивных, но не менее ярких примеров умелого обращения Волошина со столь ответственным поэтическим орудием: "к соприкасаньям алых жал меня – Эдипа – ты послал"; "созвездий медленных мерцает бледный свет"; "здесь святых сияющие тени"; "шуршали шелесты струистого стекла"; "был стоптан стыд, притуплена любовь"; "звучит в горах, весну встречая, ручьев прерывистая речь"; "мой пыльный пурпур был в лоскутьях... я жил на людных перепутьях в толпе базарных площадей";

Плавны, как пение хора,
Прочь от земли и огней
Высятся дуги собора...

Или вот еще строчки, в которых насыщенность звуком соперничает с богатством красок: "рубины рдеют винных лоз, но я молюсь лучам лиловым"; "по нагорьям терн узорный и кустарник в серебре",

И гот теснил и грабил грека,
И грудь земли и мрамор плит
Гудели топотом копыт.

Или: "гнездо Гиад... и гвоздь огней – Плеяды... Великий Воз и зоркий Волопас".

Или сложность рифмовки некоторых его строф: abed abed ababeccbb – в строчках в 3-4 слога.

Не менее изысканны и интересны его рифмы: "мук вы – буквы", "приидем – невидим", "стынем – пустыням", "а я – края", "седых – дых", "Гея – змѐя", "звякнул – оракул", "место – Ореста", "явил – Сивилл", "иссякла – Геракла", "толпа мне – на камне", "взглянуть я – лоскутья". Или такая смелая рифмовка, как

Еще томит, не покидая,
Сквозь жаркий бред и сон – твоя
Мечта, в страданьях изжитая
И неосуществленная...

Хотя Волошин шутя и без малейшей натяжки справляется со всеми этими сложнейшими задачами, в его стихах нет ни следа нарочитой акробатики или даровой виртуозности.

6

Главные темы дореволюционной волошинской поэзии – искусство, фантастический, навеянный его крымскими и среднеазиатскими впечатлениями пейзаж, метафизика, главным образом (но не исключительно), штейнерианская. После Октября – и поэтическая журналистика о русской революции, доходящая до высот философии истории.

В его дореволюционных стихах искусство преобладает над всеми прочими сюжетами. Оно вдохновляет многие из наиболее бесспорных его тогдашних удач: "На всем бесконечная грусть увяданья осенних и медных тонов Тициана". Он отмечает и "шелки Веронезе", и "парчу Тинторетто", и "печальные и строгие" фрески Орканья.

Мало у кого можно найти такую серию лаконически-метких характеристик художников, как в этих строках:

Скрипучий шелк чеканных складок
Темно-зеленого Ватто.
Буше – изящный, тонкий, лживый,
Шарден – интимный и простой,
Коро – жемчужный и седой,
Милле – закат над желтой нивой,
Веселый лев – Делакруа...

А вот более обстоятельный, но не менее блестящий облик Фуке:

Ряды позорно некрасивых,
Разоблаченных кистью лиц.
В них дышит жизнью каждый атом:
Фуке – безжалостный анатом –
Их душу взял и расчленил,
Спокойно взвесил, осудил
И распял их в своих портретах.
Его портреты казнь и месть,
И что-то дьявольское есть
В их окружающих предметах
И в хрящеватости ушей,
В глазах и в линии ноздрей.

Или Одилона Рэдона:

Струится мрак и шепчет что-то,
Легло молчанье, как кольцо,

Мерцает бледное лицо
Средь ядовитого болота,
И солнце, черное как ночь,
Вбирая свет, уходит прочь.

Или о скульптуре Родена:

Как горек вкус земного лавра...
Роден навеки заковал
В полубезумный жест кентавра
Несовместимость двух начал.

Как только дело касается искусства, его, обычно столь бледная, любовная лирика оживает:

В янтарном забытьи полуденных минут
С тобою схожие проходят мимо жены...
В душе взволнованной торжественно поют
Фанфары Тьеполо и флейты Джиорджоне.

Весьма удачны эскизы его парижского цикла. Мало кто не только из иностранных, но даже из французских поэтов так остро уловил специфику города Парижа, как Волошин. Надо долго жить в Париже, насквозь пропитаться его атмосферой, для того чтобы так остро ее ощутить и *так* четко выразить:

Осень... Осень... Весь Париж,
Очертанья сизых крыш
Скрылись в дымчатой вуали,
Расплылись в жемчужной дали.

Или place de la Concorde:

Бездну зеркально-живую,
Ночью,
Ночью дождливой люблю я.

А вот образ, прямо напоминающий пейзажи Ренуара и Клода Моне:

Парижа я люблю осенний, строгий плен,
И пятна ржавые сбежавшей позолоты,
И небо серое, и веток переплеты –
Чернильно-синие, как нити темных вен.

Не менее удачно у него про Версаль:

Тропинка в парке между туй,
Прозрачный холод синей дали,
Безмолвье мраморных статуй,
Фонтан и кони Аполлона,
Затишье парка Трианона,
Шероховатость старых плит, –
(Там мрамор сер и мхом покрыт).
Закат, как отблеск пышной славы
Давно отшедшей красоты,
И в вазах каменных цветы,
И глыбой стройно-величавой –
Дворец: пустынных окон ряд
И в стеклах пурпурный закат.

Любопытная, но важная подробность: во всей поэзии Волошина, как до, так и после революции, полностью отсутствует *русская* природа. В его крымских пейзажах не только нет ничего русского, но суть их как бы именно подчеркивает их инобытие. Для русского поэта, да еще так любившего пейзаж, как Волошин, это по крайней мере странно. Не является ли эта любовь ко всему редкому, далекому, исключительному – другой стороной гоголевского отталкивания от пошлости? Для ищущей острых ощущений и переживаний души Волошина привычное легко становилось пошлым.

7

Настоящие, до мозга костей, Божьей милостью интеллигенты (если можно так выразиться: ведь бывают Божьей милостью поэты!) — привилегия России. Их в России не только количественно намного больше, чем в любой другой стране (что ныне уже стало общеизвестным), но среди этого количества (совсем недурного среднего уровня) особенно выделяются качественные вершины, почти что никогда не бывающие ни у какого другого народа. Особенно много их было и особенно высокого уровня они достигли как раз в эпоху Ренессанса, одним из достойных представителей которого был и М. Волошин.

Конечно, ни по дарованиям, ни по широте миросозерцательного охвата, ни по обширности познаний он все-таки не может сравниться с такими светилами, как, например, Вячеслав Иванов, который, хотя и ударился было в эрудицию, разросшуюся у него до устрашающих размеров, как раз и был, в первую очередь, подлинным поэтом; или как Андрей Белый и о. Павел Флоренский, у кого не знаешь, чему больше удивляться — всемогуществу их гения или беспредельности их познаний.

Но несомненно и Волошин принадлежал к их разряду и был вылеплен из того же теста, что и они. Среди нас, сегодня, он несомненно казался бы чудом природы и неисчерпаемым кладезем премудрости. Его глубокая, подлинная, врожденная культурность проявилась, конечно, и в его стихах, вышеприведенные примеры которых, думаем, не оставляют на этот счет никаких сомнений.

Но все-таки настоящая суть его ''я'' лежала в иной плоскости.

В конечном итоге, в многогранной, противоречивой личности Волошина интеллигент победил поэта и был, в свою очередь, побежден его русскостью. Все-таки Волошин понимал больше, чем мог, и был теоретиком больше, чем практиком. А русская стихия одержала в нем верх именно как непреодолимая сила, как это случилось и с Н. А. Бердя-

евым в последний период его жизни, хотя, конечно, и в совершенно иных формах.

Последние из дошедших до нас стихов Волошина – "Сказание об иноке Епифании" – остались скорее в стадии намерения. Русская церковь так и не стала для него такой же органической внутренней реальностью, как, например, для Тернавцева, тоже одного из великих и всеобъемлющих представителей культуры Ренессанса.

Если внимательно приглядеться к облику Волошина, при всей его неустойчивости две черты бросаются в глаза своим постоянством, сквозь все перемены, происшедшие с ним за его бурное существование: общая у него с Гоголем привязанность к искусству, даже вопреки его метафизической двусмысленности, и беспокойное искание правды. Он – вечно "духовной жаждою томим", мучается манящей его тайной мироздания и бытия и мечется из стороны в сторону – от древне-египетских мистерий к Бхагавад-Гите, от криптографии готических соборов к российскому расколу, от Штейнера к масонству.

Штейнерианство было основной привязанностью всей его трудной жизни. Без него вообще невозможно понять не только Волошина, но и весь этот последний, самый блестящий период мировой культуры, которым был русский Ренессанс 1890 -1920 гг. – последняя, ярчайшая вспышка человеческого гения, перед погружением в кромешный апокалиптический мрак исторических катастроф, в котором мы продолжаем барахтаться и поныне, не предвидя конца нашим испытаниям.

Продолжать отрицать или замалчивать наличие русского Ренессанса, как бы хотелось нынешним владыкам России и их приспешникам из свободного мира, стало уже невозможно. Не только из-за свидетельств Бердяева, Андрея Белого, Булгакова, Флоренского и других великих его соучастников или продолжателей, но и потому, что иностранные ученые, как Ло Гатто или Поджоли и другие им заинтересовались и о нем заговорили.

Это был период небывалого в истории кипения и интенсивности духовной жизни, широким потоком разливавшейся из столиц по провинции, достигая укромнейших закоулков огромной страны, всюду порождая отнюдь не провинциальные творческие искания и свершения, пробуждая жажду к знанию и к деятельности.

В крупных центрах обмен мыслями происходил на таком головокружительном уровне, что те, увы, весьма скудные и редкие остатки их, которые доходят до нас по отрывочным, случайно, часто по памяти, спустя много лет записанным воспоминаниям современников, потрясают своей яркостью и глубиной. Еще и поныне многое из рожденного в эти три титанические десятилетия даже и не снилось самым передовым среди духовных избранников свободного мира. Во всех областях творчества были тогда заложены основы того, что человечество теперь еще только ощупью разыскивает, не достигая и десятой доли широты охвата и силы замыслов, которыми в изобилии была наделена набиравшая высоту молодая русская мысль.

Не касаясь даже несравненных достижений философской мысли и художественной литературы, приведем только два примера: беспредметную живопись, до сих пор непревзойденные образцы которой были созданы в России за 40 лет до первого появления этого понятия на Западе, и социально-историческое творчество, выразившееся, в числе прочего, в небольшом по размерам, но до сих пор далеко не исчерпанном по содержанию сборнике "Вехи".

Бешеная ярость большевиков и их приспешников не только не смогла умалить значения высказанных в нем мыслей, но и помешать торжеству его идей в будущем.

Коммунистическая революция стала возможной, благодаря действию исторического закона распространения идей. Каждая идея в начале зарождается в уме только одного или очень немногих людей. При появлении ее понимают и разделяют весьма немногие единицы. Влияние ее распространяется медленно, постепенно захватывая все более широкие круги, все менее компетентных людей. Реализуется

идея обычно тогда, когда она достигла если не одобрения, то понимания большинства населения. Все происходит, как в стихотворении Баратынского, начинающегося строчкой: "Вначале мысль воплощена..."

Обычно ничто не может ускорить естественно медленного усвоения идеи косными, медленно мыслящими массами. Чем идея труднее и сложнее, тем дольше продолжается ее усвоение.

Революция 1917 года воплотила идеи шестидесятников, лишь к этому сроку достигнувшие сознания масс. Политические идеи Ренессанса, нашедшие частичное выражение в "Вехах", вышедших лишь в 1909 году, естественно были в начале достоянием лишь численно незначительного меньшинства. Хотя выдержанные сборником три издания все-таки указывают на живой отклик, встреченный им у тогдашней передовой интеллигенции. Все-таки его идеи не смогли достигнуть воплощения в политической реальности за те семь лет, которые отделяли его выход от революции. К этому надо, конечно, прибавить и войну 1914 года, сильно замедлившую распространение идей. Это все равно, как если бы мы ожидали политической реализации идей "Коммунистического манифеста" в 1856 году. Но подобно тому, как марксизм проделал свой путь к сознанию масс лишь к 1917 году, идеи "Вех" ждут своего часа и несомненно достигнут всеобщего признания и практического успеха в свое время, ныне, может быть, не столь уже отдаленное. И никакие силы не смогли воспрепятствовать постепенному их проникновению во все более широкие круги политически мыслящих людей, как в России, так и в свободном мире. Даже партийная анафема оказалась тут бессильной. "Вехи" остались основным, если не единственным источником новой социально-исторической мысли, которая приходит на смену непоправимо устаревшему марксизму. В них заложены, как в зародыше, все проблемы, которыми болеет современное человечество, напрасно искавшее их разрешения в коммунизме.

Сила высказанных в них мыслей состоит в том, что авторы

сборника сами прошли через марксизм и двинулись далее, вперед, оставив его позади как учение устаревшее и внутренне уже преодоленное.

В противоположность шестидесятникам и народникам, которые из всей мировой культуры удержали только близоруких и неизлечимо бездарных Бокля и Спенсера, если не считать более понаслышке известного, чем на самом деле знакомого Дарвина, да еще с Байроном, Гейне и Беранже в придачу (по части литературы), — горизонты Ренессанса простирались до пределов всего наиболее значительного, созданного человеческим гением всех времен и народов. Было также подвергнуто переоценке и русское культурное наследие, с возданием должного ценностям, пренебреженным революцией, — средневековой иконописи, современникам Пушкина, и Леонтьеву, и Аполлону Григорьеву.

8

По мере того, как проходит время и мы все лучше усваиваем все большее количество источников, а также в свете расширяющейся исторической перспективы, для нас яснее становится роль, которую сыграло в развитии русского Ренессанса учение великого немецкого мыслителя Рудольфа Штейнера.

К нему можно относиться как угодно — от фанатизма приверженцев, для которых каждое его слово — не подлежащая критике истина, до пренебрежительной насмешки тех наших современников, которые только слыхали его имя, но привыкли a priori не доверять учениям, возникшим в нашу эпоху, до предвзятой враждебности революционных кругов, чующих с этой стороны смертельную для себя опасность. Оно и понятно. Почти все течения, возникшие в XX веке и привлекшие к себе внимание при своем появлении, каждое в свою очередь, оказывались жульничеством, интригой каких-либо отнюдь не духовных организаций, если не просто безответственным мыльным пузырем. Почти все они несли в себе

зародыш стремления к власти, путем нахождения легкого ответа на любой вопрос на основе данного учения. Эта фальшивая усеченная универсальность делает каждое из таких учений непримиримым ни с каким иным образом мыслей и ни с каким человеком, не желающим полностью ему подчиниться.

Но в числе многого другого такое априорное недоверие постигло также некоторые учения, все-таки выдерживающие испытание временем, за которыми, в конечном итоге, приходится признать если не абсолютную ценность (всякие поиски дешевых абсолютных истин порочны по самой своей сути — абсолютен один только Бог и Его Слово, Священное Писание), то немалые ценности и заслуги относительные. Так было и с Бахофеном, и с Фрейдом, и со Шпенглером, и с Норбертом Винером. Так же случилось оно и с Рудольфом Штейнером.

Получение им права интеллектуального гражданства затрудняется еще и тем, что его (по вполне понятным причинам) отказываются признать те имеющие в "прогрессивных" кругах голос, кто все-таки иногда признает психоанализ или кибернетику: университетские левые профессора.

В день, когда обыватели усомнятся во всеведении и непогрешимости этих последних, многое в мире изменится, надо надеяться, к лучшему.

Наиболее добросовестные просто отказываются видеть в учении Штейнера что-либо иное, чем то, что есть во всех вообще существующих гностических системах, как современных, так и старых, вообще не пользующихся благосклонностью наших современников.

Но и в этой области не следует недооценивать творческие начала, которыми изобилует также учение французского метафизика Рене Генона, мысли которого продолжают питать творчество многих наиболее значительных представителей французской культуры и по сей день.

Нисколько не собираясь впадать в односторонность безусловных последователей — как и ни в какую иную ограниченную кружковщину, прекрасно сознавая границы и ошибки его учения, в значительной мере остающегося в плену представлений и настроений начала нашего века, нельзя не приз-

нать, что в лице Штейнера мы все-таки имеем дело с явлением исключительным.

Не говоря даже о том, что он сумел достичь совершенно невероятной уже в его время компетентности почти во всех, не только гуманитарных, но и естественных науках, во многих из них он проложил совершенно новые пути, большей частью и доныне еще не пройденные до конца. Многие из его идей и начинаний продолжают занимать лучшие умы нашей эпохи.

Но важнее всего, конечно, духовная основа его учения, которая с чрезвычайной силой сказалась на многих наиболее выдающихся представителях русского Ренессанса.

Не говоря уж об Андрее Белом или Максимилиане Волошине, которые были его ревностными последователями, его влияние заметно отразилось и на Вячеславе Иванове, и на Блоке, даже если последний ему временами сознательно противился, а может быть именно благодаря этому. Кленовский приводит ряд ярких примеров несомненного влияния Штейнера также на Ходасевича, Гумилева, Сологуба и многих других. Штейнерианцем был и мало известный, но значительный поэт Тихон Чурилин, близкий к старообрядчеству, поэт, которому еще предстоит признание в будущем. Определенные следы влияния Штейнера можно найти и в творчестве другого близкого к расколу великого поэта, Н. Клюева.

О прямом или косвенном влиянии штейнерианства на многих советских поэтов можно было бы написать длинное исследование – столько следов оно оставило в их творчестве, несмотря на, конечно, старательнейшую маскировку.

Немалое влияние Штейнер оказал и на русских поэтов за рубежом, особенно заметное у Божнева, Дряхлова и Кленовского.

Конечно, влияние это не было исключительным, как сам Волошин упоминает в одной из автобиографических заметок о Бхагавад-Гите; но, во-первых, учение Штейнера – не марксизм, предающий анафеме все и вся, кроме единого ”правоверного” и ”животворного” учения в данное время главенствующих заправил, а во-вторых, часто именно Штейнер первый пробуждал интерес к духовной проблематике.

К другим источникам оккультного ведения прибегали лишь наиболее образованные, большинство же довольствовалось трудами Штейнера.

Его влияние далеко не ограничивается одной только Россией. Им увлекались многие среди наиболее значительных поэтов первой половины XX века, во многих странах Западной Европы. В Германии Христиан Моргенштерн, может быть крупнейший из всех немецких поэтов после Гете и Гельдерлина, был личным другом Штейнера и членом основанного им общества.

Среди других крупнейших поэтов Запада, на которых особенно сильно сказалось влияние Штейнера, надо указать шведскую поэтессу Эдит Седергран, уроженку России, одно время колебавшуюся, на каком языке писать стихи: на русском, или на своем родном, шведском. Она еще застала последние вспышки пламени позднего Ренессанса и, возможно, еще принимала участие в собраниях русских писателей и мыслителей накануне революции и в первые годы после нее. Шведская критика признает ее крупнейшим из поэтов своего поколения, а может быть и всего XX века.

Что штейнерианство было делом жизни Волошина, может быть даже в большей мере, чем искусство, видно не только по его стихам, но и по глубокой перемене всего его образа жизни, начиная с наступления бедствий — сначала первой мировой войны, а затем и революции. Даже его поэзия претерпела коренную, почти внезапную перемену, о которой речь еще будет впереди.

Если бы уже со времен эстетизма духовные интересы не занимали в жизни Волошина господствующего положения, ничто не могло бы объяснить происшедшую под влиянием событий перемену его облика. И — отметим — хотя все тогдашние русские писатели были одинаково глубоко потрясены событиями, ни у кого другого мы не наблюдали такого крутого перелома, как у Волошина.

Это предположение подтверждается свидетельствами многих его современников, в частности, его первой женой, М.В. Сабашниковой-Волошиной, воспоминания которой, вышедшие

на немецком языке, ''Die Grüne Schlange'', принадлежат к числу наиболее значительного, что было написано о русском Ренессансе.

Марина Цветаева, особенно глубоко понявшая Волошина лично, в своем замечательнейшем очерке ''Живое о живом'' говорит, что его штейнерианство было ''самой тайной его областью'', о которой она ничего не знает, ''кроме того, что она в нем *была*, и была сильнее всего''.

В частности, звуковое богатство поэзии Волошина, на которое мы уже указывали, не просто случайность, а указание на близкое знакомство его с учением Штейнера о пластическом выражении звука – евритмии.

Согласно этому учению, каждому из звуков, существующих в природе, соответствует определенное движение человеческого тела. Звуки не случайные, а осмысленные и одухотворенные, составляющие музыку, определяются движениями пластически оправданными и выразительными. Евритмия – род балета, каждое движение которого строго соответствует каждому из звуков исполняемого текста.

Она отличается от обычного балета точностью детальной разработки всех элементов звука, даже мельчайшие, еле уловимые оттенки которого воплощаются в движениях исполнителя.

Искусство балетного режиссера бывает обычно евритмией в диком виде, ощупью и интуитивно более или менее удачно улавливающим тот или иной факт подлинного соответствия данного движения данному звуку.

По точности учета всех подробностей движения и звука евритмия больше напоминает японские но и ритуальные танцы хмеров и тибетцев, чем, например, классический или фольклорный балет Запада.

Евритмия применяется не только к музыке, но и к человеческой речи. Евритмисты исполняют литературные произведения, особенно театральные пьесы и поэзию, так же, как и музыку, причем определенное движение тела соответствует каждому звуку алфавита.

При этом замечено, что стихи, наиболее совершенные в звуковом отношении, дают также наиболее четкий и пласти-

чески гармоничный рисунок евритмических жестов. Он тем совершеннее, чем выразительней очертания и последовательность звуков стихотворения, одного за другим. Если исполняемые стихи хороши, то их евритмическое исполнение чем-то напоминает их смысл и общее настроение.

Таким образом, евритмия, помимо своих собственных, ей присущих художественных достоинств, является также почти безошибочным способом проверки ценности стихов: если получающийся рисунок соответствует содержанию стихотворения, подчеркивает и усиливает его, то, в большинстве случаев, стихи — настоящие. Если же между пластическим выражением звуков стиха и его смыслом оказывается противоречие или разнобой — иногда принимающий даже комические формы — т. е. если стихи евритмической поверки не выдерживают, то они и на самом деле художественно не удовлетворительны или не завершены.

Конечно, всякий внимательный и опытный в области поэзии читатель умеет, без всякой евритмии, проверить на слух звуковую ткань стихотворения. Нельзя, все-таки, не признать огромную долю наглядности, получаемую благодаря знакомству с пластическим выражением отдельных звуков. В частности, Станиславский особенно высоко ценил евритмию и часто ею пользовался, конечно, не называя ее по имени, чтобы не дразнить партийных гусей.

Стихи Волошина носят несомненный отпечаток усиленных занятий евритмией. Тем не менее, на евритмическую поверку они часто оказываются сумбурными и нестройными.

Однако евритмические перебои его поэзии порою бывают все-таки оправданы в каком-то ином, менее обычном плане, что указывает на исключительность, необщность, даже некоторую загадочность его духовного склада. Видно, что он не был таким, как другие, даже среди великих русских поэтов, что при больших слабостях и ошибках, при некоторых странностях, получалась мало привычная, весьма своеобразная картина, к которой трудно применимы наши обычные моральные и эстетические критерии.

Но не в одной только евритмии проявляется приверженность Волошина к штейнерианству. Ссылка на гнозис вообще мало что выясняет. Каждое из сколько-нибудь значительных гностических и иных учений, обладающих целостным миросозерцанием, имеет свою физиономию, свою особую, ему одному свойственную атмосферу, благодаря которой даже посторонние часто узнают его приверженцев или помещения, в которых происходят их собрания. Так, например, многие из нас узнают по одному только внешнему виду квакеров, буддистов, масонов или психоаналитиков – потому что долгое общение с каким-либо учением и на самом деле накладывает на человека свойственный ему отпечаток – в наружности, жестах, словах, поведении. До последней войны, когда коммунизм еще был идеалом, имевшим искренних, даже фанатических сторонников, а не был лишь путем к устройству легкой карьеры, как теперь, – и коммунистов часто можно было распознать по внешнему виду.

Это различие особенно заметно в области эзотерических учений. Несмотря на общность основных данных всякого духовного опыта и миросозерцания – потому что истина, по сути дела, одна – тут важна не только общая, не поддающаяся определенной формулировке "аура", но и *направленность* данного учения. Часто незаметные для непривычного глаза подробности космо- или антропологии, обычно вызывающие яростный спор между сторонниками не одинаковых учений, являются на самом деле исходной точкой очень различных практических выводов, а часто и противоположных всемирно-исторических целей.

Правы были старообрядцы, утверждавшие, что не из-за мелочей они разорвали с официальной церковью, что на первый взгляд незначительные подробности, вроде сложения перстов для крестного знамения, являются, на самом деле, штрихами чертежа, определяющими форму и размеры, соотношение пропорций и устройство всего строящегося здания. На основании малого чертежа строится огромный небоскреб. Из-за еле заметной на первый взгляд разницы в исполнении обрядов вырастает тот или иной стиль целой культуры.

Но также и представители официального православия, несмотря на свои разговоры об обрядоверии, отлично понимали, что дело идет не о мелочах, и тоже упорно отстаивали именно свои формы обрядов.

Каждая из бывших за всю историю человечества и из ныне существующих культур есть не что иное, как воплощение в разных областях жизни — в праве и в медицине, в богословии и в искусстве, в морали и в быту и т. д., тех или иных основных метафизических начал. И отличаются культуры одна от другой, вплоть до смертельной вражды и кровопролития, тоже главным образом из-за разницы в этих своих основных принципах.

Тут правы не наши равнодушные современники, недоуменно пожимающие плечами перед лицом принципиальных споров, не имеющих для них никакого значения, а фанатики, охотно жертвующие за них своей и чужой жизнью.

Ведь любой из наших современников понимает хотя бы, например, разницу между православными, католическими и протестантскими народами. Grosso modo католиками остались латинские, а православными славянские народы. Германские же стали протестантами. Но религиозная принадлежность часто оказывается сильнее племенных близостей или различий. Так, например, православные греки или румыны психологически ближе к русским и более на них похожи, чем единоплеменные, но иноверные поляки или чехи, более похожие на германцев или на латинян.

Всякий, кто в этих странах жил, меня поймет и сам наверное все это заметил.

Поэтому, тот факт, что гнозис Волошина штейнерианский, а не масонский, раскольничий или ведантистский, хотя он этими учениями тоже близко интересовался, весьма показателен и важен для понимания Волошина — человека и поэта.

Что штейнерианское начало перевешивало у Волошина все его остальные оккультные искания, видно хотя бы из того, что, несмотря на его активное участие в масонстве, в его стихах сравнительно мало следов масонской специфики, тогда

как штейнерианская — на каждом шагу, если угодно — даже сплошь да рядом.

Любопытно, что, например, в стихотворении, так явно навеянном масонскими впечатлениями, как "Подмастерье":

Нет грани меж прозой и стихом:
Речение,
В котором все слова притерты,
Пригнаны и сплавлены
Умом и терпугом, паялом и терпеньем,
Становится лирической строфой...

— он пользуется преимущественно образами и понятиями штейнерианства. Оно выглядит, как свидетельство штейнерианца о масонстве, пусть даже глубоко, по личному опыту с масонством знакомого:

Увидишь ты, что все явленья —
Знаки,
По которым ты вспоминаешь самого себя,
И волокно за волокном сбираешь
Ткань духа своего, разодранного миром.
Когда же ты поймешь, что ты не сын Земли,
Но путник по вселенным,
Что Солнце и Созвездья возникали
И гибли внутри тебя,
Что всюду — и в тварях и вещах — томится
Божественное Слово,
Их к бытию призвавшее...

То же можно сказать и об его отношении к индуизму:

С грустью принимаю
Тягу древних змей:
Медленную Майю
Торопливых дней.

Или:

Некий встал с востока
В хитоне бледно-золотом
И чашу с пурпурным вином
Он поднял в небо одиноко.
Земли пустые страшны очи.
Он встретил их и ослепил,
Он в мире чью-то кровь пролил
И затопил ей бездну ночи...

— где карма трактуется в ее штейнерианском восприятии, хотя и на основе древне-индусских данных. Таково же его отношение и к католицизму, тем не менее основанное на глубоком познании и многолетнем общении с ним:

... А внизу глубоко в древнем храме
Вздох земли подъемлет лития.
Я иду алмазными путями,
Жгут ступни соборов острия.
Под ногой сияющие грозди —
Пыль миров и пламя белых звезд.
Вы, миры, — вы огненные гвозди,
Вечный дух распявшие на крест.

Волошин ощущает католицизм настолько остро и непосредственно, что я сам долгое время считал его католиком, прежде чем узнал, что он штейнерианец.

И так оно продолжалось долгое время после перелома, наступившего с революцией 1917 г. Во время первой мировой войны, согласно с учением Р. Штейнера, Россия "враждующих скорбный гений братским вяжет узлом". Отсюда же многие из прозрений "Ангела Времен".

Во всех этих текстах хотя и видно глубокое и подлинное знакомство Волошина со всевозможными духовными учениями, он их все-таки рассматривает через призму штейнерианства, составляющего основную ткань — и смысловую, и сло-

весную — всей его дореволюционной и значительной части позднейшей поэзии.

Для практических выводов из тех или иных метафизических предпосылок штейнерианства особенно важен вопрос о перевоплощениях. Как известно, три основные великие христианские религии, на основании решения Никейского собора, осудившего и Оригена, и гностиков, отрицают признаваемое всеми остальными (по крайней мере из числа мне известных) религиями человечества учение о перевоплощении. Если в одних (ведантизм, буддизм, манихейство) оно составляет основную сущность всего остального, то в других, у которых центр тяжести в иных проблемах (еврейство, античное язычество, ислам, таоизм), все-таки дожизненная и посмертная судьба человека остаются в живом взаимодействии с его нынешней земной жизнью.

Без учения о перевоплощении как история человечества, так и земная судьба каждого из нас становятся вопиющей бессмыслицей, единственным отводом от которой остается не всегда состоятельная и в общем неопределенная ссылка на тайну божественных велений.

И никогда не дается богословски хоть сколько-нибудь определенный ответ на вопрос о том, какая же это, в конечном итоге, всеобъясняющая "тайна"?

Выходит, будто глубочайшая эзотерика самого христианства все-таки основана на перевоплощениях, но о них не говорится открыто, чтобы не смущать малых сих касательно исключительности явления богочеловечества. Возможно, что Ориген и гностики были осуждены не за свое учение, а за его обнародование.

Тем не менее, за всю историю христианства постоянно прорывались (обычно сурово преследуемые властями предержащими) секты, признающие перевоплощение, от богомилов и альбигойцев, до Мейстера Экхардта, Якова Беме, российских хлыстов, а в наши дни и Рене Генона и Рудольфа Штейнера.

Человеческая душа испытывает в учении о перевоплощении острую потребность (почти столь же насущную, как уверен-

ность в существовании Бога), которую плохо удовлетворяет официальная теория о вечных муках и вечном блаженстве. Трудно понять, каким образом краткий миг пребывания на земле необратимо и непоправимо, раз навсегда, определяет последующую вечность, не подверженную никаким переменам. Спрашивается, почему именно этот короткий отрезок бытия души является определяющим для всего дальнейшего?

Практические последствия такой установки очень важны: если данный нам короткий отрезок пребывания на земле определяет собою все последующее на веки вечные, то он приобретает, тем самым, исключительную важность и значительность.

Это и дало европейской, основанной на Библии (которая для еврейства – книга экзотерическая) культуре свойственную ей чрезвычайную динамичность и интенсивность, приведшую к наступившим, начиная с Реформации, все убыстряющимся переменам и продолжающую нас вести к далеким, грандиозным, еще неведомым целям.

Неслыханная в истории человечества метаморфоза, многими называемая "европейским чудом" последних столетий, есть последствие отказа от учения о перевоплощениях, во всяком случае ограниченности его распространения.

Но вот мы-то как раз и стоим перед лицом новых, иных времен. Мы уже испытали не только огромные преимущества, но и ужасающие опасности технического прогресса. Мы понимаем, что необходимо – не обуздать, но очеловечить его, свести циклопические калибры машины к нашим человеческим измерениям – иначе она пожрет все живое, и нас самих в том числе.

Вот тут мы снова приближаемся к перспективам иной, одновременно и всеобъемлющей, и более человечной культуры, связанной с модернизированным и приспособленным Штейнером к современному религиозному сознанию учением о перевоплощении.

Конечно, им дело не ограничивается. В дальнейшем человечество сможет почерпнуть еще немало новых, далеко идущих и далеко ведущих идей и в Кабале, и в суфизме, и в

тибетском ламаизме, и в новооткрытых учениях коптского и эфиопского гностицизма, и, наконец, у воскрешаемых теперь ацтеков, майя и иных народов до-колумбийской Америки. Но не станем забегать так далеко вперед.

Далеко не всегда увлечение Волошина штейнерианством приносило художественно ценные плоды. Волошин ему уделяет слишком много места. Его постоянные намеки на мало кому известную символику утомляют и как бы замедляют ход живой поэтической речи, которая спотыкается и путается среди всех этих сложностей. Это и делает некоторые места поэзии Волошина не до конца ясными, как и вездесущая хлыстовская эзотерика у Клюева.

Вместо того, чтобы выработать свое собственное миросозерцание, Волошин предпочел менее рискованный и менее ответственный путь присоединения к одному из уже существующих учений. Это – безусловно слабость.

Многие его стихи касаются перевоплощений: ”все мы умерли где-то давно... все мы еще не родились”, ”в эти дни душа больна одним искушением – развоплотиться”, ”нерастворимо в смерти ”я”, я был, я есмь, я буду снова! Предвечно странствие мое”, ”дух, воплощаясь, в чреве строит тело”;

Да, я помню мир иной –
Полустертый, непохожий,
В вашем мире я – прохожий,
Близкий всем, всему чужой.
Ряд случайных сочетаний
Мировых путей и сил
В этот мир замкнутых граней
Влил меня и воплотил.

Эти цитаты очень легко было бы умножить, особенно если к ним присоединить те многочисленные волошинские тексты, в которых он на перевоплощения только намекает. По приведенным отрывкам видно специфическое для штейнерианства воспоминание о прошлых жизнях, уже проведенных нами на земле, до нашего теперешнего рождения. Оно встречается

и во многих других гностических учениях, но штейнерианство направило особые усилия на уловление этих воспоминаний для установления непрерывной нити сознания, идущей не только в будущее, но и в прошлое. Некоторые упражнения штейнерианской аскезы, основы которой изложены в его знаменитой книге "Wie erlangt man Erkenntnis höherer Welten", направлены к этой цели. Волошин идет от смутного: "после долгих лет скитанья нити темного сознанья привели меня назад", или:

Мы заблудились в этом свете.
Мы в подземельях темных. Мы
Один к другому, точно дети,
Прижались робко в безднах тьмы...

– до начала какого-то прояснения:

Наш горький дух... (И память нас томит)
Наш горький дух пророс из тьмы, как травы,
В нем навий яд, могильные отравы.
В нем время спит, как в недрах пирамид.

Иной раз он по тону напоминает Баратынского:

О, вещий голос темной крови!
Я знаю этот лоб и нос,
И тяжкий водопад волос,
И эти сдвинутые брови...

Не отсюда ли рождается то, что мы привыкли называть любовью? Не есть ли любовь усилие отгадать кого-то другого, уже где-то нами встреченного в прошлом? "Не меня ты во мне обнимала, не тебя я во тьме целовал", и "ты кого-то другого любила, и к другой мое сердце рвалось". Но "расплескали мы древние чаши, налитые священным вином", и

Но смертным и богам отверст различный вход:
Любовь – тропа одним, другим дорога – горе.

И каждый припадет к сияющей амфоре,
Где тайной Эроса хранится вещий мед.

Помимо этой посторонней проблематики, Волошин разделяет со своим учителем и его теорию красок как отображения духовных реальностей: "лампу Психеи несу я в руке – синее пламя познанья". В данном случае выбор синего цвета объясняется не каким бы то ни было чувственным восприятием или его метафорическим соответствием, а только его символическим значением.

Этика Волошина тоже носит специфически штейнерианский характер: "не противьтесь злому проникнуть в вас: все зло вселенной приняв в себя – собой преобразить должно".

Точно так же и его философия истории:

Грядущее – извечный сон корней:
Во время революций водоверти
Со дна времен взмывает старый ил
И новизны рыгают стариною.

Или:

... Поверить в мудрость
Пролитой крови!
Дозволь увидеть
Сквозь смерть и время
Борьбу народов,
Как спазму страсти,
Извергшей семя
Внемирных всходов!

Легко можно было бы привести еще сколько угодно других примеров глубокого приобщения Волошина к штейнерианству, вошедшему в его кровь и плоть, более чем какое бы то ни было из знакомых ему учений. Но думаем, что и приведенного достаточно. Ограничимся еще одним, особенно показательным и ярким примером. Даже после революции,

в поэме, в которой Волошин явно делает большое внутреннее усилие, чтобы приблизиться и словом, и духом к традиционному православию – "Святой Серафим", в гл. 6-й, посвященной классификации смущающих схимника бесов и способов борьбы с ними, отметим оптику, с которою он подходит к "Добротолюбию":

Сатана
Исказил гниением и смертью
Божий мир;
И, плотию земною
Сам себя связав, –
Он должен
Вместе с ней спастись, или погибнуть.

Значительно реже встречаются у Волошина следы влияния иных духовных учений, например, Мейстера Экхардта:

Беги не зла, а только угасанья;
И грех и страсть – цветенье, а не зло:
Обеззараженность отнюдь не добродетель.

Или Кабалы: "плоть человека – свиток, на котором отмечены все даты бытия"; или индуизма; или хотя бы великолепный всеобъемлющий гностический символ из первой главы стихотворения "Космос".

Его поздние широкие полотна, стилизованные под православие, как "Аввакум", "Святой Серафим" или "Сказание об иноке Епифании", не должны нас обманывать умением автора выдержать поэму в определенном стиле, не только словесном, но и внутреннем. При внимательном чтении становится ясно, что экзистенциально Волошин православным не был. Я бы его охарактеризовал как штейнерианца, прошедшего через масонство и старающегося стать православным, но все-таки невольно, на каждом шагу оказывающегося штейнерианцем. И тут, за неимением места, мне придется ограничиться ссылкой на уже приведенные тексты, думается мне, достаточно на этот счет определенные.

9

Не будь революции 1917 года, мы бы, вероятно, имели в лице Максимилиана Волошина поэта углубленного гнозиса, тем далее уходящего в метафизические дебри символов, чем более его словесное искусство продвигается вперед по пути совершенства.

Но судьба решила иначе. Условия, в которые история поставила поэта, грандиозные события, свидетелем, участником и жертвой которых она его сделала, настолько сильно преобразили его поэтическое творчество, что на первый взгляд может показаться, что, начиная с войны 1914 года, появился совершенно новый, иной поэт, ничего не имеющий общего с прежним, только намного более значительный, чем предыдущий. На такой точке зрения стоит даже такой изощренный критик, как Д. П. Святополк-Мирский, который пишет: "Voloshin... might almost be counted among the minor poets were it not for his poems on the Revolution, but these are so interesting as to require more than a mere mention".

На самом деле, это, конечно, не так. Даже приведенные нами до сих пор по иным поводам примеры достаточны для того, чтобы заметить, что мы имеем дело с развитием того же самого поэтического искусства, только со слегка подновленными средствами и на иные сюжеты. Надвинувшиеся события он освещает со все тех же своих прежних теоретических позиций. Продолжается это медленное, естественное созревание, порою немного нарушаемое публицистически заостренной страстностью. В 1918 году он пишет такие строки, мало отличимые от его парижских стихов:

Ныряли чайки в хлябь морскую,
Клубились тучи. Я смотрел,
Как солнце мечет в зыбь стальную
Алмазные потоки стрел.

Действительно до неузнаваемости полная метаморфоза всей творческой личности поэта – явление крайне редкое, чаще

всего все-таки объяснимое нашей неосведомленностью обо всех промежуточных этапах его развития.

Тем не менее пореволюционное творчество Волошина представляет не только художественный, но и огромный человеческий интерес. Оно в высшей степени показательно для умонастроения передовой русской интеллигенции тех лет, а значительность личности самого Волошина делает его одним из знаменательных откликов русского человека на революцию.

Каждый поэт Божьей милостью реагирует на все происходящее, в первую очередь, как поэт. Молчание Блока, переставшего слышать музыку событий, знаменательнее медиумических метаний "Двенадцати" или целеустремленной риторики "Скифов". Отчаяние Есенина обновило его метафорику, прежде чем снизиться до обывательской банальщины. В поэзию Цветаевой революция вплелась добавочной хроматической нитью, дополняющей взволнованность и сложность ее словесного рисунка. Мандельштаму революция открыла путь к творческому хаосу псевдоклассической оды, Хлебникову – к простоте разговорного языка, Пастернаку – к непочатому источнику метафорического материала – повседневности. Каждый из них по-своему улавливал свойства вынесенной на поверхность языковой руды взорванного революцией российского космоса.

У Волошина пробудился до тех пор дремавший словесно непритязательный, но духовно напряженный публицист – по нашему скромному мнению, намного сильнейший среди всех публицистов русской поэзии. И хваленому Некрасову далеко до него, как до звезды небесной. А отдельные вспышки негодования Мандельштама или Хлебникова, при всей их чистоте и яркости, чересчур редки. Только один Клюев может в этом отношении сравниться с Волошиным, хотя он и использовал совершенно иной регистр, ничего общего не имеющий с интеллигенцией.

Ради неприкрашенно протокольного изложения правды Волошин отказывается от поэтического претворения действительности, которая, тем не менее, нисколько не теряет

своей убедительности. Он поднял на уровень поэзии новую, грандиозную тематику во всей ее неприкрашенной свирепости. Его гностически окрашенная журналистика (что уже само по себе интересно, независимо ни от какой теории) трепещет пламенем потрясенного страданием и состраданием большого сердца.

Слово победило у других – у Белого, у Хлебникова, у Клюева. Они нашли и выработали новый, свойственный эпохе и обусловленный ею язык, слова которого были бы по плечу событиям. Конечно, о предельных страданиях и о небывалых горизонтах потрясенного мира Волошин не смог продолжать писать своим прежним языком изощренного словесного ювелира, но вместо того, чтобы приступить к созданию нового, он обратился к натурально ему свойственной рифмованной или нерифмованной полупрозе Божьей милостью русского интеллигента.

Его стихи этой эпохи обладают опасным преимуществом – они интереснее своим содержанием, чем своим словом. Это засилие смысла рискует сделать их пресными для грядущих поколений, когда обуревающее нас и Волошина содержание потеряет свою жизненную остроту и останется просто историей, как для нас Реформация или Наполеоновские войны.

Но этот же напор на содержание придает его стихам непобедимую силу подлинной правды и безоговорочной правдивости, продолжающей нас потрясать в огненных инвективах Агриппы Добинье, хотя вызвавшие их религиозные распри уже давно перестали потрясать умы.

В конце концов – важны не литературные жанры, а качество писателя. Качество же Волошина – великое, даже если бы он не был поэтом в том же смысле слова, что и Хлебников, Блок или Сологуб. К этому надо прибавить еще и весьма редкое и высокое качество его человеческой личности.

На подлинное пророчество, всегда включающее и поэзию, – у него не хватило зарядки. Он реагировал на события прежде всего как человек, хотя и умный и много знающий. Волошин дает волю своему негодованию, гневу, отчаянию, ищет спасения, мучительно доискивается смысла происходящего,

всматривается, колеблется, спорит сам с собой. В результате получился ряд стихотворно высоко квалифицированных текстов, полных красноречия и глубокомысленных философско-исторических раздумий, как в "Ангеле Времен" или:

Так дай же силу
Поверить в мудрость
Пролитой крови!
Дозволь увидеть
Сквозь смерть и время
Борьбу народов,
Как спазму страсти,
Извергшей семя
Внемирных всходов!

В этом существенная разница между публицистическими стихами Волошина и другого поэта, тоже вступившего в спор с революцией, – Н. Клюева. Острота клюевской анти-партийной полемики – в ее словесном составе, в ослепительном контрасте иконописно-прозрачной сельской идиллии с ядовитой наносной пошлостью пригородного, развороченного революцией жаргона. В их несовместимости – взрывчатая сила и убедительность лучших стихотворений из "Красного рыка" и "Львиного хлеба". Для Клюева революционная трагедия разыгрывалась в первую очередь в области слова. Хлебникову, Мандельштаму и Клюеву удалось то, на чем Волошин сорвался: синтез высокой культуры слова с новым страшным содержанием.

У Волошина красочно-геральдический словарь его ранней лирики, еще столь сильно ощутимый, например, в "Ангеле Времен", все чаще уступает место почти рассудочной прозе, порою лишь едва поддерживаемой схематической тканью белого стиха, как в миросозерцательно столь насыщенном цикле "Путями Каина".

Любопытно, что удачнее всего он там, где стиль наиболее близок к прозе, а не к орнаментальной пышности его первой манеры. Например, стремительный ритм и избегающая метафоры афористическая выразительность "Северовостока" близ-

ки к блоковскому третьему тому, а порою даже еще более отточены:

В этом ветре — гнет веков свинцовых,
Русь Малют, Иванов, Годуновых —
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса —
Чертогона, вихря, свистопляса —
Быль царей и явь большевиков.

Иные его формулировки хлещут читателя язвительной силой своей остроты:

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах — дух самодержавья,
Взрывы революции — в царях.

Возможно, что если бы Волошин настойчивее придерживался этой линии, ему бы и удалось создать свой личный стиль для революционной поэзии, подобно тому, как Сологуб достиг его путем усиления классических элементов, свойственных его прежнему творчеству. Но метания и острота душевных переживаний Волошина не давали ему устояться как поэту — стихия его уносила все время в разные стороны, прочь от словесных исканий.

Расцвет лично ему свойственных поэтических возможностей еще не наступил. Как поэт, Волошин созрел и нашел себя лишь гораздо позже — после "Путями Каина", когда стало возможно говорить о его третьей манере, о которой подробнее речь будет впереди.

Надо учесть также и факт, что наступившие события в значительной мере способствовали вытеснению у Волошина чисто поэтических интересов в пользу мистики и оккультизма.

В его лице мы касаемся крайне сложного и мало изученного вопроса: преломления штейнерианства сквозь призму русского духа и русской судьбы. Как известно, Р. Штейнер

отводил России в своей философии истории чрезвычайно интересную роль. Ей предстоит занять центральное место в культурном цикле, который придет на смену германо-англо-саксонскому, включающему и США, до сих пор возглавлявшему свободный мир. Естественно, эта грядущая славяно-русская культура будет, по взглядам Штейнера, настолько же выше до сих пор руководившей германо-англо-саксонской, насколько эта последняя была выше своей греко-латинской предшественницы. Славяно-русской мировой культуре предстоит всамделишная реализация одухотворения мертвой природы. Н. А. Тургенева в своей во многих отношениях пророческой статье "Пути истории", опубликованной в 1932 году в "Утверждениях", говорит о ней: "Час России наступит. История перед концом своим не может не стать всемирной, точней, — всеземной. Азия и Америка войдут в нее, и центром земли между духовным западом и востоком будет Россия. Ее миссией будет — впитав все достижения настоящего цикла — создать из них семя будущего, пронести его сквозь войну всех против всех и дать начало новому дню человечества... В свой час, на почве добытых Европой Свободы и Знания, найти новую форму, *Жизнь,* — является будущей задачей России".

Волошин на своем личном опыте пережил первое столкновение с историческим ураганом, после окончания которого мировая русская культура вступит в силу. Тут он перекликается с (в столь многом от него столь отличным) Андреем Белым:

В эти дни не спазмой трудных родов
Схвачен дух: внутри разодран он
Яростью сгрудившихся народов,
Ужасом разъявшихся времен...

Андрей Белый тоже прошел через глубокое соприкосновение с штейнерианством. Сегодня может быть еще преждевременно подводить итог этому во всяком случае весьма значительному явлению истории русской культуры, но стоит уже о нем упомянуть.

Из стихов Волошина о революции можно извлечь целую философию истории, особенно русской, лишь некоторыми своими сторонами упирающуюся в теории его учителя, в основном же выстраданную им самим из-за стрясшейся над его родиной беды. Его покорность в принятии содеянного зла доходит до мазохизма: ”жгучий ветр полярной Преисподней – Божий Бич, – приветствую тебя!”

Что для Волошина центр тяжести оставался в самой жизни, по отношению к которой поэзия была только эпифеноменом, видно хотя бы из принятого им и бесстрашно-последовательно проведенного в жизнь решения спасти возможно большее количество человеческих жизней. По сути дела, решение это было героическим по замыслу, требующим захватывающей дух смелости для выполнения. Речь шла не более и не менее как о нахождении общего знаменателя между коммунизмом и свободой. А ведь до сей поры его никто на свете еще не нашел. Волошин поставил себе задачу небывалой, почти что непреодолимой трудности и блестяще ее разрешил. Позиция Волошина была диаметрально-противоположной трусливому и лицемерному соглашательству с обидчиком и непримирима по отношению к нему. Дело шло о настоящем, бескомпромиссном, укорененном в духовной реальности общем знаменателе.

Уничтожающее осуждение Волошиным коммунистической теории и практики настолько очевидно, что не имеет никакого смысла на нем останавливаться – достаточно прочесть любое из его публицистических стихотворений этого времени. Но его общий знаменатель исключает, или, вернее, берет в скобки, всякую теоретическую оценку столкнувшихся мировоззрений, вынося за них то, что для него самого является самым ценным: человеческую личность. Человек, даже одержимый демонами революции, остается тем не менее человеком, и как такового его можно и следовательно необходимо спасти.

Тем более нужно спасти человека, против демонов сражающегося, даже если в пылу борьбы он сам попадает под влияние темных сил и становится их бессознательным орудием.

Более того, опыт показывает, что самым неутомимым, яростным и бескомпромиссным противником коммунизма и

борцом против него становится обычно именно тот, кто сам прошел через соблазн революции и на собственном опыте убедился в его несостоятельности. При условии искренности и честности с собой, всякий коммунист — потенциальный ликвидатор большевизма. Любопытно было бы проследить последующую судьбу спасенных Волошиным коммунистов — я уверен, что она полна невероятных и чрезвычайно поучительных историй. Будем надеяться, что она будет записана, прежде чем станет слишком поздно собирать необходимые свидетельства и документы. Он спасал будущих жертв Ежова и противников Сталина.

Конечно, Волошин при этом не избежал колебаний и ошибок, на которых с такой злорадной готовностью останавливается Бунин в своих воспоминаниях. Но это было, пожалуй, неизбежно. Для нас же важны не они, а достигнутые результаты: не только спасенные жизни, но и незабываемый пример личной и исторической установки, открывающей бесконечные перспективы перед каждым из нас.

На юге России, в период особенно ожесточенной борьбы, кровавых расправ Бела Куна и многократного перехода власти из одних рук в другие, Волошин у белых хлопотал за осужденных на смерть красных, и наоборот:

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Вот истинно великий вклад Волошина в историю человечества. Я уверен, что его пример не забудется никогда.

Ежеминутно рискуя головой (как могло такое поведение не показаться подозрительным даже наиболее снисходительным представителям обоих лагерей?), Волошин правильно делал ставку на человечность даже самых бесчеловечных извергов, при самых критических обстоятельствах.

Тот факт, что он победил, т. е. выжил, доказывает правильность его расчета. Значит можно, значит нужно отличать

человека от его партии, защищать его от самого себя, от его поглощенного политической страстью ”я”.

Для меня волошинский подвиг выглядит так: надо было спасать не только и не столько того, чья жизнь была в опасности, а и того, кому грозило стать убийцей. Надо было спасать людей из расползавшегося жирным пятном кровавого беспамятства террора, из которого большинство из них не имело сил, а зачастую и желания вырваться.

В застигшей его смуте Волошин видит диалектическое противоречие царившему до нее ”последнему часу всемирной тишины”, и смута, в свою очередь, выстрадает свою противоположность — будущее духовное совершенство ”шестой культуры” славянства:

Много было их — люты, хоробры,
Но исчезли — ”изникли как Обры”,
В темной распре улусов и ханств,
И смерчи, что росли и сшибались,
Разошлись, растеклись, растерялись
Средь степных, безысходных пространств.

Уже упомянутый нами цикл ’Путями Каина” занимает, пожалуй, центральное место в пореволюционном творчестве Волошина. Он состоит из 14-ти написанных белым стихом глав, каждая из которых разделена на семь неравной величины отделов. Тут автор почти систематически излагает свое понимание событий, мало заботясь о красоте слова, а в первую очередь добиваясь ясности и убедительности. Это — не столько стихи, сколько философский трактат в слегка повышенной ритмом прозе.

Это — картина постепенного скольжения человечества ко злу, незаметного, но неукоснительного перехода от созданного Богом мира к кошмару тоталитарного государства, наступление которого Волошин предвидел во всех подробностях, еще при его зарождении и хаосе первых лет революции. Человек добровольно сдался на милость им самим раскрепощенных, сорвавшихся с цепи стихий огня и логики. Уже с дав-

них пор поэт ощущал враждебность техники человеку:

Я слышу гул идущих дней,
Я полон ужаса вещей
Враждебных, мертвых и зловещих,
И вызывают мой испуг
Скелет, машина и паук.

Эти стихи были им написаны в 1904 году.

В основе всего – своеобразная диалектика гетевского зла, непреднамеренно, помимо ведома человека, творящего добро.

... утверждает Бога мятежом,
Творит неверьем, строит отрицаньем,
Он зодчий, но его ваяло – смерть,
А глина – вихри собственного духа.

Глубоко проникая в самую суть творящих мироздание сил, поэт оказывается по ту сторону добра и зла. С логической необходимостью одно явление вытекает из другого, приводя к самым непредвиденным последствиям. Так, довольно неожиданно, но неотразимо порох

Низвергнул знать, воздвигнул горожан,
Творя рабов свободного труда
Для равенства мещанских демократий.

Потому что:

Честь, сила, мужество – бессмысленны.
Теперь последний трус стал равен
Храбрейшему из рыцарей...

Тот же огонь, который положил начало добру, –

С тех пор, как Агни рдяное гнездо
Свил в пепле очага – пещера стала храмом,

Трапеза — таинством, огнище — алтарем,
Домашний обиход — богослуженьем.
И человечество питалось и плодилось
Пред оком грозного взыскующего Бога.
А в очаге отстаивались сплавы
Из серебра, из золота, из бронзы:
Гражданский строй, религия, семья...

— тот же огонь родил пар:

Лишь век назад хозяин догадался
Котел, в котором тысячи веков
Варился суп, поставить на колеса
И, вздев хомут, запрячь его в телегу...

В результате чего

Он человеческому торсу придал
Подобие котла, украшенного клепками;
На голову надел дымоотвод,
Лоснящийся блестящей сажей; ноги
Стесал как два столба, просунув руки в трубы,
Одежде запретил все краски, кроме
Оттенков грязи, копоти и дыма,
И, вынув души, вдунул людям пар.

В конце концов "на месте Агни воцарился взрыв", который тоже, после целого ряда еще неведомых метаморфоз, может обернуться неожиданным добром.

Одна из главных опасностей — Разум.

Есть творчество навыворот, и он
Вспять исследил все звенья мирозданья,
Разъял весь мир на вес и на число,
Пророс сознанием до недр природы...

Уйдя от "довременных снов сознанья" и связанного с ним ясновидения, человек доверился разуму, и "перед ним стихии

разложились", хотя он их так и не осилил. Символизируемая мечом справедливость — сомнительная сила на границе между добром и злом:

Не справедливость ли была всегда
Таблицей умноженья, на которой
Труп множили на труп, убийство на убийство
И зло на зло?

Все бедствия, ныне сыплющиеся на голову человечества как из рога изобилия, были предусмотрены поэтом в стихотворении "Пророк" с воистину галлюцинационной зоркостью. Тут и психологическая война — "Насилье истиной гнуснее всех убийств", — тут и положение человеческой личности в тоталитарном строе — "Среди рабов единственное место, достойное свободного — тюрьма!", — тут и глубокая диалектика революции — "Не в равенстве, не в братстве, не в свободе, а только в смерти — правда мятежа".

Выход Волошин видит в духовности, близкой по настроению к Мейстеру Экхардту: "Единственная заповедь: "Гори!"...

Беги не зла, а только угасанья;
И грех и страсть — цветенье, а не зло,
Обеззараженность отнюдь не добродетель.

Цикл этот силен яркостью отдельных формулировок и силой обобщения, которая есть разновидность духовного зрения: "Животные и звезды — шлаки плоти, перегоревшей в творческом огне". Человек

Преобразил весь мир, но не себя —
Он заблудился в собственных пещерах
И стал рабом своих же гнусных слуг.

Подобно гетевскому ученику чародея, для него оказалось

Освободить и разнуздать не трудно
Неведомые дремлющие воли:
Трудней заставить их повиноваться...

И при этом "к извечным тайнам подобрал ключи и выпустил плененных исполинов".

Верх зла – Государство. Ему посвящена и словесно самая яркая глава цикла. В нем волошинский гнозис достигает подлинного пророчества. То, что при его возникновении могло показаться парадоксальным, стало неотразимой действительностью наших дней:

Судия,
Как выполнитель Каиновых функций,
Непогрешим и неприкосновенен.
Убийца без патента – не преступник,
А конкурент: ему пощады нет:
Кустарный промысел недопустим
В пределах монопольного хозяйства...

И даже:

Из всех насилий, творимых человеком над людьми,
Убийство – наименьшее, тягчайшее же – воспитанье...

И дальше: "Смысл воспитанья – самозащита взрослых от детей".

Его беспощадное разоблачение сути наступающего тоталитарного ада достигает вершины в полных сдержанной иронии строках:

Государство
Имеет монополию на производство
Фальшивых денег. Профиль на монете
И на кредитном знаке герб страны –
Есть то же самое, что оттиск пальца
На антропометрическом листке:
Расписка в преступленьи...

И он заканчивает свою острую, но правдивую картину нашей действительности:

Благонадежность, шпионаж, цензура,
Проскрипции, доносы и террор —
Вот достижения и гений революций!

Ничего более меткого и более неотразимого *против* революции еще никогда сказано не было!

Конец он видит в яркой картине Страшного Суда:

И каждый внутри себя увидел солнце
В зверином Круге... ...И сам себя судил.

Но он не исключает самого себя из рокового целого:

Я сам огонь. Мятеж в моей природе.
Но цель и грань нужны ему.
Не в первый раз, мечтая о свободе,
Мы строим новую тюрьму.

Волошин достигает подлинно поэтического искусства, говоря о русской истории:

Империя, оставив нору кротью,
Высиживалась из яиц
Под жаркой коронованною плотью
Своих пяти императриц.

Штейнерианская диалектика материи и духа, я и вселенной, зла и обновления облекается словесной плотью, когда автор касается природы русского духа:

Мы зараженные совестью: в каждом
Стеньке — Святой Серафим.
Отданный тем же похмельям и жаждам,
Тою же волей томим.

К сожалению, Волошин достиг полноты своих поэтических возможностей лишь тогда, когда уже нельзя было печататься, когда даже сохранность рукописей стала проблематической. Поэтому из последнего, наилучшего периода его творчества до нас дошли только случайные обрывки, наверняка неполные и, вероятно, даже не из лучших.

Особенной художественной силы Волошин достигает в цикле "Неопалимая Купина". Здесь он меньше о революции размышляет и больше непосредственно передает ее сокрушительно жестокий опыт, во всей его неприкрашенности. "На вокзале" — ряд набросков спящих, сгрудившихся в ожидании людей, почти что перечисление. Но оно составляет незабываемо яркий образ всей России, в один из особенно тягостных, напряженных, судорожных пароксизмов ее истории. А рядом — жуткие портреты чудовищных детищ революции. "Красногвардеец":

Забравши весь хлеб, о свободах
Размазывать мужикам.
Искать "лошадей" в комодах,
Да "пушек" по коробкам.

"Матрос":

Широколиц. Скуласт. Угрюм.
Голос сиплый. Тяжкодум.
В кармане браунинг и напилок.
Взгляд мутный, злой, как у дворняг,
Фуражка с надписью "Варяг",
Надвинутая на затылок.
Татуированный дракон
Под синей форменной рубашкой.
Браслеты. В перстне кабошон
И красный бант с алмазной пряжкой.

Он

Устроить был всегда не прочь
Варфоломеевскую ночь.

Громил дома, ища наживы,
Награбленное грабил, пил,
Швыряя керенки без счета,
И перед немцами топил
Последние остатки флота.

Особенно удачен "Спекулянт", в котором Волошину блестяще удалось извлечь метафизику из пошлейшей обыденщины (не хуже, чем Леону Блуа в его бессмертном "Толковании общих мест") :

При всех режимах быть неистребимым,
Всепроникающим, всеядным, вездесущим,
Жонглировать то совестью, то ситцем,
То спичками, то родиной, то мылом...
...Пускать под небо цены, как ракеты,
Сделать в три дня неуловимым,
Неосязаемым тучнейший урожай...
...Осуществить воочью все россказни былых
метаморфоз,
Все таинства божественных мистерий.
Пресуществить за трапезой Вино и Хлеб
(Мильонами пудов и тысячами бочек)
В озера крови, в груды мертвой плоти...

Все это принадлежит к числу сильнейших достижений Волошина. Самое Россию он не стесняется представить в страшном виде гулящей девки:

Сквернословит, скликает напасти,
Пляшет голая – кто ей заказ?
Кажет людям срамные части,
Непотребства творит напоказ.
А проспавшись, бьется в подклетях,
Да ревет, завернувшись в платок,
О каких-то расстрелянных детях,
О младенцах, засоленных впрок.

Эти стихи странно перекликаются с мандельштамовской "шестипалой неправдой". Воистину прав был Достоевский, предчувствовавший в революции привкус людоедства!

Немало замечательного можно найти и в поэме "Россия", дошедшей до нас только в отрывках, да и то еще специально подобранных советской цензурой. Но и в этом искаженном виде она значительнее многого, несравненно более известного. Волошин сумел напитать красочностью и убедительной образностью философско-исторические абстракции. Что же касается качества белого стиха, куда там до Волошина, например, Луговскому или Солоухину! Нарочно я взял для сравнения подсоветских поэтов хорошего качества.

Образ Петербурга –

С водой стоячей, вправленной в гранит,
С дворцами цвета пламени и мяса,
С белесоватым мороком ночей,
С алтарным камнем финских чернобогов,
Растоптанным копытами коня,
И с озаренным лаврами и гневом
Безумным ликом медного Петра,

– тоже оригинальнее и ярче, чем у многих знаменитостей (вроде Бунина). Все-таки среди допущенных к печати предельно мрачных видений русской истории попадаются страницы редкой остроты, тацитовски-лаконических формулировок:

В Петрову мрежь попался разночинец,
Оторванный от родовых корней,
Отстоенный в архивах канцелярий –
Ручной Дантон, домашний Робеспьер, –
Но просвещенных принцев испугал
Неумолимый разум гильотины.

Такие тексты предполагают не только размышления автора о судьбах России, но и постоянное общение если не с единомышленниками, то с людьми, тоже способными подняться

мыслью над действительностью. Такие афоризмы, как: "и вопреки бичам идеологий, колеса вязнут в старой колее", — диалектическое красноречие историка, гораздо более близкое к Г. П. Федотову, чем к Хлебникову или к Мандельштаму, — тем более интересно встретить их в поэзии.

Несравненной меткостью и оригинальностью отличается также портрет интеллигента, бывшего

Прекраснодушным, честным, мягкотелым,
Оттиснутым, как точный негатив
По профилю самодержавья: шишка,
Где у того кулак, где штык — дыра,
На месте утвержденья — отрицанье,
Идеи, чувства — всё наоборот...

Во всех этих стихах имеется редкое достоинство: они один из редких, не только в русской, но и в мировой литературе, удачных примеров чисто интеллектуальной поэзии, оторванной от корней обычной поэзии, питающихся нутряными, общечеловеческими стихиями любви, смерти, судьбы, красоты и проч. Волошин жил мозгом и проблемами больше, чем сердцем и чувствами. Слабость его поэзии в том, что он так и не сумел сделать отвлеченные проблемы предметом экзистенциального переживания, как, например, Лукреций и еще очень немногие другие. Но сила ее в том, что он все-таки сделал объектом поэзии мысли и переживания, обычно выражаемые в прозе. Это придает его стихам единственный в своем роде, им одним свойственный колорит, являющийся для русской поэзии в целом безусловно обогащением.

Волошин — личность сильная, несмотря на все его несовершенства. Феноменально — он неповторим. С какой-то стороны, это заслуга бо̀льшая, чем даже полноценные стихи на обычные темы. Но, хотя и редко, он достигал подлинной поэзии и на свои сложные темы.

10

В его наследии имеется область, количественно, увы, весьма незначительная, но составляющая наивысший разряд его поэтического творчества. Она – даже не в вышеуказанных потрясающих картинах вспаханной революционным тараном России, а в специфическом для него каменистом пейзаже Центральной Азии и Крыма, где он почти полностью провел последнее десятилетие своей жизни. Мы уже упоминали об этом пейзаже, говоря об его акварелях.

Впервые он массивно вступает в волошинскую поэзию в цикле "Киммерийские сумерки", созданном в 1907–1909 гг. Уже тут мы поражены его необычностью, яркостью картины, складывающейся из редких, но точных данных:

Травою жесткою, пахучей и седой
Порос бесплодный скат извилистой долины.
Белеет молочай. Пласты размытой глины
Искрятся грифелем и сланцем и слюдой.

Пейзаж этот легко приобретает фантастические очертания:

Старинным золотом и желчью напитал
Вечерний свет холмы. Зардели красны, буры
Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры.
В огне кустарники и воды, как металл.

И здесь, думается мне, кроется глубочайшая суть души Волошина. На этом фоне вырисовывается и разыгрывается все остальное, преходящее. Он же остается неизменным, даже если не всегда ощутимым. Для Волошина именно в этом пейзаже суть тютчевско-шеллингианского "все во мне и я во всем".

А груды валунов и глыбы голых скал
В размытых впадинах загадочны и хмуры.
В крылатых сумерках — намеки и фигуры...
Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал.

Вот холм сомнительный, подобный вздутым ребрам,
Чей согнутый хребет порос как шерстью чобром?
Кто этих мест жилец: чудовище? титан?

Сквозь всю его жизнь красной нитью проходит все тот же, напоминающий Оскара Лерке, геологический пейзаж, только охваченный под иным углом зрения и насыщенный иными настроениями. Для Лерке он — свидетельство неистощимой природы, струя красочности, скрашивающая серость колодца берлинского двора (другая частая у Лерке тема). Для Волошина же он — та глубина, на которой он безраздельно сам с собой, недостижимая для остального мира, откуда он черпает силы и краски для всего прочего, колдовская прародина:

Седым и низким облаком дол повит...
Чернильно-сини кручи лиловых гор.
Горелый, ржавый, бурый цвет трав.
Полосы иода и пятна желчи.

При этом приходит на мысль другое имя, имя волшебника, душа которого тоже сливалась то с душными, то с недосягаемо-кристальными, бурными извержениями окаменелой плоти неукротимой души — Николая Рериха. И у Волошина, и у Рериха пейзаж наделен заклинательной силой, предельно ирреален и, несмотря на свою твердокаменную бесплодность, летуч и обманчив, как сновидение... Рерих — Волошин — Чурленис — Павел Васильев — соседство этих имен и приоткрытых ими видений говорит о таких глубоких тайнах России, что ни один мыслитель еще даже не попытался их хоть как-нибудь сформулировать. Раскрытие их — задача будущих поколений.

Десять лет спустя, в 1918 году, как ни велики были перемены, происшедшие в жизни самого поэта и в окружающем его мире, пейзаж этот остался неизменным:

Каменья зноем дня во мраке горячи.
Луга полынные нагорий тускло-серы...
И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи.

Когда же Волошин достиг конечной простоты больших мастеров, к которой шел всю свою жизнь, то снова выступил наружу все тот же пейзаж, неотступно преследовавший его с отроческих лет:

Столпы базальтовых гигантов,
Однообразный голос вод
И радугами бриллиантов
Переливающийся свод.

Вершиной творчества Волошина, последним его заветом, итогом всей его жизни был "Дом Поэта", написанный в 1926 г., впервые опубликованный только в 1952 г. в "Новом журнале". Это – лебединая песня, в которой все его темы сливаются в совершеннейший словесный аккорд. Тут и удачнейшая из всех формулировок его геологического пейзажа:

Окрестные холмы вызорены
Колючим солнцем. Серебро полыни
На шиферных окалинах пустыни
Торчит вихром косматой седины.

И еще раз подтверждается наше предположение о слиянии этого пейзажа с самим существом поэта:

Вон там – за профилем прибрежных скал,
Запечатлевших некое подобье
(Мой лоб, мой нос, ощечье и подлобье), –
Как рухнувший готический собор,

Торчащий непокорными зубцами,
Как сказочный базальтовый костер,
Широко вздувший каменное пламя...

Как первозданный хаос, этот пейзаж включает все, чем поэт жил всю свою жизнь:

В одно русло дождями сметены
И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то древних рас,
Чей облик стерт, а имя позабыто...
Татарский глет зеленовато-бусый
Соседствует с венецианской бусой...

И мысль его, наконец преодолевшая всякие сторонние влияния, предстает здесь перед нами во всей своей величественной наготе:

Я сам избрал пустынный сей затвор
Землею добровольного изгнанья,
Чтоб в годы лжи, падений и разрух
В уединеньи выплавить свой дух
И выстрадать великое познанье.

Здесь он дает ключ к своему поведению в тягчайшие "дни доносов и тревог": "Я ж делал все, чтоб братьям помешать себя губить, друг друга истреблять". Он понял, что

Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

И заключает:

Будь прост, как ветр, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля.

Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни, всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.

К этим словам мы можем прибавить только свое благоговейное молчание.

ЭММАНУИЛ РАЙС
Париж, 11 июля 1965 г.



Александр Максимович Кириенко-Волошин (1838–1881), отец поэта. Фотография 1869 года.



Мать поэта, Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина, урожд. Глазер, (1849–1923), с сыном Максом. 1882?

/АВТОБИОГРАФИЯ ВОЛОШИНА/

Сейчас мне идет 49 год. Я доживаю седьмое семилетие жизни, которое правильно раскладывается по этим циклам:

I Семилетие. Детство. (1877–1884)

Кириенко-Волошины – казаки из Запорожья, по материнской линии – немцы, обрусевшие с XVIII века. Родился в Киеве 16 мая 1877 года в Духов день. Ранние впечатления: Таганрог, Севастополь. Последний в развалинах после осады, с трапециевидными деревьями. Из разбитых домов с опрокинутыми тамбурами дорических колонн Петропавловского собора. С 4 лет Москва из фона "Боярыня Морозова". Жили на Новой Слободе у Подвесков, там, где она в те годы как раз писалась Суриковым в соседнем доме.

Первое впечатление русской истории, подслушанное из разговоров старших. "Первое марта" любил декламировать, еще не умея читать. Для этого всегда становился на стул: чувство эстрады. С 5 – самостоятельное чтение книг в пределах материнской библиотеки. Уже с этой поры постоянными спутниками становятся: Пушкин, Лермонтов, Байрон и Некрасов, Гоголь и Достоевский и, немногим позднее, Байрон и Эдгар По.

II Семилетие. (1884–1891)

Обстановка: окраины Москвы, мастерские Брестской ж.д., Ваганьково и Ходынка. Позже Звенигородский уезд – от Воро-

бьего и Кунцева до Голицына и Саввинского монастыря. Начало учения: кроме обычных грамматик, заучивание латинских стихов, лекции по истории религии, сочинения на сложные, не по возрасту, литературные темы. Этой разнообразной культурной подготовкой я обязан своеобразному учителю, тогда студенту, Н. В. Туркину.

Общество: книги, взрослые, домашние звери. Сверстников мало. Конец отрочества отравлен гимназией. I класс Поливановской, потом до V кл. I Казенная.

III Семилетие. Юность. (1891–1898)

Тоска и отвращение ко всему, что в гимназии и от гимназии. Мечтаю о юге и о том, чтобы стать поэтом. То и другое кажется немыслимым. Но скоро начинаю писать скверные стихи и судьба неожиданно приводит меня в Коктебель (1893 г.).

Феодосийская гимназия, провинциальный городок, жизнь вне родительского дома сильно облегчают гимназический кошмар. Стихи мои нравятся, и я получаю первую прививку литературной славы, оказавшуюся впоследствии полезной во всех отношениях; возникает требовательность к себе, историческая насыщенность Киммерии и строгий пейзаж Коктебеля воспитывает мысль и дух. В 1897 году кончаю гимназию и поступаю на юридический факультет в Москве. Ни гимназии, ни университету я не обязан ни одной мыслью. Десять драгоценных лет начисто вычеркнуты из жизни.

IV Семилетие. Годы странствий. (1898–1905)

Уже через год я был исключен из университета за студенческие беспорядки и выслан в Феодосию. Высылка и поездка за границу завершается ссылкой в Ташкент в 1900 г. Перед этим я успел побывать в Париже, Берлине, в Италии и в Гре-

ции, путешествуя на гроши пешком, ночуя в ночлежных домах.

1900 год — стык двух столетий — был годом моего рождения. Я ходил с караваном по пустыне. Здесь настигли меня Ницше и "Три разговора" Владимира Соловьева. Они дали мне возможность взглянуть на всю европейскую культуру ретроспективно, с высоты азиатских плоскогорий, и произвести переоценку культурных ценностей. Отсюда пути ведут меня на Запад — в Париж, на много лет учиться: художественной форме — у Франции, чувству красок — у Парижа, логике — у готических соборов, средневековой латыни — у Гастона Париса, строю мысли — у Бергсона, скептицизму — у Анатоля Франса, стиху — у Готье и у Эредиа...

В эти годы я только впитывающая губка. Я весь глаза, весь уши. Странствую по странам, музеям, библиотекам: Рим, Испания, Балеары, Корсика, Сардиния, Андора... Лувр, Прадо, Ватикан. Улицы... Национальная библиотека. Кроме техники слова, овладеваю техникой кисти и карандаша. В 1900 году моя первая критическая статья печатается в "Русской мысли".

В 1903 году встречаюсь с русскими поэтами моего поколения: старшими: Бальмонтом, Вячеславом Ивановым, Брюсовым, Балтрушайтисом, и сверстниками: Белым, Блоком.

V Семилетие. Блуждания. (1905–1912)

Этапы блуждания духа: буддизм, католичество, магия, масонство, оккультизм, теософия, Р. Штейнер. Период больших личных переживаний романтического и мистического характера. К 9 января 1905 г. судьба привела меня в С.-Петербург и дала почувствовать все грядущие перспективы русской революции, но я не остался в России, и первая революция прошла мимо меня. За ее событиями я прозревал смуту наших дней ("Ангел Мщения"). Я пишу в эти годы статьи о живописи и литературе из Парижа в русские журналы и газеты, в "Весы", в "Золотое руно", в "Русь" (после 1907 года литературная деятельность меня постоянно перетягивает сперва в Петербург,

а с 1910 г. в Москву). В 1910 году выходит моя первая книга стихов. Более долгое пребывание в России подготавливает разрыв с журнальным миром, который был для меня выносим только пока я жил в Париже.

VI Семилетие. Война. (1912–1919)

В 1913 году моя публичная лекция о Репине вызывает против меня такую газетную травлю, что все редакции для моих статей закрываются, а книжные магазины объявляют бойкот моим книгам. Годы перед войной я провожу в Коктебельском затворе; и это дает мне возможность сосредоточиться на живописи и заставить себя снова переучиться с самых азов, согласно более зрелому пониманию искусства. Война застает меня в Базеле, куда я приезжаю работать при постройке Гетеанума. Эта... работа, высокая и дружная, бок о бок с представителями всех враждующих наций, в нескольких километрах от поля первых битв Европейской войны, была прекрасной и трудной школой человеческого и внеполитического отношения к войне...

В 1915 году я пишу в Париже свою книгу стихов о войне "Anno mundi ardentis".

В 1916 году я возвращаюсь в Россию через Англию и Норвегию.

Февраль 1917 года застает меня в Москве и большого энтузиазма во мне не порождает, так как я чувствую все время интеллигентскую ложь, прикрывающую реальность революции.

Редакции периодических изданий, вновь приоткрывшиеся для меня во время войны, захлопываются снова перед моими статьями о революции, которые я имею наивность им предлагать, забыв, что там, где начинается "свобода печати", – свобода мысли кончается.

Вернувшись весной 1917 года в Крым, я уже больше никогда не покидаю его: ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую, и все волны гражданской войны и смены правительств проходят над моей головой. Стих остается для меня единствен-

ной возможностью выражения мыслей о свершившемся, но в 1917 году я не смог написать ни одного стихотворения: дар речи снова возвращается только после Октября, и в 1918 году я заканчиваю книгу о революции – "Демоны глухонемые" и поэму "Протопоп Аввакум".

VII Семилетие. Революция. (1919–1926)

Ни война, ни Революция меня не испугали и ни в чем не разочаровали; я их ожидал давно и в формах еще более жестоких. Напротив, я почувствовал себя очень приспособленным к условиям революционного бытия и действия. Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше отвечали моему отвращению к зарплате и купле-продаже. 1919 год толкнул меня к общественной деятельности в единственной форме, возможной при моем отрицательном отношении ко всякой политике и ко всякой государственности, утвердившемся и обосновавшемся за эти годы – к борьбе с террором независимо от его окраски.

Это ставит меня в эти годы (1919–1923) лицом к лицу со всеми ликами и личинами русской усобицы и дает мне обширнейший и драгоценнейший опыт. Из самых глубоких кругов преисподней террора я вынес веру в человека (стихотворение "Потомкам"). Эти же годы являются более плодотворными в моей поэзии, как в смысле качества, так и количества мною написанного.

Но так как темой моей является Россия во всем ее историческом единстве, так как дух партийности мне ненавистен, так как всякую борьбу я не могу рассматривать иначе, как момент духовного единства борющихся врагов и их сотрудничество в едином деле, – то отсюда вытекают следующие особенности литературной судьбы моих последних стихотворений: у меня есть стихи о Революции, которые одинаково нравились и красным, и белым. Я знаю, например, что мое стихотворение "Русская Революция" было названо лучшей характеристикой революции двумя идейными вождями противоположных лагерей (имена их я умолчу).

В 1919 году белые и красные, беря по очереди Одессу, свои прокламации к населению начинали одними и теми же словами моего стихотворения "Брестский мир".

Эти явления – моя литературная гордость, так как они свидетельствуют, что в моменты высшего разлада мне удавалось, говоря о самом спорном и современном, находить такие слова и такую перспективу, что ее принимали и те и другие. Поэтому, собранные в книгу, эти стихи не пропускались ни правой, ни левой цензурой. Поэтому же они распространяются по России в тысячах списков – вне моей воли и моего ведения. Мне говорили, что в Восточную Сибирь они проникают не из России, а из Америки – через Китай и Японию.

Сам же я остаюсь все в том же положении писателя, стоящего вне литературы, как это было и до войны.

В 1923 году я закончил книгу "Неопалимая купина", с 1922 г. я пишу книгу "Путями Каина" – переоценка материальной и социальной культуры. В 1924 г. написана поэма о России ("Петербургский период").

За эти годы я много работал акварелью, принимая участие в выставках: "Жар-Птица" и "Мир Искусства". Акварели мои приобретались Третьяковской галереей и многими провинциальными музеями.

Согласно моему принципу, что корень всех социальных зол лежит в институте заработной платы, – все, что я произвожу, я раздаю безвозмездно. Свой дом я превратил в приют для писателей и художников, а в литературе и живописи – это выходит само собой, потому что все равно никто не платит.

Живу на академическом обеспечении ЦКУБУ – 60 рублей в месяц.

Библиография. В настоящее время в продаже нет ни одной моей книги. Вот в каком порядке мои стихи должны бы были быть изданы...

/1925/

Книга первая

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

(Стихотворения 1900 – 1910)

I. ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

Якову Александровичу Глотову

...И мир, как море пред зарею,
И я иду по лону вод,
И подо мной и надо мною
Трепещет звездный небосвод...
1902

ПУСТЫНЯ

Монмартр... Внизу ревет Париж –
Коричневато-серый, синий...
Уступы каменистых крыш
Слились в равнины темных линий.
То купол зданья, то собор
Встает из синего тумана.
И в ветре чудится простор
Волны соленой океана...
Но мне мерещится порой,
Как дальних дней воспоминанье,
Пустыни вечной и немой
Ненарушимое молчанье.
Раскалена, обнажена,
Под небом выцветшим от зноя,
Весь день без мысли и без сна
В полубреду лежит она,
И нет движенья, нет покоя...
Застывший зной. Устал верблюд.
Пески. Извивы желтых линий.
Миражи бледные встают –
Галлюцинации Пустыни.
И в них мерещатся зубцы
Старинных башен. Из тумана
Горят цветные изразцы
Дворцов и храмов Тамерлана.
И тени мертвых городов
Уныло бродят по равнине
Неостывающих песков,
Как вечный бред больной Пустыни.

Царевна в сказке, – словом властным
Степь околдованная спит,
Храня проклятой жабы вид
Под взглядом солнца злым и страстным.

Но только мертвый зной спадет
И брызнет кровь лучей с заката –
Пустыня вспыхнет, оживет,
Струями пламени объята.
Вся степь горит – и здесь, и там,
Полна огня, полна движений,
И фиолетовые тени
Текут по огненным полям.
Да одиноко городища
Чернеют жутко средь степей:
Забытых дел, умолкших дней
Ненарушимые кладбища.
И тлеет медленно закат,
Усталый конь бодрее скачет,
Копыта мерно говорят,
Степной джюсан звенит и плачет.
Пустыня спит и мысль растет...
И тихо все во всей пустыне:
Широкий звездный небосвод,
Да аромат степной полыни...

Ташкент–Париж. 1901

В ВАГОНЕ

Снова дорога. И с силой магической
Все это вновь охватило меня:
Грохот, носильщики, свет электрический,
Крики, прощанья, свистки, суетня...

Снова вагоны едва освещенные,
Тусклые пятна теней,
Лица склоненные
Спящих людей.

Мерный, вечный,
Бесконечный,
Однотонный
Шум колес.
Шепот сонный
В мир бездонный
Мысль унес...
Жизнь... работа...
Где-то, кто-то
Вечно что-то
Все стучит.
Ти-та... то-та...
Вечно что-то
Мысли сонной
Говорит.

Так вот в ушах и долбит и стучит это
Тѝ-та-та... тà-та-та... тà-та-та... тѝ-та-та...
Мысли с рыданьями ветра сплетаются,
Поезд гремит, перегнать их старается...

Чудится, еду в России я...
Тысячи верст впереди.
Ночь неприютная, темная.
Станция в поле... Огни ея –
Глазки усталые, томные
Шепчут: "Иди..."
Страх это? Горе? Раздумье? Иль что ж это?
Новое близится, старое прожито.
Прожито-отжито. Вынуто-выпито...
Тѝ-та-та... тà-та-та... тà-та-та... тѝ-та-та...

Чудится степь бесконечная...
Поезд по степи идет.
В вихре рыданий и стонов
Слышится песенка вечная.

Скользкие стены вагонов
Дождик сечет.
Песенкой этой все в жизни кончается,
Ею же новое вновь начинается,
И бесконечно звучит и стучит это:
Тѝ-та-та... тà-та-та... тà-та-та... тѝ-та-та...

Странником вечным
В пути бесконечном
Странствуя целые годы,
Вечно стремлюсь я,
Верую в счастье,
И лишь в ненастье
В шуме ночной непогоды
Веет далекою Русью.
Мысли с рыданьями ветра сплетаются,
С шумом колес однотонным сливаются,
И безнадежно звучит и стучит это:
Тѝ-та-та... тà-та-та... тà-та-та... тѝ-та-та...

В поезде между Парижем и Тулузой.
Май 1901

КАСТАНЬЕТЫ

Е. С. Кругликовой

Из страны, где солнца свет
Льется с неба жгуч и ярок,
Я привез себе в подарок
Пару звонких кастаньет.
Беспокойны, говорливы,
Отбивая звонкий стих, –
Из груди сухой оливы
Сталью вырезали их.

Щедро лентами одеты
С этой южной пестротой;
В них живет испанский зной,
В них сокрыт кусочек света.
И когда Париж огромный
Весь оденется в туман,
В мутный вечер, на диван
Лягу я в мансарде темной,
И напомнят мне оне
И волны морской извивы,
И дрожащий луч на дне,
И узлистый ствол оливы,
Вечер в комнате простой,
Силуэт седой колдуньи,
И красавицы плясуньи
Стан и гибкий и живой,
Танец быстрый, голос звонкий,
Грациозный и простой,
С этой южной, с этой тонкой
Стрекозиной красотой.
И танцоры йдут в ряд,
Облитые красным светом,
И гитары говорят
В такт трескучим кастаньетам,
Словно щелканье цикад
В жгучий полдень жарким летом.

Mallorca. Valdemosa. Июль 1901

VIA MALA

Там с вершин отвесных
Ледники сползают,
Там дороги в тесных
Щелях пролегают.

Там немые кручи
Не дают простору,
Грозовые тучи
Обнимают гору.
Лапы темных елей
Мягки и широки,
В душной мгле ущелий
Мечутся потоки.
В буйном гневе свирепея,
Там грохочет Рейн.
Здесь ли ты жила, о фея –
Раутенделейн?

Тузис, 1899

ТАНГЕЙЗЕР

Смертный, избранный богиней,
Чтобы свергнуть гнев оков,
Проклинает мир прекрасный
Светлых эллинских богов.
Гордый лик богини гневной,
Бури яростный полет.
Полный мрак. Раскаты грома...
И исчез Венерин грот.
И певец один на воле,
И простор лугов окрест,
И у ног его долина,
Перед ним высокий крест.
Меркнут розовые горы,
Веет миром от лугов,
Веет миром от старинных
Острокрыших городков.
На холмах в лучах заката
Купы мирные дерев,

И растет спокойный, стройный
Примиряющий напев.
И чуть слышен вздох органа
В глубине резных церквей,
Точно отблеск золотистый
Умирающих лучей.

Андорра, 1901

ВЕНЕЦИЯ

А. Я. Головину

Резные фасады, узорные зданья
На алом пожаре закатного стана
Печальны и строги, как фрески Орканья, –
Горят перламутром в отливах тумана...

Устало мерцают в отливах тумана
Далеких лагун огневые сверканья...
Вечернее солнце, как алая рана...
На всем бесконечная грусть увяданья.

О пышность паденья, о грусть увяданья!
Шелков Веронеза закатная Кана,
Парчи Тинторетто... и в тучах мерцанья
Осенних и медных тонов Тициана...

Как осенью листья с картин Тициана
Цветы облетают... Последнюю дань я
Несу облетевшим страницам романа,
В каналах следя отраженные зданья...

Венеции скорбной узорные зданья
Горят перламутром в отливах тумана.
На всем бесконечная грусть увяданья
Осенних и медных тонов Тициана.

Венеция. 1899–1911?

НА ФОРУМЕ

Арка... Разбитый карниз,
Своды, колонны и стены,
Это обломки кулис
Сломанной сцены.
Здесь пьедесталы колонн,
Там возвышается ростра,
Где говорил Цицерон
Плавно, красиво и остро.
Между разбитых камней
Ящериц быстрых движенье.
Зной неподвижных лучей,
Струйки немолчное пенье.
Зданье на холм поднялось
Цепью изогнутых линий.
В кружеве легких мимоз
Очерки царственных пиний.
Вечер... И форум молчит.
Вижу мерцанье зари я.
В воздухе ясном звучит
Ave Maria!

Рим. 1900

АКРОПОЛЬ

Серый шифер. Белый тополь.
Пламенеющий залив.
В серебристой мгле олив
Усеченный холм — Акрополь.
Ряд рассеченных ступеней,
Портик тяжких Пропилей,
И за грудами камений

В сетке легких синих теней
Искры мраморных аллей.
Небо знойно и бездонно –
Веет синим огоньком.
Как струна, звенит колонна
С ионийским завитком.
За извивами Кефиза
Заплелись уступы гор
В рыже-огненный узор...
Луч заката брызнул снизу...
Над долиной сноп огней...
Рдеет пламенем над ней он –
В горне бронзовых лучей
Загорелый Эрехтейон...
Ночь взглянула мне в лицо.
Черны ветви кипариса.
А у ног, свернув кольцо,
Спит театр Диониса.

Афины. 1900

ПАРИЖ

I. С МОНМАРТРА

Город-Змей, сжимая звенья,
Сыпет искры в алый день.
Улиц тусклые каменья
Синевой прозрачит тень.
Груды зданий, как кристаллы;
Серебро, агат и сталь;
И церковные порталы,
Как седой хрусталь.

Город бледным днем измучен,
Весь исчерчен тьмой излучин,
И над ним издалека –
По пустыням небосклона,
Как хоругви, как знамена,
Грозовые облака...
И в пространствах величаво,
Властной музыкой звуча,
Распростерлись три луча,
Как венец...
(Твой образ – Слава!)
И над городом далече
На каштанах с высоты,
Как мистические свечи,
В небе теплятся цветы...

II. ДОЖДЬ

В дождь Париж расцветает
Точно серая роза...
Шелестит, опьяняет
Влажной лаской наркоза.

А по окнам танцуя
Все быстрее, быстрее,
И смеясь и ликуя,
Вьются серые феи...

Тянут тысячи пальцев
Нити серого шелка,
И касается пяльцев
Торопливо иголка.

На синеющем лаке
Разбегаются блики...
В проносящемся мраке
Замутились их лики...

Сколько глазок несхожих!
И несутся в смятеньи,
И целуют прохожих,
И ласкают растенья...

И на груды сокровищ,
Разлитых по камням,
Смотрят морды чудовищ
С высоты Notre Dame...

Март 1904

III

Как мне близок и понятен
Этот мир – зеленый, синий,
Мир живых, прозрачных пятен
И упругих, гибких линий.

Мир стряхнул покров туманов.
Четкий воздух свеж и чист.
На больших стволах каштанов
Ярко вспыхнул бледный лист.

Небо целый день моргает,
(Прыснет дождик, брызнет луч),
Развивает и свивает
Свой покров из сизых туч.

И сквозь дымчатые щели
Потускневшего окна
Бледно пишет акварели
Эта бледная весна.

1901 или 1902

IV

Осень... осень... Весь Париж,
Очертанья сизых крыш
Скрылись в дымчатой вуали,
Расплылись в жемчужной дали.

В поредевшей мгле садов
Стелет огненная осень
Перламутровую просинь
Между бронзовых листов.

Вечер... Тучи... Алый свет
Разлился в лиловой дали:
Красный в сером – это цвет
Надрывающей печали.

Ночью грустно. От огней
Иглы тянутся лучами.
От садов и от аллей
Пахнет мокрыми листами.

1902

V

Огненных линий аккорд
Бездну зеркально-живую,

Ночью Place la Concorde,
Ночью дождливой люблю я.
Зарево с небом слилось...
Сумрак то рдяный, то синий...
Бездны пронзенной насквозь
Нитями иглистых линий...
В вихре сверкающих брызг
Пойманных четкостью лака
Дышит гигант-Обелиск,
Розово-бледный из мрака.

/1905/

VI

Закат сиял улыбкой алой.
Париж тонул в лиловой мгле.
В порыве грусти день усталый
Прижал свой лоб к сырой земле.
И вечер медленно расправил
Над миром сизое крыло...
И кто-то горсть камней расплавил
И кинул в жидкое стекло.
Река линялыми шелками
Качала белый пароход.
И праздник был на лоне вод...
Огни плясали меж волнами...
Ряды огромных тополей
К реке сходились как гиганты,
И загорались бриллианты
В зубчатом кружеве ветвей...

Лето 1904
На Сене близ Медона

VII

Анне Ник. Ивановой

В серо-сиреневом вечере
Радостны сны мои нынче.
В сердце сияние "Вечери"
Леонардо да Винчи.

Между мхом и травою мохнатою
Ключ лепечет невнятно.
Алым трепетом пали на статую
Золотистые пятна.

Ветер веет и вьется украдками
Меж ветвей, над водой наклоненных,
Шевеля тяжелыми складками
Шелков зеленых.

Разбирает бледные волосы
Плакучей ивы.
По озерам прозелень, полосы
И стальные отливы.

И, одеты мглою и чернию,
Многострунные сосны
Навевают думу вечернюю
Про минувшие весны.

Облака над лесными гигантами
Перепутаны алою пряжей,
И плывут из аллей бриллиантами
Фонари экипажей.

В Булонском лесу.
2 июля 1905

VIII

На старых каштанах сияют листы,
Как строй геральдических лилий.
Душа моя в узах своей немоты
Звенит от безвольных усилий.

Я болен весеннею смутной тоской
Несознанных миром рождений.
Овей мое сердце прозрачною мглой
Зеленых своих наваждений!

И манит, и плачет, и давит виски
Весеннею острою грустью...
Неси мои думы, как воды реки,
На волю к широкому устью!

1906

IX

В молочных сумерках за сизой пеленой
Мерцает золото, как желтый огнь в опалах,
На бурый войлок мха, на шелк листов опалых
Росится тонкий дождь осенний и лесной.

Сквозящих даль аллей струится сединой.
Прель дышит влагою и тленьем трав увялых.
Края раздвинувши завес линяло-алых,
Сквозь окна вечера синеет свод ночной.

Но поздний луч зари возжег благоговейно
Зеленый свет лампад на мутном дне бассейна,
Орозовил углы карнизов и колонн,

Зардел в слепом окне, златые кинул блики
На бронзы черные и мраморные лики,
И темным пламенем дымится Трианон.

1909

X

Парижа я люблю осенний, строгий плен,
И пятна ржавые сбежавшей позолоты,
И небо серое, и веток переплеты –
Чернильно-синие, как нити темных вен.

Поток все тех же лиц, – одних без перемен,
Дыханье тяжкое прерывистой работы,
И жизни будничной крикливые заботы,
И зелень черную и дымный камень стен.

Мосты, где рельсами ряды домов разъяты,
И дым от поезда клоками белой ваты,
И из-за крыш и труб – сквозь дождь издалека

Большое Колесо и Башня-великанша,
И ветер рвет огни и гонит облака
С пустынных отмелей дождливого Ла-Манша.

1909

XI

Адел. Герцык

Перепутал карты я пасьянса,
Ключ иссяк, и русло пусто ныне,
Взор пленен садами Иль-де-Франса,
А душа тоскует по пустыне.

Бродит осень парками Версаля
Вся закатным заревом объята...
Мне же снятся рыцари Грааля
На скалàх суровых Монсальвата.

Мне, Париж, желанна и знакома
Власть забвенья, хмель твоей отравы!
Ах! В душе – пустыня Меганома,
Зной и камни, и сухие травы...

Ноябрь 1908

ДИАНА ДЕ ПУАТЬЕ

Над бледным мрамором склонились к водам низко
Струи плакучих ив и нити бледных верб.
Дворцов Фонтенебло торжественный ущерб
Тобою осиян, Диана-Одалиска.

Богиня строгая, с глазами василиска,
Над троном Валуа воздвигла ты свой герб,
И в замках Франции сияет лунный серп
Средь лилий Генриха и саламандр Франциска.

В бесстрастной наготе, среди охотниц-нимф
По паркам ты идешь, волшебный свой заимф
На шею уронив Оленя-Актеона.

И он – влюбленный принц, с мечтательной тоской
Глядит в твои глаза, владычица! Такой
Ты нам изваяна на мраморах Гужона.

1907

В ЦИРКЕ

Андрею Белому

Клоун в огненном кольце...
Хохот мерзкий, как проказа.
И на гипсовом лице
Два горящих болью глаза.

Лязг оркестра; свист и стук.
Точно каждый озабочен
Заглушить позорный звук
Мокро хлещущих пощечин.

Как огонь подвижный круг...
Люди – звери, люди – гады,
Как стоглазый, злой паук,
Заплетают в кольца взгляды.

Все крикливо, все пестро...
Мне б хотелось вызвать снова
Образ бледного, больного,
Грациозного Пьеро...

В лунном свете с мандолиной
Он поет в своем окне
Песню страсти лебединой
Коломбине и луне.

Хохот мерзкий, как проказа;
Клоун в огненном кольце.
И на гипсовом лице
Два горящих болью глаза...

1903. Москва

РОЖДЕНИЕ СТИХА

Бальмонту

В душе моей мрак грозовой и пахучий...
Там вьются зарницы, как синие птицы...
Горят освещенные окна...
И тянутся длинны,
Протяжно-певучи
Во мраке волокна...
О запах цветов, доходящий до крика!
Вот молния в белом излучии...
И сразу все стало светло и велико...
Как ночь лучеза̀рна!
Танцуют слова, чтобы вспыхнуть попарно
В влюбленном созвучии.
Из недра сознанья, со дна лабиринта
Теснятся виденья толпой оробелой...
И стих расцветает цветком гиацинта
Холодный, душистый и белый...

Париж, 1904

Балтрушайтису

К твоим стихам меня влечет не новость,
Не яркий блеск огней:
В них чудится унылая суровость
Нахмуренных бровей.

В них чудится седое безразличье,
Стальная дрема вод,
Сырой земли угрюмое величье
И горько сжатый рот.

1903. Москва

Графине Софье И.Толстой

Концом иглы на мягком воске
Я напишу твои черты:
И индевеющие блестки
Твоей серебряной фаты,

И взгляд на все разверстый внове,
И оттененный тонко нос,
И тонко выгнутые брови,
И пряди змейных, тонких кос,

Излив откинутого стана,
И нити темно-синих бус,
Чувяки синего сафьяна
И синий шелковый бурнус.

А сзади напишу текучий,
Сине-зеленый, пенный вал,
И в бирюзовом небе тучи,
И глыбы красно-бурых скал.

Коктебель. 1909

Ел. Дмитриевой

К этим гулким морским берегам,
Осиянным холодною синью,
Я пришла по сожженным лугам,
И ступни мои пахнут полынью.

Запах мяты в моих волосах,
И движеньем измяты одежды;
Дикой масличной ветвью в цветах
Я прикрыла усталые вежды.

На ладонь опирая висок
И с тягучею дремой не споря,
Я внимаю, склонясь на песок,
Кликам ветра и голосу моря...

Коктебель.
Май. 1909

На книге Лафорга

Эти страницы — павлинье перо, —
Трепет любви и печали.
Это больного Поэта-Пьеро
Жуткие salto-mortale.

Ол.Серг.Муромцевой

Небо запуталось звездными крыльями
В чаще ветвей. Как колонны стволы.
Падают, вьются, ложатся с усильями
По лесу полосы света и мглы.

Чу! по оврагам лесным — буераками
Рвется охота... и топот и звон.
Ночью по лесу, гонимый собаками,
Мчится влюбленный Олень-Актеон.

Ходит туман над росистой поляною.
Слабо мерцает далекий ледник.
К красной сосне, словно чернью затканою,
Кто-то горячей щекою приник.

Грустная девочка – бледная, страстная.
Складки туники... струи серебра...
Это ли ночи богиня прекрасная –
Гордого Феба сестра?

Топот охоты умолк в отдалении.
Воют собаки голодны и злы.
Гордость... и жажда любви... и томление...
По лесу полосы света и мглы.

Париж. Allée d'Observatoire. 1902

КОГДА ВРЕМЯ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

I

Тесен мой мир. Он замкнулся в кольцо.
Вечность лишь изредка блещет зарницами.
Время порывисто дует в лицо.
Годы несутся огромными птицами.

Клочья тумана – вблизи... вдалеке...
Быстро текут очертанья.
Лампу Психеи несу я в руке –
Синее пламя познанья.

В безднах скрывается новое дно.
Формы и мысли смесились.
Все мы уж умерли где-то давно...
Все мы еще не родились.

15 июня 1904
St. Cloud

II

Быть заключенным в темнице мгновенья,
Мчаться в потоке струящихся дней.
В прошлом разомкнуты древние звенья,
В будущем смутные лики теней.

Гаснуть словами в обманных догадках,
Дымом кадильным стелиться вдали.
Разум запутался в траурных складках,
Мантия мрака на безднах земли.

Тени Невидимых жутко громадны,
Неосязаемо близки впотьмах.
Память — неверная нить Ариадны —
Рвется в дрожащих руках.

Время свергается в вечном паденьи,
С временем падаю в пропасти я.
Сорваны цепи, оборваны звенья —
Смерть и Рожденье — вся нить бытия.

Июль 1905

III

И день и ночь шумит угрюмо,
И день и ночь на берегу
Я бесконечность стерегу
Средь свиста, грохота и шума.

Когда ж зеркальность тишины
Сулит обманную беспечность,
Сквозит двойная бесконечность
Из отраженной глубины.

1903

IV

Валерию Брюсову

По ночам, когда в тумане
Звезды в небе время ткут,
Я ловлю разрывы ткани
В вечном кружеве минут.
Я ловлю в мгновенья эти
Как свивается покров
Со всего, что в формах, в цвете,
Со всего, что в звуке слов.

Да, я помню мир иной –
Полустертый, непохожий,
В вашем мире я – прохожий,
Близкий всем, всему чужой.
Ряд случайных сочетаний
Мировых путей и сил
В этот мир замкнутых граней
Влил меня и воплотил.

Как ядро к ноге прикован
Шар земной. Свершая путь,
Я не смею, зачарован,
Вниз на звезды заглянуть.
Что одни зовут звериным,
Что одни зовут людским –
Мне, который был единым,
Стать отдельным и мужским!

Вечность с жгучей пустотою
Неразгаданных чудес
Скрыта близкой синевою
Примиряющих небес.
Мне так радостно и ново
Все обычное для вас –

Я люблю обманность слова
И прозрачность ваших глаз,
Ваши детские понятья
Смерти, зла, любви, грехов –
Мир души, одетый в платье
Из священных, лживых слов.
Гармонично и поблекло
В них мерцает мир вещей,
Как узорчатые стекла
В мгле готических церквей...
В вечных поисках истоков
Я люблю в себе следить
Жутких мыслей и пороков
Нас связующую нить. –

Когда ж уйду я в вечность снова?
И мне раскроется она,
Так ослепительно ясна,
Так беспощадна, так сурова
И звездным ужасом полна!

Коктебель, 1903

II. AMORI AMARA SACRUM

Маргарите Васильевне Сабашниковой

Я ждал страданья столько лет
Всей цельностью несознанного счастья.
И боль пришла, как тихий синий свет.
И обвилась вкруг сердца, как запястье.

Желанный луч с собой принес
Такие жгучие, мучительные ласки.
Сквозь влажную лучистость слез
По миру разлились невиданные краски.

И сердце стало из стекла,
И в нем так тонко пела рана:
"О, боль, когда бы ни пришла,
Всегда приходит слишком рано".

Декабрь 1903. Москва

О, как чутко, о, как звонко
Здесь шаги мои звучат!
Легкой поступью ребенка
Я вхожу в знакомый сад...
Слышишь, сказки шелестят?
После долгих лет скитанья
Нити темного познанья
Привели меня назад...

1903 или 1904

Спустилась ночь. Погасли краски.
Сияет мысль. В душе светло.
С какою силой ожило
Все обаянье детской ласки,
Поблекший мир далеких дней,
Когда в зеленой мгле аллей
Блуждали сны, толпились сказки,
И время тихо, тихо шло,
Дни развивались и свивались,
И все, чего мы ни касались,
Благоухало и цвело.
И тусклый мир, где нас держали,
И стены пасмурной тюрьмы
Одною силой жизни мы
Перед собою раздвигали.

/1903/

ПОРТРЕТ

Я вся — тона жемчужной акварели,
Я бледный стебель ландыша лесного,
Я легкость стройная обвисшей мягкой ели.
Я изморозь зари, мерцанье дна морского.

Там, где фиалки и бледное золото
Скованы в зори ударами молота,
В старых церквах, где полет тишины
Полон сухим ароматом сосны, –

Я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма,
Я шелест старины, скользящей мимо,
Я струйки белые угаснувшей метели,
Я бледные тона жемчужной акварели.

1903. Москва

Пройдемте по миру, как дети,
Полюбим шуршанье осок,
И терпкость прошедших столетий,
И едкого знания сок.

Таинственный рой сновидений
Овеял расцвет наших дней.
Ребенок – непризнанный гений
Средь буднично серых людей.

До 17 декабря 1903

Сквозь сеть алмазную зазеленел восток.
Вдаль по земле, таинственной и строгой,
Лучатся тысячи тропинок и дорог.
О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!

Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять и снова воплотить.

1903 или 1904. Париж

ПИСЬМО

1

Я соблюдаю обещанье
И замыкаю в четкий стих
Мое далекое посланье.
Пусть будет он как вечер тих,
Как стих "Онегина" прозрачен,
Порою слаб, порой удачен,
Пусть звук речей журчит ярчей,
Чем быстро шепчущий ручей...
Вот я опять один в Париже
В кругу привычной старины...
Кто видел вместе те же сны,
Становится невольно ближе.
В туманах памяти отсель
Поет знакомый ритурнель.

2

Всю цепь промчавшихся мгновений
Я мог бы снова воссоздать:
И робость медленных движений,
И жест, чтоб ножик иль тетрадь
Сдержать неловкими руками,
И Вашу шляпку с васильками.
Покатость Ваших детских плеч
И Вашу медленную речь,
И платье цвета эвкалипта,
И ту же линию в губах,

Что у статуи Таиах,
Царицы древнего Египта,
И в глубине печальных глаз —
Осенний цвет листвы — топаз.

3

Рассвет. Я только что вернулся.
На веках — ночь. В ушах — слова.
И сон в душе, как кот, свернулся...
Письмо... От Вас?
                                        Едва-едва
В неясном свете вижу почерк —
Кривых каракуль смелый очерк.
Зажег огонь. При свете свеч
Глазами слышу Вашу речь.
Вы снова здесь? О, говорите ж,
Мне нужен самый звук речей...
В озерах памяти моей
Опять гудит подводный Китеж,
И легкий шелест дальних слов
Певуч, как гул колоколов.

4

Гляжу в окно сквозь воздух мглистый.
Прозрачна Сена... Тюильри...
Монмартр и синий, и лучистый.
Как желтый жемчуг — фонари.
Хрустальный хаос серых зданий...
И аромат воспоминаний,
Как запах тлеющих цветов,
Меня пьянит. Чу! Шум шагов...

Вот тяжкой грудью парохода
Разбилось тонкое стекло,
Заволновалось, потекло...
Донесся дальний гул народа;
В провалах улиц мгла и тишь.
То день идет... Гудит Париж.

5

Для нас Париж был ряд преддверий
В просторы всех веков и стран,
Легенд, историй и поверий.
Как мутно-серый океан,
Париж властительно и строго
Шумел у нашего порога.
Мы отдавались, как во сне,
Его ласкающей волне.
Мгновенья полные, как годы...
Как жезл сухой, расцвел музей...
Прохладный мрак больших церквей...
Орган... Готические своды...
Толпа: потоки глаз и лиц...
Припасть к земле... Склониться ниц...

6

Любить без слез, без сожаленья,
Любить, не веруя в возврат...
Чтоб было каждое мгновенье
Последним в жизни. Чтоб назад
Нас не влекло неудержимо,
Чтоб жизнь скользнула в кольцах дыма,

Прошла, развеялась... И пусть
Вечерне-радостная грусть
Обнимет нас своим запястьем.
Смотреть, как тают без следа
Остатки грез, и никогда
Не расставаться с грустным счастьем.
И, подойдя к концу пути,
Вздохнуть и радостно уйти.

7

Здесь все теперь воспоминанье,
Здесь все мы видели вдвоем,
Здесь наши мысли, как журчанье
Двух струй, бегущих в водоем.
Я слышу Вашими ушами,
Я вижу Вашими глазами,
Звук Вашей речи на устах,
Ваш робкий жест в моих руках.
Я б из себя все впечатленья
Хотел по-Вашему понять,
Певучей рифмой их связать
И в стих вковать их отраженье.
Но только нет... Продленный миг
Есть ложь... И беден мой язык.

8

И все мне снится день в Версале,
Тропинка в парке между туй,
Прозрачный холод синей дали,
Безмолвье мраморных статуй,

Фонтан и кони Аполлона,
Затишье парка Трианона,
Шероховатость старых плит, –
(Там мрамор сер и мхом покрыт).
Закат, как отблеск пышной славы
Давно отшедшей красоты,
И в вазах каменных цветы,
И глыбой стройно-величавой –
Дворец: пустынных окон ряд
И в стеклах пурпурный закат.

9

Я помню тоже утро в Hall'е,
Когда у Лувра на мосту
В рассветной дымке мы стояли.
Я помню рынка суету,
Собора слизистые стены,
Капуста, словно сгустки пены,
"Как солнца" тыквы и морковь,
Густые, черные, как кровь,
Корзины пурпурной клубники,
И океан живых цветов –
Гортензий, лилий, васильков,
И незабудок, и гвоздики,
И серебристо-сизый тон,
Обнявший нас со всех сторон.

10

Я буду помнить Лувра залы,
Картины, золото, паркет,
Статуи, тусклые зеркала,
И шелест ног, и пыльный свет.

Для нас был Грез смешон и сладок
Но нам так нравился зато
Скрипучий шелк чеканных складок
Темно-зеленого Ватто.
Буше – изящный, тонкий, лживый,
Шарден – интимный и простой,
Коро – жемчужный и седой,
Милле – закат над желтой нивой,
Веселый лев – Делакруа,
И в Saint-Germain d'Auxeroy –

11

Vitreaux – камней прозрачных слиток:
И аметисты, и агат.
Там ангел держит длинный свиток,
Вперяя долу грустный взгляд.
Vitreaux мерцают точно крылья
Вечерней бабочки во мгле...
Склоняя голову в бессильи,
Святая клонится к земле
В безумьи счастья и экстаза...
Tête Inconnue! Когда и кто
Нашел и выразил в ней то
В движеньи плеч, в разрезе глаза,
Что так меня волнует в ней,
Как и в Джоконде, но сильней?

12

Леса готической скульптуры!
Как жутко все и близко в ней.
Колонны, строгие фигуры
Сибилл, пророков, королей...

Мир фантастических растений,
Окаменелых привидений,
Драконов, магов и химер.
Здесь все есть символ, знак, пример,
Какую повесть зла и мук вы
Здесь разберете на стенах?
Как в этих сложных письменах
Понять значенье каждой буквы?
Их взгляд, как взгляд змеи, тягуч...
Закрыта дверь. Потерян ключ.

13

Мир шел искать себе обитель,
Но на распутьи всех дорог
Стоял лукавый Соблазнитель,
На нем хитон, на нем венок,
В нем правда мудрости звериной:
С свиной улыбкой взгляд змеиный.
Призывно пальцем щелкнул он,
И мир, как Ева, соблазнен.
И этот мир – Христа Невеста –
Она решилась и идет:
В ней все дрожит, в ней все поет,
В ней робость и бесстыдство жеста,
Желанье, скрытое стыдом,
И упоение грехом.

14

Есть беспощадность в примитивах.
У них для правды нет границ –
Ряды позорно некрасивых,
Разоблаченных кистью лиц.

В них дышит жизнью каждый атом:
Фуке – безжалостный анатом –
Их душу взял и расчленил,
Спокойно взвесил, осудил
И распял их в своих портретах.
Его портреты казнь и месть,
И что-то дьявольское есть
В их окружающих предметах
И в хрящеватости ушей,
В глазах и в линии ноздрей.

15

Им мир Рэдона так созвучен...
В нем крик камней, в нем скорбь земли,
Но саван мысли сер и скучен.
Он змей, свернувшийся в пыли.
Рисунок грубый, неискусный...
Вот Дьявол – кроткий, странный, грустный.
Антоний видит бег планет:
"Но где же цель?"
– Здесь цели нет...
Струится мрак и шепчет что-то,
Легко молчанье, как кольцо,
Мерцает бледное лицо
Средь ядовитого болота,
И солнце, черное как ночь,
Вбирая свет, уходит прочь.

16

Как горек вкус земного лавра...
Роден навеки заковал
В полубезумный жест Кентавра
Несовместимость двух начал.

В безумьи заломивши руки,
Он бьется в безысходной муке,
Земля и стонет, и гудит
Под тяжкой судоргой копыт.
Но мне понятна беспредельность,
Я в мире знаю только цельность.
Во мне зеркальность тихих вод,
Моя душа как небо звездна,
Кругом поет родная бездна, –
Я весь и ржанье, и полет!

17

Я поклоняюсь вам, кристаллы,
Морские звезды и цветы,
Растенья, раковины, скалы
(Окаменелые мечты
Безмолвно грезящей природы),
Стихии мира: Воздух, Воды,
И Мать-Земля, и Царь-Огонь!
Я духом Бог, я телом конь.
Я чую дрожь предчувствий вещих,
Я слышу гул идущих дней,
Я полон ужаса вещей
Враждебных, мертвых и зловещих,
И вызывают мой испуг
Скелет, машина и паук.

18

Есть злая власть в душе предметов,
Рожденных судоргой машин.
В них грех нарушенных запретов,
В них месть рабов, в них бред стремнин.

Для всех людей одни вериги:
Асфальты, рельсы, платья, книги,
И не спасется ни один
От власти липких паутин.
Но мы, свободные кентавры,
Мы мудрый и бессмертный род,
В иные дни у брега вод
Ласкались к нам ихтиозавры.
И мир мельчал. Но мы росли.
В нас бег планет, в нас мысль Земли!

5 июля 1904. Париж

СТАРЫЕ ПИСЬМА

А.В. Гольштейн

Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов...
В них есть запах, в них есть прелесть
Умирающих цветов.

Я люблю узорный почерк –
В нем есть шорох трав сухих.
Быстрых букв знакомый очерк
Тихо шепчет грустный стих.

Мне так близко обаянье
Их усталой красоты...
Это дерева Познанья
Облетевшие цветы.

1904

ТАИАХ

Тихо, грустно и безгневно
Ты взглянула. Надо ль слов?
Час настал. Прощай, царевна!
Я устал от лунных снов.

Ты живешь в подводной сини
Предрассветной глубины,
Вкруг тебя в твоей пустыне
Расцветают вечно сны.

Много дней с тобою рядом
Я глядел в твое стекло.
Много грез под нашим взглядом
Расцвело и отцвело.

Все, во что мы в жизни верим,
Претворялось в твой кристалл.
Душен стал мне узкий терем,
Сны увяли, я устал...

Я устал от лунной сказки,
Я устал не видеть дня.
Мне нужны земные ласки,
Пламя алого огня.

Я иду к разгулам будней,
К шумам буйных площадей,
К ярким полымям полудней,
К пестроте живых людей...

Не царевич я! Похожий
На него, я был иной...
Ты ведь знала: я — Прохожий,
Близкий всем, всему чужой.

Тот, кто раз сошел с вершины,
С ледяных престолов гор,
Тот из облачной долины
Не вернется на простор.

Мы друг друга не забудем.
И, целуя дольний прах,
Отнесу я сказку людям
О царевне Таиах.

Париж. Май 1905

Если сердце горит и трепещет,
Если древняя чаша полна...
Горе! Горе тому, кто расплещет
Эту чашу, не выпив до дна.

В нас весенняя ночь трепетала,
Нам таинственный месяц сверкал...
Не меня ты во мне обнимала,
Не тебя я во тьме целовал.

Нас палящая жажда сдружила,
В нас различное чувство слилось:
Ты кого-то другого любила,
И к другой мое сердце рвалось.

Запрокинулись головы наши,
Опьянились мы огненным сном.
Расплескали мы древние чаши,
Налитые священным вином.

Париж. 1905

Мы заблудились в этом свете.
Мы в подземельях темных. Мы
Один к другому, точно дети
Прижались робко в безднах тьмы.

По мертвым рекам всплески весел;
Орфей родную тень зовет.
И кто-то нас друг к другу бросил,
И кто-то снова оторвет...

Бессильна скорбь. Беззвучны крики.
Рука горит еще в руке.
И влажный камень вдалеке
Лепечет имя Эвридики.

29 июня 1905. Париж

ЗЕРКАЛО

Я – глаз, лишенный век. Я брошено на землю,
Чтоб этот мир дробить и отражать...
И образы скользят. Я чувствую, я внемлю,
Но не могу в себе их задержать.

И часто в сумерках, когда дымятся трубы
Над синим городом, а в воздухе гроза, –
В меня глядят бессонные глаза
И черною тоской запекшиеся губы.

И комната во мне. И капает вода.
И тени движутся, отходят, вырастая.
И тикают часы, и капает вода,
Один вопрос другим всегда перебивая.

И чувство смутное шевелится на дне.
В нем радостная грусть, в нем сладкий страх разлуки...
И я молю его: "Останься, будь во мне, –
Не прерывай рождающейся муки"...

И вновь приходит день с обычной суетой,
И бледное лицо лежит на дне — глубоко...
Но время наконец застынет надо мной,
И тусклою плевой мое затянет око!

1 июля 1905. Париж

Мир закутан плотно
В сизый саван свой —
В тонкие полотна
Влаги дождевой.

В тайниках сознанья
Травки проросли.
Сладко пить дыханье
Дождевой земли.

С грустью принимаю
Тягу древних змей:
Медленную Майю
Торопливых дней.

Затерявшись где-то,
Робко верим мы
В непрозрачность света
И прозрачность тьмы.

Лето 1905. Париж

Небо в тонких узорах
Хочет день превозмочь,
А в душе и в озерах
Опрокинулась ночь.

Что-то хочется крикнуть
В эту черную пасть,
Робким сердцем приникнуть,
Чутким ухом припасть.

И идешь и не дышишь...
Холодеют поля.
Нет, послушай... Ты слышишь?
Это дышит земля.

Я к траве припадаю.
Быть твоим навсегда...
"Знаю... знаю... все знаю", —
Шепчет вода.

Ночь темна и беззвездна.
Кто-то плачет во сне.
Опрокинута бездна
На водах и во мне...

6 июля 1905. Париж

Эта светлая аллея
В старом парке — по горе,
Где проходит тень Орфея
Молчаливо на заре.

Весь прозрачный — утром рано,
В белом пламени тумана
Он проходит, не помяв
Влажных стеблей белых трав.

Час таинственных наитий.
Он уходит в глубь аллей,
Точно струн касаясь нитей
Серебристых тополей.

Кто-то вздрогнул в этом мире.
Щебет птиц. Далекий ключ.
Как струна на чьей-то лире
Зазвенел по ветке луч.

Все распалось. Мы приидем
Снова в мир, чтоб видеть сны.
И становится невидим
Бог рассветной тишины.

Лето 1905. Париж

В зеленых сумерках, дрожа и вырастая,
Восторг таинственный припал к родной земле,
И прежние слова уносятся во мгле,
Как черных ласточек испуганная стая.

И арки черные и бледные огни
Уходят по реке в лучистую безбрежность.
В душе моей растет такая нежность!..
Как медленно текут расплавленные дни...

И в первый раз к земле я припадаю,
И сердце мертвое, мне данное судьбой,
Из рук твоих смиренно принимаю,
Как птичку серую, согретую тобой.

26 июня 1905. Париж

ВТОРОЕ ПИСЬМО

И были дни, как муть опала,
И был один, как аметист.
Река несла свои зеркàла,
Дрожал в лазури бледный лист.

Хрустальный день пылал так ярко,
И мы ушли в затишье парка,
Где было сыро на земле,
Где пел фонтан в зеленой мгле,
Где трепетали поминутно
Струи и полосы лучей,
И было в глубине аллей
И величаво и уютно.
Синела даль. Текла река.
Душа, как воды, глубока.

И наших ног касалась влажно
Густая, цепкая трава;
В душе и медленно и важно
Вставали редкие слова.
И полдня вещее молчанье
Таило жгучую печаль
Невыразимого страданья.
И смутным оком глядя вдаль,
Ты говорила:
"Смерть сурово
Придет, как синяя гроза.
Приблизит грустные глаза
И тихо спросит: Ты готова?
Что я отвечу в этот день?
Среди живых я только тень.

Какая темная Обида
Меня из бездны извлекла?
Я здесь брожу, как тень Аида,
Я не страдала, не жила...
Мне надо снова воплотиться
И крови жертвенной напиться,
Чтобы понять язык людей.
Печален сон души моей.
Она безрадостна, как Лета...
Кто здесь поставил ей межи?

Я родилась из чьей-то лжи,
Как Калибан из лжи поэта.
Мне не мила земная твердь...
Кто не жил, тех не примет смерть".

Как этот день теперь далеко
С его бескрылою тоской!
Он был, как белый свет востока
Пред наступающей зарей.

Он был как вещий сон незрящей,
Себя незнающей, скорбящей,
Непробудившейся души.
И тайны в утренней тиши
Свершались:
"*Некий встал с востока*
В хитоне бледно-золотом
И чашу с пурпурным вином
Он поднял в небо одиноко.
Земли пустые страшны очи.
Он встретил их и ослепил,
Он в мире чью-то кровь пролил
И затопил ей бездну ночи".

И, трепеща, необычайны,
Горѐ мы подняли сердца
И причастились страшной Тайны
В лучах пылавшего лица.

И долу, в мир вела дорога –
Исчезнуть, слиться и сгореть.
Земная смерть есть радость Бога:
Он сходит в мир, чтоб умереть.

И мы, как боги, мы, как дети,
Должны пройти по всей земле,

Должны запутаться во мгле,
Должны ослепнуть в ярком свете,
Терять друг друга на пути,
Страдать, искать и не найти...

Сентябрь 1904 – 29 июля 1905.
Париж

В МАСТЕРСКОЙ

Ясный вечер, зимний и холодный,
За высоким матовым стеклом.
Там, в окне, в зеленой мгле подводной
Бьются зори огненным крылом.
Смутный час... Все линии нерезки.
Все предметы стали далеки.
Бледный луч от алой занавески
Отеняет линию щеки.
Мир теней погасших и поблеклых,
Хризантемы в голубой пыли;
Стебли трав, как кружево, на стеклах...
Мы – глаза таинственной земли...
Вглубь растут непрожитые годы.
Чуток сон дрожащего стебля.
В нас молчат всезнающие воды,
Видит сны незрячая земля.

Девочка милая, долгой разлукою
Время не сможет наш сон победить:
Есть между нами незримая нить.
Дай я тихонько тебя убаюкаю:
Близко касаются головы наши,
Нет разделений, преграды и дна.
День, опрозраченный тайнами сна,
Станет подобным сапфировой чаше.

Ночь придет. За бархатною мглою
Станут бледны полыньи зеркал.
Я тебя согрею и укрою,
Чтоб никто не видел, чтоб никто не знал.
Свет зажгу. И ровный круг от лампы
Озарит растенья по углам,
На стенах японские эстампы,
На шкафу химеры с Notre-Dame,
Барельефы, ветви эвкалипта,
Полки книг, бумаги на столах,
И над ними тайну-тайн Египта –
Бледный лик царевны Таиах...

11 октября 1905. Париж

ВОСЛЕД

Мысли поют: "Мы устали... мы стынем"...
Сплю. Но мой дух неспокоен во сне.
Дух мой несется по снежным пустыням
В дальней и жуткой стране.

Дух мой с тобою в качаньи вагона.
Мысли поют и поют без конца.
Дух мой в России... Ведет Антигона
Знойной пустыней слепца.

Дух мой несется, к земле припадая
Вдоль по дорогам распятой страны.
Тонкими нитями в сердце врастая,
В мире клубятся кровавые сны.

Дух мой с тобою уносится... Иней
Стекла вагонов заткал, и к окну,
К снежной луне гиацинтово-синей
Вместе с тобою лицом я прильну.

Дух мой с тобою в качаньи вагона.
Мысли поют и поют без конца...
Горной тропою ведет Антигона
В знойной пустыне слепца...

1906. Февраль. Париж

Как Млечный Путь любовь твоя
Во мне мерцает влагой звездной,
В зеркальных снах над водной бездной
Алмазность пытки затая.

Ты – слезный свет во тьме железной,
Ты – горький звездный сок. А я –
Я – помутневшие края
Зари слепой и бесполезной.

И жаль мне ночи... Оттого ль,
Что вечных звезд родная боль
Нам новой смертью сердце скрепит?

Как синий лед мой день... Смотри!
И меркнет звезд алмазный трепет
В безбольном холоде зари.

1907. Март. Петербург

IN MEZZA DI CAMIN...

Блуждая в юности извилистой дорогой,
Я в темный Дантов лес вступил в пути своем,
И дух мой радостный охвачен был тревогой.

С безумной девушкой, глядевшей в водоем,
Я встретился в лесу. ''Не может быть случайна, –
Сказал я, – встреча здесь. Пойдем теперь вдвоем''.

Но, вещим трепетом объят необычайно,
К лесному зеркалу я вместе с ней приник,
И некая меж нас в тот миг возникла тайна.

И вдруг увидел я со дна встающий лик –
Горящий пламенем лик Солнечного Зверя.
''– Уйдем отсюда прочь!'' Она же птичий крик

Вдруг издала и, правде снов поверя,
Спустилась в зеркало чернеющих пучин...
Смертельной горечью была мне та потеря.

И в зрящем сумраке остался я один.

1907. 16 мая. Москва

III. ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ

Александре Михайловне Петровой

Быть черною землей. Раскрыв покорно грудь
Ослепнуть в пламени сверкающего Ока
И чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко
В живую плоть, ведет священный путь.

Под серым бременем небесного покрова
Пить всеми ранами потоки темных вод.
Быть вспаханной землей... И долго ждать, что вот
В меня сойдет, во мне распнется Слово.

Быть Матерью-Землей. Внимать, как ночью рожь
Шуршит про таинства возврата и возмездья,
И видеть над собой алмазных рун чертеж:
По небу черному плывущие созвездья.

1906. Сентябрь. Богдановщина

Одилону Рэдону

Я шел сквозь ночь. И бледной смерти пламя
Лизнуло мне лицо и скрылось без следа...
Лишь вечность зыблется ритмичными волнами.
И с грустью, как во сне, я помню иногда
Угасший метеор в пустынях мирозданья,
Седой кристалл в сверкающей пыли,
Где Ангел, проклятый проклятием всезнанья,
Живет меж складками морщинистой земли.

1904

КРОВЬ

Посвящение на книге "Эрос"

В моей крови – слепой Двойник.
Он редко кажет дымный лик, –
Тревожный, вещий, сокровенный.
Приникнул ухом... Где ты, пленный?

И мысль рванулась... и молчит.
На дне глухая кровь стучит...
Стучит – бежит... стучит – бежит...
Слепой огонь во мне струит.
Огонь древней, чем пламя звезд,
В ней память темных, старых мест.
В ней пламень черный, пламень древний.
В ней тьма горит, в ней света нет,
Она властительней и гневней,
Чем вихрь сияющих планет.

Слепой Двойник! Мой Пращур пленный!
Властитель мне невнятных грез!
С какой покинутой вселенной
Ты тайны душные принес?

Зачем во тьму кровосмешений
К соприкасаньям алых жал
Меня – Эдипа, ты послал
Искать зловещих откровений?

Петербург, 1907

САТУРН

М.А. Эртелю

На тверди видимой алмазно и лазурно
Созвездий медленных мерцает бледный свет.
Но в небе времени снопы иных планет
Несутся кольцами и в безднах гибнут бурно.

Пусть темной памяти источенная урна
Их пепел огненный развеяла как бред –
В седмичном круге дней горит их беглый след.
О, пращур Лун и Солнц, вселенная Сатурна!

Где ткало в дымных снах сознание-паук
Живые ткани тел, но тело было – звук.
Где лился музыкой, непознанной для слуха,

Творящих числ и воль мерцающий поток,
Где в горьком сердце тьмы сгущался звездный сок,
Что темным языком лепечет в венах глухо.

Петербург, 1907

СОЛНЦЕ

Б.А. Леману

Святое око дня, тоскующий гигант!
Я сам в своей груди носил твой пламень пленный,
Пронизан зрением, как белый бриллиант,
В багровой тьме рождавшейся вселенной.

Но ты, всезрящее, покинуло меня,
И я внутри ослеп, вернувшись в чресла ночи.
И вот простерли мы к тебе – истоку Дня
Земля – свои цветы и я – слепые очи.

Невозвратимое! Ты гаснешь в высоте,
Лучи призывные кидая издалека.
Но я в своей душе возжгу иное око
И землю поведу к сияющей мечте!

Петербург. 1907

ГРОТ НИМФ

Сергею Соловьеву

О, странник-человек! Познай Священный Грот
И надпись скорбную "Amori et Dolori".
Из бездны хаоса, сквозь огненное море,
В пещеры времени влечет водоворот.

Но смертным и богам отверст различный вход:
Любовь – тропа одним, другим дорога – горе.
И каждый припадет к сияющей амфоре,
Где тайной Эроса хранится вещий мед.

Отмечен вход людей оливою ветвистой —
В пещере влажных нимф, таинственной и мглистой,
Где вечные ключи рокочут в тайниках,

Где пчелы в темноте слагают сотов грани,
Наяды вечно ткут на каменных станках
Одежды жертвенной пурпуровые ткани.

Коктебель. 1907,
Апрель

РУАНСКИЙ СОБОР
Руан, 24 июля 1905.

Анне Рудольфовне Минцловой

I. НОЧЬ

Вечер за днем беспокойным.
Город, как уголь, зардел,
Веет порывистым, знойным,
Рдяным дыханием тел.

Плавны, как пение хора,
Прочь от земли и огней
Высятся дуги собора
К светлым пространствам ночей.

В тверди сияюще-синей,
В звездной алмазной пыли,
Нити стремительных линий
Серые сети сплели.

В горний простор без усилья
Взвились громады камней...
Птичьи упругие крылья –
Крылья у старых церквей!

1906

II. ЛИЛОВЫЕ ЛУЧИ

О фиолетовые грозы,
Вы – тень алмазной белизны!
Две аметистовые Розы
Сияют с горней вышины.

Дымится кровь огнем багровым,
Рубины рдеют винных лоз,
Но я молюсь лучам лиловым,
Пронзившим сердце вечных Роз.

И я склоняюсь на ступени,
К лиловым пятнам темных плит,
Дождем фиалок и сирени
Во тьме сияющей облит.

И храма древние колонны
Горят фиалковым огнем.
Как аметист, глаза бессонны
И сожжены лиловым днем.

1907

III. ВЕЧЕРНИЕ СТЕКЛА

Гаснет день. В соборе все поблекло.
Дымный камень лиловат и сер.
И цветами отцветают стекла
В глубине готических пещер.

Темным светом вытканные ткани,
Страстных душ венчальная фата,
В них рубин вина, возникший в Кане,
Алость роз, расцветших у креста,

Хризолит осенний и пьянящий,
Мед полудней – царственный янтарь,
Аметист – молитвенный алтарь,
И сапфир испуганный и зрящий.

В них горит вечерний океан,
В них призыв далекого набата,
В них глухой, торжественный орган,
В них душа стоцветная распята.

Тем, чей путь таинственно суров,
Чья душа тоскою осиянна,
Вы – цветы осенних вечеров,
Поздних зорь далекая Осанна.

1907

Крестный путь

Семь ступеней крестного пути соответствуют семи ступеням христианского посвящения, символически воплощенного в архитектурных кристаллах готических соборов.

Мистический крестный путь начинается омовением ног – прикосновением к полу храма, ибо пол храма – это вода. Поэтому в мозаиках, украшающих пол древних соборов, часто изображаются сивиллы, сидящие над водой, или олени, пьющие из ключа.

Вторая ступень – бичевание. Это ощущение острой физической боли, сердца Богоматерей, пронзенные семью мечами скорбей.

Третья — алый свет — ощущение текущей крови — терновый венец. Четвертая — стигматы — знаки пригвожденья на руках. Пятая ступень — это смерть на кресте. "Мировая душа распята на кресте мирового тела". Распятие — это символ божества, воплощенного в материи. Символически сам человек с распростертыми руками являет крест ("Облечен в крест тела своего"). Смерть — это экстаз, момент высшего восторга жизни.

Шестая ступень — погребение, причащение земле. Плоть, себя сознавшая, глаголящая и видящая, возвращается к темной и страдающей праматери.

Седьмая ступень — воскресение из мертвых.

1907

IV. СТИГМАТЫ

Чья рука, летучая как пламень,
По страстным путям меня ведет?
Под ногой не гулкий чую камень,
А журчанье вещих вод...

Дух пронзают острые пилястры,
Мрак ужален пчелами свечей.
О, сердца, расцветшие, как астры,
Золотым сиянием мечей!

Свет страданья, алый свет вечерний
Пронизал резной, узорный храм.
Ах, как жалят жала алых терний
Бледный лоб, приникший к алтарям!

Вся душа — как своды и порталы,
И, как синий ладан, в ней испуг.
Знаю вас, священные кораллы
На ладонях распростертых рук!

1907

V. СМЕРТЬ

Вьются ввысь прозрачные ступени,
Дух горит... и дали без границ.
Здесь святых сияющие тени,
Шелест крыл и крики белых птиц.

А внизу глубоко – в древнем храме
Вздох земли подъемлет лития.
Я иду алмазными путями.
Жгут ступни соборов острия.

Под ногой сияющие грозди –
Пыль миров и пламя белых звезд.
Вы, миры, – вы огненные гвозди,
Вечный дух распявшие на крест.

Разорвись, завеса в темном храме,
Разомкнись, лазоревая твердь!
Вот она, как ангел над мирами,
Факел жизни – огненная Смерть!

1907

VI. ПОГРЕБЕНИЕ

Глубь земли... Источенные крипты.
Слышно пенье – погребальный клир.
Ветви пальм. Сухие эвкалипты.
Запах воска. Тление и мир...

Здесь соборов каменные корни.
Прахом в прах таинственно сойти,
Здесь истлеть, как семя в темном дерне,
И цветком собора расцвести!

Милой плотью скованное время,
Своды лба и звенья позвонков
Я сложу, как радостное бремя,
Как гирлянды праздничных венков.

Не придя к конечному пределу
И земной любви не утоля,
Твоему страдающему телу
Причащаюсь, темная земля.

Свет очей — любовь мою сыновью
Я тебе, незрячей, отдаю
И своею солнечною кровью
Злое сердце мрака напою.

1907

VII. ВОСКРЕСЕНИЕ

Сердце острой радостью ужалено.
Запах трав и колокольный гул.
Чьей рукой плита моя отвалена?
Кто запор гробницы отомкнул?

Небо в перьях — высится и яснится...
Жемчуг дня... Откуда мне сие?
И стоит собор — первопричастница
В кружевах и белой кисее.

По речным серебряным излучинам,
По коврам сияющих полей,
По селеньям, сжавшимся и скученным,
По старинным плитам площадей,

Вижу я, идут отроковицами,
В светлых ризах, в девственной фате,
В кружевах, с завешенными лицами,
Ряд церквей — невесты во Христе.

Этим камням, сложенным с усильями,
Нет оков и нет земных границ!
Вдруг взмахнут испуганными крыльями
И взовьются стаей голубиц.

1907

ГНОСТИЧЕСКИЙ ГИМН ДЕВЕ МАРИИ

Вячеславу Иванову

Славься, Мария!
Хвалите, хвалите
Крестные тайны
Во тьме естества!
Mula-Pracriti —
Покров Божества.

Дремная греза
Отца Парабрамы,
Сонная Майа,
Праматерь-материя!
Греза из грезы...
Вскрываются храмы.
Жертвы и смерти
Живая мистерия.

Марево-Мара,
Море безмерное,
Amor-Maria —
Звезда над морями!
Мерною рябью
Разбилась вселенная.

В ритме вскрывается
Тайна глубинная...
В пенные крылья
Свои голубиные
Морем свита,
Из влаги рожденная –
Ты Афродита –
Звезда над морями.
Море – Мария!

Майею в мире
Рождается Будда.
В областях звездных
Над миром царит.
Верьте свершителю
Вышнего чуда:
Пламя, угасшее в безднах, –
Горит!..

Майа – Мария!

Майа, принявшая
Бога на крест,
Майа, зачавшая
Вечер-Гермеса.
С пламени вещих
Сверкающих звезд
Сорвана дня
Ледяная завеса.

Майа – Мария!

Мы в безднах погасли,
Мы путь совершили,
Мы в темные ясли
Бога сложили...
Ave Maria!

Петербург. 1907

КИММЕРИЙСКИЕ СУМЕРКИ

Константину Федоровичу Богаевскому

I. ПОЛЫНЬ

Костер мой догорал на берегу пустыни.
Шуршали шелесты струистого стекла,
И горькая душа тоскующей полыни
В истомной мгле качалась и текла.

В гранитах скал – надломленные крылья.
Под бременем холмов – изогнутый хребет.
Земли отверженной – застывшие усилья.
Уста Праматери, которым слова нет!

Дитя ночей призывных и пытливых,
Я сам – твои глаза, раскрытые в ночи
К сиянью древних звезд, таких же сиротливых,
Простерших в темноту зовущие лучи.

Я сам – уста твои, безгласные как камень!
Я тоже изнемог в оковах немоты.
Я свет потухших солнц, я – слов застывший пламень!
Незрячий и немой, бескрылый, как и ты.

О, мать-невольница! На грудь твоей пустыни
Склоняюсь я в полночной тишине...
И горький дым костра, и горький дух полыни,
И горечь волн – останутся во мне.

1906

II

Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...
По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре.
По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль,
И лежит земля страстна̀я в черных ризах и орарях.

Припаду я к острым щебням, к серым срывам размытых гор,
Причащусь я горькой соли задыхающейся волны,
Обовью я чобром, мятой и полынью седой чело.
Здравствуй, ты, в весне распятый, мой торжественный Коктебель!

Коктебель. 1907, апрель

III

Темны лики весны. Замутились влагой долины,
Выткали синюю даль прутья сухих тополей.
Тонкий снежный хрусталь опрозрачил дальние горы.
Влажно тучнеют поля.

Свивши тучи в кудель и окутав горные щели,
Ветер, рыдая, прядет тонкие нити дождя.
Море глухо шумит, развивая древние свитки
Вдоль по пустынным пескам.

Коктебель 1907, апрель

IV

Старинным золотом и желчью напитал
Вечерний свет холмы. Зардели красны, буры
Клочки косматых трав, как пряди рыжей шкуры.
В огне кустарники, и воды, как металл.

А груды валунов и глыбы голых скал
В размытых впадинах загадочны и хмуры.
В крылатых сумерках – намеки и фигуры...
Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал.

Вот холм сомнительный, подобный вздутым ребрам.
Чей согнутый хребет порос, как шерстью, чобром?
Кто этих мест жилец: чудовище? титан?

Здесь душно в тесноте... А там – простор, свобода,
Там дышит тяжело усталый Океан
И веет запахом гниющих трав и йода.

1907

V

Здесь был священный лес. Божественный гонец
Ногой крылатою касался сих прогалин.
На месте городов ни камней, ни развалин.
По склонам бронзовым ползут стада овец.

Безлесны скаты гор. Зубчатый их венец
В зеленых сумерках таинственно печален.
Чьей древнею тоской мой вещий дух ужален?
Кто знает путь богов – начало и конец?

Размытых осыпей, как прежде, звонки щебни
И море древнее, вздымая тяжко гребни,
Кипит по отмелям гудящих берегов.

И ночи звездные в слезах проходят мимо,
И лики темные отвергнутых богов
Глядят и требуют, зовут... неотвратимо.

1907

VI

Равнина вод колышется широко,
Обведена серебряной каймой.
Мутится мыс, зубчатою стеной
Ступив на зыбь расплавленного тока.

Туманный день раскрыл златое око,
И бледный луч, расплесканный волной,
Скользит, дробясь, над мутной глубиной, —
То колос дня от пажитей востока.

В волокнах льна златится бледный круг
Жемчужных туч, и солнце, как паук,
Дрожит в сетях алмазной паутины.

Вверх обрати ладони тонких рук —
К истоку дня! Стань лилией долины,
Стань стеблем ржи, дитя огня и глины!

Коктебель. 1907, апрель

VII

Над зыбкой рябью вод встает из глубины
Пустынный кряж земли: хребты скалистых гребней,
Обрывы черные, потоки красных щебней —
Пределы скорбные незнаемой страны.

Я вижу грустные, торжественные сны —
Заливы гулкие земли глухой и древней,
Где в поздних сумерках грустнее и напевней
Звучат пустынные гекзаметры волны.

И парус в темноте, скользя по бездорожью,
Трепещет древнею, таинственною дрожью
Ветров тоскующих и дышащих зыбей.

Путем назначенным дерзанья и возмездья
Стремит мою ладью глухая дрожь морей,
И в небе теплятся лампады Семизвездья.

1907

VIII. MARE INTERNUM

Я – солнца древний путь от красных скал Тавриза
До темных врат, где стал Гераклов град – Кадикс.
Мной круг земли омыт, в меня впадает Стикс,
И струйный столб огня на мне сверкает сизо.

Вот рдяный вечер мой: с зубчатого карниза
Ко мне склонились кедр и бледный тамарикс.
Широко шелестит фиалковая риза,
Заливы черные сияют, как оникс.

Люби мой долгий гул и зыбких взводней змеи,
И в хорах волн моих напевы Одиссеи.
Вдохну в скитальный дух я власть дерзать и мочь,

И обоймут тебя в глухом моем просторе
И тысячами глаз взирающая Ночь,
И тысячами уст глаголящее Море.

1907

IX. ГРОЗА

Див кличет по древию, велит послушати
Волзе, Поморью, Посулью, Сурожу...

Запал багровый день. Над тусклою водой
Зарницы синие трепещут беглой дрожью.
Шуршит глухая степь сухим быльем и рожью,
Вся млеет травами, вся дышит душной мглой,

И тутнет, гулкая. Див кличет пред бедой
Ардавде, Корсуню, Поморью, Посурожью, –
Земле незнаемой разносит весть Стрибожью:
Птиц стоном убудѝ и вста звериный вой.

С туч ветр плеснул дождем и мечется с испугом
По бледным заводям, по ярам, по яругам...
Тьма прыщет молнии в зыбучее стекло...

То Землю древнюю тревожа долгим зовом,
Обида вещая раскинула крыло
Над гневным Сурожем и пенистым Азовом.

1907

X. ПОЛДЕНЬ

Травою жесткою, пахучей и седой
Порос бесплодный скат извилистой долины.
Белеет молочай. Пласты размытой глины
Искрятся грифелем и сланцем, и слюдой.

По стенам шифера, источенным водой,
Побеги каперсов; иссохший ствол маслины;
А выше за холмом лиловые вершины
Подъемлет Карадаг зубчатою стеной.

И этот тусклый зной, и горы в дымке мутной,
И запах душных трав, и камней отблеск ртутный,
И злобный крик цикад, и клекот хищных птиц —

Мутят сознание. И зной дрожит от крика...
И там — во впадинах зияющих глазниц
Огромный взгляд растоптанного Лика.

Коктебель. 1907, апрель

XI. ОБЛАКА

Гряды холмов отусклил марный иней.
Громады туч по сводам синих дней
Ввысь громоздят (все выше, все тесней)
Клубы свинца, седые крылья пиний,

Столбы снегов, и гроздьями глициний
Свисают вниз... Зной глуше и тускней.
А по степям несется бег коней,
Как темный лет разгневанных Эриний.

И сбросил гнев тяжелый гром с плеча,
И, ярость вод на долы расточа,
Отходит прочь. Равнины медно-буры.

В морях зари чернеет кровь богов.
И дымные встают меж облаков
Сыны огня и сумрака — Ассуры.

1909

XII. СЕХМЕТ

Влачился день по выжженным лугам.
Струился зной. Хребтов синели стены.
Шли облака, взметая клочья пены
На горный кряж. (Доступный чьим ногам?)

Чей голос с гор звенел сквозь знойный гам
Цикад и ос? Кто мыслил перемены?
Кто с узкой грудью, с профилем гиены
Лик обращал навстречу вечерам?

Теперь на дол ночная пала птица,
Край запада лудою распаля.
И персть путей блуждает и томится...

Чу! В теплой мгле (померкнули поля...)
Далеко ржет и долго кобылица.
И трепетом ответствует земля.

1909

XIII

Сочилась желчь шафранного тумана.
Был стоптан стыд, притуплена любовь...
Стихала боль. Дрожала зыбко бровь.
Плыл горизонт. Глаз видел четко, пьяно.

Был в свитках туч на небе явлен вновь
Грозящий стих закатного Корана...
И был наш день одна большая рана,
И вечер стал – запекшаяся кровь.

В тупой тоске мы отвратили лица.
В пустых сердцах звучало глухо: "Нет!"
И застонав, как раненая львица,

Вдоль по камням влача кровавый след,
Ты на руках ползла от места боя,
С древком в боку, от боли долго воя...

30 августа 1909

XIV. ОДИССЕЙ В КИММЕРИИ

Лидии Дм. Зиновьевой-Аннибал

Уж много дней рекою Океаном
Навстречу дню, расправив паруса,
Мы бег стремим к неотвратимым странам,
Усталых волн все глуше голоса,

И слепнет день, мерцая оком рдяным.
И вот вдали синеет полоса
Ночной земли, и, слитые с туманом,
Излоги гор и скудные леса.

Наш путь ведет к божницам Персефоны,
К глухим ключам, под сени скорбных рощ,
Раин и ив, где папоротник, хвощ

И черный тисс одели леса склоны...
Туда идем к закатам темных дней
Во сретенье тоскующих теней.

17 октября 1907. Коктебель

Зеленый вал отпрянул и пугливо
Умчался вдаль, весь пурпуром горя...
Над морем разлилась широко и лениво
Певучая заря.

Живая зыбь, как голубой стеклярус.
Лиловых туч карниз.
В стеклянной мгле трепещет серый парус,
И ветр в снастях повис.

Пустыня вод... С тревогою неясной
Толкает челн волна.
И распускается, как папоротник красный,
Зловещая луна.

1904

Вещий крик осеннего ветра в поле.
Завернувшись в складки одежды темной,
Стонет бурный вечер в тоске бездомной,
Стонет от боли.

Раздирая тьму, облака, туманы,
Простирая алые к Ночи руки,
Обнажает Вечер в порыве муки
Рдяные раны.

Плачьте, плачьте, плачьте, безумцы-ветры,
Над горой, над полем глухим, над пашней...
Слышу в голых прутьях, в траве вчерашней,
Вопли Деметры.

1908

Священных стран
Вечерние экстазы.
Сверканье лат
Поверженного Дня!
В волнах шафран,
Колышатся топазы,
Разлит закат
Озерами огня.

Как волоса,
Волокна тонких дымов,
Припав к земле,
Синеют, лиловеют.
И паруса,
Что крылья серафимов,
В закатной мгле
Над морем пламенеют.

Излом волны
Сияет аметистом,
Струистыми
Смарагдами огней...

О, эти сны
О небе золотистом!
О пристани
Крылатых кораблей!..

1907

ОСЕНЬЮ

Рдяны краски,
Воздух чист;
Вьется в пляске
Красный лист, –
Это осень,
Далей просинь,
Гулы сосен,
Веток свист.

Ветер клонит
Ряд ракит,
Листья гонит
И вихрит.
Вихрей рати
И на скате
Перекати–
Поле мчит.

Воды мутит,
Гомит гам,
Рыщет, крутит
Здесь и там –
По нагорьям,
Плоскогорьям,
Лукоморьям
И морям.

Заверть пыли
Чрез поля
Вихри взвили,
Пепеля;
Чьи-то руки
Напружили,
Точно луки,
Тополя.

В море прянет, –
Вир встает,
Воды стянет,
Загудёт,
Рвет на части
Лодок снасти,
Дышит в пасти
Пенных вод.

Ввысь, в червленый
Солнца диск –
Миллионы
Алых брызг!
Гребней взвивы,
Струй отливы,
Коней гривы,
Пены взвизг...

1907. Коктебель

Поликсене С. Соловьевой

Над горестной землей – пустынной и огромной,
Больной прерывистым дыханием ветров,
Безумной полднями, облитой кровью темной
Закланных вечеров –

Свой лик, бессмертною пылающий тоскою,
Сын старший Хаоса, несешь ты в славе дня!
Пустыни времени лучатся под стезею
Всезрящего огня.

Колючий ореол, гудящий в медных сферах,
Слепящий вихрь креста – к закату клонишь ты,
И гасишь темный луч в безвыходных пещерах
Вечерней пустоты.

На грани диких гор ты пролил пурпур гневный,
И ветры – сторожа покинутой земли –
Кричат в смятении, и моря вопль напевный
Теперь растет вдали.

И стали видимы средь сумеречной сини
Все знаки скрытые, лежащие окрест:
И письмена дорог, начертанных в пустыне,
И в небе числа звезд.

1907

Ек.Ал.Бальмонт

Возлюби просторы мгновенья,
Всколоси их звонкую степь,
Чтобы мигов легкие звенья
Не спаялись в трудную цепь.
Ах, как тяжко бремя свободы,
Как темны просторы степей!
Кто вернет темничные своды
И запястья милых цепей?

Что рук не свяжете?
Ног не подкосите?
На темной пажити
Меня не бросите?

Не веют крылия
Живых вестей
Здесь на развилии
Слепых путей.

Не зови того, кто уходит,
Не жалей о том, что прошло:
Дарит смерть, а жизнь лишь уводит...
Позабудь и знак и число.
Ах, как дики эти излоги!
Как грустна вечерняя муть!..
Но иди: в полях без дороги
Пусть неверен будет твой путь.

Край одиночества,
Земля молчания...
Сбылись пророчества,
Свершились чаянья.
Под синей схимою
Простерла даль
Неотвратимую
Печаль.

Осень 1908. Париж

IV. АЛТАРИ В ПУСТЫНЕ

Александре Васильевне Гольштейн

Станет солнце в огненном притине,
Струйки темной потекут жары...
Я поставлю жертвенник в пустыне
На широком темени горы.

Дрём ветвей, пропитанных смолою,
Листья, мох и травы я сложу
И огню, плененному землею,
Золотые крылья развяжу.

Вспыхнут травы пламенем багровым,
Золотисто-темным и седым,
И потянет облаком лиловым
Горький, терпкий и пахучий дым.

Ты, Ликей! Ты, Фойбос! Здесь ты, близко!
Знойный гнев, Эойос, твой велик!
Отрок-бог! Из солнечного диска
Мне яви сверкающий свой лик.

1909

ΚΛΗΤΙΚΟΙ

Вейте, вайи! Флейты, пойте! Стройте, лиры! Бубен, бей!
Быстрый танец, вдоль по лугу белый вихрь одежд развей!
Зарный бог несется к югу в стаях белых лебедей.

Ржут грифоны, клекчут птицы, блещут спицы колесниц,
Плещут воды, вторят долы звонким криком вешних птиц,
В дальних тучах быстро бьются крылья огненных зарниц.

Устья рек, святые рощи, гребни скал и темя гор
Оглашает ликованьем всех зверей великий хор —
И луга, и лес, и пашни, гулкий брег и синь-простор.

У сокрытых вод Дельфузы славят музы бога сил;
Вещих снов слепые узы бременят сердца Сивилл,
Всходят зели, встали травы из утроб земных могил.

Ты — целитель! Ты — даятель! Отвратитель тусклых бед!
Гневный мститель! Насылатель черных язв и знойных лет!
Легких Ор святые хоры ты уводишь, Кифаред!

Движешь камни, движешь сферы строем лиры золотой!
Порожденный в лоне Геры Геи ревностью глухой,
Гад Пифон у врат пещеры поражен твоей стрелой.

Листьем дуба, темным лавром обвивайте алтари,
В белом блеске ярых полдней пламя алое гори!
Златокудрый, огneликий, сребролукий бог зари!

Ликодатель, возвестивший каждой твари. "ты еси!"
Зорю духа, пламя лика в нас, Ликей, — не угаси!
Севы звезд на влажной ниве в стройный колос всколоси!

Вейте, вайи! Флейты, пойте! Стройте, лиры! Бубен, бей!
Быстрый танец, вдоль по лугу белый вихрь одежд развей!
Зарный бог несется к югу в стаях белых лебедей!

Весна 1909. Коктебель

ДЭЛОС

Сергею Маковскому

Оком мертвенным Горгоны
Обожженная земля:
Гор зубчатые короны,
Бухт зазубренных края.

Реет в море белый парус...
Как венец с пяти сторон –
Сизый Сирос, синий Парос,
Мирто, Наксос и Микон.

Гневный Лучник! Вождь мгновенный!
Предводитель Мойр и Муз!
Налагатель откровений,
Разрешитель древних уз!

Сам из всех святынь Эллады
Ты своей избрал страной
Каменистые Циклады,
Дэлос знойный и сухой.

Ни священных рощ, ни кладбищ
Здесь не узрят корабли.
Ни лугов, ни тучных пастбищ,
Ни питающей земли.

Только лавр по склонам Цинта
Да в тенистых щелях стен
Влажный стебель гиацинта,
Кустик белых цикламен.

Но среди безводных кручей
Сердцу бога сладко мил
Терпкий дух земли горючей,
Запах жертв и дым кадил.

Дэлос! Ты престолом Фэба
Наг стоишь среди морей,
Воздымая к солнцу — в небо
Дымы черных алтарей.

1909

ДЕЛЬФЫ

Стеснили путь хребтов громады.
В долинах тень и дымка мглы.
Горят на солнце Федриады
И клекчут Зевсовы орлы.

Величье тайн и древней мощи
В душе родит святой испуг.
Безгласны лавровые рощи,
И эхо множит каждый звук.

По руслам рвов, на дне ущелий
Не молкнет молвь ручьев седых.
Из язв земли, из горных щелей,
Как пар, встает туманный дых.

Сюда, венчанного лозою, –
В долину Дельф, к устам земли
Благочестивою стезею
Меня молитвы привели.

Я плыл по морю за дельфином
И в полдень белая звезда
Меня по выжженным равнинам
Вела до змиева гнезда.

Но не вольна праматерь Гея
Рожать сынов. Пифон умолк,
И сторожат пещеру змея
Священный лавр, дельфийский волк.

И там, где Гад ползою мрачной
Темнил полдневный призрак дня,
Струей холодной и прозрачной
Сочится ископыть коня.

И где колчан с угрозой звякал
И змея бог стрелой язвил,
Вещает праведный оракул
И горек лавр во рту Сивилл.

И ветвь оливы дикой место
Под сенью милостной хранит,
Где бог гонимого Ореста
Укрыл от гнева Эвменид.

В стихийный хаос – строй закона.
На бездны духа – пышность риз.
И убиенный Дионис –
В гробу пред храмом Аполлона!

1909

ПРИЗЫВ

У излучин бледной Леты,
Где неверный бродит день,
Льются призрачные светы,
Веет трепетная тень.

В белой мгле, в дали озерной,
Под наметом тонких ив,
Ты, гранатовые зерна
Тихой вечности вкусив,

Позабыла мир наш блудний,
Плен одежд и трепет рук,
Темным золотом полудней
Осмугленный, знойный луг.

Но, собрав степные травы –
Мак, шалфей, полынь и чобр, –
Я призывные отравы
Расточу меж горных ребр.

Я солью в сосуде медном
Жизни желчь и смерти мед,
И тебя по рекам бледным
К солнцу горечь повлечет.

Время сетью легких звений
Оплетет твой белый путь,
Беглым золотом мгновений
Опалит земную грудь,

И, припав к родному полю, –
(Все ли травки проросли?) –
Примешь сладкую неволю
Жизни, лика и земли.

1908

ПОЛДЕНЬ

Звонки стебли травы и движенья зноя пахучи.
Горы, как рыжие львы, стали на страже пустынь.
В черно-синем огне расцветают медные тучи.
Горечью дышит полынь.

В ярых горнах долин, упоенных духом лаванды,
Темным золотом смол медленно плавится зной.
Нимбы света, венцы и сияний тяжких гирлянды
Мерно плывут над землей.

"Травы древних могил, мы взросли из камней и праха,
К зною из ночи и тьмы, к солнцу на зов возросли.
К полдням вынесли мы, трепеща от сладкого страха,
Мертвые тайны земли.

В зное полдней глухих мы пьянеем, горькие травы,
Млея по красным холмам, с иссиня-серых камней,
Душный шлем фимиам — благовонья сладкой отравы
В море расплавленных дней".

1907

Сердце мира, солнце Алкиана,
Сноп огня в сиянии Плеяд!
Над зеркальной влагой Океана —
Грозди солнц, созвездий виноград.

С тихим звоном, стройно и нескоро
Возносясь над чуткою водой,
Золотые числа Пифагора
Выпадают мерной чередой.

Как рыбак из малой Галилеи,
Как в степях халдейские волхвы –
Ночь-Грааль, из уст твоей Лилеи
Пью алмазы влажной синевы!

Коктебель, 1907

СОЗВЕЗДИЯ

Так силы небесные нисходят и всходят,
простирая друг другу золотые бадьи.
Гете

Звенят Весы и клонят коромысла,
Нисходит вниз, возносится бадья...
Часы идут, сменяя в небе числа,
Пути миров чертя вкруг остия.

Струится ночь. Журчит и плачет влага.
Ладья скользит вдоль темных берегов,
И чуток сон в водах Архипелага,
Где в море спят созвездья островов.

Гнездо Гиад... и гроздь огней – Плеяды...
Великий Воз и зоркий Волопас...
Свой правя путь чрез темные Циклады –
Какой пловец в уме не числил вас?

И ваш узор пред взором Одиссея
В иных веках искрился и мерцал,
И ночь текла, златые зерна сея,
Над лоном вод в дрожании зерцал.

И, ставя сеть у древних стен Хавона,
В тиши ночной видали рыбари
Алмазный торс гиганта Ориона,
Ловца зверей, любовника зари.

Когда ж земля бессмертными иссякла,
Лишь глубже стал и ярче небосклон.
И Солнцу путь затмила тень Геракла,
И Зевс воздвиг на небе льдистый Трон.

Все имена, все славы, все победы
Сплетались там в мерцании огней.
Над головой жемчужной Андромеды
Чертил круги сверкающий Персей.

В себе тая все летописи мира,
В ночах светясь внемирной красотой,
Златыми пчелами расшитая порфира
Струилась с плеч Ионии святой.

1908

ОНА

В напрасных поисках за ней
Я исследил земные тропы
От Гималайских ступеней
До древних пристаней Европы.

Она забытый сон веков,
В ней несвершенные надежды.
Я шорох знал ее шагов
И шелест чувствовал одежды.

Тревожа древний сон могил,
Я поднимал киркою плиты...
Ее искал, ее любил
В чертах Микенской Афродиты.

Пред нею падал я во прах,
Целуя пламенные ризы
Царевны Солнца – Таиах –
И покрывало Моны Лизы.

Под гул молитв и дальний звон
Склонялся в сладостном бессильи
Пред ликом восковых Мадонн
На знойных улицах Севильи.

И я читал ее судьбу
В улыбке внутренней зачатья,
В улыбке девушек в гробу,
В улыбке женщин в миг объятья.

Порой в чертах случайных лиц
Ее улыбки пламя тлело,
И кто-то звал со дна темниц,
Из бездны призрачного тела.

Но, неизменна и не та,
Она сквозит за тканью зыбкой,
И тихо светятся уста
Неотвратимою улыбкой.

Июль 1909

V. CORONA ASTRALIS

ВЕНОК СОНЕТОВ

Елизавете Ивановне Дмитриевой

I

В мирах любви неверные кометы,
Сквозь горних сфер мерцающий стожар –
Клубы огня, мятущийся пожар,
Вселенских бурь блуждающие светы

Мы вдаль несем... Пусть темные планеты
В нас видят меч грозящих миру кар, –
Мы правим путь свой к солнцу, как Икар,
Плащом ветров и пламени одеты.

Но странные, – его коснувшись, – прочь
Стремим свой бег: от солнца снова в ночь –
Вдаль, по путям парабол безвозвратных...

Слепой мятеж наш дерзкий дух стремит
В багровой тьме закатов незакатных...
Закрыт нам путь проверенных орбит!

II

Закрыт нам путь проверенных орбит,
Нарушен лад молитвенного строя...
Земным богам земные храмы строя,
Нас жрец земли земле не причастит.

Безумьем снов скитальный дух повит.
Как пчелы мы, отставшие от роя!..
Мы беглецы, и сзади наша Троя,
И зарево наш парус багрянит.

Дыханьем бурь таинственно влекомы,
По свиткам троп, по росстаням дорог
Стремимся мы. Суров наш путь и строг.

И пусть кругом грохочут глухо громы,
Пусть веет вихрь сомнений и обид, –
Явь наших снов земля не истребит!

III

Явь наших снов земля не истребит:
В парче лучей истают тихо зори,
Журчанье утр сольется в днѐвном хоре,
Ущербный серп истлеет и сгорит,

Седая зыбь в алмазы раздробит
Снопы лучей, рассыпанные в море,
Но тех ночей, разверстых на Фаворе,
Блеск близких солнц в душе не победит.

Нас не слепят полдневные экстазы
Земных пустынь, ни жидкие топазы,
Ни токи смол, ни золото лучей.

Мы шелком лун, как ризами, одеты,
Нам ведом день немеркнущих ночей, –
Полночных солнц к себе нас манят светы...

IV

Полночных солнц к себе нас манят светы...
В колодцах труб пытливый тонет взгляд.
Алмазный бег вселенные стремят:
Системы звезд, туманности, планеты,

От Альфы Пса до Веги и от Бэты
Медведицы до трепетных Плеяд –
Они простор небесный бороздят,
Творя во тьме свершенья и обеты.

О, пыль миров! О, рой священных пчел!
Я исследил, измерил, взвесил, счел,
Дал имена, составил карты, сметы...

Но ужас звезд от знанья не потух.
Мы помним все: наш древний, темный дух,
Ах, не крещен в глубоких водах Леты!

V

Ах, не крещен в глубоких водах Леты
Наш звездный дух забвением ночей!
Он не испил от Орковых ключей,
Он не принес подземные обеты.

Не замкнут круг. Заклятья недопеты...
Когда для всех сапфирами лучей
Сияет день, журчит в полях ручей, –
Для нас во мгле слепые бродят светы,

Шуршит тростник, мерцает тьма болот,
Напрасный ветр свивает и несет
Осенний рой теней Персефонеи,

Печальный взор вперяет в ночь Пелид...
Но он еще тоскливей и грустнее,
Наш горький дух... И память нас томит.

VI

Наш горький дух... (И память нас томит...)
Наш горький дух пророс из тьмы, как травы,
В нем навий яд, могильные отравы.
В нем время спит, как в недрах пирамид.

Но ни порфир, ни мрамор, ни гранит
Не создадут незыблемей оправы
Для роковой, пролитой в вечность лавы,
Что в нас свой ток невидимо струит.

Гробницы солнц! Миров погибших Урна!
И труп Луны и мертвый лик Сатурна –
Запомнит мозг и сердце затаит:

В крушеньях звезд рождалась мысль и крепла,
Но дух устал от свеянного пепла, –
В нас тлеет боль внежизненных обид!

VII

В нас тлеет боль внежизненных обид.
Томит печаль, и глухо точит пламя,
И всех скорбей развернутое знамя
В ветрах тоски уныло шелестит.

Но пусть огонь и жалит и язвит
Певучий дух, задушенный телами, –
Лаокоон, опутанный узлами
Горючих змей, напрягся... и молчит.

И никогда, ни счастье этой боли,
Ни гордость уз, ни радости неволи,
Ни наш экстаз безвыходной тюрьмы

Не отдадим за все забвенья Леты!
Грааль скорбей несем по миру мы, –
Изгнанники, скитальцы и поэты!

VIII

Изгнанники, скитальцы и поэты, –
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог...
У птиц – гнездо, у зверя – темный лог,
А посох – нам, и нищенства заветы.

Долг не свершен, не сдержаны обеты,
Не пройден путь, и жребий нас обрек
Мечтам всех троп, сомненьям всех дорог...
Расплескан мед и песни недопеты.

О, в срывах воль найти, познать себя
И, горький стыд смиренно возлюбя,
Припасть к земле, искать в пустыне воду,

К чужим шатрам идти просить свой хлеб,
Подобным стать бродячему рапсоду –
Тому, кто зряч, но светом дня ослеп.

IX

Тому, кто зряч, но светом дня ослеп, –
Смысл голосов, звук слов, событий звенья,
И запах тел и шорохи растенья –
Весь тайный строй сплетений, швов и скреп

Раскрыт во тьме. Податель света – Феб
Дает слепцам глубинные прозренья.
Скрыт в яслях Бог. Пещера заточенья
Превращена в Рождественский Вертеп.

Праматерь-ночь, лелея в темном чреве
Скупым Отцом ей возвращенный плод,
Свои дары избраннику несет –

Тому, кто в тьму был солнцем ввергнут в гневе,
Кто стал слепым игралищем судеб,
Тому, кто жив и брошен в темный склеп.

X

Тому, кто жив и брошен в темный склеп,
Видны края расписанной гробницы:
И солнца челн, богов подземных лица,
И строй земли: в полях маис и хлеб.

Быки идут, жнет серп, бьет колос цеп,
В реке плоты, спит зверь, вьют гнезда птицы, –
Так видит он из складок плащаницы
И смену дней и ход людских судеб.

Без радости, без слез, без сожаленья
Следит людей напрасные волненья,
Без темных дум, без мысли "почему?",

Вне бытия, вне воли, вне желанья,
Вкусив покой, неведомый тому,
Кому земля – священный край изгнанья.

XI

Кому земля – священный край изгнанья,
Того простор полей не веселит,
Но каждый шаг, но каждый миг таит
Иных миров в себе напоминанья.

В душе встают неясные мерцанья,
Как будто он на камнях древних плит
Хотел прочесть священный алфавит
И позабыл понятий начертанья.

И бродит он в пыли земных дорог, –
Отступник жрец, себя забывший бог,
Следя в вещах знакомые узоры.

Он тот, кому погибель не дана,
Кто, встретив смерть, в смущеньи клонит взоры,
Кто видит сны и помнит имена.

XII

Кто видит сны и помнит имена,
Кто слышит трав прерывистые речи,
Кому ясны идущих дней предтечи,
Кому поет влюбленная волна;

Тот, чья душа землей убелена,
Кто бремя дум, как плащ, приял на плечи,
Кто возжигал мистические свечи,
Кого влекла Изиды пелена,

Кто не пошел искать земной услады
Ни в плясках жриц, ни в оргиях Менад,
Кто в чашу нег не выжал виноград,

Кто, как Орфей, нарушив все преграды,
Все ж не извел родную тень со дна, —
Тому в любви не радость встреч дана.

XIII

Тому в любви не радость встреч дана,
Кто в страсти ждал не сладкого забвенья,
Кто в ласках тел не ведал утоленья,
Кто не испил смертельного вина.

Страшится он принять на рамена
Ярмо надежд и тяжкий груз свершенья,
Не хочет уз и рвет живые звенья,
Которыми связует нас Луна.

Своей тоски — навеки одинокой,
Как зыбь морей пустынной и широкой, —
Он не отдаст. Кто оцет жаждал — тот

И в самый миг последнего страданья,
Не мирный путь блаженства изберет,
А темные восторги расставанья.

XIV

А темные восторги расставанья,
А пепел грез и боль свиданий — нам.
Нам не ступать по синим лунным льнам,
Нам не хранить стыдливого молчанья.

Мы шепчем всем ненужные признанья,
От милых рук бежим к обманным снам,
Не видим лиц и верим именам,
Томясь в путях напрасного скитанья.

Со всех сторон из мглы глядят на нас
Зрачки чужих, всегда враждебных глаз,
Ни светом звезд, ни солнцем не согреты,

Стремя свой путь в пространствах вечной тьмы, –
В себе несем свое изгнанье мы –
В мирах любви неверные кометы!

XV

В мирах любви – неверные кометы, –
Закрыт нам путь проверенных орбит!
Явь наших снов земля не истребит, –
Полночных солнц к себе нас манят светы.

Ах, не крещен в глубоких водах Леты
Наш горький дух, и память нас томит.
В нас тлеет боль внежизненных обид –
Изгнанники, скитальцы и поэты!

Тому, кто зряч, но светом дня ослеп,
Тому, кто жив, и брошен в темный склеп,
Кому земля – священный край изгнанья,

Кто видит сны и помнит имена, –
Тому в любви не радость встреч дана,
А темные восторги расставанья!

Коктебель, август 1909

Книга вторая

SELVA OSCURA

I. БЛУЖДАНИЯ

Теперь я мертв. Я стал строками книги
В твоих руках...
И сняты с плеч твоих любви вериги,
Но жгуч мой прах.
Меня отныне можно в час тревоги
Перелистать,
Но сохранят всегда твои дороги
Мою печать.
Похоронил я сам себя в гробницы
Стихов моих,
Но вслушайся – ты слышишь пенье птицы?
Он жив – мой стих!
Не отходи смущенной Магдалиной –
Мой гроб не пуст...
Коснись единый раз на миг единый
Устами уст.

1910

Судьба замедлила сурово
На росстани лесных дорог...
Я ждал и отойти не мог,
Я шел и возвращался снова...

Смирясь, я все ж не принимал
Забвенья холод неминучий
И вместе с пылью перец жгучий
Любви сгоревшей собирал.

И с болью помнил профиль бледный,
Улыбку древних змийных губ, –
Так сохраняет горный дуб
До новых почек лист свой медный.

1910

Себя покорно предавая сжечь,
Ты в скорбный дол сошла с высот слепою.
Нам темной было суждено судьбою
С тобою на престол мучений лечь.

Напрасно обоюдоострый меч,
Смиряя плоть, мы клали меж собою:
Вкусив от мук, пылали мы борьбою
И гасли мы, как пламя пчельных свеч...

Невольник жизни дольней — богомольно
Целую край одежд твоих. Мне больно
С тобой гореть, еще больней — уйти.

Не мне и не тебе елей разлуки
Излечит раны страстного пути:
Минутна боль — бессмертна жажда муки!

20 марта 1910

С тех пор как тяжкий жернов слепой судьбы
Смолол незрелый колос твоей любви,
Познала ты тоску слепых дней,
Горечь рассвета и сладость смерти.

Стыдом и страстью в детстве ты крещена,
Для жгучей пытки избрана ты судьбой
И в чресла уголь мой тебе вжег
Неутолимую жажду жизни...

Но вольной волей ты подошла ко мне
И обнажила тайны ночной души,
И боль моя твою сожгла боль:
Пламя двойное сплелось как змей.

Когда глубокой ночью я в первый раз
Поверил правде пристальных глаз твоих
И прочитал изгиб твоих губ –
Древние двери в душе раскрылись.

И не на счастье нас обручил рассвет,
И не на радость в жизнь я призвал тебя.
И впредь разделенных путей нам нет:
Два осужденных с единой цепью.

Пурпурный лист на дне бассейна
Сквозит в воде, и день погас...
Я полюбил благоговейно
Текучий мрак печальных глаз.

Твоя душа таит печали
Пурпурных снов и горьких лет.
Ты отошла в глухие дали, –
Мне не идти тебе вослед.

Не преступлю и не нарушу,
Не разомкну условный круг,
К земным огням слепую душу
Не изведу для новых мук.

Мне не дано понять, измерить
Твоей тоски, но не предам –
И буду ждать, и буду верить
Тобой не сказанным словам.

1910

В неверный час тебя я встретил,
И избежать тебя не мог —
Нас рок одним клеймом отметил,
Одной погибели обрек.

И не противясь древней силе,
Что нас к одной тоске вела,
Покорно обнажив тела,
Обряд любви мы сотворили.

Не верил в чудо смерти жрец,
И жертва тайны не страшилась,
И в кровь вино не претворилось
Во тьме кощунственных сердец.

1910

Раскрыв ладонь, плечо склонила...
Я не видал еще лица,
Но я уж знал, какая сила
В чертах Венерина кольца...

И раздвоенье линий воли
Сказало мне, что ты, как я,
Что мы в кольце одной неволи —
В двойном потоке бытия.

И если суждены нам встречи...
(Быть может, топоты погонь)...
Я полюблю не взгляд, не речи,
А только бледную ладонь.

3 декабря 1910

Обманите меня... но совсем, навсегда...
Чтоб не думать — зачем, чтоб не помнить — когда...
Чтоб поверить обману свободно, без дум,
Чтоб за кем-то итти наобум...
И не знать, кто пришел, кто глаза завязал,
Кто ведет лабиринтом неведомых зал,
Чье дыханье порою горит на щеке,
Кто сжимает мне руку так крепко в руке...
А очнувшись, увидеть лишь ночь и туман...
Обманите и сами поверьте в обман.

1911

Мой пыльный пурпур был в лоскутьях,
Мой дух горел: я ждал вестей,
Я жил на людных перепутьях
В толпе базарных площадей.
Я подходил к тому, кто плакал,
Кто ждал, как я... Поэт, оракул —
Я толковал чужие сны...
И в бледных бороздах ладоней
Читал о тайнах глубины
И муках длительных агоний.
Но не чужую, а свою
Судьбу искал я в снах бездомных
И жадно пил от токов темных,
Не причащаясь бытию.
И средь ладоней неисчетных
Не находил еще такой,
Узор которой в знаках четных
С моей бы совпадал рукой.

1913

Я к нагорьям держу свой путь
По полынным лугам, по скату,
Чтоб с холма лицо обернуть
К пламенеющему закату.

Жемчугами расшит покров
И венец лучей над горами –
Точно вынос Святых Даров
Совершается в темном храме.

Вижу к небу в лиловой мгле
Возносящиеся ступени...
Кто-то сладко прильнул к земле
И целует мои колени.

Чую сердца прерывный звук
И во влажном степей дыханьи
Жарких губ и знакомых рук
Замирающие касанья.

Я ли в зорях венчанный царь?
Я ли долу припал в бессильи?
Осеняет земной алтарь
Огневеющие воскрылья...

1913

"К тебе я пришел через воды. –
Пернатый, гудящий в стремленьи".
– Не жившим не надо свободы...
"Рассек я змеиные звенья,
Порвал паутинные сети"...
– Что в жизни нежнее плененья?
"Скорее, мы будем, как дети,
Кружиться, цветы заплетая"...
– Мне, смертной, нет места на свете...

"Затихла зеркальность морская...
Вечерние лебеди ясны,
Кренится бадья золотая"...
– Как наручни смерти прекрасны!

Я глазами в глаза вникал,
Но встречал не иные взгляды,
А двоящиеся анфилады
Повторяющихся зеркал.

Я стремился чертой и словом
Закрепить преходящий миг.
Но мгновенно плененный лик
Угасает, чтоб вспыхнуть новым.

Я боялся узнав – забыть...
Но в стремлении нет забвенья.
Чтобы вечно сгорать и быть –
Надо рвать без печали звенья.

Я пленен в переливных снах,
В завивающихся круженьях,
Раздробившийся в отраженьях,
Потерявшийся в зеркалах.

7 февраля 1915

Я быть устал среди людей,
Мне слышать стало нестерпимо
Прохожих свист и смех детей...
И я спешу, смущаясь, мимо,
Не подымая головы,
Как будто не привыкло ухо
К враждебным ропотам молвы,
Растущим за спиною глухо;

Как будто грязи едкий вкус
И камня подлого укус
Мне не привычны, не знакомы...
Но чувствовать еще больней
Любви незримые надломы
И медленный отлив друзей,
Когда, не здешним сном томима
Дичась, безлюдеет душа
И замирает, не дыша,
Клубами жертвенного дыма.

8 июля 1913

Как некий юноша в скитаньях без возврата,
Иду из края в край, и от костра к костру...
Я в каждой девушке предчувствую сестру,
И между юношей ищу напрасно брата;

Щемящей радостью душа моя объята;
Я верю в жизнь, и в сон, и в правду, и в игру,
Я знаю, что приду к отцовскому шатру,
Где ждут меня мои, и где я жил когда-то.

Бездомный долгий путь назначен мне судьбой...
Пускай другим он чужд... я не зову с собой —
Я странник и поэт, мечтатель и прохожий.

Любимое со мной. Минувшего не жаль.
А ты, что за плечом, — со мною тайно схожий, —
Несбыточной мечтой сильнее жги и жаль!

1913

Ступни горят, в пыли дорог душа...
Скажи: где путь к неведомому граду?
— Остановись. Войди в мою ограду
И отдохни. И слушай не дыша,

Как ключ журчит, как шелестят вершины
Осокорей, звенят в воде кувшины...
Учись внимать молчанию садов,
Дыханью трав и запахам цветов.

Январь 1910

И было так, как будто жизни звенья
Уж были порваны... успокоенье
Глубокое... и медленный отлив
Всех дум, всех сил... Я сознавал, что жив,
Лишь по дыханью трав и повилики.
Восход Луны встречали чаек клики...
А я тонул в холодном лунном сне,
В мерцающей лучистой глубине,
И на меня из влажной бездны плыли
Дожди комет, потоки звездной пыли...

5 июля 1913

Я, полуднем объятый,
Точно крепким вином,
Пахну солнцем и мятой,
И звериным руном;

Плоть моя осмуглела,
Стан мой крепок и туг,
Потом горького тела
Влажны мускулы рук.

В медно-красной пустыне
Не тревожь мои сны –
Мне враждебны рабыни
Смертно-влажной Луны, –

Запах лилий, и гнили
И стоячей воды,
Дух вербены, ванили
И глухой лебеды.

10 апреля 1910

Ал.Н.Толстому

Дети солнечно-рыжего меда
И коричнево-красной земли –
Мы сквозь плоть в темноте проросли,
И огню наша сродна природа.
В звездном улье века̀ и века̀
Мы, как пчелы у чресл Афродиты,
Вьемся, солнечной пылью повиты,
Над огнем золотого цветка.

1910

НАДПИСИ

Вячеславу Иванову

I

Еще не отжиты связавшие нас годы,
Еще не пройдены сплетения путей...
Вдвоем, руслом одним, не смешивая воды,
Любовь и ненависть текут в душе моей.

1 марта 1910

II

В горькой купели земли крещены мы огнем и тоскою,
Пепел сожженной любви тлеет в кадильнице дня.

III

Вместе в один водоем поглядим ли мы осенью поздней, –
Сблизятся две головы – три отразятся в воде.

Я верен темному завету:
"Быть всей душой в борьбе!"
Но Змий,
Что в нас посеял волю к свету,
Велев любить, сказал: "Убий".
Я не боюсь земной печали:
Велишь убить, – любя, убью.
Кто раз упал в твои спирали –
Тем нет путей к небытию.
Я весь внимающее ухо,
Я весь застывший полдень дня.
Неистощимо семя духа,
И плоть моя – росток огня:
Пусть капля жизни в море канет –
Нерастворимо в смерти "Я",
Не соблазнится плоть моя,
Личина трупа не обманет,
И не иссякнет бытие
Ни для меня, ни для другого:
Я был, я есмь, я буду снова!
Предвечно странствие мое.

Замер дух – стыдливый и суровый,
Знаньем новой истины объят...
Стал я ближе плоти, больше людям брат.

Я познал сегодня ночью новый
Грех... И строже стала тишина —
Тишина души в провалах сна...

Чрез желанье, слабость и склоненье,
Чрез приятье жизненных вериг —
Я к земле доверчивей приник.

Есть в грехе великое смиренье:
Гордый дух да не осудит плоть!
Через грех взыскует тварь Господь.

ПЕЩЕРА

Сперва мы спим в пурпуровой Пещере
Наш прежний лик глубоко затая:
Для духов в тесноту земного бытия
        Иные не раскрыты двери.

Потом живем... Минуя райский сад,
Спешим познать всю безысходность плоти;
В замок влагая ключ, слепые, в смертном поте,
        С тоской стучимся мы назад...

О, для чего с такою жадной грустью
Мы в спазмах тел палящих ищем нег,
Устами льнем к устам и припадаем к устью
        Из вечности текущих рек?

Нам путь закрыт к предутренней Пещере:
Сквозь плоть нет выхода — есть только вход.
А кто-то, за стеной, волнуется и ждет...
        Ему мы открываем двери.

Не мы, а он возжаждал видеть твердь!
И наша страсть – полет его рожденья...
Того, кто в ласках тел не ведал утоленья,
Освобождает только смерть!

МАТЕРИНСТВО

Мрак... Матерь... Смерть... созвучное единство...
Здесь рокот внутренних пещер,
Там свист серпа в разрывах материнства:
Из мрака – смерч, гуденье дремных сфер.
Из всех узлов и вязей жизни – узел
Сыновности и материнства – он
Теснее всех и туже напряжен:
Дверь к бытию Водитель Жизни сузил.
Я узами твоих кровей томим,
А ты, о мать, – найду ль для чувства слово?
Ты каждый день меня рождаешь снова
И мучима рождением моим.
Кто нас связал и бросил в мир слепыми?
Какие судьбы нами расплелись?
Как неотступно требуешь ты: " Имя
Свое скажи мне! кто ты? назовись".
Не помню имени... но знай: не весь я
Рожден тобой, и есть иная часть,
И судеб золотые равновесья
Блюдет Вершительная Власть.
Свобода и любовь в душе неразделимы,
Но нет любви, не налагавшей уз...
Тягло земли – двух смертных тел союз...
Как вихри мы сквозь вечности гонимы.
Кто возлюбил другого для себя
Плоть возжелав для плоти без возврата,
Тому в свершении расплата:

Чрез нас родятся те, кого, любя,
Связали мы желаньем неотступным.
Двойным огнем ты очищалась, мать, —
Свершая все, что смела пожелать,
Ты вознесла в сияньи целокупном
В себе самой возлюбленную плоть...
Но как прилив сменяется отливом,
Так с этих пор твой каждый день Господь
Отметил огненным разрывом.
Дитя растет, и в нем растет иной,
Не женщиной рожденный, непокорный,
Но связанный твоей тоской упорной —
Твоею вязью родовой.
Я знаю, мать, твой каждый час — утрата.
Как ты во мне, так я в тебе распят.
И нет любви твоей награды и возврата,
Затем что в ней самой — награда и возврат!

5 июля 1917

Отроком строгим бродил я
По терпким долинам
Киммерии печальной,
И дух мой незрячий
Томился
Тоскою древней земли.
В сумерках в складках
Глубоких заливов
Ждал я призыва и знака,
И раз пред рассветом,
Встречая восход Ориона,
Я понял
Ужас ослепшей планеты,
Сыновность свою и сиротство...
Бесконечная жалость и нежность
Переполняет меня.

Я безысходно люблю
Человеческое тело. Я знаю
Пламя,
Тоскующее в разделенности тел.
Я люблю держать в руках
Сухие горячие пальцы,
И читать судьбу человека
По линиям вещих ладоней.
Но мне не дано радости
Замкнуться в любви к одному:
Я покидаю всех и никого не забываю.
Я никогда не нарушил того, что растет;
Не сорвал ни разу
Нераспустившегося цветка:
Я снимаю созревшие плоды,
Облегчая отягченные ветви.
И если я причинял боль,
То потому только,
Что был жалостлив в те мгновенья,
Когда надо быть жестоким,
Что не хотел заиграть до смерти тех,
Кто, прося о пощаде,
Всем сердцем молили
О гибели...

1911

Склоняясь ниц, овеян ночи синью,
Доверчиво ищу губами я
Сосцы твои, натертые полынью,
О, мать-Земля!

Я не просил иной судьбы у неба,
Чем путь певца: бродить среди людей
И растирать в руках колосья хлеба
Чужих полей.

Мне не отказано ни в заблужденьях,
Ни в слабости, и много раз
Я угасал в тоске и в наслажденьях,
Но не погас.

Судьба дала мне в жизни слишком много;
Я ж расточал, что было мне дано:
Я только гроб, в котором тело Бога
Погребено.

Добра и зла не зная верных граней,
Бескрылая изнемогла мечта...
Вином тоски и хлебом испытаний
Душа сыта.

Благодарю за неотступность боли
Путеводительной: я в ней сгорю.
За горечь трав земных, за едкость соли –
Благодарю!

7 ноября 1910

II. КИММЕРИЙСКАЯ ВЕСНА

Моя земля хранит покой,
Как лик иконы изможденный.
Здесь каждый след сожжен тоской,
Здесь каждый холм — порыв стесненный.

Я вновь пришел — к твоим ногам
Сложить дары своей печали,
Бродить по горьким берегам
И вопрошать морские дали.

Все так же пуст Эвксинский Понт
И так же рдян закат суровый,
И виден тот же горизонт
Текучий, гулкий и лиловый.

9 февр. 1910

Седым и низким облаком дол повит...
Чернильно-сини кручи лиловых гор.
Горелый, ржавый, бурый цвет трав.
Полосы иода и пятна желчи.

В морщине горной, в складках тисненых кож
Тускнеет сизый блеск чешуи морской.
Скрипят деревья. Вихрь траву рвет,
Треплет кусты и разносит брызги.

Февральский вечер сизой тоской повит.
Нагорной степью путь мой уходит вдаль.
Жгутами струй сечет глаза дождь.
Северный ветер гудит в провалах.

8 февр. 1910

К излогам гор душа влекома...
Яры, увалы, ширь полей...
Все так печально, так знакомо...
Сухие прутья тополей,

Из камней низкая ограда,
Быльем поросшая межа,
Нагие лозы винограда
На темных глыбах плантажа,
Лучи дождя и крики птичьи,
И воды тусклые вдали,
И это горькое величье
Весенней вспаханной земли...

12 февраля 1910

Солнце! Твой родник
В недрах бьет по темным жилам...
Воззывающий свой лик
Обрати к земным могилам!

Солнце! Из земли
Руки черные простерты...
Воды снежные стекли,
Тали в поле ветром стерты.

Солнце! Прикажи
Виться лозам винограда.
Завязь почек развяжи
Властью пристального взгляда!

14 февраля 1910

Звучит в горах, весну встречая,
Ручьев прерывистая речь;
По сланцам стебли молочая
Встают рядами бледных свеч.

А на полянах влажно-мшистых
Средь сгнивших за зиму листов —
Глухие заросли безлистых
Лилово-дымчатых кустов.

И ветви тянутся к просторам,
Молясь Введению Весны,
Как семисвечник, на котором
Огни еще не зажжены.

16 февраля 1910

Облака клубятся в безднах зеленых
Лучезарных пустынь восхода
И сбегают тени с гор обнаженных
Цвета роз и меда.

И звенит и блещет белый стеклярус
За Киик-Атламой костистой,
Плещет в синем ветре дымчатый парус,
Млеет след струистый,

Отливают волны розовым глянцем,
Влажные выгибая гребни,
Индевеет берег солью и сланцем,
И алеют щебни,

Скрыты горы синью пятен и линий —
Переливами перламутра...
Точно кисть лиловых бледных глициний,
Расцветает утро.

21 февраля 1910

День морозно-сизый расцвел и замер,
Побелело море, целуя отмель,
Всхлипывают волны, роняют брызги
Крылья тумана...
Обнимает сердце покорность. Тихо...
Мысли замирают. В саду маслина
Простирает ветви к слепому небу
Жестом рабыни...

20 февраля 1910

Над синевой зубчатых чащ,
Над буро-глинистыми лбами
Июньских ливней темный плащ
Клубится дымными столбами.
Веселым дождевым вином,
Водами, пьяными, как сусло,
И пенно-илистым руном
Вскипают жаждущие русла.
Под быстрым градом тонких льдин
Стучат на крышах черепицы,
И ветки сизые маслин
В испуге бьют крылом, как птицы.
Дождь, вихрь и град – сечет, бьет, льет
И треплет космы винограда,
И рвется под бичами вод
Кричащая Гамадриада...
И пресных вод в песке морском
Встал дыбом вал, ярясь и споря,
И желтым ширится пятном
В прозрачной прозелени моря.

13 июня 1913

Сквозь облак тяжелые свитки,
Сквозь ливней косые столбы,
Лучей золотистые слитки
На горные падают лбы.
Пройти по лесистым предгорьям,
По бледным полынным лугам,
К широким моим плоскогорьям,
К гудящим волной берегам,
Где в дикой и пенной порфире,
Ложась на песок золотой,
Все шире, все шире, все шире...
Развертывается прибой.

18 ноября 1919

Опять бреду я босоногий;
По ветру лоснится ковыль;
Что может быть нежней, чем пыль
Степной разъезженной дороги?..
На бурый стелется ковер,
Полдневный пламень сух и ясен,
Хрусталь предгорий так прекрасен,
Так бледны дали серых гор!
Соленый ветер в пальцах вьется...
Ах, жажду счастья, хмель отрав
Не утолит ни горечь трав,
Ни соль овечьего колодца!

16 ноября 1919. Коктебель

Твоей тоской душа томима,
Земля утерянных богов!
Дул свежий ветр... Мы плыли мимо
Однообразных берегов.

Ныряли чайки в хлябь морскую,
Клубились тучи. Я смотрел,
Как солнце мечет в зыбь стальную
Алмазные потоки стрел.

Как с черноморскою волной
Азова илистые воды
Упорно месит ветр крутой
И, вестник близкой непогоды,

Развертывает свитки туч,
Срывает пену, вихрит смерчи,
И дальних ливней темный луч
Повис над берегами Керчи.

1912

Заката алого заржавели лучи
По склонам рыжих гор... и облачной галеры
Погасли паруса. Без края и без меры
Растет ночная тень. Остановись. Молчи.

Каменья зноем дня во мраке горячи.
Луга полынные нагорий тускло-серы...
И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи...

1912

Ветер с неба хлопья облак вытер,
Синим оком светит водоем,
Желтою жемчужиной Юпитер
Над седым возносится холмом.

Искры света в диске наклоненном,
Спутники стремительно бегут,
А заливы в зеркале зеленом
Пламена созвездий берегут.

А вблизи струя звенит о камень,
А внизу полет звенит цикад,
И гудит в душе певучий пламень
В синеве сияющих лампад.

Кто сказал: "Змеею препояшу
И пошлю?"... Ликуя и скорбя,
Возношу к верховным солнцам чашу
Переполненную светами, – себя.

20 июня 1917

КАРАДАГ

I

Преградой волнам и ветрам
Стена размытого вулкана,
Как воздымающийся храм,
Встает из сизого тумана.
По зыбям меркнущих равнин,
Томимым неуемной дрожью,
Направь ладью к ее подножью
Пустынным вечером — один.
И над живыми зеркалами
Возникнет темная гора,
Как разметавшееся пламя
Окаменелого костра.
Из недр изверженным порывом,
Трагическим и горделивым,
Взметнулись вихри древних сил —
Так в буре складок, в свисте крыл,
В водоворотах снов и бреда,
Прорвавшись сквозь упор веков,
Клубится мрамор всех ветров —
Самофракийская Победа!

14 июня 1918

II

Над черно-золотым стеклом,
Струистым бередя веслом
Узоры зыбкого молчанья,
Беззвучно оплыви кругом
Сторожевые изваянья.

Войди под стрельчатый намет,
И пусть душа твоя поймет
Безвыходность слепых усилий
Титанов, скованных в гробу,
И бред распятых шестикрылий
Окаменелых Херубу.
Спустись в базальтовые гроты,
Вглядись в провалы и в пустоты,
Похожие на вход в Аид...
Прислушайся, как шелестит
В них голос моря — безысходней,
Чем плач теней... И над кормой
Склонись, тревожный и немой,
Перед богами преисподней...
... Потом плыви скорее прочь:
Ты завтра вспомнишь только ночь,
Столпы базальтовых гигантов,
Однообразный голос вод,
И радугами бриллиантов
Переливающийся свод.

17 июня 1918

КОКТЕБЕЛЬ

Как в раковинке малой — океана
Великое желание гудит,
Как плоть мерцает и горит
Отливами и серебром тумана,
А в выгибах ее повторены
Движение и завиток волны, —
Так вся душа моя в заливах,
О, Киммерия, темная страна,
Заключена и преображена.

С тех пор, как отроком у молчаливо
Торжественно-пустынных берегов
Очнулся я, – душа моя разъялась,
И мысль росла, лепилась и ваялась
По складкам гор, по выгибам холмов.
Огнь древних недр и дождевая влага
Двойным резцом ваяли облик твой, –
И сих холмов однообразный строй,
И напряженный пафос Карадага,

Сосредоточенность и теснота
Зубчатых скал, а рядом широта
Степных равнин и мреющие дали –
Стиху – разбег, а мысли – меру дали.
Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны,
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в строфах его пролива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и временем изваян профиль мой!

6 июня 1918

ГОРОДА В ПУСТЫНЕ

Акрополи в лучах вечерней славы,
Кастилий нищих рыцарский покров.
Троады скорбь среди немых холмов.
Апулии зеркальные оправы.

Безвестных стран разбитые заставы.
Могильники забытых городов.
Размывы, осыпи, развалины и травы
Изглоданных волною берегов.

Озер агатовых колдующие очи.
Сапфирами увлаженные ночи.
Сухие русла, камни и полынь.

Теней Луны по склонам плащ зубчатый.
Монастыри в преддверии пустынь,
И медных солнц гудящие закаты...

24 октября 1916

ПУСТЫНЯ

И я был сослан в глубь степей,
И я изведал мир огромный
В дни库 страннической и бездомной,
Пытливой юности моей.

От изумрудно-синих взморий,
От перламутровых озер
Вели ступени плоскогорий
К престолам азиатских гор,

Откуда некогда, бушуя,
Людские множества текли,
Орды и царства образуя
Согласно впадинам земли;

И, нисходя по скатам горным,
Селился первый человек
Вдоль по теченьям синих рек,
По тонким заводям озерным,

И оставлял на дне степей
Мех чернобыльника и чобра,
Быков обугленные ребра
И камни грубых алтарей.

Как незапамятно и строго
Звучал из глубины веков
Глухой пастуший голос рога
И звон верблюжьих бубенцов,

Когда, овеянный туманом,
Сквозь бред миражей и песков,
Я шел с ленивым караваном
К стене непобедимых льдов.

Шел по расплавленным пустыням,
По непротоптанным тропам,
Под небом исступленно-синим,
Вослед пылающим столпам.

А по ночам, в лучистой дали
Распахивался небосклон,
Миры цвели и отцветали
На звездном дереве времен,

И хоры горних сил хвалили
Творца миров из глубины
Ветвистых пламеней и лилий
Неопалимой Купины.

19 ноября 1919. Коктебель

Выйди на кровлю. Склонись на четыре
Стороны света, простерши ладонь...
Солнце... Вода... Облака... Огонь... –
Все, что есть прекрасного в мире!

Факел косматый в шафранном тумане...
Влажной парчою расплесканный луч...
К небу из пены простертые длани...
Облачных грамот закатный сургуч...

Гаснут во времени, тонут в пространстве
Мысли, события, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений земли...

Коктебель, 11 октября 1924

КАЛЛИЕРА

Посв. С.В.Шервинскому

По картам здесь и город был, и порт.
Остатки мола видны под волнами.
Соседний холм насыщен черепками
Амфор и пифосов, но город стерт,
Как мел с доски, разливом конных орд.
И мысль, читая смытое веками,
Предсказывает ночь, тревогу, пламя
И рдяный блик в глазах раскосых морд.

Зубец, над городищем вознесенный,
Народ зовет "Иссыпанной Короной",
Как знак того, что сроки истекли,

Что судьб твоих до дна испита мера,
Отроковица Эллинской земли
В венецианских бусах – Каллиера.

18 ноября 1926, Коктебель

Фиалки волн и гиацинты пены
Цветут на взморье около камней,
Цветами пахнет соль... Один из дней,
Когда не жаждет сердце перемены

И не торопит замедленный миг,
Но пьет так жадно златокудрый лик
Янтарных солнц, просвеченных сквозь просинь.
Такие дни под старость дарит осень...

20 ноября 1926

III. ОБЛИКИ

В янтарном забытьи полуденных минут
С тобою схожие проходят мимо жены,
В душе взволнованной торжественно поют
Фанфары Тьеполо и флейты Джорджионе.

И пышный снится сон: и лавры, и акант
По мраморам террас, и водные аркады,
И парков замкнутых душистые ограды
Из горьких буксусов и плющевых гирлянд.

Сменяя тишину веселым звоном пира,
Проходишь ты, смеясь, средь перьев и мечей,
Средь скорбно-умных лиц и блещущих речей
Шутов Веласкеса и дураков Шекспира...

Но я не вижу их... Твой утомленный лик
Сияет мне один на фоне Ренессанса,
На дымном золоте испанских майолик,
На синей зелени персидского фаянса...

1 февраля 1913

Черубине де Габриак

Ты живешь в молчаньи темных комнат
Средь шелков и тусклой позолоты,
Где твой взгляд несут в себе и помнят
Зеркала, картины и киоты.

Смотрят в душу строгие портреты...
Речи книг звучат темно и разно...
Любишь ты вериги и запреты,
Грех молитв и таинства соблазна.

И тебе мучительно-знакомы
Сладкий дым бензоя, запах нарда,
Тонкость рук у юношей Содомы,
Змийность уст у женщин Леонардо...

12 февраля 1910

Двойной соблазн – любви и любопытства...
Девичья грудь и голова пажа,
Лукавых уст невинное бесстыдство,
И в быстрых пальцах пламя мятежа...

В твоих зрачках танцуют арлекины...
Ты жалишь нежно-больно, но слегка...
Ты сочетала тонкость андрогины
С безгрешностью порочного цветка.

С тобой мила печать земного плена
И верности докучливо ярмо...
Тобой звучат напевы Куперена,
Ты грусть огней на празднествах Рамо.

В твоих глазах зубчатый бег химеры;
Но их печаль теперь поймет ли кто?
Так смотрит вдаль на мглистый брег Цитеры
Влюбленный паж на барке у Ватто.

Не успокоена в покое,
Ты вся ночная в нимбе дня...
В тебе есть темное и злое,
Как в древнем пламени огня.

Твои негибкие уборы,
Твоих запястий бирюза
И строгих девушек Гоморры
Любовь познавшие глаза,

Глухой и травный запах мирры –
В свой душный замыкают круг...
И емлют пальцы тонких рук
Клинок невидимой секиры...

Тебя коснуться и вдохнуть...
Узнать по запаху ладоней,
Что смуглая натерта грудь
Тоскою древних благовоний.

14 декабря 1916

Пламенный истлел закат...
Стелющийся дым костра,
Тлеющего у шатра,
Выкличет тебя назад.
        Жду тебя, дальний брат, –
        Брошенная сестра...

Топот глухих копыт
Чуткий мой ловит слух...
Всадник летит как дух,
Взмыленный конь храпит...

Дышит в темноте верблюд,
Вздрагивают бубенцы,
Тонкие свои венцы
Звезды на песке плетут...
        Мысли мои – гонцы
        Вслед за конем бегут.

19 июля 1916

В эту ночь я буду лампадой
В нежных твоих руках...
Не разбей, не дыши, не падай
На каменных ступенях.

Неси меня осторожней
Сквозь мрак твоего дворца, –
Станут биться тревожней,
Глуше наши сердца...

В пещере твоих ладоней –
Маленький огонек –
Я буду пылать иконней...
Не ты ли меня зажег?

До 8 июля 1914

То в виде девочки, то в образе старушки,
То грустной, то смеясь – ко мне стучалась ты;
То требуя стихов, то ласки, то игрушки,
И мне даря взамен и нежность, и цветы.

То горько плакала, уткнувшись мне в колени,
То змейкой тонкою плясала на коврах...
Я знаю детских глаз мучительные тени
И запах ладана в душистых волосах.

Огонь какой мечты в тебе горит бесплодно?
Лампада ль тайная? Смиренная свеча ль?
Ах, все великое, земное безысходно...
Нет в мире радости светлее, чем печаль!

21 декабря 1911

А.Р.Минцловой

Безумья и огня венец
Над ней горел.
И пламень муки,
И ясновидящие руки,
И глаз невидящий свинец,
Лицо готической сивиллы,
И строгость щек, и тяжесть век,
Шагов ее неровный бег –
Все было полно вещей силы.

Ее несвязные слова,
Ночным мерцающие светом,
Звучали зовом и ответом.
Таинственная синева
Ее отметила средь живших...
... И к ней бежал с надеждой я
От снов дремучих бытия,
Меня отвсюду обступивших.

1911

Альбомы нынче стали редки,
В листах исписанных пестро
Чертить случайные виньетки
Отвыкло беглое перо.

О Пушкинская легкость! Мне ли,
Поэту поздних дней, дерзать
Словами вместо акварели,
Ваш милый облик написать?

Увы! Улыбчивые щеки,
Веселый взгляд и детский рот
С трудом ложатся в эти строки...
И стих мой не передает

Веснушек летом осмугленных,
Ни медных прядей в волосах,
Ни бликов золота в зеленых,
Слегка расставленных глазах.

Послушливым и своенравным
В зрачках веселым огоньком
Вы схожи и с лесным зверьком,
И с улыбающимся фавном.

Я ваш ли видел беглый взгляд,
И стан, и смуглые колена
Меж хороводами дриад
Во мгле скалистых стран Пуссена?

И мой суровый Коктебель
Созвучен с вашею улыбкой,
Как свод руин с лозою гибкой,
Как с пламенем зари – свирель.

/1912/

МАЙЕ

Над головою подымая
Снопы цветов, с горы идет...
Пришла и смотрит...
                    Кто ты?
                              – Майя.
Благословляю твой приход.
В твоих глазах безумство. Имя
Звучит, как мира вечный сон...
Я наважденьями твоими
И зноем солнца ослеплен.
Войди и будь.
              Я ждал от Рока
Вестей. И вот приносишь ты
Подсолнечник и ветви дрока –
Полудня жаркие цветы.
Дай разглядеть себя... Волною
Прямых, лоснящихся волос
Прикрыт твой лоб, над головою
Сиянье вихрем завилось.
Твой детский взгляд улыбкой сужен,
Недетской грустью тронут рот,

И цепью маленьких жемчужин
Над бровью выступает пот.
Тень золотистого загара
На разгоревшихся щеках...
Так ты бежала... вся в цветах...
Вся в нимбах белого пожара...
Кто ты? дитя? царевна? паж?
Тебя такой я принимаю:
Земли полуденный мираж,
Иллюзию, обманность... – майю.

7 июля 1914

ВЕЧЕРНЕЕ

И будут огоньками роз
Цвести шиповники, алея,
И под ногами млеть откос
Лиловым запахом шалфея,
А в глубине мерцать залив
Чешуйным блеском хлябей сонных,
В седой оправе пенных грив
И в рыжей раме гор сожженных.
И ты с приподнятой рукой,
Не отрывая взгляд от взморья,
Пойдешь вечернею тропой
С молитвенного плоскогорья...
Минуешь овчий кош, овраг...
Тебя проводят до ограды
Коров задумчивые взгляды
И грустные глаза собак.
Крылом зубчатым вырастая,
Коснется моря тень вершин.
И ты изникнешь, млея, тая
В полынном сумраке долин.

14 июня 1913

Любовь твоя жаждет так много,
Рыдая, прося, упрекая...
Люби его молча и строго,
Люби его, медленно тая.

Свети ему пламенем белым —
Бездымно, безгрустно, безвольно.
Люби его радостно телом,
А сердцем люби его больно.

Пусть призрак, творимый любовью,
Лица не заслонит иного —
Люби его с плотью и кровью —
Простого, живого, земного...

Храня его знак суеверно,
Не бойся врага в иноверце...
Люби его метко и верно —
Люби его в самое сердце!

8 июля 1914

Я узнаю себя в чертах
Отриколийского кумира
По тайне благостного мира
На этих мраморных устах.

О, вещий голос темной крови!
Я знаю этот лоб и нос,
И тяжкий водопад волос,
И эти сдвинутые брови...

Я влагой ливней нисходил
На грудь природы многолицей,
Плодотворя ее... я был
Быком и облаком, и птицей...

В своих неизреченных снах
Я обнимал и обнимаю
Семелу, Леду и Данаю,
Поя бессмертьем смертный прах.

И детский дух, землей томимый,
Уносит царственный орел
На олимпийский мой престол
Для радости неугасимой...

1 февраля 1913

М.С. ЦЕТЛИН

Нет, не склоненной в дверной раме,
На фоне пены и ветров,
Как увидал тебя Серов,
Я сохранил твой лик. Меж нами
Иная Франция легла:
Озер осенние зеркала
В душе с тобой неразделимы –
Булонский лес, печаль аллей,
Узорный переплет ветвей,
Парижа меркнущие дымы
И шеи скорбных лебедей.
В те дни судьба определяла,
Народ кидая на народ,
Чье ядовитей жалит жало
И чей огонь больнее жжет.
В те дни невыразимой грустью
Минуты метил темный рок,
И жизнь стремила свой поток
К еще неведомому руслу.

Р.М.ХИН

Я медленно вхожу в ваш кабинет...
Здесь те, кто был, и те, кого уж нет,
Но чья для нас не умерла химера;
И бьется сердце, взятое в их плен...
Бодлера лик; нормандский ус Флобера;
Скептичный Франс; святой Сатир — Верлен;
Кузнец-Бальзак; чеканщики-Гонкуры...
Их лица терпкие и строгие фигуры
Глядят со стен, и спит в сафьянах книг
Их дух, их мысль, их ритм, их бунт, их крик.
Я верен им... Но более глубоко
Волнует эхо здесь звучавших слов...
К вам приходил Владимир Соловьев,
И голова библейского пророка —
Ей шел бы крест, верблюжий мех у чресл —
Склонялась на обшивку этих кресл...
Творец людей, глашатай книг и вкусов,
Принесший нам Флобера, как Коран,
Сюда входил, садился на диван
И расточал огонь и блеск Урусов.
Как закрепить умолкнувшую речь?
Как дать словам движенье, тембр, оттенки?
Мне памятна больного Стороженки
Седая голова меж низких плеч.
Все, что теперь забыто иль в загоне, —
Весь тайный цвет Европы и Москвы
Вокруг себя объединяли вы —
Брандес и Банг, Танеев, Минцлов, Кони...
Раскройте вновь дневник... Гляжу на ваш
Чеканный профиль с бронзовой медали...
Рука невольно ищет карандаш,
А мысль плывет в померкнувшие дали...

И в шелесте листуемых страниц,
В напеве фраз, в изгибах интонаций
Мерцают отсветы событий, встреч и лиц... —
Погасшие огни былых иллюминаций...

/1917/

РОПШИН

Холодный рот. Щеки бесстрастной складки.
И взгляд из-под усталых век...
Таким сковал тебя железный век
В страстных огнях и бреде лихорадки.

В прихожих Лувра, в западнях Блуа,
Карандашом, без тени и без краски
Клуэ чертил такие ж точно маски
Времен последних Валуа.

Но сквозь лица пергамент сероватый
Я вижу дали северных снегов,
И в звездной мгле стоит большой, сохатый
Унылый лось с крестом между рогов.

Таким ты был. Бесстрастный и мятежный —
В руке кинжал, а в сердце крест;
Судья и меч... с душою снежно-нежной —
На всех путях хранимый волей звезд!

/1917/

БАЛЬМОНТ

Огромный лоб, клейменный шрамом,
Безбровый взгляд зеленых глаз,
В часы тоски подобных ямам,
И хмельных локонов экстаз,

Смесь воли и капризов детских,
И мужеской фигуры стать –
Веласкес мог бы написать
На тусклом фоне гор Толедских.

Тебе к лицу шелка и меч,
И темный плащ оттенка сливы;
Узорно-вычурная речь
Таит круженья и отливы,

Как сварка стали на клинке,
Зажатом в замшевои руке;
А голос твой, стихом играя,
Сверкает, плавно напрягая

Упругий и звенящий звук...
Но в нем живет не рокот лиры,
А пенье стали, свист рапиры
И меткость неизбежных рук.

И о твоих испанских предках
Победоносно говорят
Отрывистость рипостов редких
И рифм стремительный парад.

1915

НАПУТСТВИЕ БАЛЬМОНТУ

Мы в тюрьме изведанных пространств...
Старый мир давно стал духу тесен,
Жаждущему сказочных убранств.

О, поэт пленительнейших песен,
Ты опять бежишь на край земли...
Но и он тебе ли неизвестен?

Как ни пенят волны корабли,
Как ни манят нас моря иные, —
Воды всех морей не те же ли?

Но, как ты, уже считаю дни я,
Зная, как торопит твой отъезд
Трижды-древняя Океания.

Но не в темном небе Южный Крест,
Не морей пурпурные хламиды
Грезишь ты... не россыпь новых звезд...

Чтоб подслушать древние обиды
В жалобах тоскующей волны,
Ты уж спал на мелях Атлантиды.

А теперь тебе не суждены
Лемурии огненной и древней
Наисокровеннейшие сны.

Голос пламени в тебе напевней,
Чем глухие всхлипы древних вод...
И не ты ль знойнее и полдневней?

Не столетий беглый хоровод —
Пред тобой стена тысячелетий
Из-за океана восстает:

"Эллины, вы перед нами дети"... —
Говорил Солону древний жрец.
Но меж нас слова забыты эти...

Ты ж разъял глухую вязь колец,
И, мечту столетий обнимая,
Ты несешь утерянный венец.

Где вставала ночь времен немая,
Ты раздвинул яркий горизонт.
Лемурия... Атлантида... Майя...

Ты – пловец пучин времен, Бальмонт!

22 января 1912, Париж

ФАЭТОН

Бальмонту

Здравствуй, отрок солнцекудрый
С белой мышью на плече!
Прав твой путь – слепой и мудрый,
Как молитва на мече.

Здравствуй, дерзкий, меднолицый,
Возжелавший до конца
Править грозной колесницей
Пламеносного Отца!

С неба павший, распростертый,
Опаленный Фаэтон,
Грезишь ты, с землею стертый,
Все один и тот же сон:

Быть, как Солнце! до зенита
Разъяренных гнать коней!
Пусть алмазная орбита
Прыщет взрывами огней!

И неверною рукою
Не сдержав узду мечты,
Со священной четвернею
Рухнуть с горней высоты!

В темном пафосе паденья,
В дымах жертвенных костров
Славь любовь и исступленье
Воплями напевных строф!

Жги дома и нивы хлеба,
Жги людей, холмы, леса!
Чтоб огонь, упавший с неба,
Взвился вновь на небеса!

/1917/

ДВА ДЕМОНА

Посв. Т.Г.Трапезникову

1

Я дух механики. Я вещества
Во тьме блюду слепые равновесья,
Я полюс сфер — небес и поднебесья,
Я гений числ. Я счетчик. Я глава.

Мне важны формулы, а не слова.
Я всюду и нигде. Но кликни — здесь я!
В сердцах машин клокочет злоба бесья.
Я князь земли! Мне знаки и права!

Я друг свобод. Создатель педагогик.
Я инженер. Теолог. Физик. Логик.
Я призрак истин сплавил в стройный бред.

Я в соке конопли. Я в зернах мака.
Я тот, кто кинул шарики планет
В огромную рулетку Зодиака!

1911

2

На дно миров пловцом спустился я –
Мятежный дух, ослушник Вышней Воли.
Луч радости на семицветность боли
Во мне разложен влагой бытия.

Во мне звучит всех духов лития,
Но семь цветов разъяты в каждой доле
Одной симфонии. Не оттого ли
Отливами горю я, как змея?

Я свят грехом. Я смертью жив. В темнице
Свободен я. Бессилием – могуч.
Лишенный крыл, в пареньи равен птице.

Клюй, коршун, печень! Бей, кровавый ключ!
Весь хор светил – един в моей цевнице,
Как в радуге – един распятый луч.

6 февраля 1915
Париж

IV. ПЛЯСКИ

Кость сожженных страстью – бирюза –
Тайная мечта...
Многим я заглядывал в глаза:
Та или не та?
В тихой пляске свились в легкий круг –
Тени ль? нити ль мглы?
Слишком тонки стебли детских рук,
Пясти тяжелы...
Пальцы гибки, как лоза с лозой,
Заплелись виясь...
Отливает тусклой бирюзой
Ожерелий вязь.
Слишком бледны лица, профиль чист,
Нежны ветви ног...
В волосах у каждой аметист –
Темный огонек.
Мгла одежд туманит очерк плеч
И прозрачит грудь;
Их тела, как пламенники свеч,
Может ветр задуть...
... И я сам колеблемый, как дым
Тлеющих костров,
Восхожу к зелено-золотым
Далям вечеров.

/1916/

ОСЕННИЕ ПЛЯСКИ

Осень...
Под стройными хвоями сосен
Трелью раздельною
Свищет свирель.
Где вы,
Осенние фавны и девы

Зорких охот
И нагорных озер?

Сила,
Бродившая в соке точила
Их опьянила,
И круг их затих...
Алы
Их губы, и взгляды усталы...
Лики темнее
Осенней земли...

Вот он –
Идет к заповедным воротам
Локоном хмеля
Увенчанный бог!
Бейте
В жужжащие бубны! развейте
Флейтами дрему
Лесов и полей!
В танце
Завейтесь! В осеннем багрянце
Пляской и вихрем
Завьется земля...
Маски
Из листьев наденете в пляске,
Белые ткани
Откинете с тел!

Ноги
Их давят пурпурные соки
Гроздий лиловых
И мха серебро...
Пляшет,
Упившись из меха, и машет
Тирсом с еловою
Шишкой сатир.

1915

ТРЕЛИ

"Filiae et filii"
Свищет соловей
На лесном развилии
Радостных путей.
Зацветают лилии,
Плещут средь полей
Ткани, как воскрылия
  Лебедей.
Сдержаны движения,
Руки сплетены...
В юноше смущение
Веющей весны...
И при приближении
Девушки-Луны –
Головокружение
  Глубины.
Над лесными кущами
Вью-вью-вью-вью-вью
Трелями секущими
Песню соловью,
Хоровод с поющими
Славу бытию
Звуками цветущими
  Обовью...

V. ПОДМАСТЕРЬЕ

ПОДМАСТЕРЬЕ

Посвящается Ю.Ф.Львовой

Мне было сказано:
Не светлым лирником, что нижет
Широкие и щедрые слова
На вихри струнные, качающие душу, –
Ты будешь подмастерьем
Словесного святого ремесла,
Ты будешь кузнецом
Упорных слов,
Вкус, запах, цвет и меру выявляя
Их скрытой сущности, –
Ты будешь
Ковалом и горнилом,
Чеканщиком монет, гранильщиком камней:
Стих создают – безвыходность, необходимость, сжатость,
Сосредоточенность...
Помни:
Нет грани меж прозой и стихом:
Речение,
В котором все слова
Притерты, пригнаны и сплавлены
Умом и терпугом, паялом и терпеньем,
Становится лирической строфой, –
Будь то страница
Та̀цита
Иль медный текст закона.
Для ремесла и духа – единый путь:
Ограниченье себя.
Чтоб научиться чувствовать,
Ты должен отказаться
От радости переживаний жизни,

От чувства отрешиться ради
Сосредоточья воли;
И от воли — для отрешенности сознания.
Когда же и сознанье внутри себя ты сможешь погасить —;
Тогда
Из глубины молчания родится
Слово,
В себе несущее
Всю полноту сознанья, воли, чувства,
Все трепеты и все сиянья жизни.
Но знай, что каждым новым
Осуществлением
Ты умерщвляешь часть своей возможной жизни:
Искусство живо —
Живою кровью принесенных жертв.
Ты будешь Странником
По вещим перепутьям Срединной Азии
И западных морей,
Чтоб разум свой ожечь в плавильных горнах знанья,
Чтоб испытать сыновность и сиротство,
И немоту отверженной земли.
Душа твоя пройдет сквозь пытку и крещенье
Страстнòю влагою,
Сквозь зыбкие обманы
Небесных обликов в зерцалах зѐмных вод,
Твое сознанье будет
Потеряно в лесу противочувств,
Средь черных пламеней, среди пожарищ мира.
Твой дух дерзающий познает притяженья
Созвездий правящих и волящих планет...
Так, высвобождаясь
От власти малого, беспамятного "я",
Увидишь ты, что все явленья —
Знаки,
По которым ты вспоминаешь самого себя,
И волокно за волокном сбираешь
Ткань духа своего, разодранного миром.

Когда же ты поймешь,
Что ты не сын Земли,
Но путник по вселенным,
Что Солнца и Созвездья возникали
И гибли внутри тебя,
Что всюду – и в тварях и вещах – томится
Божественное Слово,
Их к бытию призвавшее,
Что ты – освободитель божественных имен,
Пришедший изназвать
Всех духов-узников, увязших в веществе,
Когда поймешь, что человек рожден,
Чтоб выплавить из мира
Необходимости и Разума –
Вселенную Свободы и Любви, –
Тогда лишь
Ты станешь Мастером.

24 июня 1917
Коктебель

VI. LUNARIA

ВЕНОК СОНЕТОВ

I

Жемчужина небесной тишины
На звездном дне овьюженной лагуны!
В Твоих лучах все лица бледно-юны,
В Тебя цветы дурмана влюблены.

Тоской любви в сердцах повторены
Твоих лучей тоскующие струны,
И прежних лет волнующие луны
В узоры снов навеки вплетены.

Твой влажный свет и матовые тени,
Ложась на стены, на пол, на ступени,
Дают камням оттенок бирюзы.

Платана лист на них еще зубчатей
И тоньше прядь изогнутой лозы...
Лампада снов, владычица зачатий!

II

Лампада снов! Владычица зачатий!
Светильник душ! Таинница мечты!
Узывная, изменчивая, – ты
С невинности снимаешь воск печатей,

Внушаешь дрожь лобзаний и объятий,
Томишь тела сознаньем красоты
И к юноше нисходишь с высоты
Селеною, закутанной в гиматий.

От ласк твоих стихает гнев морей,
Богиня мглы и вечного молчанья,
А в недрах недр рождаешь ты качанья.

Вздуваешь воды, чрева матерей
И пояса развязываешь платий,
Кристалл любви! Алтарь ночных заклятий!

III

Кристалл любви! Алтарь ночных заклятий!
Хрустальный ключ певучих медных сфер!
На твой ущерб выходят из пещер
Одна другой страшнее и косматей

Стада Эмпуз; поют псалмы проклятий
И душат псов, цедя их кровь в кратэр;
Глаза у кошек, пятна у пантер
Становятся длиннее и крылатей.

Плоть призраков есть ткань твоих лучей,
Ты точишь камни, глину кирпичей;
Козел и конь, ягнята и собаки

Ночных мастей тебе посвящены;
Бродя в вине, ты дремлешь в черном маке,
Царица вод! Любовница волны!

IV

Царица вод! Любовница волны!
Изгнанница в опаловой короне,
Цветок цветов! Небесный образ Иони!
Твоим рожденьем женщины больны...

Но не любить тебя мы не вольны:
Стада медуз томятся в мутном лоне,
И океана пенистые кони
Бегут к земле и лижут валуны.

И глубиной таинственных извивов
Движения приливов и отливов
Внутри меня тобой повторены.

К тебе растут кораллы темной боли,
И тянут стебли водоросли воли
С какой тоской из влажной глубины!

V

С какой тоской из влажной глубины
Все смертное, усталое, больное,
Ползучее, сочащееся в гное,
Пахучее, как соки белены,

Как опиум волнующее сны,
Все женское, текучее, земное,
Все темное, все злое, все страстно̀е,
Чему тела людей обречены,

Слепая боль поднятой плугом нови,
Удушливые испаренья крови,
Весь Океан, плененный в руслах жил,

Весь мутный ил задушенных приятий,
Все, чем я жил, но что я не изжил —
К тебе растут сквозь мглу моих распятий —

VI

К тебе растут сквозь мглу моих распятий –
Цветы глубин. Ты затеплила страсть
В божнице тел. Дух отдала во власть
Безумью плоти. Круг сестер и братий

Разъяла в станы двух враждебных ратей.
Даров твоих приемлет каждый часть...
О, дай и мне к ногам твоим припасть!
Чем дух сильней, тем глубже боль и сжатей...

Вот из-за скал кривится лунный рог,
Спускаясь вниз, алея, багровея...
Двурогая! Трехликая! Афея!

С кладбищ земли, с распутий трех дорог
Дым черных жертв восходит на закате –
К Диане бледной, к яростной Гекате!

VII

К Диане бледной, к яростной Гекате
Я простираю руки и мольбы:
Я так устал от гнева и борьбы –
Яви свой лик на мертвенном агате!

И ты идешь, багровая, в раскате
Подземных гроз, ступая на гробы,
Треглавая, держа ключи судьбы,
Два факела, кинжалы и печати.

Из глаз твоих лучатся смерть и мрак,
На перекрестках слышен лай собак
И на могильниках дымят лампады.

И пробуждаются в озерах глубины,
Точа в ночи пурпуровые яды,
Змеиные, непрожитые сны.

VIII

Змеиные, непрожитые сны
Волнуют нас тоской глухой тревоги.
Словами Змия: "Станете, как боги"
Сердца людей извечно прожжены.

Тавром греха мы были клеймлены
Крылатым стражем, бдящим на пороге.
И нам с тех пор бродящим без дороги
Сопутствует клеймленый лик Луны.

Века веков над нами тяготело
Всетемное и всестрастнòе тело
Планеты сорванной с алмазного венца.

Но тусклый свет глубоких язв и ссадин
Со дна небес глядящего лица
И сладостен и жутко безотраден.

IX

И сладостен и жутко безотраден
Безумный сон зияющих долин.
Я был на дне базальтовых теснин.
В провал небес (о, как он емко-жаден!)

Срывался ливень звездных виноградин,
И солнца диск, вступая в свой притин,
Был над столпами пламенных вершин
Крылатый и расплесканный — громаден.

Ни сумрака, ни воздуха, ни вод —
Лишь острый блеск агатов, сланцев, шпатов.
Ни шлейфы зорь, ни веера закатов

Не озаряют черный небосвод.
Неистово порывист и нескладен
Алмазный бред морщин твоих и впадин.

X

Алмазный бред морщин твоих и впадин
Томит и жжет. Неумолимо жестк
Рисунок скал, гранитов черный лоск,
Строенье арок, стрелок, перекладин,

Вязь рудных жил, как ленты пестрых гадин,
Наплывы лавы бурые, как воск,
И даль равнин, как обнаженный мозг...
Трехдневный полдень твой кошмарно-страден.

Пузырчатые оспины огня
Сверкают в нимбах яростного дня,
А по ночам над кратером Гиппарха

Бдит "Volva" — неподвижная звезда,
И отливает пепельно-неярко
Твоих морей блестящая слюда.

XI

Твоих морей блестящая слюда
Хранит следы борьбы и исступлений,
Застывших мук, безумных дерзновений,
Двойные знаки пламени и льда.

Здесь рухнул смерч вселенских "Нет" и "Да".
От Моря Бурь до Озера Видений,
От призрачных полярных взгромождений,
Не видевших заката никогда,

До темных цирков Mare Tenebrarum
Ты вся порыв, застывший в гневе яром,
И страшный шрам на кряже Лунных Альп

Оставила небесная секира.
Ты, как Земля, с которой сорван скальп –
Лик Ужаса в бесстрастности эфира!

XII

Лик Ужаса в бесстрастности эфира –
Вне времени, вне памяти, вне мер!
Ты кладбище немыслимых Химер,
Ты иверень разбитого Потира.

Зане из сонма ангельского клира
На Бога Сил, Творца бездушных сфер,
Восстал в веках Денница-Люцифер,
Мятежный князь Зенита и Надира.

Ваяя смертью глыбы бытия,
Из статуй плоти огненное "Я"
В нас высек он; дал крылья мысли пленной,

Но в бездну бездн был свергнут навсегда.
И остов недосозданной вселенной –
Ты вопль тоски, застывший глыбой льда!

XIII

Ты вопль тоски, застывший глыбой льда!
Сплетенье гнева, гордости и боли,
Бескрылый взмах одной безмерной воли,
Средь судорог погасшая звезда.

На духов воль надетая узда,
Грааль Борьбы с причастьем горькой соли,
Голгофой душ пребудешь ты, доколе
Земных времен не канет череда.

Умершие, познайте слово Ада:
"Я разлагаю с медленностью яда
Тела в земле, а души на луне".

Вокруг Земли чертя круги вампира,
И токи жизни пьющая во сне –
Ты жадный труп отвергнутого мира!

XIV

Ты жадный труп отвергнутого мира,
К живой Земле прикованный судьбой.
Мы, связанные бунтом и борьбой,
С вином приемлем соль и с пеплом миро.

Но в день Суда единая порфира
Оденет нас – владычицу с рабой.
И пленных солнц рассыпется прибой
У бледных ног Иошуа Бен-Пандира.

Но тесно нам венчальное кольцо:
К нам обратив тоски своей лицо,
Ты смотришь прочь неведомым нам ликом.

И пред тобой, – пред *Тайной глубины*,
Склоняюсь я в молчании великом,
Жемчужина небесной тишины!

XV

Жемчужина небесной тишины,
Лампада снов, владычица зачатий,
Кристалл любви, алтарь ночных заклятий,
Царица вод, любовница волны,

С какой тоской из влажной глубины
К тебе растут сквозь мглу моих распятий
К Диане бледной, к яростной Гекате,
Змеиные, непрожитые сны.

И сладостен, и жутко безотраден
Алмазный бред морщин твоих и впадин,
Твоих морей блестящая слюда –

Лик ужаса в бесстрастности эфира,
Ты вопль тоски, застывший глыбой льда,
Ты жалкий труп отвергнутого мира!

Коктебель. 15/VI–1/VII 1913

Воспаленные дни гроз и ветра
между июньским ущербом
и июльским полнолунием.

Книга третья

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

Стихи о войне и революции

I. ВОЙНА

Плывущий за руном по хлябям диких вод
И в землю сеющий драконьи зубы – вскоре
Увидит в бороздах не озими, а всход
Гигантов борющихся... Горе!

3 февраля 1915

РОССИЯ
(1915 год)

Враждующих скорбный гений
Братским вяжет узлом,
И зло в тесноте сражений
Побеждается горшим злом.

Взвивается стяг победный...
Что в том, Россия, тебе? –
Пребудь смиренной и бедной –
Верной своей судьбе.

Люблю тебя побежденной,
Поруганной и в пыли,
Таинственно осветленной
Всей красотой земли,

Люблю тебя в лике рабьем,
Когда в тишине полей
Причитаешь голосом бабьим
Над трупами сыновей.

Как сердце никнет и блещет,
Когда, связав по ногам,
Наотмашь хозяин хлещет
Тебя по кротким глазам.

Сильна ты нездешней мерой,
Нездешней страстью чиста,
Неутоленной верой
Твои запеклись уста.

Дай слов за тебя молиться,
Понять твое бытие,
Твоей тоске причаститься,
Сгореть во имя твое.

17 августа 1915
Биарриц

В ЭТИ ДНИ

И. Эренбургу

В эти дни великих шумов ратных
И побед, пылающих вдали,
Я пленен в пространствах безвозвратных
Оголтелой, стынущей земли.

В эти дни не спазмой трудных родов
Схвачен дух: внутри разодран он
Яростью сгрудившихся народов,
Ужасом разъявшихся времен.

В эти дни нет ни врага, ни брата:
Все во мне, и я во всех. Одной
И одна – тоскою плоть объята
И горит сама к себе враждой.

В эти дни безвольно мысль томится,
А молитва стелется, как дым.
В эти дни душа больна одним
Искушением – развоплотиться.

5 февраля 1915
Париж

ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА

М. В. Сабашниковой

Томимый снами, я дремал,
Не чуя близкой непогоды;
Но грянул гром, и ветр упал,
И свет померк, и вздулись воды.

И кто-то для моих шагов
Провел невидимые тропы
По стогнам буйных городов
Объятой пламенем Европы.

Уже в петлях скрипела дверь
И в стены бил прибой с разбега,
И я, как запоздалый зверь,
Вошел последним внутрь ковчега.

Август 1914
Дорнах

НАД ПОЛЯМИ АЛЬЗАСА

Ангел непогоды пролил огнь и гром,
Напоив народы яростным вином.

Средь земных безлюдий тишина гудит
Грохотом орудий, топотом копыт.

Преклоняя ухо в глубь души, внемли,
Как вскипает глухо желчь и кровь земли.

Сентябрь 1914
Дорнах

ПОСЕВ

В осенний день по стынущим полянам
Дымящиеся водят борозды
Не пахари; не радуется ранам
Своим земля: не плуг вскопал следы;
Не семена пшеничного посева,
Не ток дождей в разъявшуюся новь, —

Но сталь и медь, живую плоть и кровь
Недобрый Сеятель в годину лжи и гнева
Рукою щедрою посеял. . . Бед
И ненависти колос, змеи плевел
Взойдут в полях безрадостных побед,
Где Землю-мать жестокий сын прогневил.

3 февраля 1915
Париж

ГАЗЕТЫ

Я пробегаю жадным взглядом
Вестей горючих письмена,
Чтоб душу влажную от сна
С утра ожечь ползучим ядом.

В строках кровавого листа
Кишат смертельные трихины,
Проникновенно-лезвиины,
Неистребимы, как мечта.

Бродила мщенья, дрожжи гнева,
Вникают в мысль, гниют в сердцах,
Туманят дух, цветут в бойцах
Огнями дьявольского сева.

Ложь заволакивает мозг
Тягучей дремой хлороформа,
И зыбкой полуправды форма
Течет и лепится, как воск.

И гнилостной пронизан дрожью
Томлюсь и чувствую в тиши,
Как, обезболенному ложью,
Мне вырезают часть души.

Не знать, не слышать и не видеть...
Застыть как соль... уйти в снега...
Дозволь не разлюбить врага,
И брата не возненавидеть!

12 мая 1915
Париж

ДРУГУ

К. Ф. Богаевскому

А я таинственный певец
На берег выброшен волною...

Арион

Мы, столь различные душою,
Единый пламень берегли,
И братски связаны тоскою
Одних камней, одной земли.

Одни сверкали нам вдали
Созвездий пламенные диски;
И где бы ни скитались мы,
Но сердцу безысходно близки
Феодосийские холмы.

Нас тусклый плен земной тюрьмы
И рдяный угль творящей правды
Привел к могильникам Ардавды,
И там, вверяясь бытию,
Снастили мы одну ладью;

И зорко испытуя дали,
И бег волнистых облаков,
Крылатый парус напрягали
У Киммерийских берегов.

Но ясновидящая сила
Хранила мой беспечный век:
Во сне меня волною смыло
И тихо вынесло на брег.

А ты, пловец с душой бессонной
От сновидений и молитв,
Ушел в круговороты битв
Из мастерской уединенной.

И здесь, у чуждых берегов,
В молчаньи ночи одинокой,
Я слышу звук твоих шагов
Неуловимый и далекой.

Я буду волить и молить,
Чтобы тебя в кипеньи битвы
Могли, как облаком, прикрыть
Неотвратимые молитвы.

Да оградит тебя Господь
От Князя огненной печали,
Тоской пытающего плоть,
Да защитит от едкой стали,

От жадной меди, от свинца,
От стерегущего огнива,
От злобы яростного взрыва,
От стрел крылатого гонца,

От ядовитого дыханья,
От проницающих огней,
Да не смутят души твоей
Ни гнева сладостный елей,
Ни мести жгучее лобзанье.

Да не прервутся нити прях,
Сидящих в пурпурных лоскутьях
На всех победных перепутьях,
На всех погибельных путях.

23 августа 1915
Биарриц

ПЕТЕРБУРГ

Бальмонту

Над призрачным и вещим Петербургом
Склоняет ночь край мертвенных хламид.
В челне их два. И старший говорит:
"Люблю сей град открытый зимним пургам

На тонях вод, закованных в гранит.
Он создан был безумным Демиургом.
Вон конь его и змей между копыт:
Конь змею — "сгинь!", а змей в ответ — "Resurgam!"

Судьба империи в двойной борьбе:
Здесь бунт — там строй; здесь бред — там клич судьбе.
Но вот сто лет в стране цветут Рифейской

Ликеев мирт и строгий лавр палестр"...
И глядя вверх на шпиль Адмиралтейский,
Сказал другой: "Вы правы, граф де Местр".

8 февраля 1915
Париж

ПРОЛОГ

Андрею Белому

Ты держишь мир в простертой длани,
И ныне сроки истекли. . .
В начальный год Великой Брани
Я был восхищен от земли.

И, на замо̀к небесных сводов
Поставлен, слышал, смуты полн,
Растущий вопль земных народов
Подобный реву многих волн.

И с высоты непостижимой
Низвергся Вестник оку зримый,
Как вихрь сверлящей синевы,
Огнем и сумраком повитый
Шестикрылатый и покрытый
Очами с ног до головы.

И, сводом потрясая звездным,
На землю кинул он ключи,
Земным приказывая безднам
Извергнуть тучи саранчи,
Чтоб мир пасти жезлом железным.

А на вратах земных пещер
Он начертал огнем и серой:
"Любовь воздай за меру мерой,
А злом за зло воздай без мер".

И став как млечный вихрь в эфире
Мне указал Весы:
"Смотри:
В той чаше – мир; в сей чаше – гири:
Все прорастающее в мире
Давно завершено внутри".

Так был мне внешний мир показан,
И кладезь внутренний разъят.
И, знаньем звездной тайны связан,
Я ввержен был обратно в ад.

Один среди враждебных ратей –
Не их, не ваш, не свой, ничей –
Я голос внутренних ключей,
Я семя будущих зачатий.

11 сентября 1915
Биарриц

АРМАГЕДДОН

Л. С. Баксту

*. . .три духа, имеющие вид жаб. . .
соберут царей вселенной для великой битвы. . . в место, называемое
Армагеддон. . .*

Откровение, 16: 13–16.

Положив мне руки на заплечье
(Кто? – не знаю, но пронзил испуг,
И упало сердце человечье. . .)
Взвел на холм и указал вокруг.

Никогда такого запустенья,
И таких невыявленных мук,
Я не грезил даже в сновиденьи!

Предо мной, тускла и широка,
Цепенела в мертвом исступленьи
Каменная зыбь материка.

И куда б ни кинул смутный взор я –
Расстилались саваны пустынь,
Русла рек иссякших, плоскогорья;
По краям, где индевела синь,
Громоздились снежные нагорья,
И клубились свитками простынь
Облака. Сквозь огненные жерла
Тесных туч багровые мечи
Солнце заходящее простерло. . .
Так прощально гасли их лучи,
Что тоскою мне сдавило горло
И просил я:
"Вещий, научи:
От каких планетных ураганов
Этих волн гранитная гряда
Взмыта вверх?"
И был ответ:
"Сюда
По иссохшим ложам океанов
Приведут в день Страшного Суда
Трое жаб – царей и царства мира
Для последней брани всех времен.

Камни эти жаждут испокон
Хмельной желчи Божьего потира.
Имя этих мест – Армагеддон".

3 октября 1915
Биарриц

Не ты ли
В минуту тоски
Швырнул на землю
Весы и меч,
И дал безумным
Свободу весить
Добро и зло?

Не ты ли
Смесил народы
Густо и крепко,
Заквасил тесто
Слезами и кровью
И топчешь, грозный,
Грозды людские
В точиле гнева?

Не ты ли
Поэта кинул
На стогны мира
Быть оком и ухом?

Не ты ли
Отнял силу у рук
И запретил
Сложить обиды
В глубокой чаше
Земных весов,
Но быть назначил
Стрелой, указующей
Разницу веса?

Не ты ли
Неволил сердце
Благословить
Убийц и жертву,
Врага и брата?

Не ты ли
Неволил разум
Принять свершенье
Непостижимых
Твоих путей
Во всем гореньи
Противоречий,
Несовместимых
Для человечьей
Стесненной мысли?

Так дай же силу
Поверить в мудрость
Пролитой крови;
Дозволь увидеть
Сквозь смерть и время
Борьбу народов,
Как спазму страсти,
Извергшей семя
Всемирных всходов!

1 декабря 1915
Париж

УСТАЛОСТЬ

М. Стебельской

Трости надломленной не преломит
И льна дымящегося не угасит.

Исаия, 42 : 3.

И тогда, как в эти дни, война
Захлебнется в пламени и в лаве.
Будет спор о власти и о праве,
Будут умирать за знамена. . .

Он придет не в силе и не в славе,
Он пройдет в полях, как тишина:
Ничего не тронет и не сломит,
Тлеющего не погасит льна
И дрожащей трости не преломит.
Не возвысит голоса в горах,
Ни вина, ни хлеба не коснется —
Только все усталое в сердцах
Вслед Ему с тоскою обернется.

Будет так, как солнце в феврале
Изнутри неволит нежно семя
Дать росток в оттаявшей земле.

И для гнева вдруг иссякнет время,
Братской распри разомкнется круг,
Алый Всадник потеряет стремя,
И оружье выпадет из рук.

19—27 сентября 1915
Биарриц

II. ПЛАМЕНА ПАРИЖА

И был повергнут я судьбой
В кипящий горн страстей народных –
В сей град, что горькою звездой
Упал на узел токов водных.

1915

ВЕСНА

А. В. Гольштейн

Мы дни на дни покорно нижем.
Даль не светла и не мутна...
Над замирающим Парижем
Плывет весна... и не весна.

В жемчужных утрах, в зорях рдяных
Ни радости, ни грусти нет;
На зацветающих каштанах
И лист — не лист, и цвет — не цвет.

Неуловимо-беспокойна,
Бессолнечно-просветлена,
Неопьяненно и не стройно
Взмывает жданная волна.

Душа болит в краю бездомном;
Молчит, и слушает, и ждет...
Сама природа в этот год
Изнемогла в бореньи темном.

26 апреля 1915
Париж

ПАРИЖ В ЯНВАРЕ

Кн. В. Н. Аргутинскому

Все тот же он во дни войны,
В часы тревог, в минуты боли...
Как будто грезит те же сны
И плавит в горнах те же воли.

Все те же крики продавцов
И гул толпы глухой и дальний. . .
Лишь голос уличных певцов
Звучит пустынней и печальней.
Да ловит глаз в потоках лиц
Решимость сдвинутых надбровий,
Улыбки маленьких блудниц,
Войной одетых в траур вдовий;
Решетки запертых окон
Да на фасадах полинялых
Трофеи праздничных знамен,
В дождях и ветре обветшалых.
А по ночам безглазый мрак
В провалах улиц долго бродит,
Напоминая всем, что враг
Не побежден и не отходит.
Да светы небо стерегут,
Да ветр доносит запах пашни,
И беспокойно-долгий гуд
Идет от Эйфелевой башни.
Она чрез океаны шлет
То бег часов, то весть возмездья. . .
И сквозь железный переплет
Сверкают зимние созвездья.

19 февраля 1915
Париж

ПАРИЖ ЗИМОЮ 1915

Слепые застилая дни,
Дожди под вечер нежно-немы:
Косматые цветут огни,
Как пламенные хризантемы,
Стекают блики по плечам
Домов, лоснятся на каштанах,

И город стынет по ночам
В самосветящихся туманах...
В ограде мреет голый сад...
Взнося колонну над колонной,
Из мрака лепится фасад –
Слепой и снизу осветленный.
Сквозь четкий переплет ветвей
Тускнеют медные пожары,
Блестят лучами фонарей
Пронизанные тротуары.
По ним кипит людской поток
Пьянящих головокружений –
Не видно лиц, и к стеблям ног
Простерты снизу копья теней.
Калится рдяных углей жар
В разверстых жерлах ресторанов,
А в лица дышит теплый пар
И запах жареных каштанов.

20 апреля 1915. Париж

НОЧЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ
(Цеппелины над Парижем)

А. Н. Ивановой

Весь день звучали сверху струны
И гуды стерегущих птиц.
А после ночь писала руны,
И взмахи световых ресниц
Чертили небо. От окрестных
Полей поднялся мрак и лег.
Тогда в ущельях улиц тесных
Заголосил тревожный рог...
И было видно: осветленный
Сияньем бледного венца,

Как ствол дорической колонны,
Висел в созвездии Тельца
Корабль... С земли взвивались змеи,
Высоко бил фонтан комет
И гас средь звезд Кассиопеи.
Внизу несомый малый свет
Строений колыхал громады;
Но взрывов гул и ядр поток
Ни звездной тиши, ни прохлады
Весенней – превозмочь не мог.

18 апреля 1915. Париж

РЕЙМСКАЯ БОГОМАТЕРЬ

Марье Самойловне Цетлин

*Vue de trois-quarts, la Cathédrale
de Reims évoque une grande figure
de femme agenouillée, en prière.*

Rodin.

В минуты грусти просветленной
Народы созерцать могли
Ее – коленопреклоненной
Средь виноградников Земли.

И всех, кто сном земли недужен,
Ее целила благодать,
И шли волхвы, чтоб увидать
Ее – жемчужину жемчужин.

Она несла свою печаль,
Одета в каменные ткани,
Прозрачно-серые, как даль
Спокойных овидей Шампани.

И соткан был ее покров
Из жемчуга лугов поемных,
Туманных утр и облаков,
Дождей хрустальных, ливней темных.

Одежд ее чудесный сон,
Небесным светом опален,
Горел в сияньи малых радуг,
Сердца мерцали алых роз,
И светотень курчавых складок
Струилась прядями волос.

Земными создана руками,
Она сама была землей –
Ее лугами и реками,
Ее предутренними снами,
Ее вечерней тишиной.

. . .И, обнажив, ее распяли. . .
Огонь лизал, и стрелы рвали
Святую плоть. . . И по ночам,
В порыве безысходной муки,
Ее обугленные руки
Простерты к зимним небесам.

19 февраля 1915. Париж

LUTETIA PARISIORUM

Fluctuat nec mergitur.

Париж, Царьград и Рим – кариатиды
При входе в храм! Вам – солнцам-городам,
Кольцеобразно легшим по водам,
Завещан мир. В вас семя Атлантиды

Дало росток. Пророки и друиды
Во тьме лесов таили Девы храм,
А на реке, на месте Notre-Dame,
Священник пел заутрени Изиды.

Париж! Париж! К какой плывет судьбе
Ладья Озириса в твоем гербе
С полночным грузом солнечного диска?

Кто закрепил на площади твоей
Драконью кровь волхвов и королей
Луксорского печатью обелиска?

22 апреля 1915. Париж

ПАРИЖУ

Е. С. Кругликовой

Неслись года, как клочья белой пены...
Ты жил во мне, меняя облик свой;
И, уносимый встречною волной,
Я шел опять в твои замкнуться стены.

Но никогда сквозь жизни перемены
Такой пронзенной не любил тоской
Я каждый камень вещей мостовой
И каждый дом на набережных Сены.

И никогда в дни юности моей
Не чувствовал сильнее и больней
Твой древний яд отстоенной печали

На дне дворов, под крышами мансард,
Где юный Дант и отрок Бонапарт
Своей мечты миры в себе качали.

19 апреля 1915. Париж

ГОЛОВА MADAME DE LAMBALLE
(4 сентября 1792 года)

Это гибкое, страстное тело
Растоптала ногами толпа мне.
И над ним надругалась, раздела...
И на тело
Не смела
Взглянуть я...
Но меня отрубили от тела,
Бросив лоскутья
Воспаленного мяса на камне...

И парижская голь
Унесла меня в уличной давке.
Кто-то пил в кабаке алкоголь,
Меня бросив на мокром прилавке...
Куафер меня поднял с земли,
Расчесал мои светлые кудри,
Нарумянил он щеки мои,
И напудрил...

И тогда, вся избита, изранена
Грязной рукой,
Как на бал завита, нарумянена,
Я на пике взвилась над толпой
Хмельным тирсом...
Неслась вакханалия,
Пел в священном безумьи народ...
И казалось на бале, в Версале я —
Плавный танец кружит и несет...

Точно пламя гудели напевы.
И тюремною узкою лестницей
В башню Тампля к окну Королевы
Поднялась я народною вестницей.

1905–1906. Париж

ДВЕ СТУПЕНИ

Марине Цветаевой

I. ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ
(14 июля)

"14 juillet 1789–Riens".
Journal de Louis XVI.

Бурлит Сент-Антуан. Шумит Пале-Рояль.
В ушах звенит призыв Камиля Демулена.
Народный гнев растет, взметаясь ввысь, как пена.
Стреляют. Бьют в набат. В дыму сверкает сталь.

Бастилия взята. Предместья торжествуют.
На пиках головы Бертье и де-Лоней.
И победители, расчистив от камней
Площадку, ставят столб и надпись:
"Здесь танцуют".
Король охотился с утра в лесах Марли.
Борзые подняли оленя. Но пришли
Известья, что мятеж в Париже. Помешали. . .

Сорвали даром лов. К чему? Из-за чего?
Не в духе лег. Не спал. И записал в журнале:
"Четыр-надца-того и-юля. Ничего".
12 декабря 1917

II. БОНАПАРТ
(10 августа 1792 года)

"Je me manque deux batteries pour balayer toute cette canaille la".
(Мемуары Бурьенна. Слова Бонапарта.)

Париж в огне. Король низложен с трона.
Швейцарцы перерезаны. Народ
Изверился в вождях, казнит и жжет.
И Лафайет объявлен вне закона.

Марат в бреду и страшен, как Горгона.
Невидим Робеспьер. Жиронда ждет.
В садах у Тюильри водоворот
Взметенных толп и львиный зев Дантона.

А офицер, незнаемый никем.
Глядит с презреньем – холоден и нем
На буйных толп бессмысленную толочь.

И слушая их исступленный вой,
Досадует, что нету под рукой
Двух батарей – "рассеять эту сволочь".

21 ноября 1917
Коктебель

ТЕРМИДОР

I

Катрин Тео во власти прорицаний.
У двери гость – закутан до бровей.
Звучат слова: "Верховный жрец закланий,
Весь в голубом, придет, как Моисей,

Чтоб возвестить толпе, смирив стихию,
Что есть Господь! Он – избранный судьбой,
И, в бездну пав, замкнет ее собой. . .
Приветствуйте кровавого Мессию!

Се Агнец бурь! Спасая и губя,
Он кровь народа примет на себя.
Един Господь царей и царства весит!

Мир жаждет жертв, великим гневом пьян.
Тяжел Король. . . И что уравновесит
    Его главу? – Твоя, Максимильян!"

II

Разгар Террора. Зной палит и жжет.
Деревья сохнут. Бесятся от жажды
Животные. Конвент в смятеньи. Каждый
Невольно мыслит: Завтра мой черед.

Казнят по сотне в сутки. Город замер
И задыхается. Предместья ждут
Повальных язв. На кладбищах гниют
Тела казненных. В тюрьмах нету камер.

Пока судьбы кренится колесо,
В Монморанси, где веет тень Руссо,
С цветком в руке уединенно бродит,

Готовя речь о пользе строгих мер,
Верховный жрец – Мессия – Робеспьер –
Шлифует стиль и тусклый лоск наводит.

III

Париж в бреду. Конвент кипит, как ад.
Тюрьо звонит. Сен-Жюста прерывают.
Кровь вопиет. Казненные взывают.
Мстят мертвецы. Могилы говорят.

Вокруг Леба, Сен-Жюста и Кутона
Вскипает гнев, грозя их затопить.
Встал Робеспьер. Он хочет говорить.
Ему кричат: "Вас душит кровь Дантона!"

Еще судьбы неясен вещий лет.
За них Париж, коммуны и народ –
Лишь кликнуть клич – и встанут исполины.

Воззвание написано, но он
Кладет перо: да не прейдет закон!
Верховный жрец созрел для гильотины.

IV

Уж фурии танцуют карманьолу,
Пред гильотиною подъемля вой.
В последний раз подобная престолу
Она царит над буйною толпой.

Везут останки власти и позора:
Убит Леба, больной Кутон без ног...
Один Сен-Жюст презрителен и строг.
Последняя телега Термидора.

И среди них на кладбище химер
Последний путь свершает Робеспьер.
К последней мессе благовестят в храме.

И гильотине молится народ. . .
Благоговейно, как ковчег с дарами,
Он голову несет на эшафот.

7 декабря 1917
Коктебель

III. ПУТИ РОССИИ

Чем глубже в раковины ночи
Уходишь внутренней тропой,
Тем строже светит глаз слепой,
А сердце бьется одиноче. . .

1915

ПРЕДВЕСТИЯ
(9 января 1905 года)

Сознанье строгое есть в жестах Немезиды:
Умей читать условные черты:
Пред тем, как сбылись Мартовские Иды,
Гудели в храмах медные щиты...

Священный занавес был в скинии распорот:
В часы Голгоф трепещет смутный мир...
О, бронзовый Гигант! ты создал призрак-город,
Как призрак-дерево из семени — факир.

В багряных свитках зимнего тумана
Нам солнце гневное явило лик втройне,
И каждый диск сочился, точно рана...
И выступила кровь на снежной пелене.

А ночью по пустым и гулким перекресткам
Струились шелесты невидимых шагов,
И город весь дрожал далеким отголоском
Во чреве времени шумящих голосов...

Уж занавес дрожит перед началом драмы,
Уж кто-то в темноте — всезрячий, как сова,
Чертит круги и строит пентаграммы,
И шепчет вещие заклятья и слова.

Июнь 1905. С.-Петербург

АНГЕЛ МЩЕНЬЯ
(1906 год)

Народу русскому: Я скорбный Ангел Мщенья!
Я в раны черные — в распаханную новь
Кидаю семена. Прошли века терпенья.
И голос мой — набат. Хоругвь моя — как кровь.

На буйных очагах народного витийства,
Как призраки, взращу багряные цветы,
Я в сердце девушки вложу восторг убийства
И в душу детскую — кровавые мечты.
И дух возлюбит смерть, возлюбит крови алость.
Я грезы счастия слезами затоплю,
Из сердца женщины святую выну жалость
И тусклой яростью ей очи ослеплю,
О, камни мостовых, которых лишь однажды
Коснулась кровь! я ведаю ваш счет.
Я камни закляну заклятьем вечной жажды,
И кровь за кровь без меры потечет.
Скажу восставшему: Я злую едкость стали
Придам в твоих руках картонному мечу!
На стогнах городов, где женщин истязали,
Я "знаки Рыб" на стенах начерчу.
Я синим пламенем пройду в душе народа.
Я красным пламенем пройду по городам,
Устами каждого воскликну я "свобода!",
Но разный смысл для каждого придам.
Я напишу: "Завет мой — Справедливость!"
И враг прочтет: "Пощады больше нет"...
Убийству я придам манящую красивость.
И в душу мстителя вопьется страстный бред.
Меч справедливости — карающий и мстящий —
Отдам во власть толпе. И он в руках слепца
Сверкнет стремительный, как молния разящий —
Им сын заколет мать, им дочь убьет отца.
Я каждому скажу: "Тебе ключи надежды.
Один ты видишь свет. Для прочих он потух".
И будет он рыдать, и в горе рвать одежды,
И звать других... Но каждый будет глух.
Не сеятель сберет колючий колос сева.
Принявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.

1906. Париж

МОСКВА
(март 1917)

В. А. Рагозинскому

В Москве на Красной площади
Толпа черным-черна.
Гудит от тяжкой поступи
Кремлевская стена.

На рву у места Лобного –
У церкви Покрова
Возносят неподобные
Не русские слова.

Ни свечи не засвечены,
К обедне не звонят,
Все груди красным мечены,
И плещет красный плат.

По грязи ноги хлипают,
Молчат... проходят... ждут...
На папертях слепцы поют
Про кровь, про казнь, про суд.

20 ноября 1917

ПЕТРОГРАД

Сергею Ефрону

Как злой шаман, гася сознанье
Под бубна мертвое бряцанье,
И опоражнивая дух,
Распахивает дверь разрух, –
И духи мерзости и блуда
Стремглав кидаются на зов,

Вопя на сотни голосов,
Творя бессмысленные чуда, —
И враг что друг и друг что враг —
Меречат и двоятся... — так,
Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод.
Народ безумием объятый
О камни бьется головой
И узы рвет, как бесноватый...
Да не смутится сей игрой
Строитель внутреннего Града —
Те бесы шумны и быстры:
Они вошли в свиное стадо
И в бездну ринутся с горы.

9 декабря 1917
Коктебель

ТРИХИНЫ

Появились новые трихины...
Ф. Достоевский

Исполнилось пророчество: трихины
В тела и в дух вселяются людей,
И каждый мнит, что нет его правей.
Ремесла, земледелие, машины
Оставлены. Народы, племена
Безумствуют, кричат, идут полками,
Но армии себя терзают сами,
Казнят и жгут — мор, голод и война.

Ваятель душ, воззвавший к жизни племя
Страстных глубин, провидел наше время.
Пророчественною тоской объят,
Ты говорил томимым нашей жаждой,
Что мир спасется красотой, что каждый
За всех во всем пред всеми виноват.

10 декабря 1917
Коктебель

СВЯТАЯ РУСЬ

А. М. Петровой

Суздаль да Москва не для тебя ли
По уделам землю собирали
Да тугую золотом суму?
В рундуках приданое копили,
И тебя невестою растили
В расписном да тесном терему?

Не тебе ли на речных истоках
Плотник-Царь построил дом широко —
Окнами на пять земных морей?
Из невест красой да силой бранной
Не была ль ты самою желанной
Для заморских княжих сыновей?

Но тебе сыздетства были любы —
По лесам глубоких скитов срубы,
По степям кочевья без дорог,
Вольные раздолья да вериги,
Самозванцы, воры да расстриги,
Соловьиный посвист да острог.

Быть Царевой ты не захотела —
Уж такое подвернулось дело:
Враг шептал: развей да расточи,
Ты отдай казну свою богатым
Власть — холопам, силу — супостатам,
Смердам — честь, изменникам — ключи.

Поддалась лихому подговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посады и хлеба,
Разорила древнее жилище,
И пошла поруганной и нищей,
И рабой последнего раба.

Я ль в тебя посмею бросить камень?
Осужу ль страстной и буйный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя, —
Ты — бездомная, гулящая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь!

19 ноября 1917
Коктебель

МИР

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.

О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи,
Германцев с запада, монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!

23 ноября 1917
Коктебель

ИЗ БЕЗДНЫ
(октябрь 1917)

А. А. Новинскому

Полночные вздулись воды,
И ярость взметенных толп
Шатает имперский столп
И древние рушит своды.
Ни выхода, ни огня...
Времен исполнилась мера.
Отчего же такая вера
Переполняет меня?
Для разума нет исхода.
Но дух, ему вопреки,
И в бездне чует ростки
Неведомого всхода.
Пусть бесы земных разрух
Клубятся смерчем огромным, –
Ах, в самом косном и темном
Пленен мировой дух!
Бичами страстей гонимы –
Распятые серафимы
Заточены в плоть:

Их жалит горящим жалом,
Торопит гореть Господь.

Я вижу в большом и малом
Водовороты комет...
Из бездны – со дна паденья
Благословляю цветенье
Твое – всестрастной свет!

15 января 1918
Коктебель

ДЕМОНЫ ГЛУХОНЕМЫЕ

Кто так слеп, как раб Мой,
И глух, как вестник Мой, Мною посланный?

Исаия, 42 : 19.

Они проходят по земле
Слепые и глухонемые
И чертят знаки огневые
В распахивающейся мгле.

Собою бездны озаряя,
Они не видят ничего,
Они творят, не постигая
Предназначенья своего.

Сквозь дымный сумрак преисподней
Они кидают вещий луч...
Их судьбы – это Лик Господний,
Во мраке явленный из туч.

29 декабря 1917
Коктебель

РУСЬ ГЛУХОНЕМАЯ

Был к Иисусу приведен
Родными отрок бесноватый:
Со скрежетом и в пене он
Валялся, корчами объятый.
— "Изыди, дух глухонемой!" —
Сказал Господь. И демон злой
Сотряс его и с криком вышел —
И отрок понимал и слышал.
Был спор учеников о том,
Что не был им тот бес покорен,
А Он сказал:
"Сей род упорен:
Молитвой только и постом
Его природа одолима".

Не тем же ль духом одержима
Ты, Русь глухонемая! Бес,
Украв твой разум и свободу,
Тебя кидает в огнь и воду,
О камни бьет и гонит в лес.
И вот взываем мы: Прииди. . .
А избранный вдали от битв
Кует постами меч молитв
И скоро скажет: "Бес, изыди!".

6 января 1918
Коктебель

РОДИНА

Каждый побрел в свою сторону
И никто не спасет тебя.

(Слова Исайи, открывшиеся в
ночь на 1918 год).

И каждый прочь побрел вздыхая,
К твоим призывам глух и нем,
И ты лежишь в крови, нагая,
Изранена, изнемогая,
И не защищена никем.
Еще томит, не покидая,
Сквозь жаркий бред и сон — твоя
Мечта в страданьях изжитая
И неосуществленная...
Еще безумит хмель свободы
Твои взметенные народы
И не окончена борьба, —
Но ты уж знаешь в просветленьи,
Что правда Славии — в смиреньи,
В непротивлении раба;

Что искус дан тебе суровый:
Благословить свои оковы,
В темнице простираясь ниц,
И части восприять Христовой
От грешников и от блудниц;

Что, как молитвенные дымы,
Темны и неисповедимы
Твои последние пути,
Что не допустят с них сойти
Сторожевые Херувимы!

30 мая 1918
Коктебель

ПРЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

К. Ф. Богаевскому

Postquam devastationem XL aut amplius dies Roma fuit ita desolata, ut nemo ibi hominum, nisi bestiae morareutur.

Marcellini Commentarii

В глухую ночь шестого века,
Когда был мир и Рим простерт
Перед лицом германских орд,
И гот теснил и грабил грека,
И грудь земли и мрамор плит
Гудели топотом копыт,
И лишь монах, писавший "Акты
Остготских королей", следил
С высот оснеженной Соракты,
Как на равнине средь могил
Бродил огонь и клубы дыма,
И конницы взметали прах
На желтых Тибрских берегах, –
В те дни все населенье Рима
Тотила приказал изгнать.

И сорок дней был Рим безлюден.
Лишь зверь бродил средь улиц. Чуден
Был Вечный Град: ни огнь сглодать,
Ни варвар стены разобрать
Его чертогов не успели.

Он был велик и пуст и дик,
Как первозданный материк,
В молчаньи вещем цепенели,
Столпившись, как безумный бред,
Его камней нагроможденья –
Все вековые отложенья
Завоеваний и побед:
Трофеи и обломки тронов,
Священный Путь, где камень стерт
Стопами медных легионов
И торжествующих когорт,
Водопроводы и аркады,
Неимоверные громады
Дворцов и ярусы колонн,
Сжимая и тесня друг друга,
Загромождая небосклон
И горизонт земного круга.
И в этот безысходный час,
Когда последний свет погас
На дне молчанья и забвенья,
И древний Рим исчез во мгле,
Свершилось преосуществленье
Всемирной власти на земле:
Орлиная разжалась лапа
И выпал мир. И принял Папа
Державу, и престол воздвиг.
И новый Рим процвел – велик,
И необъятен, как стихия.

Так семя, дабы прорасти,
Должно истлеть. . .
Истлей, Россия,
И царством духа расцвети!

17 января 1918

Коктебель



М. Свободин и М. Волошин. Феодосия, 1899.



Мария Степановна Волошина. Жена поэта (1887–1976).





М. Волошин в своей мастерской.



Памятник поэту в Париже
(бюст работы Эдуарда Виттига).



Портрет М. Волошина (рисунок).

АНГЕЛ ВРЕМЕН

В. Л. Рюминой.

Держа в руке живой и влажный шар,
Клубящийся и дышащий, как пар,
Лоснящийся здесь зеленью, там костью,
Струящийся, как жидкий хризолит,
Он говорит, указывая тростью:

"Пойми земли меняющийся вид:
Материков живые сочетанья,
Их органы, их формы, их названья
Водами Океана рождены.
И вот она – подобная кораллу,
Приросшая к Кавказу и Уралу,
Земля морей и полуостровов,
Здесь вздутая, там сдавленная узко,
В парче лесов и в панцире хребтов,
Жемчужница огромного моллюска,
Атлантикой рожденная из пен, –
Опаснейшая из морских сирен.
Страстей ее горючие сплетенья
Мерцают звездами на токах вод –
Извилистых и сложных, как растенья.
Она водами дышит и живет.
Ее провидели в лучистой сфере
Блудницею, сидящею на звере,
На водах многих с чашею в руке,
И девушкой, лежащей на быке.
Полярным льдам уста ее открыты,
У пояса, среди сапфирных влаг,
Как пчельный рой у чресел Афродиты,

Раскинул острова Архипелаг.
Сюда ведут страстных желаний тропы,
Здесь матерние органы Европы,
Здесь, жгучие дрожанья затая, –
В глубоких влуминах укрытая стихия,
Чувствилище и похотник ея, –
Безумила народы Византия.
И здесь, как муж, поял ее Ислам:
Воль Азии вершитель и предстатель –
Сквозь Бычий-Ход Махмуд завоеватель
Проник к ее заветным берегам.
И зачала и понесла во чреве
Русь – Третий Рим – слепой и страстный плод:
Да зачатое в пламени и в гневе
Собой восток и запад сопряжет!
Но роковым охвачен нетерпеньем,
Все исказил неистовый Хирург,
Что кесаревым вылущил сеченьем
Незрелый плод Славянства – Петербург.
Пойми великое предназначенье
Славянством затаенного огня:
В нем брезжит солнце завтрашнего дня.
И крест его – всемирное служенье.
Двойным путем ведет его судьба –
Она и в имени его двуглава:
Пусть SCLAVUS раб, но Славия есть СЛАВА:
Победный нимб над головой раба!
В тисках войны сейчас еще томится
Все, что живет, и все, что будет жить:
Как солнца бег нельзя предотвратить –
Зачатое не может не родиться.
В крушеньи царств, в самосожженьях зла
Душа народов ширилась и крепла:
России нет – она себя сожгла,
Но Славия воссветится из пепла!"

20 мая 1918
Коктебель

КИТЕЖ

1

Вся Русь костер. Неугасимый пламень
Из края в край, из века в век
Гудит, ревет... и трескается камень,
И каждый факел — человек.
Не сами ль мы, подобно нашим предкам,
Пустили пал? А ураган
Раздул его, и тонут в дыме едком
Леса и села огнищан.
Ни Сергиев, ни Оптина, ни Саров
Народный не уймут костер.
Они уйдут, спасаясь от пожаров,
На дно серебряных озер.
Так, отданная на поток татарам,
Святая Киевская Русь
Ушла с земли, укрывшись Светлояром...
Но от огня не отрекусь.
Я сам — огонь. Мятеж в моей природе.
Но цель и грань нужны ему.
Не в первый раз, мечтая о свободе,
Мы строим новую тюрьму.
Ах, вне Москвы — вне нашей душной плоти,
Вне воли мудрого Петра —
Нам нет дорог. Нас водит на болоте
Огней бесовская игра.
Святая Русь покрыта Русью грешной,
И нет в тот Град путей,
Куда зовет призывный и нездешний
Подводный благовест церквей.

2

Усобицы кромсали Русь ножами;
Скупые дети Калиты
Неправдами, насильем, правежами
Ее сбирали лоскуты.
В тиши ночей звездяных и морозных,
Как некий крестовик-паук,
Москва пряла при Темных и при Грозных
Свой тесный, безысходный круг;
Здесь правил всем изветчик и наушник,
И был свиреп и строг
Московский князь — "постельничий и клюшник
У Господа" — помилуй Бог!
Гнездо бояр, юродивых, смиренниц,
Дворец, тюрьма и монастырь,
Где двадцать лет зарезанный младенец
Чертил круги, как нетопырь.
Ломая кость, вытягивая жилы,
Московский строился престол,
Когда отродье Кошки и Кобылы
Пожарский царствовать привел.
Антихрист-Петр распаренную глыбу
Собрал, стянул и раскачал,
Остриг, обрил и, вздернувши на дыбу,
Наукам книжным обучал;
Империя, оставив нору кротью,
Высиживалась из яиц
Под жаркой коронованною плотью
Своих пяти императриц.
И стала Русь чужой, и чинной, мерзкой.
Штыков сияньем озарен,
В смеси кровей Голштинской с Вюртембергской
Отстаивался царский трон.
И вырвались со свистом из-под трона
Клубящиеся пламена:

На свет из тьмы, на волю из полона —
Безумья страсти, племена.
Анафем церкви одолев оковы,
Повоскресали из гробов
Мазепы, Разины и Пугачевы,
Страшилища иных веков.
Но и теперь, как в дни иных падений,
Вся омраченная в крови,
Осталась ты землею исступлений,
Землей взыскующей любви.

3

Они пройдут, расплавленные годы
Народных бурь и мятежей:
Вчерашний раб, уставший от свободы,
Возропщет, требуя цепей.
Построит вновь казармы и остроги,
Воздвигнет сломанный престол,
А сам уйдет молчать в свои берлоги,
Работать на полях, как вол.
И, отрезвясь от крови и угара,
Цареву радуясь бичу,
От угольев погасшего пожара
Затеплит ярую свечу.
Молитесь же! Терпите же! Примите ж
На плечи — крест, на выю — трон!
На дне души гудит подводный Китеж —
Наш неосуществимый сон!

Коктебель. 18 августа 1919
(Во время наступления Деникина на Москву).

ДИКОЕ ПОЛЕ

1

Голубые просторы, туманы,
Ковыли, да полынь, да бурьяны,
Ширь земли, да небесная лепь!
Разлилось, развернулось на воле
Припонтийское Дикое Поле,
Темная Киммерийская степь.

Вся могильниками покрыта —
Без имян, без конца, без числа,
Вся копытом да копьями взрыта,
Костью сеяна, кровью полита
Да народной тугой поросла!

Только ветр Закаспийских угорий
Мутит воды степных лукоморий,
Плещет, рыщет, развалист и хляб,
По оврагам, увалам, излогам,
По немеренным скифским дорогам,
Меж курганов да каменных баб!
Вихрит вихрями клочья бурьяна
И гудит, и звенит, и поет...
Эти поприща — дно Океана,
От великих обсякшее вод.
Распалял их полуденный огнь,
Индевела заречная синь...
Да ползла желтолицая погань
Азиатских бездонных пустынь.
За хазарами шли печенеги...
Ржали кони, пестрели шатры,
Пред рассветом скрипели телеги,
По ночам разгорались костры.

Раздувались обозами тропы
Перегруженных степей,
На зубчатые стены Европы
Низвергались внезапно потопы
Колченогих, раскосых людей.
И орлы на Равеннских воротах
Исчезали в водоворотах
Всадников и лошадей.

Было много их — люты, хоробры,
Но исчезли — "изникли, как обры",
В темной распре улусов и ханств,
И смерчи, что росли и сшибались,
Разошлись, растеклись, растерялись
Средь степных безысходных пространств.

2

Долго Русь раздирали по клочьям
И усобицы, и татарва...
Но в лесах, по речным узорочьям
Завязалась узлом Москва.
Кремль, овеянный сказочной славой,
Встал в парче облачений и риз,
Белокаменный и златоглавый
Над скудою закуренных изб.
Отразился в лазоревой ленте,
Развитой по лугам-муравам,
Аристотелем Фиоравенти
На Москва-реке строенный храм.
И московские Иоанны
На татарские веси и страны
Наложили тяжелую пядь
И пятой наступили на степи...

От кремлевских тугих благолепий
Стало трудно в Москве дышать.
Голытьбу с тесноты да с неволи
Потянуло на Дикое Поле
Под высокий степной небосклон:
С топором, да с косой, да с оралом
Уходили на север – к Уралам,
Убегали на Волгу, за Дон.
Их разлет был широк и несвязен –
Жгли, рубили, взымали ясак...
Правил парус на Персию Разин,
И Сибирь покорял Ермак.
С Беломорья до Приазовья
Подымались на клич удальцов
Воровские круги Понизовья
Да концы вечевых городов.
Лишь Никола-Угодник, Егорий –
Волчий пастырь, строитель земли,
Знают были пустынь и поморий,
Где казацкие кости легли...

3

Русь! Встречай роковые годины:
Разверзаются снова пучины
Неизжитых тобою страстей,
И старинное пламя усобиц
Лижет ризы твоих Богородиц
На оградах Печерских церквей.

Все, что было, повторится ныне,
И опять затуманится ширь,
И останутся двое в пустыне:
В небе – Бог, на земле – богатырь.

Эх! Не выпить до дна нашей воли,
Не связать нас в единую цепь! . .
Широко наше Дикое Поле,
Глубока наша скифская степь.

20 июня 1920
Коктебель

НА ВОКЗАЛЕ

В мутном свете увялых
Электрических фонарей
На узлах, тюках, одеялах,
Средь корзин, сундуков, ларей,
На подсолнухах, на окурках,
В сермягах, в шинелях, в бурках,
То врозь, то кучей, то в ряд
На полу, на лестнице – спят.
Одни раскидавшись, будто
Подкошенные на корню,
Другие, вывернув круто
Шею, бедро, ступню.
Меж ними бродит зараза
И отравляет их кровь:
Тиф, холера, проказа,
Ненависть и любовь.
Едят их поедом жадным
Мухи, москиты, вши.
Они задыхаются в смрадном
Испарении тел и души.
Точно в загробном мире,
Где каждый в себе несет
Противовесы и гири
Дневных страстей и забот.

Так спят они по вокзалам,
Вагонам, платформам, залам,
По рынкам, по площадям
У стен, у отхожих ям,
Беженцы из разоренных
Оголодавших столиц.
Из городов опаленных,
Деревень, аулов, станиц,
Местечек – тысяча лиц.
И социальный Мессия,
И баба с кучей ребят,
Офицер, налетчик, солдат,
Спекулянт, мужик – вся Россия.
Вот лежит она, распята сном,
По вековечным излогам,
Расплесканная по дорогам,
Искусанная огнем.
С запекшимися губами,
В грязи, в крови и во зле,
И ловит воздух руками
И мечется по земле.
И не может в бреду забыться,
И не может очнуться от сна. . .
Не все ли и всем простится
Кто выстрадал, как она?. .

29 июля 1919
Коктебель

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Во имя грозного закона
Братоубийственной войны,
И воспаленны, и красны –
Пылают гневные знамена.

Но жизнь и русская судьба
Смешали клички, стерли грани:
Наш "пролетарий" – голытьба,
А наши "буржуа" – мещане.
А грозный демон – "капитал" –
Властитель фабрик, Князь заботы,
Вся суть отстоенной работы,
Преображенная в кристалл,
Был нам неведом:
                    нерадивы
И нищи средь богатств земли,
Мы чрез столетья пронесли,
Сохою ковыряя нивы,
К земле нежадную любовь...
России душу омрачая,
Враждуют призраки, но кровь
Из ран ее течет живая.

Не нам ли суждено изжить
Последние судьбы Европы,
Чтобы собой предотвратить
Ее погибельные тропы?
Пусть бунт наш – бред, пусть дом наш – пуст,
Пусть боль от наших ран – не наша.
Но да не минет эта чаша
Чужих страданий – наших уст!
И если встали между нами
Все гневы будущих времен –
Мы все же грезим русский сон
Под чуждыми нам именами!
Тончайшей изо всех зараз –
Мечтой – врачует мир Россия, –
Ты, погибавшая не раз
И воскресавшая стихия!
Как некогда святой Франциск
Видал: разверзся солнца диск,
И пясти рук и ног – Распятый

Ему лучом пронзил трикраты, –
Так ты в молитвах приняла
Чужих страстей, чужого зла
Кровоточащие стигматы.

12 июня 1919
Коктебель

РУСЬ ГУЛЯЩАЯ

М. С. Заболоцкой

. . .В Россию можно только верить.

Ф. Тютчев

В деревнях погорелых и страшных,
Где толчется шатущий народ,
Шлендит пьяная в лохмах кумашных
Да бесстыжие песни орет.

Сквернословит, скликает напасти,
Пляшет голая – кто ей заказ?
Кажет людям срамные части,
Непотребства творит напоказ.

А проспавшись, бьется в подклетях
Да ревет, завернувшись в платок,
О каких-то расстрелянных детях,
О младенцах, засоленных впрок.

А не то разинет глазища
Да вопьется, вцепившись рукой:
"Не оставь меня, смрадной и нищей,
Опозоренной и хмельной.

Покручинься моею обидой,
Погорюй по моим мертвецам,
Не продай басурманам, не выдай
На потеху лихим молодцам...

Вся-то жизнь в теремах под засовом.
Уж натешились вы надо мной,
Припаскудили пакостным словом,
Припоганили кличкой срамной".

Разве можно такую оставить,
Отчураться, избыть, позабыть?
Ни молитвой ее не проплавить,
Ни любовью не растопить.

Расступись же, кровавая бездна,
И во всей полноте бытия
Всенародно, всемирно, всезвездно
Просияет правда твоя!

5 января 1923
Коктебель

БЛАГОСЛОВЕНЬЕ

Благословенье мое, как гром.
Любовь безжалостна и жжет огнем.
Я в милосердии неумолим.
Молитвы человеческие — дым.

Из избранных тебя избрал я, Русь!
И не помилуя не отступлюсь.
Бичами пламени, клещами мук
Не оскудеет щедрость этих рук.

Леса, увалы, степи и вдали
Пустыни тундр — шестую часть земли,
От Индии до Ледовитых вод,
Я дал тебе и твой умножил род,

Чтоб на распутьях сказочных дорог
Ты сторожила запад и восток.
И вот, вся низменность земного дна
Тобой, как чаша, до края полна.

Ты благословлена на подвиг твой
Татарским игом, скаредной Москвой,
Петровской дыбой, бредами калек,
Хлыстов, скопцов — одиннадцатый век.

Распластанною, голой на столе,
То вздернутой на виске, то в петле,
Тебя живьем свежуют палачи —
Радетели, целители, врачи.

И каждый твой порыв и каждый стон
Отмечен мной, и понят, и зачтен.
Твои молитвы в сердце я храню:
Попросишь мира — дам тебе резню.

Спокойствия? — Девятый взмою вал.
Разрушишь тюрьмы? — Вырою подвал.
Раздашь богатства? — Станешь всех бедней,
Ожидовеешь в жадности своей!

На подвиг встанешь жертвенной любви?
Очнешься пьяной по плечи в крови.
Замыслишь единенье всех людей?
Заставлю есть зарезанных детей!

Ты взыскана судьбою до конца:
Безумием заквасил я сердца
И сделал осязаемым твой бред.
Ты – лучшая! Пощады лучшим – нет!

В едином горне за единый раз
Жгут пласт угля, чтоб выплавить алмаз.
А из тебя, сожженный мой народ,
Я ныне новый выплавляю род!

23 февраля 1923
Коктебель

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье?
Была ли ты? Есть или нет?
Омут... Стремнина... Головокруженье...
Бездна... Безумие... Бред...

Все внеразумно, необычайно...
Взмахи побед и разрух...
Мысль замирает пред вещею тайной
И ужасается дух.

Каждый, коснувшийся дерзкой рукою,
Молнией поражен.
Карл под Полтавой; ужален Москвою,
Падает Наполеон.

Помню квадратные спины и плечи
Грузных немецких солдат.
Год... и в Германии русское вече;
Красные флаги кипят.

Кто там? Французы? Не суйся, товарищ,
В русскую водоверть!
Не прикасайся до наших пожарищ!
Прикосновение – смерть.

Реки вздувают безмерные воды,
Стонет в равнинах метель;
Бродит в точиле, качает народы
Русский разымчивый хмель.

Мы – зараженные совестью: в каждом
Стеньке – Святой Серафим,
Отданный тем же похмельям и жаждам,
Тою же волей томим.

Мы погибаем, не умирая,
Дух обнажаем до дна...
Дивное диво – горит, не сгорая,
Неопалимая Купина!

28 мая 1919
Коктебель

IV. СМУТНЯКИ

НАПИСАНИЕ О ЦАРЯХ МОСКОВСКИХ

1

Царь Иван был ликом некрасив,
Очи имел серы, пронзительны и беспокойны,
Нос протягновен и покляп.
Ростом велик, а телом сух.
Грудь широка, и туги мышцы.
Муж чудных рассуждений.
Многоречив зело.
В науке книжной опытен и дерзок.
А на рабы, от Бога данные,
Жестокосерд.
В пролитьи крови
Неумолим.
Жен и девиц сквернил он блудом много.
И множество народа
Немилостивой смертью погубил.
Таков был Царь Иван.

2

Царь же Федор,
Образ имея постника,
Смиреньем обложен,
О мире попеченья не имея,
А только о спасении духовном.

3

Царь Борис — во схиме боголеп —
Был образом цветущ,
Сладкоречив вельми,
Нищелюбив и благоверен,
Строителен зело
И о державе попечителен.
Держась рукой за верх срачицы, клялся
Сию последнюю со всеми разделить.
Единое имея направленье:
Ко властолюбию несытое желанье
И ко врагам сердечно прилежанье.
Таков был Царь Борис.

4

Царевич Федор — сын Царя Бориса —
Был отрок чуден,
Благолепием цветущ,
Как в поле крин, от Бога преукрашен.
Очи велики, черны,
Бел лицом,
А возраст среден.
Книжному научен почитанью.
Пустошное али гнилое слово
Из уст его вовек не исходише.

5

Царевна Ксения
Власы имея черны, густы,
Аки трубы лежаще по плечам.

Бровьми союзна, телом изобильна,
Вся светлостью облистана
И млечной белостью
Всетельно облиянна.
Воистину во всех делах чредима.
Любила воспеваемые гласы
И песни духовные.
Когда же плакала,
Блистала еще светлее
Зелной красотой.

6

Расстрига был ростом мал,
Власы имея руды.
Безбород и с бородавкой у переносицы.
Пясти тонки.
А грудь имел широку.
Мышцы толсты.
А тело помраченно.
Обличьем прост,
Но дерзостен и остроумен
В речах и в наученьи книжном.
Конские ристалища любил.
Был ополчитель смел.
Ходил танцуя.

7

Марина Мнишек была прельстительна,
Бела лицом, а брови имея тонки,
Глаза змеиные. Рот мал. Поджаты губы.
Возрастом невелика.
Надменна обращеньем.
Любила плясанья и игрища.

Рядишася в платья
Тугие с обручами
Но паче честных камней любяша негритенка.

8

Царь Василий был ростом мал,
А образом нелеп.
Очи подслеповаты.
Скуп и неподатлив.
Но книжен и хитер.
Любил наушников.
Был к волхованью склонен.

9

Боярин Федор — во иночестве Филарет —
Роста и полноты был средних.
Был обходителен.
Опальчив нравом.
Владетелен зело.
Божественное Писанье разумел отчасти,
Но в знании людей был опытен;
Царями, боярами играше,
Аки на тавлее.
И роду своему престол Московский
Выиграл.

10

Такими видел их и, видев, записал
Иван Михайлович
Князь Катырев-Ростовский.

23 августа 1919
Коктебель

КОЛДОВСТВО

Килы присаживали мужикам,
Невстанихи рабочим причиняли
Да женок портили.
Да в срубах жгли, соломой оболокши. . .
Пытали накрепко, допрашивали тесно,
Нещадно жгли огнем. . .
Дурну училися на Волге у ярыжных.
"На море Окияне,
На острове Буяне
Стоит дуб крепковат.
На дубу ворон сидит,
Пузырь во рту держит.
Ты, пузырь, в воде наливайся,
Ты, кила, у него развымайся. . .
Скормила во щах его же естество.
Как мертвяк не встанет,
Так чтоб он не встал.
Как у мертвого тело пропало,
Так чтоб он вовсе пропал".
Бесовские чинили волхованья,
Прельщали богомерзким чародейством.
Московские Иваны лютовали –
Ярыжники, воряги, дармоеды. . .
Щенок-ярчук от первого помета. . .
"Как люди в зеркало смотрят,
Так бы муж на жену не насмотрел. . ."
Меня же он позорной лаей лаял. . .
Да подкинул зажженную лучину,
А подкиня, стала так фост поднямши спать.
В снопу соломенном, в сосновом срубе
На градской площади велели сжечь.

Январь 1926
Коктебель

DMETRIUS-IMPERATOR
(1591–1613)

Ю. Л. Оболенской

Убиенный много и восставый,
Двадцать лет со славой правил я
Отчею Московскою державой,
И годины более кровавой
Не видала Русская земля.

В Угличе, сжимая горсть орешков
Детской окровавленной рукой,
Я лежал, а мать, в сенях замешкав,
Голосила, плача надо мной.
С перерезанным наотмашь горлом
Я лежал в могиле десять лет;
И рука Господняя простерла
Над Москвой полетье лютых бед.
Голод был, какого не видали.
Хлеб пекли из кала и мезги.
Землю ели. Бабы продавали
С человечьим мясом пироги.
Проклиная царство Годунова,
В городах без хлеба и без крова
Мерзли у набитых закромов.
И разъялась зѐмная утроба,
И на зов стенящих голосов
Вышел я — замученный — из гроба.

По Руси что ветер засвистал,
Освещал свой путь двойной луною,
Пасолнцы на небе засвечал.
Над Москвою в полночь шестернею
Мчал, бичом по маковкам хлестал.
Вихрь-витной гулял я в ратном поле,
На Московском венчанный престоле
Древним Мономаховым венцом,
С белой панной – с лебедью – с Мариной
Я – живой и мертвый, но единый –
Обручался заклятым кольцом.

Но Москва дыхнула дыхом злобным –
Мертвый я лежал на месте Лобном
В черной маске с дудкою в руке,
А вокруг – вблизи и вдалеке –
Огоньки болотные горели,
Бубны били, плакали сопели,
Песни пели бесы на реке...
Не видала Русь такого сраму!
А когда свезли меня на яму
И свалили в смрадную дыру –
Из могилы тело выходило
И лежало цело на юру.
И река от трупа отливала,
И земля меня не принимала.
На куски разрезали, сожгли,
Пепл собрали, пушку зарядили,
С четырех застав Москвы палили
На четыре стороны земли.

Тут тогда меня уж стало много:
Я пошел из Польши, из Литвы,
Из Путивля, Астрахани, Пскова,
Из Оскола, Ливен, из Москвы...
Понапрасну в обличенье вора
Царь Василий, не стыдясь позора,

Детский труп из Углича опять
Вез в Москву — народу показать,
Чтобы я на Царском на призоре
Почивал в Архангельском Соборе,
Да сидела у могилы мать.

А Марина в Тушино бежала
И меня, живого, обнимала,
И, собрав неслыханную рать,
Подступал я вновь к Москве со славой...
А потом лежал в снегу — безглавый —
В городе Калуге над Окой,
Умерщвлен татарами и жмудью...
А Марина с обнаженной грудью,
Факелы подняв над головой,
Рыскала над мерзлою рекой,
И, кружась по-над Москвою, в гневе,
Воскрешала новых мертвецов,
А меня живым несла во чреве...

И пошли на нас со всех концов,
И неслись мы парой сизых чаек
Вдоль по Волге, Каспию — на Яик, —
Тут и взяли царские стрелки
Лебеденка с Лебедью в силки.

Вся Москва собралась, что к обедне,
Как младенца — шел мне третий год —
Да казнили казнию последней
Около Серпуховских ворот.

Так, смущая Русь судьбою дивной,
Четверть века — мертвый, неизбывный —
Правил я лихой годиной бед.
И опять приду — чрез триста лет.

19 декабря 1917
Коктебель

СТЕНЬКИН СУД

Н. Н. Кедрову

У великого моря Хвалынского,
Заточенный в прибрежный шихан,
Претерпевый от змия горынского,
Жду вестей из полунощных стран.

Все ль как прежде сияет — не сглазена
Православных церквей лепота?
Проклинают ли Стеньку в них Разина
В воскресенье в начале поста?

Зажигают ли свечки, да сальные,
В них заместо свечей восковых?
Воеводы порядки охальные
Всё ль блюдут в воеводствах своих?

Благолепная да многохрамая,
А из ней хоть святых выноси. . .
Что-то, чую, приходит пора моя
Погулять по Святой по Руси.

Как, бывало, казацкая, дерзкая,
На Царицын, Симбирск, на Хвалынь —
Гребенская, донская да терская
Собиралась ватажить сарынь,

Да на первом, на струге, на "Соколе"
С полюбовницей — пленной княжной,
Разгулявшись, свистали да цокали,
Да неслись по-над Волгой стрелой.

Да как кликнешь сподрушных-приспешников:
"Васька Ус, Шелудяк да Кабан!

Вы ступайте пощупать помещиков,
Воевод, да попов, да дворян.

Позаймитесь-ка барскими гнездами,
Припустите к ним псов полютей!
На столбах с перекладиной гроздами
Поразвесьте собачьих детей".

Хорошо на Руси я попраздновал:
Погулял, и поел, и попил,
И за все, что творил неуказного,
Лютой смертью своей заплатил.

Принимали нас с честью и с ласкою,
Выходили хлеб-солью встречать,
Как в священных цепях да с опаскою
Привезли на Москву показать.

Уж по-царски уважили пыткою:
Разымали мне каждый сустав
Да крестили смолой меня жидкою,
У семи хоронили застав.

И, как вынес я муку кровавую,
Да не выдал казацкую Русь,
Так за то на расправу, на правую,
Сам судьей на Москву ворочусь,

Рассужу, развяжу — не помилую, —
Кто хлопы, кто попы, кто паны. . .
Так узнаете: как пред могилою,
Так пред Стенькой все люди равны.

Мне к чему царевать да насиловать,
А чтоб равен был всякому всяк —
Тут пойдут их, голубчиков, миловать,
Приласкают московских собак.

Уж попомнят, как нас по Остоженке
Шельмовали для ихних утех,
Пообрубят им рученьки-ноженьки:
Пусть поползают людям на смех.

И за мною не токмо что драная
Голытьба, а казной расшибусь –
Вся великая, темная, пьяная,
Окаянная двинется Русь.

Мы устроим в стране благолепье вам,
Как восставши из мертвых с мечом,
Три Угодника – с Гришкой Отрепьевым
Да с Емелькой придем Пугачом.

22 декабря 1917
Коктебель

ПРОТОПОП АВВАКУМ

Памяти В. И. Сурикова

1

Прежде нежели родиться – было
Во граде солнечном,
В Небесном Иерусалиме:
Видел солнце, разверстое, как кладезь:
Силы небесные кругами обступили тесно –
Трижды тройным кольцом Сияющие Славы:
В первом круге –
Облакам подобные и ветрам огненным;
В круге втором –
Гудящие, как вихри косматых светов;

В третьем круге –
Звенящие и светлые, как звезды;
А в недрах Славы – в свете неприступном –
Непостижима, Трисиянна, Пресвятая
Троица –
Подобно адаманту, вне мира сущему,
И больше мира.
И слышал я:
Отец рече Сынови:
Сотворим человека
По образу и подобию
Огня небесного... –
И голос был ко мне:
"Ти подобает облачиться в человека
Тлимого,
Плоть восприять и по земле ходить.
Поди: вочеловечься
И опаляй огнем!"

Был же я, как уголь раскаленный,
И вдруг погас,
И черен стал,
И, пеплом собственным одевшись,
Был извержен
В хлябь внешнюю.

2

Пеплом собственным одевшись, был извержен
В хлябь внешнюю:
Мое рожденье было
За Кудмою-рекой
В земле Нижегородской.
Отец мой прилежаще пития хмельного,
А мати – постница, молитвенница бысть.

Аз ребенком малым видел у соседа
Скотину мертвую,
И, в ночи восставши,
Молился со слезами,
Чтоб умереть и мне.
С тех пор привык молиться по ночам.
Молод осиротел,
Был во попы поставлен.
Пришла ко мне на исповедь девица,
Делу блудному повинна,
И мне подробно извещала.
Аз же – треокаянный врач –
Сам разболелся,
Внутрь жгом огнем блудным,
Зажег я три свечи, и руку
Возложив держал,
Дондеже разженье злое не угасло.
А дома, до полночи молясь, –
Да отлучит мя Бог, –
Понеже бремя тяжко, –
В слезах забылся.
А очи сердечнии
При Волге при реке и вижу:
Плывут два корабля златые –
Все злато: и весла, и шесты, и щегла.
"Чьи корабли?" – спросил.
"Детей твоих духовных".
А за ними третий –
Украшен не золотом, а разными пестротами:
Черно и пепельно, сине, красно и бело.
И красоты его ум человеческий вместить не может.
Я ему:
– Чей есть корабль?
А он мне:
– Твой.
Плыви на нем, коль миром докучаешь!
А я, вострепетав и седше, рассуждаю:

Аз есмь огонь, одетый пеплом плоти,
И тело наше без души есть кал и прах.
В небесном царствии всем золота довольно.
Нам же во хлябь изверженным
И тлеющим во прахе подобает
Страдати неослабно.
Что будет плаванье?
По мале времени, по виденному, беды
Восстали адовы, и скорби, и болезни.

3

Беды восстали адовы, и скорби, и болезни:
От воевод терпел за веру много:
Ин — в церкви взяв,
Как был — с крестом и в ризах
По улице за ноги волочил,
Ин — батогами бил, топтал ногами,
И мертв лежал я до полчаса и паки оживел,
Ин — на руке персты отгрыз зубами. . .
В село мое пришедше скоморохи
С домрами и с бубнами,
Я ж — грешник — о Христе ревнуя, изгнал их,
Хари
И бубны изломал —
Един у многих.
Медведей двух великих отнял:
Одного ушиб — и паки ожил —
Другого отпустил на волю.
Боярин Шереметьев, на воеводство плывучи,
К себе призвал и много избраня
Сына брадобрица велел благословить,
Я ж образ блудоносный стал обличать.
Боярин, гораздо осердясь,
Велел мя в воду кинуть.

Я ж взяв клюшку, а мати – некрещеного младенца,
Побрел в Москву – Царю печалиться.
А Царь меня поставил протопопом.

В те поры Никон
Яд изрыгнул.
Пишет:
"Не подобает в церкви
Метание творити на колену.
Тремя персты креститися".
Мы ж задумались, сошедшись.
Видим: быть беде!
Зима настала.
Озябло сердце.
Ноги задрожали.
И был мне голос:
"Время
Приспе страдания.
Крепитесь в вере.
Возможно Антихристу и избранных прельстити"...

4

Возможно Антихристу и избранных прельстити.
Взяли мя от всенощной, в телегу посадили,
Распяли руки и везли
От Патриархова двора к Андронью,
И на цепь кинули в подземную палатку.
Сидел три дня – не ел, не пил:
Бил на цепи поклоны –
Не знаю – на восток, не то на запад.
Никто ко мне не приходил,
А токмо мыши и тараканы,
Сверчок кричит и блох довольно.
Ста предо мной – не вем кто –
Ангел, аль человек, –

И хлеба дал и штец хлебать,
А после сгинул,
И дверь не отворялась.
Наутро вывели:
Журят, что Патриарху
Не покорился.
А я браню и лаю.
Приволочили в церковь – волосы дерут,
В глаза плюют,
И за чепь торгают.
Хотели стричь,
Да Государь, сошедши с места, сам
Приступился к Патриарху –
Упросил не стричь.
И был приказ:
Сослать меня в Сибирь с женою и детьми.

5

Сослали меня в Сибирь с женою и детьми.
В те поры Пашков, землицы новой ищучи,
Даурские народы под руку Государя приводил.
Суров был человек – людей без толку мучит.
Много его я уговаривал,
Да в руки сам ему попал.

Плотами плыли мы Тунгускою рекой.
На Долгом на пороге стал Пашков
С дощеника мя выбивать:
"Для тебя де дощеник плохо ходит,
Еретик ты:
Поди де по горам, а с казаками не ходи".
Ох, горе стало!
Высоки горы –
Дебри непроходимые.
Утесы, яко стены,

В горах тех – змии великие,
Орлы и кречеты, индейские курята,
И лебеди, и бабы, и иные птицы,
И многие гуляют звери –
Лоси и кабаны,
И волки и бараны дикие –
Видишь воочию, а взять нельзя.
На горы те мя Пашков выбивал
Там со зверьем и с птицами витати.
А я ему посланьице писал:
Начало сице:
"Человече! убойся Бога
Сидящего на херувимах и презирающего в бездне!
Его ж трепещут Силы небесные и тварь земная.
Един ты презираешь и неудобство показуешь".

Многонько там написано.
Привели мя пред него, а он
Со шпагою стоит,
Дрожит.
– Ты поп, или распоп?
А я ему:
– Есмь протопоп.
Тебе что до меня?
А он рыкнул, как зверь, ударил по щеке,
Стал чепью бить,
А после, разболокши, стегать кнутом.
Я ж Богородице молюсь:
– Владычица!
Уйми Ты дурака того!

Сковали и на беть бросили:
Под капелью лежал.
Как били – небольно было,
А лежа на ум взбрело:
"За что Ты, Сыне Божий, попустил убить меня?
Не за Твое ли дело стою?

Кто будет судией меж мною и Тобой?"
Увы мне! будто добрый,
А сам, что фарисей с навозной рожей –
С Владыкою судиться захотел.
Есмь кал и гной.
Мне подобает жить с собаками и свиньями:
Воняем –
Они по естеству, а я душой и телом.

6

Воняем: одни по естеству, а я душой и телом.
В студеной башне скованный сидел всю зиму.
Бог грел без платья:
Что собачка на соломе лежу.
Когда покормят, когда и нет.
Мышей там много – скуфьею бил,
А батожка не дали дурачки.
Спина гнила. Лежал на брюхе.
Хотел кричать уж Пашкову: Прости!
Да велено терпеть.
Потом два лета бродили по водам.
Зимой чрез волоки по снегу волоклись.
Есть стало нечего.
Начали люди с голоду мереть.
Река мелка.
Плоты тяжелы.
Палки суковаты.
Кнутья остры.
Жестоки пытки.
Приставы немилостивы.
А люди голодные.
Огонь да встряска –
Лишь станут мучать,
А он помрет,
Сосну варили, ели падаль,
Что волк не съест – мы доедаем.

Волков и лис озяблых ели.
Кобыла жеребится — голодные же втай
И жеребенка и место скверное кобылье —
Все съедят.
И сам я — грешник — неволею причастник
Кобыльим и мертвечьим мясам.
Ох! времени тому!
Как по реке, по Нерчи,
Да по льду голому брели мы пеши —
Страна немирная, отстать не смеем,
А за лошадями не поспеть.
Протопопица бредет, бредет
Да и повалится.
Ин — томный человек набрел,
И оба повалились:
Кричат, а встать не могут.
Мужик кричит:
"Прости, мол, матушка!"
А протопопица:
"Чего ты, батько,
Меня-то задавил?"
Приду — она пеняет:
"Долго ль муки сей нам будет, протопоп?"
А я ей:
"Марковна, до самой смерти".
Она ж, вздохня, ответила:
"Добро, Петрович.
Ин дальше побредем".

7

Ин дальше побредем,
И слава Богу сотворившему благая!
Курочка у нас была черненька.
Весь круглый год по два яичка в день
Робяти приносила.

Сто рублев при ней — то дело плюново.
Одушевленное творенье Божье!
Нас кормила и сама сосновой кашки
Тут клевала из котла,
А рыбка прилучится — так и рыбку.
На нарте везучи, в те поры задавили
Ее мы по грехам.
Не просто она досталась нам:
У Пашковой снохи — боярыни
Все куры переслепли. —
Она ко мне пришла,
Чтоб я о курах помолился.
Я думаю — заступница есть наша
И детки есть у ней.
Молебен пел, кадил,
Куров кропил, корыто делал,
Водой святил, да все ей отослал.
Курки исцелели, —
И наша курочка от племени того.
Да полно говорить то:
У Христа так повелось издавна —
Богу все надобно: и птичка и скотинка —
Ему во славу, человека ради.

8

Во славу Бога, человека ради
Творится все.
С Мунгальским царством воевати
Пашков сына Еремея посылал,
И заставлял волхва, язычника, шаманить и гадать,
А тот мужик близ моего зимовья
Привел барана вечером
И волховать учал:
Вертел им много
И голову прочь отвертел.

Зачал скакать, плясать, и бесов призывать
И, много покричав, о землю ударился
И пена изо рта пошла.
Бесы давят его, а он их спрашивает:
"Удастся ли поход?"
"С победою великой
И богатством назад придут".
А воеводы рады: богатыми вернемся.
Я ж в хлевине своей взываю с воплем:
"Послушай меня, Боже!
Устрой им гроб! Погибель наведи!
Да ни один домой не воротится!
Да не будет по слову дьявольскому!"
Громко кричу, чтоб слышали. . .
И жаль мне их: душа-то чует,
Что им побитым быти,
А сам на них погибели молю.
Прощаются со мной, а я им:
— Погибнете!
Как выехали ночью —
Лошади заржали, овцы и козы заблеяли,
Коровы заревели, собаки взвыли,
Сами иноземцы завыли, что собаки:
Ужас
На всех напад.
А Еремей слезами просит, чтобы
Помолился я за него.
Был друг мой тайной —
Перед отцем заступник мой.
Жалко было: стал докучать Владыке,
Чтоб пощадил его.
Учали ждать с войны, и сроки все прошли.
В те поры Пашков
Застенок учредил и огнь расклал:
Хочет меня пытать.
А я к исходу душевному молитвы прочитал:
Стряпня знакома, —

После огня того живут не долго.
Два палача пришли за мной...
И чудно дело:
Еремей сам-друг дорожкой едет – ранен.
Все войско у него побили без остатку,
А сам едва ушел.
А Пашков, как есть пьяной с кручины,
Очи на мя возвел, –
Словно медведь морской, белой –
Жива бы проглотил, да Бог не выдал.
Так десять лет меня он мучал.
Аль я его? Не знаю:
Бог разберет в день века.

9

Бог разберет в день века.
Грамота пришла – в Москву мне ехать.
Три года ехали по рекам да лесам.
Горы, каких не видано:
Врата, столпы, палатки, повалушки –
Все богаделанно.
На море на Байкале –
Цветенья благовонные и травы,
И птиц гораздо много: гуси да лебеди
По водам точно снег.
А рыбы в ём: и осетры и таймени,
И омули, и нерпы, и заиды великие.
И все-то у Христа для человека наделано.
Его же дние в суете, как тень, проходят:
Он скачет, что козел,
Съесть хочет, яко змий,
Лукавствует, как бес,
И гневен, яко рысь.
Раздуется, что твой пузырь,
Ржет, как жребя, на красоту чужую.

Отлагает покаяние на старость,
А после исчезает,
Простите мне, никонианцы, что избранил вас,
Живите, как хотите.
Аз паче всех есмь грешен,
По весям еду, а в духе ликованье,
А в русски грады приплыл –
Узнал о церкви – ничто не успевает.
И опечалясь, седше, рассуждаю:
    "Что сотворю: поведаю ли Слово Божие,
Аль скроюся?
Жена и дети меня связали..."
А протопопица, меня печальна видя,
Приступи ко мне с опрятством и рече ми:
    "Что, господине, опечалился?"
А я ей:
            "Что сотворю, жена?
Зима ведь на дворе.
Молчать мне, аль учить?
Связали вы меня..."
Она же мне:
                    "Что ты, Петрович?
Аз тя с детьми благословляю:
Проповедай по-прошлому.
О нас же не тужи.
Силен Христос и не покинет нас.
Поди, поди, Петрович, обличай блудню их
Еретическую" ...

10

Да, обличай блудню их еретическую...
А на Москву приехал –
Государь, бояра – все мне рады:
Как ангела приветствуют.
Государь меня к руке поставил:

"Здорово, протопоп, живешь?
Еще де свидеться Бог повелел".
А я, супротив, руку ему поцеловавши:
"Жив, говорю, Господь, жива душа моя,
А впредь, что Бог прикажет".
Он же миленькой вздохнул да и пошел
Где надобе ему.
В подворье на Кремле велел меня поставить
Да проходя сам кланялся низенько:
— Благослови меня-де, и помолись о мне.
И шапку в иную пору — мурманку снимаючи
Уронит с головы.
А все бояра — челом мне да челом.
Как мне царя того, бояр тех не жалеть?
Звали все, чтоб в вере соединился с ними.
Да видят — не хочу, так Государь велел
Уговорить меня, чтоб я молчал.
Так я его потешил —
Царь есть от Бога учинен и до меня добренек.
Пожаловал мне десять рублев,
Царица тоже,
А Федор Ртищев — дружище наше старое —
Тот шестьдесят рублев
Велел мне в шапку положить.
Всяк тащит да несет.
У Федосьи Прокофьевны Морозовы
И днюю и ночую —
Понеже дочь моя духовна.
Да к Ртищеву хожу
С отступниками спорить.

11

К Ртищеву ходил с отступниками спорить.
Вернулся раз домой зело печален,
Понеже много шумел в этот день.

А в дому у меня случилось неустройство:
Протопопица моя с вдовою домочадицей, с Фетиньей
Повздорила.
А я пришел, обеих бил и оскорбил гораздо.
Тут бес вздивьял в Филипе.
Филип был бешеной – к стене прикован:
Жесток в нем бес сидел,
Да вовсе кроток стал молитвами моими,
А тут вдруг зачал чепь ломать –
На всех домашних ужас нападе.
Меня не слушает, да как ухватит –
И стал як паучину меня терзать,
А сам кричит:
"Попал мне в руки!"
Молитву говорю – не пользует молитва.
Так горько стало: бес надо мною волю взял!
Вижу – грешен: пусть бьет меня.
Маленько полежал и с совестью собрался,
Восстав, жену сыскал и земно кланялся:
"Прости меня, Настасья Марковна!"
Посем с Фетиньей такоже простился,
На землю лег и каждому велел
Меня бить плетью по спине,
По окаянной.
А человек там было двадцать.
Жена и дети – все плачучи стегали.
А я ко всякому удару по молитве.
Когда же все отбили –
Бес, увидев ту неминучую беду,
Вон из Филипа вышел.
А в тонцем сне возвещено мне было:
"По стольком по страданьи угаснуть хочешь?
Блюдися от меня – не то растерзан будешь".
Сам вижу: церковное ничто не успевает,
И паки заворчал,
Да написал Царю посланьице,
Чтоб он Святую Церковь от ереси оборонил.

12

Посланьице Царю, чтоб он Святую Церковь
От ереси оборонил:
"Царь-Государь, наш свет!
Твой богомолец, в Даурех мученой,
Бьет тебе челом.
Во многих живучи смертях,
Из многих заключений восставши, как из гроба,
Я чаял дома тишину найти,
Я вижу церковь смущенну паче прежняго.
Угасли древние лампады,
Замутился Рим и пал Царьград,
Лутари, Гусяти и Колвинцы
Тело Церкви честное раздирали,
В Галлии – земле вечерней.
В граде во Парисе,
В училище Соборном
Блазнились прелестью, что зрит на круг небесный,
Достигши разумом небесной тверди
И звездные теченья разумея!
– Только Русь, облистанная светом
Благости, цвела как вертоград,
Паче мудрости любя простыню.
Как на небе грозди светлых звезд
По лицу Руси сияли храмы,
Города стояли на мощах
Да Москва пылала светом веры.
А нынче вижу: ересь на Москву пришла –
Нарядна – в царской багрянице ездит,
Из чаши потчует;
И царство Римское и Польское
И многие другие реши упоила
Да и на Русь приехала.
Церковь – православна,
А догматы церковны – от Никона-еретика.
Многие его боятся – Никона,

Да на Бога уповая, – я не боюсь его,
Понеже мерзок он пред Богом – Никон.
Задумал адов пес:
– Арсен, печатай книги – как-нибудь,
Да только не по-старому.
Так су и сделал.
Ты же простотой души своей
От внутреннего волка книги приял,
Их чая православными.
Никонианский дух – Антихристов есть дух!

Как до нас положено Отцами –
Так лежи оно во век веков!
Горе нам! Едина точка
Смущает богословию,
Единой буквой ересь вводится.
Не токмо лишь святые книги изменили,
Но вещи и пословицы, обычаи и ризы:
Исуса бо глаголят Иисусом,
Николу Чудотворца – Николаем,
Спасов образ пишут:
Лице – одутловато,
Уста – червоные, власы – кудрявы,
Брюхат и толст, как немчин учинен –
Только сабли при бедре не писано!
Еще злохитрый Дьявол
Из бездны вывел мнихи,
Имеющие образ любодейный:
Подклейки женския и клобуки рогаты;
Расчешут волосы, чтоб бабы их любили,
По титькам препояшутся, что женка брюхатая –
Ребенка в брюхе не изврединть бы;
А в брюхе у него не меньше ребенка бабьего
Накладено еды той:
Мигдальных ягод, ренскова,
И романей и водок, процеженных вином.
Не челобитьем тебе реку,

Не похвальбой глаголю,
А истину несу:
Некому тебе ведь извещать,
Как строится твоя держава.
Вам яко скорбно от докуки нашей,
Тебе, о Государь!
Да нам не сладко,
Когда ломают ребра, кнутьем мучат
Да жгут огнем, да голодом томят.
Ведаю я разум твой:
Умеешь говорить ты языками многими.
Да что в том прибыли?
Ведь ты, Михайлович, русак — не грек:
Вздохни-ка ты по-старому — по-русски:
— Господи, помилуй мя грешного!
А КИРИЕ-ЕЛЕЙСОН ты оставь.
Возьми-ка ты никониан, латынников, жидов
Да пережги их — псов паршивых,
А нас природных — своих-то, распусти —
И будет хорошо.
Царь христианской, миленький ты наш!

13

Царь христианской, миленький ты наш
Стал на меня с тех пор кручиновати.
Не любо им, что начал говорить,
А любо, коль молчу,
Да мне так не сошлось.
А власти, что козлы, — все пырскать стали.
Был от Царя мне выговор:
"Поедь де в ссылку снова".
Учали вновь возить
По тюрьмам да по монастырям.

А сами просят:
”Долго ль мучать нас тебе?
Соединись-ка с нами, Аввакумушка!”
А я их — зверей пестрообразных обличаю,
Да вере истинной народ учу.
Опять в Москву свезли, —
В соборном храме стригли:
Обгрызли, что собаки, и бороду обрезали,
Да бросили в тюрьму.
Потом приволокли
На суд Вселенских Патриархов.
И наши тут же — сидят, что лисы.
Говорят: ”Упрям ты:
Вся-де Палестина, и Серби, и Албансы, и Волохи,
И Римляне, и Ляхи, — все крестятся тремя персты”.
А я им:
”Учители Вселенстии!
Рим давно упал и Ляхи с ним погибли.
У вас же православие пестро
С насилия турецкого.
Впредь сами к нам учиться приезжайте!”
Тут наши все завыли, что волчата —
Бить бросились...
И Патриархи с ними:
Великое Антихристово войско!
А я им:
”Убивши человека,
Как литоргисать будете?”
Они и сели.
Я ж отошел к дверям, да на бок повалился:
Вы посидите, а я мол полежу.
Они смеются:
Дурак де протопоп — не почитает Патриархов.
А я их словами Апостола:
”Мы ведь — уроды Христа ради:
Вы славны, мы — бесчестны,
Вы сильны, мы же — немощны”.

14

Вы — сильны, мы же — немощны.
Боярыню Морозову с сестрой —
Княгиней Урусовой — детей моих духовных
Разорили и в Боровске в темницу закопали.
Ту с мужем развели, у этой сына уморили.
Федосья Прокофьевна, боярыня, увы!
Твой сын плотской, а мой духовный,
Как злак посечен:
Уж некого тебе погладить по головке,
Ни четками в науку постегать,
Ни посмотреть, как на лошадке ездит.
Да ты не больно кручинься-то:
Христос добро изволил,
Мы сами-то не вем как доберемся,
А они на небе у Христа ликовствуют
С Федором — с удавленным моим.
Федор-то — юродивый покойник
Пять лет в одной рубахе на морозе
И гол и бос ходил.
Как из Сибири ехал — ко мне пришел.
Псалтырь печатей новых был у него —
Не знал о новизнах.
А как сказал ему, в печь бросил книгу.
У Федора зело был подвиг крепок:
Весь день юродствует, а ночью на молитве.
В Москве, как вместе жили, —
Неможется, лежу, — а он стыдит:
"Долго ль лежать тебе? И как сорома нет?
Встань миленькой!"
Вытащит, посадит, прикажет молитвы говорить,
А сам-то бьет поклоны за меня.
То-то был мне друг сердечный!
Хорош и Афанасьюшка — другой мой сын духовный,
Да в подвиге маленько покороче.
Отступники его на углях испекли:

Что сладок хлеб принесся Пречистой Троице!
Ивана — князя Хованского избили батогами
И, как Исаию, огнем сожгли.
Двоих родных сынов — Ивана и Прокофья
Повесить приказали;
Они ж не догадались
Венцов победных ухватити,
Сплошали — повинились.
Так вместе с матерью их в землю закопали:
Вот вам — без смерти смерть.
У Лазаря священника отсекли руку,
А она-то отсечена и лежа на земле
Сама сложила пальцы двуперстием.
Чудно сие:
Бездушная одушевленных обличает.
У схимника — у старца Епифания
Язык отрезали.
Ему ж Пречистая в уста вложила новый:
Бог — старый чудотворец —
Допустит пострадать и паки исцелит.
И прочих наших на Москве пекли и жарили,
Чудно! Огнем, кнутом да виселицей
Веру желают утвердить.
Которые учили так — не знаю.
А мой Христос не так велел учить.
Выпросил у Бога светлую Россию сатана —
Да очервленит ю
Кровью мученической.
Добро ты, Дьявол, выдумал —
И нам то любо:
Ради Христа страданьем пострадати.

15

Ради Христа страданьем пострадати
Мне судил еще Господь:
Царица стояла за меня — от казни отпросила.

Так, братию казня, меня ж не тронув
Сослали в Пустозерье
И в срубе там под землю закопали:
Как есть мертвец —
Живой похороненной.
И было на Страстной со мною чудо:
Распространился мой язык,
И был зело велик,
И зубы тоже,
Потом стал весь широк —
По всей земле под небесем пространен,
А после небо, землю и тварей всех
Господь в меня вместил.
Не диво ли: в темницу заключен,
А мне Господь и небо и землю покорил?
Есмь мал и наг,
А более вселенной.
Есмь кал и грязь,
А сам горю, как солнце.
Э, милые! Да если б Богу угодно было
Душу у каждого разоблачить от пепела,
Так вся земля растаяла б,
Что воск, в единую минуту.
Задумали добро:
Двенадцать лет
Закопанным в земле меня держали;
Думали — погасну,
А я молитвами да бденьями свечу
На весь крещеный мир.
От света земного заперли,
Да свет небесный замкнуть не догадались.

Двенадцать лет не видел я ни солнца,
Ни неба синего, ни снега, ни деревьев, —
А вывели казнить:
Смотрю, дивлюсь:
Черно и пепельно, сине, красно и бело,

И красоты той
Ум человеческий вместить не может!
Построен сруб — соломою накладен:
Корабль мой огненный —
На родину мне ехать.
Как стал ногой —
Почуял: вот отчалю!
И ждать не стал —
Сам подпалил свечой.
Святая Троице! Христос мой миленькой!
Обратно к Вам в Ерусалим небесный!
Родясь — погас,
Да снова разгорелся!

Апрель—19 мая 1918
Коктебель

СКАЗАНИЕ ОБ ИНОКЕ ЕПИФАНИИ

1

Родился я в деревне. Как скончались
Отец и мать, ушел взыскати
Пути спасения в обитель к преподобным
Зосиме и Саватию. Там иноческий образ
Сподобился принять. И попустил Господь
На стол на патриарший наскочити
В те поры Никону. А Никон окаянный
Арсена-жидовина
В печатный двор печатать посадил.
Тот грек и жидовин в трех землях трижды
Отрекся от Христа для мудрости бесовской
И зачал плевелы в церковны книги сеять.
Тут плач и стон в обители пошел:
Увы и горе! Пала наша вера.

В печали и тоске, с благословенья
Отца духовного, взяв книги и иная,
Потребная в молитвах, аз изыдох
В пустыню дальнюю, на остров на Виданьской –
От озера Онеги двенадцать верст.
Построил келейку безмолвья ради
И жил, молясь, питаясь рукодельем.
О, ты моя прекрасная пустыня!

Раз, надобен от кельи отлучиться,
Я образ Богоматери с Младенцем --
Вольяшный – медный – поставил ко стене:
"Ну, Свет-Христос и Богородица, храните
И образ свой, и нашу с вами келью".
Пришел на третий день и издали увидел
Келейку малую, как головню дымящу.
И зачал зря вопить: "Почто презрела
Мое моление? Приказу не послушала? Келейку
Мою и Твоея не сохранила?" Идох
До кельи обгорелой, ан кругом
Сенишко погорело вместе с кровлей,
А в кельи чисто: огнь не смел войти.
И образ на стене стоит-сияет.

В лесу окрест живуще бесы люты.
И стали в келью приходить ночами.
Страшат и давят: сердце замирает,
Власы встают, дрожат и плоть и кости.
С полночи пришли однажды двое:
Один был наг, другой одет в кафтане.
И взяв скамью – на ней же почиваю –
Нача меня качати, как младенца.
Я ж, осерчав, восстал с одра, и беса
Взял поперек, и бить учал
Бесищем тем о лавку, вопиюще:
"Небесная Царица, помоги мне!"
А бес другой к земле прилип от страха,

Не может ног от пола оторвать,
И сам не вем, как бес в руках изгинул.
Возбнухся ото сна – зело устал, – а руки
Мокром мокры от скверного мясища.

В другой же раз, уснуть я не успел, –
Сенные двери пылко растворились,
И в келью бес вскочил, что лютый тать:
Согнул меня и сжал так крепко, туго,
Что пикнуть мне не можно, ни дохнуть.
Уж еле-еле пискнул: "Помози ми!"
И сгинул бес, а я же со слезами
Глаголю к образу: "Владычица, почто
Не бережешь меня? Ведь вмале-мале
Злодей не погубил". Тут сон нашел
С печали той великия, и вижу,
Что Богородица из образа склонилась;
Руками беса мучает, измяла
Злодея моего и в руки мне дала.
Я с радости учал его крушить и мять,
Как ветошь драную, и выкинул в окошко:
"Измучил ты меня, злодей, и сам пропал".
По долгой по молитве взглянул в окно –
Светает.
Лежит бесище, как мокрое тряпье,
Помале дрогнул и ногу подтянул,
А после руку.
И паки ожил. Встал, как будто пьян.
И говорит: "Ужо к тебе не буду –
Пойду на Вытегру". А я ему: "Не смей
Ходить на Вытегру – там волость людна.
Иди, где нет людей". А он, как сонный,
От келейки по просеке пошел.

Увидел хитрый дьявол, что не может
Ни сжечь меня, ни силой побороть,
Так насади мне в келию червей,
Рекомых мравии. Начаша мураши

Мне тайны уды ясть, и ничего иного,
Ни рук, ни ног, а токмо тайны уды.
И горько мне и больно — инда плачу.
Аз стал их, грешный, варом обливать,
Рукой ловить, топтать ногой, они же
Под стены подползают. Окопал я
Всю келийку и камнем затолок.
Они сквозь камни лезут и — под печь.
Кошницею в реке топить носил.
Мешок на уды шил: не помогло — кусают.
Ни рукоделья делать, ни обедать,
Ни правил править. Бесьей той напасти
Три было месяца. На последях
Обедать сел, закутав уды крепко.
Они ж, не вем как, — все-таки кусают.
Не до обеда стало: слезы потекли.
Пречистую тревожить все стеснялся,
А тут взмолился к образу: "Спаси,
Владычица, от бесьей сей напасти!"
И вот с того же часа
Мне уды грызть не стали мураши.
Колико немощна вся сила человека!
Худого мравия не может одолеть,
Не только дьявола, без Божьей благодати.

2

Пока в пустыне с бесами боролся,
Иной великой дьявол церковь мучал
И праведную веру истреблял.
Как мурашей святые гнезда шпарил,
Да и до нас дошел.
Отец Илья, игумен соловецкий,
Велел писать мне книги в обличенье
Антихриста, в спасение царя.
Никонианцы, взяв меня в пустыне,

В темнице утомили, а потом
Пред всем народом пустозерским руку
На площади мне секли. Внидох паки
В темницу лютую и начал умирать.
Весь был в поту, и внутренность горела.
На лавку лег и руку свесил – думал
Души исходу лучше часа нет.
Темница стала мокрая, а смерть нейдет.
Десятник Симеон засушины отмыл
И серою еловой помазал рану.
И снова маялся я днями на соломе.
На день седьмой на лавку всполз и руку
Отсечену на сердце положил.
И чую Богородица мне руку
Перстами осязает. Я Ее хотел
За руку удержать, а пальцев нету.
Очнулся, а рука платком повязана,
Ощупал левой сеченую руку:
И пальцев нет, и боли нет. А в сердце радость.
Был на Москве в подворьи у Николы
Угрешского. И прискочи тут скоро
Стрелецкий голова Бухвостов – лют разбойник.
И поволок на плаху на Болото.
Язык урезал мне и прочь помчал.
В телеге душу мало не вытряс мне,
Столь боль была люта! . . .
О, горе дней тех! Из моей пустыни
Пошел царя спасать, а языка не стало.
Что нужного, и то мне молвить нечем.
Вздохнул я к Господу из глубины души:
"О скорого услышанья Христова!"
С того язык от корня и пополз
И до зубов дошел и стал глаголить ясно.

Свезли меня в темницу в Пустозерье.
По двух годех пришел ко мне мучитель
Елагин – полуголова стрелецкой,

Чтоб нудить нас отречься веры старой.
И непослушливым велел он паки
Языки резать, руки отрубать.
Пришел ко мне палач с ножом, с клещами,
Гортань мне отворять, а я вздохнул
Из сердца умиленно: "Помоги мне!"
И вмале ощутил, как бы сквозь сон,
Как мне палач язык под корень резал
И руку правую на плахе отсекал.
(Как первой резали — что лютый змей кусал).
До Вологды шла кровь проходом задним.
Теперь в тюрьме три дня я умирал.
Пять дней точилась кровь из сеченой ладони.
Где был язык во рте — слин стало много,
И что под головой — все слинами омочишь;
И ясть нельзя, понеже яди
Во рту вращати нечем.
Егда дадут мне рыбы, щей да хлеба,
Сомну в единый ком, да тако вдруг глотаю.
А по отъятии болезни от руки
Я начал правило в уме творити,
Псалмы читаю, а дойду до места:
"Возрадуется мой язык о правде Твоея", —
Вздохну из глубины — слезинка
Из глазу и покатится:
"А мне чем радоваться? Языка и нету. . ."
И паки: "Веселися, сердце, радуйся, язык!"
Я ж, зря на крест, реку: "Куда язык мой дели?
Нет языка в устах, и сердце плачет".
Так больше двух недель прошло, а все молю,
Чтоб Богородица язык мне воротила.
Возлег на одр, заснул и вижу: поле
Великое да светлое — конца нет. . .
Налево же на воздухе, повыше,
Лежат два языка мои:
Московской — бледноват, а пустозерской
Зело краснешенек.

Взял на руку красной и зрю прилежно:
Ворошится живой он на ладони,
А я дивлюсь красе и живости его.
Учал его вертеть в руках, расправил
И местом рваным к резанному месту,
Идеже прежде был, его приставил, –
Он к корню и прильни, где рос с рожденья.
Возбнух я радостен: что хочет сие быти?
От времени того помалу-малу
Дойде язык мой паки до зубов
И полон бысть. К яденью и к молитве
По-прежнему способен, как в пустыне,
И слин нелепых во устех не стало
И есть язык мне Богом данный – новый
Короче старого, да мало толще.
И ныне веселюсь, и славлю и пою
Скорозаступнице, язык мне давшей новый.

3

Сказанье о кончине
Страдальца Епифания и прочих,
С ним вместе пострадавших в Пустозерске:
Был инок Епифаний положен в сруб,
Обложенный соломой, щепой и берестой
И политый смолою.
А вместе Федор, Аввакум и Лазарь.
Когда костер зажгли, в огне запели дружно:
"Владычица, рабов своих прими!"
С гудением великим огнь, как столб,
Поднялся в воздухе, и видели стрельцы
И люди пустозерские, как инок Епифаний
Поднялся в пламени божественною силой
Вверх к небесам и стал невидим глазу.
Тела и ризы прочих не сгорели.
А Епифания останков не нашли.

16 февраля 1929
Коктебель

V. ЛИЧИНЫ

КРАСНОГВАРДЕЕЦ (1917)
(Тип разложения старой армии)

Скакать на красном параде
С кокардой на голове,
В расплавленном Петрограде,
В революционной Москве.

В бреду и в хмельном азарте
Отдаться лихой игре,
Стоять за Родзянку – в Марте,
За большевиков – в Октябре.

Толпиться по коридорам
Таврического дворца,
Не видя буржуйным опорам
Ни выхода, ни конца.

Оборотиться к собранью,
Рукою поправить ус,
Хлестнуть площадною бранью,
На ухо заломив картуз.

И показавшись толковым,
"Ввиду особых заслуг"
Быть посланным с Муравьевым
Для пропаганды на юг.

Идти запущенным садом,
Щупать замок штыком,
Высаживать дверь прикладом,
Толпою врываться в дом.

У бочек выломав днище,
В подвал выпускать вино.
Потом подпалить горище
И выбить плечом окно.

В Раздельной, под Красным Рогом
Громить поместья и прочь
Степями по грязным дорогам
Скакать в осеннюю ночь.

Забравши весь хлеб, о свободах
Размазывать мужикам.
Искать лошадей в комодах,
Да пушек по коробкам.

Палить из пулеметов...
Кто? С кем? Да не все ль равно!
Петлюра... Григорьев... Котов...
Таранов или Махно...

Слоняться буйной оравой,
Стать всем своим невтерпеж.
И умереть под канавой
Расстрелянным за грабеж.

16 июня 1919
Коктебель

МАТРОС
(1918)

Широколиц. Скулат. Угрюм.
Голос осипший. Тяжкодум.
В кармане браунинг и напилок.
Взгляд мутный, злой, как у дворняг,
Фуражка с надписью "Варяг",
Надвинутая на затылок.
Татуированный дракон
Под синей форменной рубашкой.
Браслеты. В перстне кабошон,
И красный бант с алмазной пряжкой.

При Керенском, как прочий флот,
Он был правительству оплот,
И Баткин был его оратор,
Его герой Колчак. Когда ж
Весь Черноморский экипаж
Сорвал приезжий агитатор,
Он стал большевиком. И сам
На мушку брал да ставил к стенке,
Топил, устраивал застенки,
Ходил к кавказским берегам
С "Пронзительным" и с "Фидониси",
Ругал царя, грозил Алисе;
Входя на миноносце в порт,
Кидал небрежно через борт:
"Ну как буржуи ваши? Живы?"
Устроить был всегда не прочь
Варфоломеевскую ночь.
Громил дома, ища наживы,
Награбленное грабил, пил,
Швыряя керенки без счета,
И перед немцами топил
Последние остатки флота.

Так целый год прошел в бреду. . .
Теперь, вернувшись в Севастополь,
Он носит красную звезду
И, глядя вдаль на пыльный тополь,
На Инкерманский известняк,
На мертвый флот, на красный флаг,
На илистые водоросли
Судов, лежащих на боку, –
Угрюмо цедит земляку:
"Возьмем Париж. . . весь мир. . . а после
Передадимся Колчаку".

14 июня 1919

БОЛЬШЕВИК
(1918)

Памяти Барсова

Зверем зверь. С крученкой во рту.
За поясом два пистолета.
Был председателем Совета,
А раньше – грузчиком в порту.
Когда матросы предлагали
Устроить к завтрашнему дню
Буржуев общую резню
И в город пушки направляли, –
Всем обращавшимся к нему
Он заявлял спокойно волю:
"Буржуй здесь мой, и никому
Чужим их резать не позволю".
Гроза прошла на этот раз:
В нем было чувство человечье –
Как стадо он буржуев пас:
Хранил, но стриг руно овечье.
Когда же вражеская рать
Сдавила юг в германских кольцах,
Он убежал. Потом опять
Вернулся в Крым при добровольцах.
Был арестован. Целый год
Сидел в тюрьме без обвиненья
И наскоро "внесен в расход"
За два часа до отступленья.

25 августа 1919
Коктебель

ФЕОДОСИЯ
(1918)

Сей древний град – богоспасаем
(Ему же имя "Богом дан"),
В те дни был "социальным раем".
Из дальних черноморских стран
Солдаты навезли товару
И бойко продавали тут
Орехи – сто рублей за пуд,
Турчанок – пятьдесят за пару –
На том же рынке, где рабов
Славянских продавал татарин.
Но мир культурой не состарен,
И торг рабами вечно нов.
Хмельные от лихой свободы
В те дни спасались здесь народы;
Затравленные пароходы
Врывались в порт, тушили свет,
Толкались в пристань, швартовались,
Спускали сходни, разгружались
И шли захватывать Совет.
Мелькали бурки и халаты,
И пулеметы, и штыки,
Румынские большевики
И трапезундские солдаты.
"Семерки", "Тройки", "Румчерод",
И "Центрослух", и "Центрофлот",
Толпы одесских анархистов
И анархистов-коммунистов,
И анархистов-террористов:
Специалистов из громил.
В те дни понятья так смешались,
Что Господа буржуй молил,

Чтобы у власти продержались
Остатки большевицких сил.
В те дни пришел сюда с посольством
Турецкий крейсер, и Совет
С широким русским хлебосольством
Дал политический банкет.
Сменял оратора оратор.
Красноречивый агитатор
Приветствовал, как брата брат,
Турецкий пролетариат,
И каждый с пафосом трибуна
Свой тост эффектно заключал:
"Итак: да здравствует Коммуна
И Третий Интернационал!"
Оратор клал на стол окурок...
Тогда вставал почтенный турок –
В мундире, в феске, в орденах –
И отвечал в таких словах:
"Я вижу... слышу... помнить стану...
И обо всем, что видел сам,
С отменным чувством передам
Его величеству – Султану".

24 августа 1919
Коктебель

БУРЖУЙ
(1919)

Буржуя не было, но в нем была потребность:
Для революции необходим капиталист,
Чтоб одолеть его во имя пролетариата.
Его слепили наскоро: из лавочников, из купцов,
Помещиков, кадет и акушерок.

Его смешали с кровью офицеров,
Прожгли и сплавили в застенках чрезвычаек,
Гражданская война дохнула
В его уста:
Тогда он сам поверил
В свое существованье
И начал быть.
Но бытие его сомнительно и призрачно,
Душа же негативна.
Из человечьих чувств ему доступны три:
Страх, жадность, ненависть.
   Он воплощался на бегу
Меж Киевом, Одессой и Ростовом.
Сюда бежал он под защиту Добровольцев,
Чья армия возникла лишь затем,
Чтоб защитить его.
Он ускользнул от всех ее наборов —
Зато стал сам героем, как они.
   Из всех военных качеств он усвоил
Себе одно: спасаться от врагов.
И сделался жесток и беспощаден.
   Он не может без гнева видеть
Предателей, что не бежали за границу,
И, чтоб спасти какие-то лоскутья
Погибшей Родины,
Пошли к большевикам на службу:
"Тем хуже, что они предотвращали
Убийства и спасали ценности культуры:
Они *им* помешали себя ославить до конца,
И жаль, что их самих еще не расстреляли".
Так мыслит каждый сознательный буржуй,
А те из них, что любят русское искусство,
Прибавляют, что взяв Москву, они повесят сами
Максима Горького
И расстреляют Блока.

17 августа 1919
Коктебель

СПЕКУЛЯНТ
(1919)

Кишмя кишеть в кафе у Робина,
Шнырять в Ростове, шмыгать в Одессе,
Кипеть на всех путях, вползать сквозь все затворы,
Менять все облики, все маски, все оттенки,
Быть торговцем, попом и офицером,
То русским, то германцем, то евреем;
При всех режимах быть неистребимым,
Всепроникающим, всеядным, вездесущим;
Жонглировать то совестью, то ситцем,
То спичками, то родиной, то мылом,
Творить известья, зажигать пожары,
Бунты и паники. Одним прикосновеньем
Удорожать в четыре, в сорок, в сто,
Пускать под небо цены, как ракеты,
Сделать в три дня неуловимым,
Неосязаемым тучнейший урожай,
Владеть всевластью магии, играть на бирже
Землей и Воздухом, Водою и Огнем,
Осуществить мечту о превращеньи
Веществ, страстей, программ, событий, слухов
В золото, а золота – в бумажки,
И замести страну их пестрою метелью.
Рождать из тучи град золотых монет,
Россию превратить в быка,
Везущего Европу по Босфору;
Осуществить воочью все россказни былых метаморфоз,
Все таинства божественных мистерий.
Пресуществить за трапезой Вино и Хлеб
(Мильонами пудов и тысячами бочек)
В озера крови, в груды мертвой плоти.

В два года распродать Империю,
Замызгать, заплевать, загадить, опозорить,
Кишеть, как червь, в ее разверстом теле
И расползтись, оставив в поле кости
Сухие, мертвые, ошмыганные ветром.

16 августа 1919
Коктебель

VI. УСОБИЦА

Цикл о терроре 1920–1921 годов

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Одни восстали из подполий,
Из ссылок, фабрик, рудников,
Отравленные темной волей
И горьким дымом городов.
Другие из рядов военных,
Дворянских разоренных гнезд,
Где проводили на погост
Отцов и братьев убиенных.
В одних доселе не потух
Хмель незапамятных пожаров
И жив степной разгульный дух
И Разиных, и Кудеяров.
В других, лишенных всех корней,
Тлетворный дух столицы Невской,
Толстой и Чехов, Достоевский –
Надрыв и смута наших дней.
Одни возносят на плакатах
Свой бред о буржуазном зле,
О светлых пролетариатах,
Мещанском рае на земле.
В других – весь цвет, вся гниль империй,
Все золото, весь тлен идей,
Блеск всех великих фетишей,
И всех научных суеверий.
Одни идут освобождать
Москву и вновь ковать Россию,
Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать.
В тех и в других война вдохнула
Гнев, жадность, мрачный хмель разгула, –
А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Размыкать и продать врагам,

Сгноить ее пшеницы груды,
Ее бесчестить небеса
Пожрать богатства, сжечь леса
И высосать моря и руды.
И не смолкает грохот битв
По всем просторам южной степи
Средь золотых великолепий
Конями вытоптанных жнитв.
И здесь и там между рядами
Звучит один и тот же глас:
"Кто не за нас – тот против нас!
Нет безразличных, правда – с нами!"
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

22 ноября 1920
(При Врангеле)
Коктебель

ПЛАВАНЬЕ
(Одесса – Ак Мечеть. 10–15 мая)

Татиде Цемах

Мы пятый день плывем, не опуская
Поднятых парусов,
Ночуя в устьях рек, в лиманах, в лукоморьях,
Где полная луна над дюнами цветет.

Днем ветер гонит нас вдоль плоских
Пустынных отмелей, кипящих белой пеной.
С кормы возвышенной, держась за руль резной,
Я вижу,

Как пляшет палуба,
Как влажною парчою
Сверкают груды волн, а дальше
Сквозь переплет снастей — пустынный окоем. . .
. . .Плеск срезанной волны,
Тугие скрипы мачты,
Журчанье под кормой
И неподвижный парус. . .

А сзади — Город,
Весь в красном исступленьи
Расплесканных знамен,
Весь воспаленный гневами и страхом,
Ознобом слухов, дрожью ожиданий,
Томимый голодом, поветриями, кровью,
Где поздняя весна скользит украдкой
В прозрачном кружеве акаций и цветов. . .

А здесь — безветрие, безмолвие, бездонность. . .
И небо и вода — две створы
Одной жемчужницы.
В лучистых паутинах застыло солнце.
Корабль повис в пространствах облачных,
В сиянии притупленном и дымном.

Вон виден берег твой с земли —
Иссушенной, полынной, каменистой,
Усталой быть распутьем народов и племен.
Тебя свидетелем безумий их поставлю
И проведу тропою лезвиной
Сквозь пламени войны
Братоубийственной, напрасной, безысходной,
Чтоб ты принес в себе великое молчанье
Закатного мерцающего моря.

12 июня 1919
Коктебель

БЕГСТВО

Посвящается матросам:
Врублевскому, Малишев-
скому и Борисову

Кто верит в жизнь, тот верит чуду
И счастье сам в себе несет.
Товарищи! Я не забуду
Наш Черноморский переход!

Одесский порт – баркасы, боты,
Фелюг пузатые борта,
Снастей живая теснота,
Канаты, мачты, стеньги, шкоты...

Раскраску пестрых их боков –
Линялых, выеденных солью
И солнцем выжженных тонов,
Привыкших к водному раздолью.

Якорь, опертый на бизань, –
Бурый, с клешнями, как у раков,
Покинутая Березань,
Полуразрушенный Очаков.

Уж видно Тендрову косу
И скрылись черни рощ Кинбурна.
Крепчает ветер, дышит бурно
И треплет кливер на носу.

То было в дни, когда над морем
Господствовал французский флот,
И к Крыму из Одессы ход
Для морехода был затворен.

К нам миноносец подбегал,
Опрашивал, смотрел бумагу.
Я буржуа изображал,
А вы – рыбацкую ватагу.

Когда нас быстрый пулемет
Хлестнул в заливе Ак-Мечети,
Как помню я минуты эти
И вашей ругани полет!

Потом поместья Воронцовых
И ночью резвый бег коней
Среди гниющих Сивашей,
В снегах равнин солончаковых.

Мел белых хижин под луной,
Над дальним морем блеск волшебный,
Степных угодий запах хлебный,
Коровий, влажный и парной.

И русые при первом свете
Поля. . . И на краю полей
Евпаторийские мечети
И мачты пленных кораблей.

17 июня 1919
Коктебель

СЕВЕРОВОСТОК
(1920)

Да будет благословен приход твой –
Бич Бога, которому я служу, и не мне
останавливать тебя.

(Слова Св. Лу, архиепископа
Турского, обращенные к Аттиле).

Расплясались, разгулялись бесы
По России вдоль и поперек –
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный Северовосток.

Ветер обнаженных плоскогорий,
Ветер тундр, полесий и поморий,
Черный ветер ледяных равнин,
Ветер смут, побоищ и погромов,
Медных зорь, багровых окоемов,
Красных туч и пламенных годин.

Этот ветер был нам верным другом
На распутье всех лихих дорог –
Сотни лет мы шли навстречу вьюгам
С юга вдаль на северовосток.

Войте, вейте, снежные стихии,
Заметая древние гроба.
В этом ветре – вся судьба России –
Страшная, безумная судьба.

В этом ветре – гнет веков свинцовых,
Русь Малют, Иванов, Годуновых –
Хищников, опричников, стрельцов,

Свежевателей живого мяса –
Чертогона, вихря, свистопляса –
Быль царей и явь большевиков.

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах – дурь самодержавья,
Взрывы Революции – в царях.

Вздеть на виску, выбить из подклетья,
И швырнуть вперед через столетья
Вопреки законам естества –
Тот же хмель и та же трын-трава.

Ныне ль, даве ль – все одно и то же:
Волчьи морды, машкеры и рожи,
Спертый дух и одичалый мозг,
Сыск и кухня Тайных Канцелярий,
Пьяный гик осатанелых тварей,
Жгучий свист шпицрутенов и розг,
Дикий сон военных поселений,
Фаланстер, парадов и равнений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,
Замыслы неистовых хирургов,
И размах заплечных мастеров,
Сотни лет тупых и зверских пыток,
И еще не весь развернут свиток,
И не замкнут список палачей:
Бред разведок, ужас чрезвычаек –
Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик
Не видали времени горчей.

Бей в лицо и режь нам грудь ножами,
Жги войной, усобьем, мятежами –
Сотни лет навстречу всем ветрам
Мы идем по ледяным пустыням –

Не дойдем. . . и в снежной вьюге сгинем,
Иль найдем поруганный наш храм –
Нам ли весить замысел Господний?
Все поймем, все вынесем любя –
Жгучий ветр полярной Преисподней –
Божий Бич, – приветствую тебя!

31 июля 1920 года
(Перед приходом советской
власти в Крым).
Коктебель

СИБИРСКОЙ 30-Й ДИВИЗИИ

Сергею Кулагину

В полях последний вопль довоплен,
И смолк железный лязг мечей,
И мутный зимний день растоплен
Кострами жгучих кумачей.
Каких далеких междуречий,
Каких лесов, каких озер
Вы принесли с собой простор,
И ваш язык и ваши речи?
Вы принесли с собою весть
О том, что на полях Сибири
Погасли ненависть и месть,
И новой правдой веет в мире.
Пред вами утихает страх
И проясняется стихия,
И светится у вас в глазах
Преображенная Россия.

23 ноября 1920

БОЙНЯ

Отчего, встречаясь, бледнеют люди
И не смеют друг другу глядеть в глаза?
Отчего у девушек в белых повязках
Восковые лица и круги у глаз?
Отчего под вечер пустеет город?
Для кого солдаты оцепляют путь?
Зачем с таким лязгом распахивают ворота?
Сегодня сколько — полтораста? сто?
Куда их гонят вдоль темных улиц,
Ослепших окон, глухих дверей?
Как рвет и крутит восточный ветер
И жжет и режет и бьет плетьми!
Отчего за Чумной по дороге к свалкам
Брошен скомканный кружевной платок?
Зачем уронен клочок бумаги,
Перчатка, нательный крестик, чулок?
Чье имя написано карандашом на камне?
Что нацарапано гвоздем на стене?
Чей голос грубо оборвал команду?
Почему так сразу стихли шаги?
Что хлестнуло во мраке так резко и четко?
Что делали торопливо и молча потом?
Отчего, уходя, затянули песню?
Кто стонал так долго, а после стих?
Чье ухо вслушивалось в шорохи ночи?
Кто бежал оставляя кровавый след?
Кто стучался и бился в ворота и ставни?
Раскрылась ли чья-нибудь дверь перед ним?
Отчего пред рассветом к исходу ночи
Причитает ветер за Карантином?
"Носят ведрами спелые грозди,
Валят ягоды в глубокий ров..."
"Ах, не грозди носят — юношей гонят
К черному точилу — давят вино.

Пулеметом дробят их кости и кольем
Протыкают яму до самого дна. . .
Уже до края полно точило кровью,
Зачервнели терновник и полынь кругом –
Прохватит морозом свежие грозди,
Зажелтеет плоть, заиндевеют волоса".
Кто у часовни Ильи-пророка
На рассвете плачет, закрывая лицо?
Кого отгоняют прикладами солдаты:
"Не реви: собакам собачья смерть".
А она не уходит, и все плачет и плачет,
И отвечает, солдату глядя в глаза:
"Разве я плачу о тех, кто умер?
– Плачу о тех, кому долго жить".

18 июля 1921
Коктебель

ТЕРРОР

Собирались на работу ночью. Читали
Донесения, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры.
Зевали. Пили вино.
С утра раздавали солдатам водку.
Вечером при свече
Вызывали по спискам мужчин, женщин,
Сгоняли на темный двор.
Снимали с них обувь, белье, платье,
Связывали в тюки.
Грузили на подводу. Увозили.
Делили кольца, часы.
Ночью гнали разутых, голодных,
По оледенелой земле,
Под северовосточным ветром
За город, в пустыри.

Загоняли прикладами на край обрыва,
Освещали ручным фонарем.
Полминуты работали пулеметы.
Приканчивали штыком.
Еще не добитых валили в яму.
Торопливо засыпали землей.
А потом с широкою русскою песней
Возвращались в город, домой.
А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы.
Разрывали землю, грызлись за кости,
Целовали милую плоть.

26 апреля 1921
Симферополь

КРАСНАЯ ПАСХА

Зимою вдоль дорог валялись трупы
Людей и лошадей, и стаи псов
Въедались им в живот и рвали мясо.
Восточный ветер выл в разбитых окнах,
А по ночам стучали пулеметы,
Свистя, как бич, по мясу обнаженных
Мужских и женских тел. Весна пришла.
Зловещая, голодная, больная.
Глядело солнце в мир незрячим оком.
Из сжатых чресл рождались недоноски —
Безрукие, безглазые. Не грязь,
А сукровица поползла по скатам,
Под талым снегом обнажились кости,
Подснежники мерцали точно свечи,
Фиалки пахли гнилью, ландыш — тленьем,
Стволы дерев, обглоданных конями
Голодными торчали непристойно,

Как ноги трупов. Листья и трава
Казались красными, а зелень злаков
Была опалена огнем и зноем.
Лицо природы искажалось гневом
И ужасом.
А души вырванных
Насильственно из жизни – вились в ветре,
Носились по дорогам в пыльных вихрях,
Безумили живых могильным хмелем
Неизжитых страстей, неутоленной жизни,
Плодили мщенье, панику, заразу.
Зима была в тот год Страстной неделей
И красный май сплелся с кровавой Пасхой.
Но в ту весну Христос не воскресал.

21 апреля 1920
Симферополь

ТЕРМИНОЛОГИЯ

"Брали на мушку", "ставили к стенке",
"Списывали в расход" –
Так изменялись из года в год
Быта и речи оттенки.
"Хлопнуть", "угробить", "отправить на шлепку",
"К Духонину в штаб", "разменять" –
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трепку.
Правду выпытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,
"Шили погоны", "кроили лампасы",
"Делали однорогих чертей" –
Сколько понадобилось лжи
В эти проклятые годы,

Чтоб разъярить и поднять на ножи
Армии, классы, народы.
Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,
Всем быть распластанным — с пулей в затылке
И со штыком в животе.

29 апреля 1921
Симферополь

ГОЛОД

Хлеб от земли, а голод от людей:
Засеяли расстрелянными, — всходы
Могильными крестами проросли:
Земля иных побегов не взрастила.

Снедь прятали, скупали, отымали,
Налоги брали хлебом, отбирали
Домашний скот, посевное зерно:
Крестьяне сеять выезжали ночью.

Голодные и поползли червями,
По осени вдоль улиц поползли.
Толпа на хлеб палилась по базарам.
Вора валили на землю и били
Ногами по лицу. А он краюху,
В грязь пряча голову, старался заглотнуть.

Как в воробьев стреляли по мальчишкам,
Сбиравшим просыпь зерен на путях,
И Угличские отроки валились
С орешками в окоченевшей горстке.

Землю тошнило трупами — лежали
На улицах, смердели у мертвецких.

В разверстых ямах гнили на кладбищах,
В оврагах и по свалкам костяки
С обрезанною мякотью валялись.
Глодали псы отгрызанные руки
И головы. На рынке торговали
Дешевым студнем, тошной колбасой.
Баранина была в продаже – триста,
А человечина – по сорока.
Душа была давно дешевле мяса,
И матери, зарезавши детей,
Засаливали впрок: "Сама родила –
Сама и съем. Еще других рожу. . ."
Голодные любились и рожали
Багровые, орущие куски
Бессмысленного мяса: без суставов,
Без пола и без глаз. Из смрада – язвы,
И ужаса поветрия рождались, –
Но бред больных был менее безумен,
Чем обыденщина постелей и котлов.

Когда ж сквозь зимний сумрак закурилась
Над человечьим гноищем весна,
И пламя побежало язычками
Вширь по полям и ввысь по голым прутьям, –
Благоухание казалось оскорбленьем,
Луч солнца – издевательством, цветы – кощунством.

13 января 1923. Коктебель

НА ДНЕ ПРЕИСПОДНЕЙ

Памяти А. Блока и Н. Гумилева

С каждым днем все диче и все глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит.
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.
Может быть такой же жребий выну,
Горькая детоубийца – Русь,
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Доканает голод или злоба, –
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.

12 января 1922
Феодосия, в больнице.

ГОТОВНОСТЬ

Я не сам ли выбрал час рожденья,
Век и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье
Совести, огня и вод?

Апокалипсическому Зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший глубже, чем возможно пасть,
В скрежете и в смраде – верю!

Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: "Ты прав, что так судил!"

Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи, – вот плоть моя!

24 октября 1921
Феодосия

ПОТОМКАМ
(Во время террора)

Кто передаст потомкам нашу повесть?
Ни записи, ни мысли, ни слова
К ним не дойдут: все знаки слижет пламя
И выест кровь слепые письмена.
Но может быть благоговейно память
Случайно стих изустно сохранит.
Никто из вас не ведал то, что мы
Изжили до конца, вкусили полной мерой:
Свидетели великого распада –
Мы видели безумья целых рас,
Крушенья царств, косматые светила,
Прообразы Последнего Суда,
Мы пережили Илиады войн
И Апокалипсисы Революций!

Мы вышли в путь в закатной славе века,
В последний час всемирной тишины,
Когда слова о зверствах и о войнах
Казались всем неповторимой сказкой.
Но мрак, и брань, и мор, и трус, и глад –
Застигли нас посереди дороги,
Разверзлись хляби душ и недра жизни,
И нас слизнул ночной водоворот.

Стал человек — один другому — дьявол.
Кровь — спайкой душ. Борьба за жизнь — законом.
И долгом — месть.
Но мы не покорились!
Ослушники законов естества —
В себе самих укрыли наше солнце,
На дне темниц мы выносили силу
Неодолимую любви. И в пытках
Мы выучились верить и молиться
За палачей. Мы поняли, что каждый
Есть пленный ангел в дьявольской личине.
В огне застенков выплавили радость
О преосуществленьи человека,
И никогда не грезили прекрасней
И пламенней — его последних судеб.

Далекие потомки наши! Знайте,
Что если вы живете во вселенной,
Где каждая частица вещества
С другою слита жертвенной любовью,
Где человечеством преодолен
Закон необходимости и смерти —
То в этом мире есть и наша доля!

21 мая 1921
(Дорога между Симферополем и Феодосией)

VII. ВОЗНОШЕНИЯ

МОЛИТВЫ О ЛЮБВИ И ПОНИМАНИИ РОССИИ

ЗАКЛЯТЬЯ НА РОССИЮ

ПОСЕВ

Как земледел над грудой веских зерен,
Отобранных к осеннему посеву,
Склоняется, обеими руками
Зачерпывая их, и весит в горсти,
Чуя
Их дух, их теплоту и волю к жизни,
И крестит их —
так я, склонясь над Русью,
Крещу ее — от лба до поясницы,
От правого до левого плеча:
От моря Белого до Черного,
От Финского залива до Байкала,
И, наклонясь, коленопреклоненно
Целую средоточье всех путей —
Москву.

Земля готова к озимому посеву,
И вдоль, и поперек глубоким плугом
Она разодрана, вся пахоть дважды, трижды
Железом перевернута,
Напитана рудой — живой, горючей, темной,
Полита молоньей, скорожена громами,
Пшеница ядрена под Божьими цепами,
Зернь переполнена тяжелой, дремной жизнью,
И семя светится голубоватым, тонким,
Струистым пламенем...

Да будет горсть полна, рука щедра в размахе
И крепок сеятель!
Благослови посев свой, Иисусе!

11 ноября 1919
Коктебель

ЗАКЛИНАНИЕ
(От усобиц)

Из крови пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, исступлений –
Возникнет праведная Русь.

Я за нее за всю молюсь
И верю замыслам предвечным:
Ее куют ударом мечным,
Она мостится на костях,
Она святится в ярых битвах,
На жгущих строится мощах,
В безумных плавится молитвах.

19 июня 1920
Коктебель

МОЛИТВА О ГОРОДЕ
(Феодосия весной 1918 года)

С. А. Толузакову

И скуден и неукрашен
Мой древний град
В венце генуэзских башен,
В тени аркад;
Среди иссякших фонтанов,
Хранящих герб
То дожей, то крымских ханов:

Звезду и серп;
Под сенью тощих акаций
И тополей,
Средь пыльных галлюцинаций
Седых камней,
В стенах церквей и мечетей
Давно храня
Глухой перегар столетий
И вкус огня;
А в складках холмов охряных —
Великий сон:
Могильники безымянных
Степных племен;
А дальше — зыбь горизонта
И пенный вал
Негостеприимного Понта
У желтых скал.

Войны, мятежей, свободы
Дул ураган;
В сраженьях гибли народы
Далеких стран;
Шатался и пал великий
Имперский столп,
Росли, приближаясь, клики
Взметенных толп;
Суда бороздили воды,
И борт о борт
Заржавленные пароходы
Врывались в порт.
На берег сбегали люди,
Был слышен треск
Винтовок и гул орудий,
И крик, и плеск,
Выламывали ворота,
Вели сквозь строй,

Расстреливали кого-то
Перед зарей...

Блуждая по перекресткам,
Я жил и гас
В безумьи и в блеске жестком
Враждебных глаз.
Их горечь, их злость, их муку,
Их гнев, их страсть,
И каждый курок, и руку
Хотел заклясть.
Мой город, залитый кровью
Внезапных битв,
Покрыть своею любовью,
Кольцом молитв,
Собрать тоску и огонь их
И вознести
На распростертых ладонях:
Пойми... прости!

2 июня 1918
Коктебель

ВИДЕНИЕ ИЕЗЕКИИЛЯ

Бог наш – есть огнь поядающий. Твари
Явлен был свет на реке на Ховаре.
В буре клубящейся двигался Он –
Облак, несомый верховными силами,
Четверорукими, шестерокрылыми,
С бычьими, птичьими, человечьими,
Львиными ликами с разных сторон.

Видом они – точно угли горящие,
Ноги прямые и медью блестящие,

Лики, как свет раскаленных лампад.
И вопиющие, и говорящие,
И воззывающе к Господу: "Свят!
Свят Вседержитель!" А около разные,
Цветом похожи на камень топаз,
Вихри и диски, колеса алмазные,
Дымные ободы, полные глаз.
А над животными, легкими сводами,
Крылья простертые в высоту,
Схожие шумом с гудящими водами,
Переполняющими пустоту.
Выше же вышних, над сводом всемирным,
Тонким и синим повитым огнем,
В радужной славе, на троне сапфирном,
Огненный Облик, гремящий, как Гром.
Был я покрыт налетевшей грозою,
Бурею крыльев и вихрем колес.
Дух меня поднял с земли и вознес.
Был ко мне голос:
"Иди предо Мною
В землю Мою — возвестить ей позор!
Перед Лицом Моим — ветер пустыни,
А по Стопам Моим — язвы и мор.
Буду судиться с тобою Я ныне!

Мать родила тебя ночью в полях,
Пуп не обрезала и не омыла,
И не осолила и не повила —
Бросила дочь на попрание в прах...
Я ж тебе молвил: Живи во кровях!
Выросла смуглой и стройной, как колос,
Грудь поднялась, закурчавился волос,
И округлился, как чаша, живот...
Время любви твоей было... И вот
В полдень лежала ты в поле нагая,
И проходил и увидел тебя Я,
Край Моих риз над тобою простер,

Обнял, омыл твою кровь и с тех пор
Я сочетался с рабою Моею.
Дал тебе плат, кисею на лицо,
Перстни для рук, ожерелье на шею,
На уши серьги, и в ноздри кольцо,
Пояс, запястья, венец драгоценный,
И покрывала из тканей сквозных. . .
Стала краса твоя совершенной
В великолепных уборах Моих.
Хлебом пшеничным, елеем и медом
Я ль не вскормил тебя щедрой рукой?
Дальним известна ты стала народам
Необычайною красотой.
Но, упоенная славой и властью,
Стала мечтать о красивых мужах,
И распалялась нечистою страстью
К изображениям на стенах.
Между соседей рождая усобья,
Стала распутной – ловка и хитра,
Ты сотворяла мужские подобья –
Знаки из золота и серебра.
Строила вышки, скликала прохожих,
И блудодеяла с ними на ложах,
На перекрестках путей и дорог,
Ноги раскидывала перед ними,
Каждый придя оголить тебя мог
И насладиться сосцами твоими.
Буду судиться с тобой до конца:
Гнев изолью, истощу Свою ярость.
Семя сотру, прокляну твою старость.
От Моего не укрыться Лица!
Всех созову, что блудили с тобою,
Платье сорву и оставлю нагою,
И обнажу перед всеми твой срам,
Темя обрею, связавши ремнями,
В руки любовников прежних предам,
Пусть тебя бьют, побивают камнями,

Хлещут бичами нечистую плоть.
Станешь бесплодной и стоптанной нивой...
Ибо любима любовью ревнивой –
Так говорю тебя Я – твой Господь!"

21 января 1918
Коктебель

ИУДА АПОСТОЛ

И когда приблизился праздник Пасхи,
В первый день опресноков в час вечерний
Он возлег за трапезу – с Ним *двенадцать*.
В горнице чистой
Хлеб, преломивши, раздал:
"Это Тело Мое, сегодня в жертву приносимое,
Так творите".
А когда окончили ужин,
Поднял Он чашу:
"Это Кровь Моя, за все проливаемая,
И рука прольющего между вами".
Спор возник между учениками:
Кто из них больший?
Он же говорит им:
"В этом мире цари первенствуют:
Вы же не так – кто больший, будет как меньший.
Завещаю вам Свое Царство.
Сядете судить на двенадцать тронов,
Но одним из вас Я буду предан.
Так предназначено, но предателю горе!"
И в смущении ученики шептали: "Не я ли?"
Он в соль обмакнул кусок хлеба,
Подал Иуде
И сказал: "Что делаешь – делай".
Тот же, съев кусок, тотчас же вышел:
Дух земли – Сатана – вошел в Иуду –
Вещий и скорбный.

Все двенадцать вина и хлеба вкусили,
Причастившись Плоти и Крови Христовой,
А один из них заранее причастился
Солью и хлебом.
И никто из одиннадцати не понял,
Что сказал Иисус,
Какой Он подвиг возложил на Иуду
Горьким причастием.
Так размышлял однажды некий священник
Ночью в древнем Соборе Парижской Богоматери.
И воскликнул:
"Боже, верю глубоко,
Что Иуда – Твой самый старший и верный
Ученик, что он на себя принял
Бремя всех грехов и позора мира,
Что когда Ты вернешься судить землю,
И померкнет солнце от Твоего гнева,
И сорвутся с неба в ужасе звезды,
Встанет он, как дымный уголь, из бездны,
Опаленный всей проказой мира,
И сядет рядом с Тобой.
Дай мне знак, что так будет".
В то же мгновенье
Сухие и властные пальцы
Легли ему на уста. И в них узнал он
Руку Иуды.

11 ноября 1918
Коктебель

ЗАКЛИНАНИЕ О РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

Сорок ден опостясь,
Встану я помолясь,
Пойду перекрестясь,
Из дверей в двери,

Из ворот в ворота,
Утренними тропами,
Огненными стопами,
Во чисто поле,
На бел-горюч камень.

Стану я на восток лицом,
На запад хребтом,
Оглянусь на все четыре стороны,
На семь морей,
На три океана,
На семьдесят семь племен,
На тридцать три царства,
На всю землю Святорусскую.

Не слыхать людей,
Не видать церквей,
Ни белых монастырей,
Ни крестов, ни дворцов,
Ни дворов, ни хлебов:
Лежит Русь разоренная,
Окровавленная, опаленная;
По всему Полю Дикому
Великому
Кости сухие, пустые,
Мертвые, желтые,
Саблей сечены,
Пулей мечены,
Коньми топтаны.

Ходит по Полю Железный Муж,
Бьет по костям
Железным жезлом:
"С четырех сторон,
С четырех ветров
Дохни дух,
Оживи кость".

Не пламя гудит,
Не ветер шуршит,
Не рожь шелестит, –
Кости шуршат,
Плоть шелестит,
Жизнь разгорается. . .

Как с костью кость сходится,
Как плотью кость одевается,
Как жилой плоть зашивается,
Как мышцей плоть собирается, –
Ты встань, Русь, подымись,
Оживи, соберись, срастись,
Царство к царству, племя к племени!
Кует кузнец
Золотой Венец,
Обруч кованый:
Царство Русское собирать,
Сковать, заклепать,
Крепко-накрепко,
Туго-натуго,
Чтоб оно, Царство Русское,
Не рассыпалось,
Не расплавилось,
Не расплескалось. . .

Чтобы мы его, Царство Русское,
В гульбе не разгуляли,
В пляске не расплясали,
В торгах не расторговали,
На питье не распили,
В словах не разговорили,
В хвастне не расхвастали!

Чтоб оно, Царство Русское,
Рдело, зорилось
Жизнью живых,

Смертью святых,
Муками мученых.

Будьте, слова мои, крепки и лепки,
Сольче соли, жгучей пламени.

Которые слова переговорил — будьте назади!
Которые не договорил — будьте впереди!
Слова замкну,
А ключи в море-океан опущу.

23 июля 1919
Коктебель

VIII. Р О С С И Я

П О Э М А

РОССИЯ

1

С Руси тянуло выстуженным ветром.
Над Карадагом сбились груды туч.
На берег опрокидывались волны
Нечастые и тяжкие. Во сне
Как тяжело больной вздыхало море,
Ворочаясь со стоном. Этой ночью
Со дна души вздувалось, нагрубало
Мучительно-бесформенное чувство
Безмерное и смутное – Россия...
Как будто бы во мне самом легла
Бескрайная и тусклая равнина,
Белесою лоснящаяся тьмой,
Остуженная жгучими ветрами.
В молчании вился морозный прах:
Ни выстрелов, ни зарев, ни пожаров:
Мерцали солью топи Сиваша,
Да камыши шуршали на Кубани,
Да стыл Кронштадт... Украина и Дон,
Урал, Сибирь и Польша – все молчало.
Лишь горький снег могилы заметал.
Но было так неизъяснимо томно,
Что старая всей пережитой кровью,
Усталая от ужасов душа
Все вынесла бы – только не молчанье.

2

Я нес в себе – багровый, как гнойник,
Горячечный и триумфальный город,
Построенный на трупах, на костях
"Всея Руси" – во мраке финских топей,

Со шпилями церквей и кораблей,
С застенками подводных казематов,
С водой стоячей, вправленной в гранит,
С дворцами цвета пламени и мяса,
С белесоватым мороком ночей,
С алтарным камнем финских чернобогов,
Растоптанным копытами коня,
И с озаренным лаврами и гневом
Безумным ликом медного Петра.
В болотной мгле клубились клочья марев:
Российских дел неизжитые сны. . .
   Царь, пьяным делом, вздернувши на дыбу,
Допрашивает Стрешнева: "Скажи,
Твой сын я, али нет?" – а Стрешнев с дыбы:
"А черт тя знает, чей ты. . . много нас
У матушки-царицы переспало". . .
   В конклаве всешутейшего собора
На медведях, на свиньях, на козлах,
Задрав полы духовных облачений,
Царь в чине протодьякона ведет
По Петербургу машкерную одурь.
   В кунсткамере хранится голова –
Как монстра заспиртованного в банке –
Красавицы Марии Гамильтон. . .
   В застенке Трубецкого Равелина
Пытает царь царевича, и кровь
Засеченного льет по кнутовищу. . .
   Стрелец в Москве у плахи говорит:
"Посторонись-ка, царь, мое здесь место".
Народ уж знает свычаи царей
И свой удел в строительстве империй.
   Кровавый пар столбом стоит над Русью,
Топор Петра российский ломит бор
И вдаль ведет проспекты страшных просек,
Покамест сам великий дровосек
Не валится, удушенный рукою –
Водянки? иль предательства? как знать. . .

Но вздутая, таинственная маска
С лица усопшего хранит следы
Не то петли, а, может быть, подушки.
Зажатое в державном кулаке
Зверье Петра кидается на волю:
Царица из солдатских портомой,
Волк – Меньшиков, стервятник – Ягужинский,
Лиса – Толстой, куница Остерман –
Клыками рвут российское наследство.
    Петр написал коснеющей рукой:
"Отдайте все. . ." Судьба же дописала:
". . .распутным бабам с ихним любовьем".

Елисавета с хохотом, без гнева,
Развязному курьеру говорит:
"Не лапай, дуралей, не про тебя де
Печь топится". А печи в те поры
Топились часто, истово и жарко
У цесаревен и императриц.
Российский двор стирает все различья
Блудилища, дворца и кабака.
Царицы коронуются на царство
По похоти гвардейских жеребцов.
Пять женщин распухают телесами
На целый век в длину и в ширину.
Россия задыхается под грудой
Распаренных грудей и животов.
Ее гноят в острогах и в походах,
По Ладогам, да по Рогервикам.
Голландскому и прусскому манеру
Туземцев учат шкипер и капрал.
Голштинский лоск сержант наводит палкой;
Курляндский конюх тычет сапогом;
Тупейный мастер завивает души;
Народ цивилизуют под плетьми
И обучают грамоте в застенке. . .

А в Петербурге крепость и дворец
Меняются жильцами, и кибитка
Кого-то мчит в Березов и в Пелым...

3

...Минует век и мрачная фигура
Встает над Русью: форменный мундир,
Бескровные щетинистые губы,
Мясистый нос, солдатский узкий лоб,
И взгляд неизреченного бесстыдства
Пустых очей из-под припухших век.
У ног ее до самых бурых далей
Нагих равнин — казарменный фасад
И каланча: ни зверя, ни растенья...
Земля судилась и осуждена.
Все грешники записаны в солдаты.
Всяк холм понизился и стал, как плац.
А надо всем солдатскою шинелью
Провис до крыш разбухший небосвод.
Таким он был написан Джорджем Доу —
Земли российской первый коммунист —
Граф Алексей Андреич Аракчеев.
Он вырос в смраде Гатчинских казарм,
Его избрал, взрастил и всхолил Павел.
"Дружку любезному" вставлял клистир
Державный мистик тою же рукою,
Что иступила посох Кузьмича
И сокрушила силу Бонапарта.
Его посев взлелеял Николай,
Десятки лет удавьими глазами
Медузивший засеченную Русь...
Раздерганный и полоумный Павел
Собой парадный открывая ряд
Штампованных солдатских автоматов,
Расписанных по прусским образцам.

(Знак – made in Germany,
Клеймо – Романов), –
Царь козыряет, делает развод,
Глаза пред фронтом пялит растопыркой
И пишет на полях: "Быть по сему".
А между тем от голода, от мора,
От поражений, как и от побед,
Россию прет и вширь и вдаль безмерно;
Ее сознание уходит в рост,
На мускулы, на поддержанье массы,
На крепкий тяж подпружных обручей.
Пять виселиц на Кронверкской куртине
Рифмуют на Семеновском плацу;
Волы в Тифлис волочат "Грибоеда",
Отправленного на смерть в Тегеран;
Гроб Пушкина ссылают под конвоем
На розвальнях в опальный монастырь;
Над трупом Лермонтова царь: "Собаке
Собачья смерть" придворным говорит;
Промозглым утром бледный Достоевский
Горит свечой, всходя на эшафот...
И все тесней, все гуще этот список.
Закон самодержавия таков:
Чем царь добрей, тем больше льется крови.
А всех добрей был Николай Второй,
Зиявший непристойной пустотою
В сосредоточьи гения Петра.
Санкт-Петербург был скроен исполином.
Размах столицы был не по плечу
Тому, кто стер блистательное имя.
Как медиум, опорожнив сосуд
Своей души, притягивает нежить –
И пляшет стол, и щелкает стена –
Так хлынула вся бестолочь России
В пустой сквозняк последнего царя:
Желвак От-Су, Ходынка и Цусима,
Филипп, Папюс, Гапонов ход, Азеф...

Тень Александра Третьего из гроба
Парижский вызывает некромант;
Царице примеряют от бесплодья
В Сарове чудотворные штаны.
Она, как немка, честно верит в мощи,
В юродивых и в преданный народ. . .
И вот со дна самой крестьянской гущи –
Из тех же недр, откуда Пугачев, –
Темнобородый, с оморошным взглядом –
Идет Распутин в государев дом,
Чтоб честь двора и церкви и царицы
В грязь затоптать мужицким сапогом
И до низов ославить власть цареву.
И все хмельней, все круче чертогон. . .
В Юсуповском дворце на Мойке – старец,
С отравленным пирожным в животе,
Простреленный, – грозит убийце пальцем:
"Феликс, Феликс! царице все скажу". . .
   Раздутая войною до отказа,
Россия расседается, и год
Солдатчина гуляет на просторе. . .
И где-то на Урале средь лесов
Латышские солдаты и мадьяры
Расстреливают царскую семью
В сумятице поспешных отступлений. . .
Царевич на руках отца, одна
Из женщин мечется, подушкой прикрываясь,
Царица выпрямилась у стены. . .
Потом их жгут и зарывают пепел.
Все кончено. Петровский замкнут круг.

4

Великий Петр был первый большевик, –
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет к ее грядущим далям.

Он, как и мы, не знал иных путей
Опричь указа, казни и застенка
К осуществленью правды на земле.
Не то мясник, а может быть ваятель,
Не в мраморе, а в мясе высекал
Он топором живую Галатею,
Кромсал ножом и шваркал лоскуты.
Строителю необходимо сручье.
Дворянство было первым РКП,
Опричниною, гвардией, жандармом,
И парником для ранних овощей.
Но, наскоро его стесавши, невод
Закинул Петр в морскую глубину.
Спустя сто лет иными рыбарями
На невский брег был вытащен улов.

В Петрову мрежь попался разночинец,
Оторванный от родовых корней,
Отстоенный в архивах канцелярий —
Ручной Дантон, домашний Робеспьер, —
Бесценный клад для революций сверху.
Но просвещенных принцев испугал
Неумолимый разум гильотины.
Монархия извергла из себя
Дворянский цвет при Александре Первом,
А семя разночинцев при Втором.
Не в первый раз без толка расточали
Правители созревшие плоды:
Боярский сын, долбивший при Тишайшем
Вокабулы и вирши, — при Петре
Служил царю армейским интендантом.
Отправленный в Голландию Петром
Учиться навигации, вернувшись,
Попал не в тон галантностям цариц.
Екатерининский вольтерианец
Свой праздный век в деревне пробрюзжал;
Ученики французских эмигрантов,

Детьми освобождавшие Париж,
Сгноили жизнь на каторге в Сибири...
Так шиворот-навыворот текла
Из рода в род разладица правлений.
Но ныне рознь таила смысл иной:
Отвергнутый царями разночинец
Унес с собой рабочий пыл Петра
И утаенный пламень революций:
Книголюбивый новиковский дух,
Горячку и озноб Виссариона.
От их корней пошел интеллигент.
Его мы помним слабым и гонимым,
В измятой шляпе, в сношенном пальто,
Сутулым, бледным, с рваною бородкой,
Страдающей улыбкой и в пенсне,
Прекраснодушным, честным, мягкотелым,
Оттиснутым, как точный негатив
По профилю самодержавья: шишка,
Где у того кулак, где штык — дыра,
На месте утвержденья — отрицанье,
Идеи, чувства — все наоборот,
Все "под углом гражданского протеста".
Он верил в Божие небытие,
В прогресс и в конституцию, в науку,
Он утверждал (свидетель — Соловьев),
Что человек рожден от обезьяны,
А потому — нет большия любви,
Как положить свою за ближних душу.
Он был с рожденья отдан под надзор,
Посажен в крепость, заперт в Шлиссельбурге,
Судим, ссылаем, вешан и казним,
По каторгам — по Ленам да по Карам...
Почти сто лет он проносил в себе —
В сухой мякине искру Прометея,
Собой вскормил и выносил огонь.
Но пасынок, изгой самодержавья —
И кровь кровей, и кость его костей —

Он вместе с ним в циклоне революций
Размыкан был, растоптан и сожжен...
Судьбы его печальней нет в России,
И нам, вспоенным бурей этих лет,
Ввек не избыть в себе его обиды
(Гомункула, взращенного Петром
Из плесени в реторте Петербурга).

5

Все имена сменились на Руси
(Политика – расклейка этикеток,
Назначенных, чтоб утаить состав).
Их выверты мышления все те же:
Мы говорим: "коммуна на земле
Немыслима без роста капитала,
Индустрии и классовой борьбы.
Поэтому не Запад, а Россия
Начнет собою мировой пожар".
До Мартобря (его предвидел Гоголь)
В России не было ни буржуа,
Ни классового пролетариата,
Была земля, купцы да голытьба,
Чиновники, дворяне да крестьяне,
Да выли ветры, да орал сохой
Поля доисторический Микула...
Один поверил в то, что он – буржуй,
Другой себя сознал как пролетарий.
И началась кровавая игра.
На все нужна в России только вера:
Мы верили в двуперстие, в царя,
И в сон, и в чох, в распластанных лягушек,
В матерьялизм и в Интернацьонал.
Позитивист ощупывал руками
Не вещество, а тень своей мечты.
Мы бредили, переломав машины,

Об электрификации. Среди
Стрельбы и голода — о социальном рае, —
И ели человечью колбасу.
Политика была для нас раденьем,
Наука — духоборчеством,
Марксизм — догматикой,
Партийность — аскетизмом.
Вся наша революция была
Комком религиозной истерии.
В течение пятидесяти лет
Мы созерцали бедствия рабочих
На Западе с такою остротой,
Что приняли стигматы их распятий.
Все наши достиженья в том, что мы
В бреду и в корчах создали вакцину
От социальных революций. Запад
Переживет их вновь — и не одну,
Но выживет, не расточив культуры.

Есть дух истории — безликий и глухой,
Что действует помимо нашей воли,
Что направлял топор и мысль Петра;
Что вынудил мужицкую Россию
За три столетья сделать перегон,
От берегов Балтийских до Аляски.
И тот же дух ведет большевиков
Исконными российскими путями.
Грядущее — извечный сон корней:
Во время революций водоверти
Со дна времен взмывают старый ил,
И новизны рыгают стариною.
Мы не вольны в наследии отцов,
И вопреки бичам идеологий
Колеса вязнут в старой колее:
Неверы очищают православье
Гоненьями и вскрытием мощей,
Большевики отстраивают стены

На цоколях разбитого Кремля,
Социалисты разлагают рати,
Чтоб год спустя опять собрать в кулак.
И белые и красные Россию
Плечом к плечу взрывают как волы —
В одном ярме — сохой междоусобья,
Москва сшивает снова лоскуты
Удельных царств, чтоб утвердить единство.
Истории потребен сгусток воль:
Партийность и программы — безразличны.

6

В России революция была
Исконнейшим из прав самодержавья
(Как ныне, в свой черед, утверждено
Самодержавье правом революций).
Крижанич жаловался до Петра:
"Великое народное несчастье
Есть неумеренность во власти: мы
Ни в чем не знаем меры да средины,
Все по краям да пропастям блуждаем,
И нет нигде такого безнарядья,
И власти нету более крутой".
Мы углубили рознь противоречий
За двести лет, что прожили с Петра.
При добродушьи русского народа,
При сказочном терпеньи мужика,
Никто не делал более кровавой
И страшной революции, чем мы.
При всем упорстве Сергиевой веры
И Серафимовых молитв — никто
С такой хулой не потрошил святыни,
Так страшно не кощунствовал, как мы.
При русских грамотах на благородство,
Как Пушкин, Тютчев, Герцен, Соловьев,

Мы шли путем не их, а Смердякова —
Через Азефа, через Брестский мир.
В России нет сыновьего преемства
И нет ответственности за отцов.
Мы нерадивы, мы нечистоплотны,
Невежественны и ущемлены.
На дне души мы презираем Запад,
Но мы оттуда в поисках богов
Выкрадываем Гегелей и Марксов,
Чтоб, взгромоздив на варварский Олимп,
Курить в их честь стираксою и серой
И головы рубить родным богам,
А год спустя — заморского болвана
Тащить к реке, привязанным к хвосту.

Зато в нас есть бродило духа — совесть
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых и Достоевских
И Иоанна Грозного. В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности, — рядом
С любым из европейцев — человек.
У нас в душе некошенные степи,
Вся наша непашь буйно заросла
Разрыв-травой, быльем да своевольем,
Размахом мысли, дерзостью ума,
Паденьями и взлетами: Бакунин
Наш истый лик отобразил вполне.
В анархии — все творчество России.
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны — машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя, —
Стальной нарез и маточник орудий.
Отсюда тяж советских обручей

И тугоплавкость колб самодержавья.
Бакунину потребен Николай,
Как Петр – стрельцу,
Как Аввакуму – Никон.
Поэтому так непомерна Русь
И в своеволье и в самодержавьи.
И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России.

7

И этой ночью с напруженных плеч
Глухого Киммерийского вулкана
Я вижу изневоленную Русь
В волокнах расходящегося дыма,
Просвеченную заревом лампад, –
Молитвами горящих о России. . .
И чувствую безмерную вину
Всея Руси
Пред всеми и пред каждым.

6 февраля 1924
Коктебель

РОССИЯ РАСПЯТАЯ

[Автокомментарий к стихам, написанным во время революции.]

Вам предстоит сегодня выслушать цикл моих стихов о России. Это стихи, написанные во время Революции и отвечающие на текущие политические события. Но остерегусь называть мои стихи политическими. В наше время это понятие несет в себе нежелательный смысл.

Прилагательное "политический" подразумевает причастность к партии, исповедание тех или иных политических убеждений. Нас воспитывали на том, что долг каждого — принадлежать к определенной политической партии, что сознательный гражданин обязан иметь твердые политические убеждения.

Для правильных отправлений парламентарного строя и для политических выборов это действительно необходимо. На дне каждого политического убеждения заложен элемент личного желания или интереса, который разработан в программу, а ей придан характер обязательной всеобщности.

Один убежден в том, что он должен каждый день обедать, и настаивает на одинаковых правах всех в этой области, другой убежден в своем праве иметь дом, капитал и много земли, но распространяет подобное право лишь на немногих ему подобных, третий хочет, чтобы все были чернорабочими, но имели бы время заниматься умственным трудом и искусствами в свободное время. Может быть все эти разнородные хотения, возведенные в чин убеждений, и утряслись бы как-нибудь с течением времени, но политические борцы в пылу борьбы слишком легко рассекают вопросы на да и нет и, обращаясь

к мимо идущему, восклицают: "Или с нами, или против нас!" — совершенно не считаясь с тем, что этот встречный может быть ни за тех, ни за других, а иногда и за тех и за других, и что по совести его нельзя упрекнуть ни в том, ни в другом. В первом случае он будет просто незаинтересованным лицом, а во втором он окажется человеком, нашедшим синтез там, где другие видели б безвыходные антиномии; и последнее вовсе не потребует даже сверхъестественной широты взглядов, т. к. большинство политических альтернатив отнюдь не безвыходно и самые непримиримые партии прекрасно уживаются при нормальном и крепком государственном строе, и даже художественно дополняют друг друга.

Поэту и мыслителю совершенно нечего делать среди беспорядочных столкновений хотений и мнений, называемых политикой.

Но понятие современности и истории отнюдь не покрываются словом политика. Политика — это только очень популярный и очень бестолковый подход к современности. Но следует прибавить, что умный подход к современности весьма труден и очень редок.

Если для лирического произведения поэту достаточно одной силы чувства и яркости впечатления, то для стихотворения, написанного на темы текущей современности, этого отнюдь не достаточно.

Необходимо осознание совершающегося. Каждый жест современности должен быть почувствован и понят в связи с действием переживаемого акта, а каждый акт в связи с развитием всей трагедии.

И актер и зритель могут быть участниками политического действа, ничего не зная о содержании последующего акта и не предчувствуя финала трагедии, поэт же должен быть участником замыслов самого драматурга. Важнее отдельных лиц для него общий план развертывающегося действия, архитектурные соотношения групп и характеров и очистительное таинство, скрытое Творцом в замысле трагедии. Гибель героя для него так же драгоценна, как его торжество.

Поэтому положение поэта в современном ему обществе очень далеко от группировок борющихся политических партий.

Поэт, отзывающийся на современность, должен совмещать в себе два противоположных качества: с одной стороны аналитический ум, для которого каждая новая группировка политических обстоятельств является математической задачей, решение которой он должен найти независимо от того, будет ли оно согласовываться с его желаниями и убеждениями, с другой же стороны, глубокую религиозную веру в предназначенность своего народа и расы. Потому что у каждого народа есть свой мессианизм, другими словами, представление о собственной роли и месте в общей трагедии человечества. Первое — это логика развития драматического действия, которой подчиняется сам драматург, а второе — это причастность творческому замыслу Драматурга.

Нет ничего более трудного, как найти слова, формулирующие современность. Художественное слово, и особенно слово ритмическое, не выносит той условной, поверхностной, газетной правды, разговорной правды, в которой изживается нами каждый текущий миг. Для того чтобы увидать текущую современность в связи с общим течением истории, надо суметь отойти от нее на известное расстояние. Обычно оно дается временем. Но, чтобы найти соответствующую перспективную точку зрения теперь же — в текущий миг, поэт должен найти ее в своем миросозерцании, в своем представлении о ходе и развитии мировой трагедии.

Вот требования, которые мы предъявляем к поэту, который берется писать о современности. Отвечают ли мои *Стихи о России* этим требованиям, хотя бы в малой мере, судить не мне, а вам. Но предполагаю, что вам небезынтересно будет, если я в виде комментарий и предпосылок к моим стихам расскажу о некоторых впечатлениях и о том порядке мыслей, которые позволяли мне взглянуть на текущую революционную действительность до известной степени со стороны.

Февраль 1917 застал меня в Москве. Москва переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь еще с большим увлечением и с большим правом торжествовали "бескровную революцию", как было принято выражаться в

те дни. Первого марта Москва прочла манифест об отречении от престола Николая II. Обычная общественная жизнь, прерванная тремя днями тревоги, продолжалась по инерции. На этот день было назначено открытие посмертной выставки Борисова-Мусатова. И выставка открылась.

На вернисаже было много народу. Собрались скорее, чтобы встретиться и обменяться новостями, чем смотреть картины. Но едва ли многие подозревали тогда, что эта выставка — последний смотр уходящим помещичьим идиллиям русской жизни.

Ко мне подошел известный московский адвокат и попросил составить воззвание о памятниках искусства, отдающихся под охрану народа. Когда воззвание было написано и скреплено многими подписями, он отвел меня в сторону:

— Хотите, покажу вам нечто весьма занимательное. . . В другое время не увидите. Только чур, никому не говорить. Прихватил только Грабаря. . . Это тут рядом через дорогу. . .

Мы перешли через улицу — это было в Салтыковском переулке — и вошли во двор серого, мрачного, запущенного двухэтажного купеческого особняка, отделенного от тротуара забором и палисадником. Поднялись по черной лестнице, прикрытой деревянной галереей, и позвонили у двери, крытой драной клеенкой, из-под которой торчала мочала.

Нам отворил хозяин в сапогах бутылками, в жилете, с рубахой на выпуск. Это был высокий старик с густыми седыми бровями, с длинной зеленой бородой, с бледно-голубыми светлыми, детскими, но в то же время жуткими — "распутинскими" глазами.

— Грабарь. . . это цто историю искусства написал. Цитал. . . Волошин? не цитал, не знаю. . . — говорил он, сильно цокая, вводя нас в комнаты.

Квартира, в которую мы вошли, сбивала с толку своими странностями. Первая комната носила характер купеческой старозаветной гостиной. . . Мебель в чехлах, пыльный кокон обтянутой коленкором люстры, портреты, затянутые марлей от мух, непромытые стекла, все носило характер странного запустения. Только один угол комнаты, где стоял круглый

стол, покрытый красной клетчатой скатертью, с неугасимым самоваром, был жилым. Дальше шел лабиринт комнат, коридоров, перегородок, где во всех углах можно было усмотреть логова — неприкрытые тюфяки с красными подушками и со смятыми лоскутчатыми одеялами.

И посреди всей этой странной, почти нищенской обстановки были собраны такие сокровища, что Грабарь так и ахнул:

— Да здесь их на миллионы собрано... куда вы нас завели?

— Тсс. . . я вам хотел сюрприз сделать. Это один из моих клиентов. Это беспоповская молельня. Он сам удивительный знаток иконописи. Тут и он, и его отец, и дед из рода в род собирали. Вы с ним поговорите-ка об иконах, — прошептал адвокат.

По всем стенам и перегородкам, разделявшим комнаты, сверху донизу во много рядов были развешаны иконы. Все это были древние драгоценные иконы цвета слоновой кости, киновари и золота Новгородского, Московского и Строгановского письма: чины Спаса, Успенья...

— Да мне всю мою Историю живописи заново переделывать придется, — восклицал Грабарь, когда мы с тоненькими восковыми свечками, взбираясь по приставным лестницам, рассматривали их по темным углам. Хозяин действительно оказался знатоком, и у них с Грабарем тотчас же разгорелся горячий разговор, и тот, воодушевляясь, вел нас по более укромным закоулкам, хвастаясь потаенными сокровищами. Только мимо некоторых он проходил, роняя с небрежностью:

— Ну, эти смотреть не стоит — это совсем новенькие: времен Алексея Михайловича...

При этом в тоне его слышалось и конфузливое извинение, как у владельца галереи старых мастеров, который торопится поскорее провести знатока-посетителя мимо случайно затесавшегося портрета кисти современного плохонького живописца.

Это глубокое пренебрежение к искусству времен первых Романовых, как к непростительной новизне, наивно высказанное в тот самый день, которым заключалась история династии, было поразительно. Я не преувеличу, если скажу, что изо всех впечатлений, полученных в дни Февральской революции,

оно было самым глубоким и плодотворным. Оно сразу создавало историческую перспективу, отодвигая целое трехсотлетие русской истории в глубину, и позволяя осознать всю историю дома Романовых и Петербургский период как отжатый исторический эпизод.

Следующее еще более глубокое впечатление пришло через несколько дней.

На Красной Площади был назначен революционный парад в честь Торжества Революции.

Таяло. Москву развезло. По мокрому снегу под Кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова: "Без аннексий и контрибуций".

Благодаря отсутствию полиции, в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись по папертям и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели древне-русские стихи о Голубиной Книге и об Алексее Человеке Божьем.

Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня, быть может подготовленного уже предыдущим, эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливалась современность и революция, и оставались только Кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачевые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещих камней Красной площади, обагренных кровью Всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что Русская Революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской Земли, нового Смутного времени.

Когда я возвращался домой, потрясенный понятым и провиденным, в уме слагались строфы первого стихотворения, внушенного мне революцией. Вот оно в окончательной своей форме: *"Москва"*.

Перспективная точка зрения, необходимая для поэтического подхода, была найдена: этой точкой зрения была старая

Москва, дух русской истории. Но эти стихи шли настолько в разрез с общим настроением тех дней, что их немыслимо было ни печатать, ни читать. Даже в ближайших мне друзьях они возбуждали глубочайшее негодование.

В эти же дни – в первые числа марта – среди русских писателей производилась анкета на тему: Республика или Монархия? У меня нет под руками точного текста моего ответа, в свое время появившегося в упомянутой брошюрке, но смысл его был таков:

Каждое государство вырабатывает себе форму правления согласно чертам своего национального характера и обстоятельствам своей истории. Никакая одежда, взятая напрокат с чужого плеча, никогда не придется нам по фигуре. Для того, чтобы совершить этот выбор, России необходим прежде всего личный исторический опыт, которого у нее нет совершенно, благодаря нескольким векам строгой опеки. Поэтому вероятнее всего, что сейчас она пройдет через ряд социальных экспериментов, оттягивая их как можно дальше влево, вплоть до крайних форм социалистического строя, что и психологически и исторически желательно для нее. Но это отнюдь не будет формой окончательной, потому что впоследствии Россия вернется на свои старые исторические пути, то есть к монархии: видоизмененной и усовершенствованной, но едва ли в сторону парламентаризма.

Должен прибавить, что этот прогностик был мне дан в те дни, когда Ленин еще не успел вернуться в Россию и угроза большевизма еще не намечалась.

Первая часть моих тогдашних предположений осуществилась, в осуществлении второй я не сомневаюсь.

Эпоха Временного Правительства психологически была самым тяжелым временем революции. Февральский переворот фактически был не революцией, а солдатским бунтом, за которым последовало быстрое разложение государства. Между тем, обреченная на гибель русская интеллигенция торжествовала революцию, как свершение всех своих исторических чаяний. Происходило трагическое недоразумение: вестника гибели встречали цветами и плясками, принимая его за избави-

теля. Русское общество, уже много десятилетий жившее ожиданием революции, приняло внешние признаки (падение династии, отречение, провозглашение Республики) за сущность события и радовалось симптомам гангрены, считая их предвестниками исцеления. Эти месяцы были вопиющим и трагическим противоречием между всеобщим ликованием и реальной действительностью. Все дифирамбы в честь свободы и демократии, все митинговые речи и газетные статьи того времени — были нестерпимою ложью. Правда — страшная, но зато подлинная, обнаружилась только во время октябрьского переворота. Русская революция выявила свой настоящий лик, тайно назревавший с первого дня ее, но для всех неожиданный.

Как это случилось?

Недоразумение началось значительно раньше. Если нам удастся отрешиться от круга интеллигентских предрассудков, в котором выросли все мы — родившиеся во вторую половину XIX века, то мы должны признать, что главной чертой русского самодержавия была его революционность: в России монархическая власть во все времена была радикальнее управляемого ею общества и всегда имела склонность производить революции сверху, старалась административным путем перекинуть Россию на несколько столетий вперед, согласно идеалам прогресса своего времени, прибегая для этого к самым сильным насильственным мерам в духе застенков Александровской слободы и Преображенского Приказа. Так было во времена Грозного, так было во времена Петра. Но революционное самодержавие нуждалось в кадрах помощников и всегда стремилось создать для своих нужд служилое сословие: то опричнину, то дворянство. Петр, наскоро сколотив дворянство для своих личных текущих нужд, в то же время озаботился созданием другого, более устойчивого класса, который мог бы впоследствии обслуживать революционное самодержавие. Для этого им был заброшен в русское общество невод Табели о рангах, и его улов создал разночинцев. Из них-то, смешавшись с более живыми элементами дворянства, через столетие после смерти Преобразователя и выкристаллизовалась русская интеллигенция.

Но XIX век принес с собою вырождение династии Романовых, — фамилии, которая в сущности изжила свое цветение до вступления на престол и в борьбе за него, а к XIX веку окончательно деформировалась под разлагающим влиянием немецкой крови Голштинского, Вюртембергского и Датского домов. При этом любопытно то, что консервативные царствования Николая I и Александра III все же более примыкали к революционным традициям русского самодержавия, чем либеральные правления Александра I и Александра II. В результате первого самодержавие поссорилось с дворянством, при втором отвергло интеллигенцию, которая так созрела к тому времени.

Таким образом, тот именно класс народа, который был вызван к жизни самой монархией для государственной работы, был ею же отвергнут, признан опасным, подозрительным и нежелательным. В государстве, всегда испытывавшем нужду в людях, образовался тип "лишних людей". И в их ряды вошло естественно все наиболее ценное и живое, что могла дать русская культура того времени.

Таким образом правительство века, перестав следовать исконным традициям русского самодержавия, само выделило из себя революционные элементы и вынудило их идти против себя. В этом ключ к истории русского общества второй половины XIX века. И все мы — поскольку мы причастны духовно русской интеллигенции — все мы несем последствия этой ссоры и недоразумения этого разлада.

Когда наступила разруха семнадцатого года, революционная интеллигенция принуждена была убедиться в том, что она плоть от плоти, кость от костей русской монархии, и что свергнув ее, она подписала этим самым свой собственный приговор. Т. к. бороться с нею она могла только в ограде крепких стен, построенных русским самодержавием. Но раз сами стены рушились — она становилась такой же ненужной, как сама монархия. Строить стены и восстанавливать их она не умела: она готовилась только к тому, чтобы их расписывать и украшать. Строить новые стены пришли другие, незваные, а она осталась в стороне.

В сложном клубке русских событий 17-го года средоточием драматического действия был Петербург, бывший основной точкой приложения революционного самодержавия Петра. Престол Петербургской Империи был сколочен Петром на фигуру и на весь (рост) медного исполина. Его занимали карлики.

Вы знаете, конечно, что спиритические явления основаны на том, что медиум, опоражнивая свою волю и гася сознание своей личности, создает внутри себя духовную пустоту, и тогда те духи, те сущности, которые всегда теснятся и кишат вокруг человека, устремляются в распахнутые двери и начинают творить бессмысленные и бесполезные чудеса спиритических сеансов. Духи эти, разумеется, духи невысокого полета: духи-звери, духи-идиоты, духи-самозванцы, обманщики, шарлатаны. Это же происходило в последние годы старого режима, когда в пустоту державного средоточия ринулись Распутины, Илиодоры и их присные. Импровизированный спиритический сеанс завершился в стенах Зимнего Дворца всенародным бесовским шабашом семнадцатого года, после которого Петербург сразу опустел и вымер согласно древнему заклятию последней Московской Царицы: "Питербурху быть пусту!"

Эту сторону Петербурга, или, вернее, Петрограда, потому что переменой имени было отмечено начало рокового спиритического сеанса, я пытался выявить в следующем стихотворении *"Петроград"*.

Но в то время, когда в Петербурге шли эти бесьи пляски, Россия, как государство, еще не имела права заниматься исключительно своими внутренними делами: вплетенная в напряженную борьбу Великой Европейской войны, которую она сама же отчасти и вызвала, она не была предоставлена самой себе. Тут-то и обнаружилась вся государственная беспочвенность русской интеллигенции. Она не смогла убедить народ в том, что он принимает из рук русского правительства государственное наследство со всеми долгами и историческими обязательствами на нем лежащими – не смогла только потому, что в ней самой это сознание было недостаточно глубоко. Мне памятно, как в марте, на собрании московских литераторов, Валерий Брюсов, предлагая резолюцию, говорил:

— Мы должны сказать Франции, Бельгии и Англии: Франция! Бельгия! Англия! не рассчитывайте больше на нашу помощь — боритесь сами за свою свободу, потому что мы теперь должны оберегать нашу драгоценную революцию.

Поэтому я далек от мысли возлагать всю ответственность за Брестский мир на одних большевиков. Для них он был только ловким политическим ходом, и история показала, что они были правы. Но это нисколько не снимает тяжелой моральной ответственности со всего русского общества, которое теперь несет на себе все заслуженные последствия его. В день начала Брестских переговоров я написал стихотворение *"Брестский мир"*.

Эти слова относятся к определенному историческому моменту и вызваны порывом негодования. В них нет необходимой исторической перспективы и понимания. Потому что в эти же дни Россия являла зрелище беспримерного бескорыстия: не сознавая своей ответственности перед союзниками, ею отчасти вовлеченными в войну, она в то же время глубоко сознавала исторические вины царской политики по отношению к племенам, входившим в ее имперский состав — к Польше, Украине, Грузии, Финляндии, и спешила в неразумном, но прекрасном порыве раздать собравшиеся в течение веков, неправедным, как ей казалось, путем, земли, права, сокровища. С этой точки зрения она казалась уже не одержимой, а юродивой, и деяния ее рождали не негодование, а скорбное умиление и благоговение. Это чувство внушило мне стихотворение *"Святая Русь"*.

Когда в октябре 17-го года с русской революции спала интеллигентская идеологическая шелуха и обнаружился ее подлинный лик, то сразу начало выявляться ее сродство с народными движениями давно отживших эпох русской истории. Из могил стали вставать похороненные мертвецы; казалось, навсегда отошедшие страшные исторические лики по-новому осветились современностью.

Прежде всего проступили черты Разиновщины и Пугачевщины, и вспомнилось старое волжское предание, по которому Разин не умер, но, подобно Фридриху Барбароссе, заключен

внутри горы и ждет знака, когда ему вновь "судить русскую землю". Иногда его встречают на берегу Каспийского моря, и тогда он расспрашивает, продолжают ли его предавать анафеме, не начали ли уже в церквах зажигать сальные свечки вместо восковых, не появились ли уже на Волге и на Дону "самолетки и самоплавки"?

Эти вопросы, столь напоминающие совершавшееся теперь, и самая идея Страшного Суда, вершающегося над Русской землей темными и мстительными силами, раздавленными русской государственностью и запечатанными в гробах церковной анафемой, внушили мне поэму *"Стенькин суд"*.

Загадкой ближайшего, может быть завтрашнего, дня вставала самозванщина на фоне Смутного времени.

Мне показалась заманчивой и благодарной идея написать все Смутное время как деяния одного и того же лица, много раз убиваемого, но неизбежно воскресающего, неистребимого, умножающегося, как темная сила в Былине о том, как перевелись Витязи на Святой Руси, как единое царствование зарезанного Дмитрия-царевича, начинающееся его убиением в Угличе и кончающееся казнью другого младенца – царевича Ивана, сына Марины, повешенного у Серпуховских ворот в Москве в 1613 г. в царствование первого из Романовых. *"Дмитрий-император"*.

Все эти стихи были написаны в последние месяцы 1917 года. Между тем, волна всеобщего развала достигла Крыма и сразу приняла кровавые формы. Началось разложение Черноморского флота. Когда я в первый раз при большевиках подъезжал из Коктебеля к Феодосии, под самым городом меня встретил мальчишка, посмотрел на меня, свистнул и радостно сообщил: "А сегодня буржуев резать будут!" Это меня настолько заинтересовало, что приехав на два дня, я остался в городе полтора месяца. Феодосия представляла в эти дни единственное зрелище: сюда опоражнивалась Трапезундская армия, сюда со всех берегов Черноморья стремились транспорты с войсками и беженцами, как в единственный открытый порт.

Наш древний град — богоспасаем —
Ему же имя "Дар богов" —
В те дни стал социальным раем:
С анатолийских берегов
Солдаты навезли товару
И бойко продавали тут
Орехи — сто рублей за пуд,
Турчанок — пятьдесят за пару,
На том же рынке, где рабов
Славянских продавал татарин.
Наш мир культурой не состарен
И торг рабами вечно нов.
Хмельные от лихой свободы
В те дни спасались к нам народы.
Затравленные пароходы
Врывались в порт, тушили свет,
Причаливали, швартовались,
Спускали сходни, выгружались
И шли захватывать Совет.
Пестрели бурки и халаты,
И пулеметы, и штыки,
Румынские большевики,
И трапезундские солдаты,
"Семерки", "Тройки", "Румчерод",
И "Центрослух", и "Центрофлот",
Полки одесских анархистов:
И анархистов-коммунистов,
И анархистов-террористов, —
Социалистов из громил.
В те дни понятья так смешались,
Что Господа буржуй молил,
Чтобы Совет их охранил,
Чтобы у власти продержались
Остатки большевицких сил...

Положение было у нас настолько парадоксальное, что советская власть в городе была крайне правой партией поряд-

ка. Во главе Совета стоял портовый рабочий – зверь зверем, – но когда пьяные матросы с "Фидониси" потребовали устройства немедленной резни буржуев, он нашел для них слово, исполненное неожиданной государственной мудрости: "Здесь буржуи мои, и никому чужим их резать не позволю", установив на этот вопрос совершенно правильную хозяйственно-экономическую точку зрения. И едва ли не благодаря этой удачной формуле Феодосия избегла своей Варфоломеевской ночи.

В те дни в Феодосию прибыло турецкое посольство и привезло с собою тяжелораненных военнопленных. Совет устроил банкет – не военнопленным, умиравшим от голода, а турецкому посольству. Произносились политические речи, один за другим вставали ораторы и говорили:

"Передайте турецкому пролетариату и вашей молодежи... Социальная республика. . . Да здравствует Третий интернационал!"

После каждой речи вставал почтенный турок в мундире, увешанном орденами, и вежливо отвечал одними и теми же словами:

"Мы видим, слышим, понимаем. . . и обо всем, что видели и слышали, с отменным чувством передадим Его Величеству – Султану".

Между тем борьба с анархистами шла довольно успешно, и однажды феодосийцы могли прочесть на стенах трогательное воззвание:

"Товарищи! анархия в опасности: спасайте анархию". Но на следующий же день на тех же местах висело уже мирное объявление: "Революционные танц-классы для пролетариата. Со спиртными напитками". Анархия была раздавлена. Но помню еще одну запоздалую партию анархистов, прибывшую из Одессы, уже занятой немцами. Они выстроились на площади с огромным черным знаменем, на котором было написано: "Анархисты-Террористы". Вид они имели грозный, вооружены до зубов, каждый с двумя винтовками, с ручными гранатами у пояса. Одна знакомая, по какой-то совершенно непонятной интуиции, подошла к правофланговому и спросила: "Sind Sie Deutsche?" – "O, ja, ja! Wir sind die Freunde!"

Через несколько дней германские войска заняли город.

Таковы были комические и бытовые гримасы тех дней, но они только углубляли трагические впечатления и патетические переживания тех дней, которые я старался передать в стихотворении *"Молитва о городе"*.

Среди тех, чью руку хотелось удержать тогда, выделялись два типа, которые оба уже отошли теперь в историческое прошлое, это тип Красногвардейца и тип Матроса. Личины их я зарисовал позже, уже в 19 году, при втором нашествии большевиков, но наблюдены и задуманы они были тою весной. *"Красногвардеец", "Матрос", "Спекулянт", "На вокзале"*.

И вот, несмотря на все отчаяние и ужас, которыми были проникнуты те месяцы, в душе продолжала жить вера в будущее России, в ее предназначенность. *"Из бездны", "Родина"*.

Память невольно искала аналогий судьбам России в истории падений и разрушений других империй и останавливалась, конечно, на Риме. В половине шестого века, одного из самых темных и печальных веков, которые переживало человечество, был один изумительный по смыслу и значению момент. Рим, уже не однажды разграбленный варварами, но еще сохранивший нетронутыми свои стены, здания и храмы, был на сорок дней совершенно оставлен своим народонаселением. Это было после вторичного взятия Рима готским королем Аттилой. Это было моментом перелома истории Рима. До этого он управлялся последними остатками сенаторских фамилий. Во время этого бегства они исчезают бесследно, и когда население Рима возвращается на свои пепелища, то власть естественно переходит в руки римского епископа — папы. Эти сорок дней безлюдья и запустенья отделяют императорский Рим от Рима папского, который постепенно вырастает из развалин и вновь подымается до мирового владычества, на этот раз духовного.

Избрание Патриарха в октябрьские дни в Москве, когда окончательно были смыты и унесены последние остатки царской власти, невольно приводило сознание к этой исторической аналогии и внушило идею стихотворения *"Преосуществление"*.

В русской революции прежде всего поражает ее нелепость: социальная революция, претендующая на всемирное значение, разражается прежде всего и с наибольшей силой в той стране, где нет никаких причин для ее возникновения: в стране, где нет ни капитализма, ни рабочего класса.

Потому что нельзя считать капиталистической страну, занимающую одну шестую всей суши земного шара, торговый оборот которой мог бы свободно уместиться, даже в годы расцвета ее промышленности, в кармане любого американского мильярдера.

Рабочий же класс, если он у нас и существовал в зачаточном состоянии, то с началом революции он перестал существовать совершенно, т. к. всякая фабричная промышленность у нас прекратилась.

Точно так же и земельного вопроса не может существовать в стране, которая обладает самым редким населением на земном шаре и самой обширной земельной территорией. Совершенно явно, что тут дело идет вовсе не об переделе земель, а об нормальной колонизации великой русской и великой сибирской низменности, колонизации, которая идет уже в течение тысячелетья, которой исчерпывается вся русская история и которую нельзя разрешить одним росчерком пера и указом о конфискации помещичьих земель. С другой стороны, дело идет о переведении сельского хозяйства на более высокую интенсивную степень культуры, что тоже неразрешимо революционным путем.

В России нет ни аграрного вопроса, ни буржуазии, ни пролетариата в точном смысле этих понятий. Между тем именно у нас борьба между этими несуществующими величинами достигает высшей степени напряженности и ожесточения.

На наших глазах совершается великий исторический абсурд. Но. . . Credo quia absurdum! В этом абсурде мы находим указание на провиденциальные пути России.

Темны и неисповедимы
Твои последние пути
И не допустят с них сойти
Сторожевые серафимы.

Социальная революция грозит Европе, а не нам. В Европе столетиями подготовлены горючие и взрывчатые материалы для катастрофы. Из нее нет выхода, и она может окончиться полной и безвозвратной гибелью всей европейской культуры.

В психологическом отношении Россия представляет собою единственный выход из того тупика, который окончательно определился и замкнулся во время европейской войны.

Как повальные болезни – оспа, дифтерит, холера – предотвращаются или ослабляются предохранительными прививками, так Россия – социально наиболее здоровая из европейских стран – совершает в настоящий момент жертвенный подвиг, принимая на себя примерное заболевание социальной революцией, чтобы, переболев ее, выработать иммунитет и предотвратить смертельный кризис болезни в Европе. Этот кризис, вероятно, наступит там очень скоро, будет ужасен, но благодаря России европейская культура быть может переживет его благополучно.

С Россией произошло то же, что происходило с католическими святыми, которые переживали крестные муки Христа с такою полнотою веры, что сами удостаивались получить знаки распятия на руках и на ногах. Россия в лице своей революционной интеллигенции с такой полнотой религиозного чувства созерцала социальные язвы и будущую революцию Европы, что, сама не будучи распята, приняла своею плотью стигмы социальной революции. Русская революция – это исключительно нервно-религиозное заболевание. *"Русская Революция".*

Мы вправе рассматривать совершающуюся революцию как одно из глубочайших указаний о судьбе России и об ее всемирном служении.

Особая предназначенность России подтверждается также той охраняющей силой, которая бдит над нею в самые тяжелые эпохи ее истории, и спасает ее вопреки ее собственным намерениям и устремлениям.

Лишь только чужеземная рука касается ее жизненных средоточий, немедленно рождается неожиданный ответный удар, который редко исходит из сознательной воли самого

народа, а является разрядом каких-то стихийных, охраняющих ее сил. Татары, поляки, Карл XII, Наполеон — все в свое время испытывали его. Так те, кто прикасался к библейскому Ковчегу Завета, бывали поражены ударом молнии.

Последней испытала его Германия. Большевизм под этим углом зрения является нервным разрядом, защитившим Россию от германского завоевания. Явление тем более поразительное и грозное, что Германия сама совершенно сознательно ввела эти трихины в организм Русской Империи.

Россия с изумительной приспособляемостью вынашивает в себе смертельные эссенции ядов, бактерий и молний. Союзники поступают благоразумно, когда остерегаются вмешиваться во внутренние дела России и не хотят принимать активного участия в нашей гражданской войне. Англичане в тысячу раз правы, когда, боясь прикоснуться к нам, протягивают нам пищу и припасы на конце шеста, как прокаженным.

Я был в прошлом году в Одессе, когда французы, неосторожно прикоснувшись к больному органу, немедленно почувствовали признаки заразы в своем теле и принуждены были позорно бежать, нарушая все свои обещания, кидая снаряды, танки, амуницию, припасы, и потом долго лечились, выжигая и вырезая зараженные места.

В эти дни сложились стихи, которые хотелось им крикнуть, как предупреждение — *"Неопалимая Купина"*.

Русская жизнь и государственность сплавлены из непримиримых противоречий: с одной стороны, безграничная, анархическая свобода личности и духа, выражающаяся во всем строе ее совести, мысли и жизни; с другой же, необходимость в крепком железном обруче, который мог бы сдержать весь сложный конгломерат земель, племен, царств, захваченных географическим распространением Империи.

С одной стороны — Толстой, Кропоткин, Бакунин, с другой — Грозный, Петр, Аракчеев.

Ни от того, ни от другого Россия не должна и не может отказаться. Анархическая свобода совести ей необходима для разрешения тех социально-моральных задач, без ответа на которые погибнет вся европейская культура; империя

же ей необходима и как щит, прикрывающий Европу от азиатской угрозы, и как крепкие огнеупорные стены тигля, в котором происходят взрывчатые реакции ее совести, обладающие страшной разрушительной силой.

Равнодействующей этих двух сил для России было самодержавие. Первый политический акт русского народа – призвание варягов – символически определяет всю историю русской государственности: для сохранения своей внутренней свободы народ отказывается от политических прав в пользу приглашенных со стороны наемных правителей, оставляя за собой право критики и невмешательства.

Все формы народоправства создают в частной жизни тяжелый и подробный контроль общества над каждым отдельным его членом, который совершенно несовместим с русским анархическим индивидуализмом. При монархии Россия пользовалась той политикой свободы частной жизни, которой не знала ни одна из европейских стран. Потому что политическая свобода всегда возмещается ущербом личной свободы – связанностью партийной и общественной.

При старом режиме запрещенным древом познания добра и зла была политика. Теперь, за время революции пресытившись вкусом этого вожделенного плода, мы должны сознаться, что нам не столько нужна свобода политических действий, сколько свобода от политических действий. Это мы показали наглядно, предоставляя во время революции все более ответственные посты и видные места представителям других рас, государственно связанных с нами, но обладающих иным политическим темпераментом.

Поэтому нам нечего пенять на евреев, которые как народ, более нас склонный к политической суете, заняли и будут занимать первенствующее положение в русской государственной смуте и в социальных экспериментах, которым будет подвергаться Россия.

Насколько путь самодержавия является естественным уклоном государственного порядка России, видно на примере большевиков. Являясь носителями социалистической идеологии и борцами за крайнюю коммунистическую программу, они

прежде всего постарались ускорить падение России в ту пропасть, над которой она уже висела. Это им удалось, и они остались господами положения. Тогда, обернувшись сами против тех анархических сил, которыми они пользовались до тех пор, они стали строить коммунистическое государство.

Но только лишь они принялись за созидательную работу, как против их воли, против собственной идеологии и программы, их шаги стали совпадать со следами, оставленными самодержавием, и новые стены, ими возводимые, совпали с только что разрушенными стенами низвергнутой империи. Советская власть, утвердившись в Кремле, сразу стала государственной и строительной: выборное начало уступило место централизации, социалисты стали чиновниками, канцелярское бумагопроизводство удесятерилось, взятки и подкупность возросли в сотни раз, рабочие забастовки были объявлены государственным мятежом, и стачечников стали беспощадно расстреливать, на что далеко не всегда решалось царское правительство, армия была восстановлена, и в связи с этим наметились исконные пути московских царей – собирателей Земли Русской, причем принципы Интернационала и воззвания к объединению пролетариата всех стран начали служить только к более легкому объединению расслоившихся областей Русской Империи.

Внутреннее сродство теперешнего большевизма с революционным русским самодержавием разительно. Так же, как Петр, они мечтают перебросить Россию через несколько веков вперед, так же, как Петр, они хотят создать ей новую душу хирургическим путем, так же, как Петр, цивилизуют ее казнями и пытками: между Преображенским Приказом и Тайной Канцелярией и Чрезвычайной Комиссией нет никакой существенной разницы. Отбросив революционную терминологию и официальные лозунги, уже ставшие такими же стертыми и пустыми, как "самодержавие, православие и народность" недавнего прошлого, по одним фактам и мероприятиям мы не сможем дать себе отчета, в каком веке и при каком режиме мы живем.

Это сходство говорит не только о государственной гибкости советской власти, но и об неизбежности государственных

путей России, о том ужасе, который представляла собою русская история во все века. Сквозь дыбу и застенки, сквозь молодецкую работу заплечных мастеров, сквозь хирургические опыты гениальных операторов выносили мы свою веру в конечное преображение земного царства, в церковь, во взыскуемый град Божий, в наш сказочный Китеж – в Град Невидимый – скрытый от татар, выявленный в озерных отражениях.

Воистину вся Русь – это Неопалимая Купина, горящая и не сгорающая сквозь все века своей мученической истории. *"Китеж"*.

Пламя, в котором мы горим сейчас, – это пламя гражданской войны. Кто они – эти беспощадно борющиеся враги? Пролетарии и буржуи? Но мы знаем, что это только маскарадные псевдонимы, под которыми ничего не скрывается. Каковы же их подлинные имена? Что разделило их? На это я пытался дать ответ в стихотворении *"Гражданская война"*.

Молитва поэта во время гражданской войны может быть только за тех и за других: когда дети единой матери убивают друг друга, надо быть с матерью, а не с одним из братьев.

Первоначальный и основной знак братства – это братство Каина и Авеля. Братоубийство лежит в самой сущности братства и является следствием ревности к Богу, ревности к своей правде. Ведь то, что проявляется войною и ненавистью здесь на земле, с духовной перспективы является высшим слиянием.

Мир строится на равновесиях. Две дуги одного свода, падая одна на другую, образуют несокрушимый упор. Две правды, два принципа, две партии, противопоставленные друг другу в устойчивом равновесии, дают точку опоры для всего здания. Полное поражение и гибель одной из партий грозит провалом и разрушением всему зданию.

Гражданская война говорит только о том, что своды русского царства строятся высоко и крепко, но что точка взаимной опоры еще не найдена. Вспомним, как вдохновенные до дерзости своды храма Святой Софии трижды рушились, прежде чем их удалось связать наверху, но раз связанные они стоят века, несмотря на все землетрясения, потрясавшие Царьград.

Один из обычных оптических обманов людей безумных

политикой в том, что они думают, что от победы той или иной стороны зависит будущее. На самом же деле будущее никогда не зависит от победы принципа, т. к. партии, сами того не замечая, в пылу борьбы обмениваются лозунгами и программами, как Гамлет во время дуэли обменивается шпагой с Лаэртом. Борьба уподобляет противников друг другу, согласно основному логическому закону тождества противоположностей.

Большевики принимают от добровольцев лозунг "За единую Россию" и в случае своей победы поведут ее к единодержавию. В случае военной победы добровольцев, России все же придется изжить большевизм до последнего волокна.

Большевизм нельзя победить одной силой оружия, от бесноватости нельзя исцелиться путем хирургическим. Если Москва и Петербург будут завоеваны – он уйдет внутрь – в подполье. Раздавленный силой, он будет принимать только новые формы, вспыхивать в новом месте и с новой силой.

Великая русская равнина – исконная страна бесноватости. Отсюда в древности шли в Грецию оргические культы и Дионисические исступления; здесь с незапамятных времен бродит хмель безумия.

Свойство бесов – дробление и множественность.

"Имя мне – легион!" – отвечает бес на вопрос об имени. Изгнанный из одного одержимого, бес становится множеством, населяет целое свиное стадо, а стадо увлекает пастухов вместе с собою в бездну.

Перегонять бесов из человека в свинью, из свиньи в бездну, из бездны опять в человека – это значит только способствовать бесовскому коловращению, вьюжной метели, заметающей Русскую землю. *"Русь глухонемая"*.

Какое же конкретное историческое будущее ожидает Россию независимо от исхода борьбы раздирающих ее партий?

Это будущее определяется не внутренними, а внешними обстоятельствами.

С половины XV века судьбы Восточной Европы определялись нависшей над христианским миром угрозой Турецкой опасности. Возникновение Турецкой империи создало на востоке два щита: Австрию и Россию.

Эти два конгломерата стран и народов сплавились ее огнем.

Первое осознание своей политической миссии возникло в Москве немедленно после падения Византии, и Русь Ивана III, только что высвободившаяся из-под татарского ига, без всякого перерыва начала готовиться к пятивековой перемежающейся борьбе с Турцией, наметив себе целью Царьград и проливы.

То, что сила, сцепившая разнокалиберную лоскутную империю Габсбургов в единое целое, лежала только в Турецкой опасности, видно из того, что Австрия окончила свое существование не только в один год, но в один месяц с Турцией.

Факт падения Турции сопровождался в России тем же расцеплением государственных областей, что и в Австрии: самостийность Украины, отделение Грузии, двух стран – последних, которые мусульманская угроза толкнула отдаться добровольно под защиту России, – является характерным симптомом этого же порядка.

Австрия распалась безвозвратно, а если у нас есть надежда на то, что самостийность русских окраин будет преодолена, то потому только, что перед Европой встает на Дальнем Востоке, древней исторической угрозой, призрак монгольской опасности, который потребует новой имперской спайки племен, населяющих великую русскую равнину и Сибирь.

На этом основывается наше предположение, что Россия будет единой и останется монархической, несмотря на теперешнюю "социалистическую революцию". Им ничто по существу не мешает ужиться вместе.

Социализм тщетно ищет точки опоры, чтобы перевернуть современный мир. Теоретически он ее хотел найти во всеобщей забастовке и в неугасимой революции. Но и то и другое не скала, а трясина, и то и другое – анархия, а социализм сгущенно государственен по своему существу. Он неизбежной логикой вещей будет приведен к тому, что станет искать ее в диктатуре, а после в цезаризме. Более смелые теоретики социализма поняли уже это. Так Жорж Сорель, автор Essais sur la Violence, продвинувшись еще левее синдикалистов, стал роялистом. Монархия с социальной программой отнюдь не есть абсурд. Это политика Цезаря и Наполеона III. Прудон, поддерживая

последнего в первые годы империи, был логичен как всегда. Все очень широкие демократические движения, ведущиеся в имперском и мировом масштабе, неизбежно ведут к цезаризму. Для русского же самодержавия, только временно забывшего революционные традиции Петра, отнюдь не будет неприемлема самая крайняя социалистическая программа. Я думаю, что тяжелая и кровавая судьба России на путях к Граду-Невидимому проведет ее еще и сквозь социал-монархизм, который и станет ключом свода, возводимого теперешней гражданской войной.

Эти пути представляются мне неизбежными для России северной, простирающейся от Петербурга до Байкала. Но я далеко не уверен, что южная Россия последует за нею, ибо предвижу возможное разделение их путей.

Мирная конференция мелко искромсала всю среднюю Европу на небольшие национальные государства вопреки исторической логике и законам экономического сцепления. Этим она конечно только подготовила материал для будущих имперских образований и размельчила пищу для грядущего завоевателя царств.

Славянским государствам, образовавшимся на развалинах Австрийской и Русской империй, рано или поздно придется соединиться под угрозой германской опасности. Мне представляется возможным образование Славии – славянской южной империи, в которую, вероятно, будут втянуты и балканские государства, и области южной России.

Славию я предполагаю республиканской и федеративной, по крайней мере в начале, т. к. отдельным государствам будет легче объединиться на этой почве. Славия будет тяготеть к Константинополю и проливам и стремиться занять место Византийской империи.

Невольно напрашивается аналогия между средневековой Германской Священной Римской империей и этой будущей славянской восточно-византийской федерацией.

Византия – это пол Европы. Славянство может родиться только через проливы. Эту мысль я пытался развить в стихотворении *"Европа"*.

Несмотря на мои заявления об аполитичности моих стихотворений и моего подхода к современности, я не сомневаюсь, что у моих слушателей возникает любопытствующий вопрос: "А все-таки. . . А все-таки, чего же хочется самому поэту: социализма, монархии, республики?" И я уверен, что люди добровольческой ориентации уже решили в душе, что я скрытый большевик, т. к. говорю о государственном строительстве в Советской России и предполагаю ее завоевательные успехи, а люди социалистически настроенные, что я – монархист, т. к. предсказываю возвращение России к самодержавию. Но я действительно ни то, ни другое. Даже не социал-монархист, которых я предсказывал только что.

Мой единственный идеал – это Град Божий. Но он находится не только за гранью политики и социологии, но даже за гранью времен. Путь к нему – вся крестная, страстная история человечества.

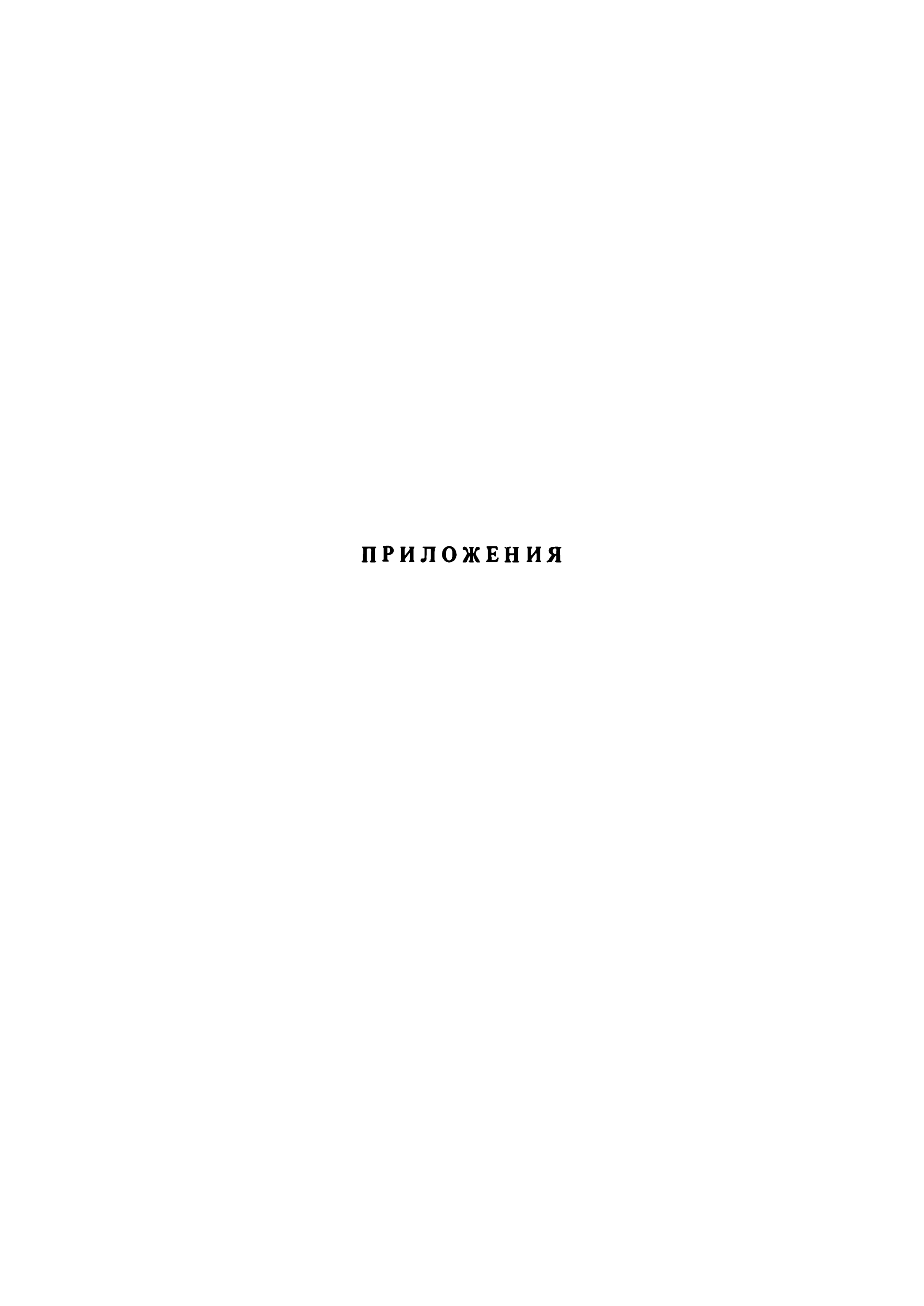
Я не могу иметь политических идеалов потому, что они всегда стремятся к наивозможному земному благополучию и комфорту. Я же могу желать своему народу только пути правильного и прямого, точно соответствующего его исторической, всечеловеческой миссии. И заранее знаю, что этот путь – путь страдания и мученичества. Что мне до того, будет ли он вести через монархию, социалистический строй или через капитализм – все это только различные виды пламени, проходя через которые перегорает и очищается человеческий дух.

Я равно приветствую и революцию, и реакцию, и коммунизм, и самодержавие, так же, как епископ Турский, Святой Лу, приветствовал Аттилу: "Да будет благословен твой приход, Бич Бога, Которому я служу, и не мне останавливать тебя!"

Поэтому я могу быть только глубоко благодарен судьбе, которая удостоила меня жить, мыслить и писать в эти страшные времена, нами переживаемые.

А над моей размыканной и окровавленной родиной я могу произнести только одну молитву: это *"Заклятие о Русской Земле"*.

Максимилиан Волошин
Коктебель, 17 мая 1920 г.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРВЫЕ РЕДАКЦИИ
НЕКОТОРЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

Я – Вечный Жид. Мне люди – братья.
Мне близки небо и земля.
Благословенное проклятье!
Благословенные поля!
Туда – за грань, к пределам сказки!..
Лучи, и песни, и цветы...
В полях люблю я только краски,
А в людях только бред мечты.
И мир, как море пред зарею,
И я иду по лону вод,
И подо мной и надо мною
Трепещет звездный небосвод...

1902

ЛУНА

Бальмонту

Седой кристалл магических заклятий,
Хрустальный труп в покровах тишины,
Алмаз ночей, владычица зачатий,
Царица вод, любовница волны!

С какой тоской из водной глубины
К тебе растут, сквозь мглу моих распятий –
К Диане бледной, к яростной Гекате,
Змеиные, непрожитые сны!

И сладостен и жутко безотраден
Алмазный бред морщин твоих и впадин,
Твоих морей блестящая слюда –

Как страстный вопль в бесстрастности эфира...
Ты крик тоски, застывший глыбой льда,
Ты мертвый лик отвергнутого мира!

1907

Плывущий за руном по хлябям диких вод
И в землю сеющий драконьи зубы, вскоре
Увидит в бороздах не озими, а всход
Гигантов борющихся... Горе!

И был повергнут я судьбой
В кипящий горн страстей народных, –
В сей град, что горькою звездой
Упал на узел токов водных.

1915



ПРИМЕЧАНИЯ

Это издание, являющееся наиболее полным собранием стихотворений и поэм М. А. Волошина из всех, до сих пор вышедших в свет, не претендует, понятно, на исчерпывающую полноту. Нам остались недоступны не только весьма многие из неопубликованных стихов поэта (особенно юношеских), но и ряд стихов, опубликованных в провинциальных повременных изданиях (например, неоконченная поэма "XX век", напечатанная в январе 1901 в ташкентской газете "Русский Туркестан"). Все же благодаря неоценимой помощи ряда благожелательно отнесшихся к нашему изданию друзей поэзии М. А. Волошина, как у нас на родине, так и за ее рубежами, нам удалось собрать и очень многое из неопубликованного, и наше издание, надеемся, явится первым и основополагающим опытом собирания воедино поэтического творчества М. А. Волошина и поможет будущим исследователям и издателям поэта.

Почти все тексты стихов и поэм проверены дружески отнесшимися к нашему изданию по рукописям поэта. Важнейшие разночтения и варианты приводятся нами в примечаниях. Мы не приводим, конечно, многочисленных опечаток или произвольных искажений и сокращений текста, имеющихся в ряде изданий стихов М. А. Волошина, публиковавшихся нередко без его согласия и даже без его ведома ("Стихи о терроре", Берлин 1923; "Усобица", Львов, 1923; большинство публикаций в зарубежной русской прессе), или самоуправно редактировавшихся в отсутствие автора (напр., "Иверни", 1918, в которых редактор, Н. С. Клестов-Ангарский, не только допустил при корректуре самовольное изменение порядка строк, но и соединил, скажем, безбожно сокращенные "Письмо" и "Второе письмо" в одно стихотворение...).

Волошин рассматривал книги своих стихов отнюдь не как некое случайное, механическое объединение стихотворений и поэм, связанных друг с другом, в лучшем случае, лишь временем их написания. Для него каждая книга была единым целым, единым организмом, и деление ее на циклы было тоже органическим, отнюдь не произвольным. Тематические разделы эти постоянно менялись автором, и он переносил ряд своих произведений из раздела в раздел. Однако основное деление на книги и циклы оставалось из года в год неизменным, и лишь изменялось "прикрепление" того или другого стихотворения к тому или другому разделу и циклу. Мы приняли расположение стихов и поэм более или менее в том порядке, какой принят был поэтом в последние годы жизни – и какой уже был зафиксирован в то время, когда писалась первая работа о поэте – "Писательская судьба Максимилиана Волошина" Евгения Ланна, Москва, 1926 (см. стр. 219 и след.). В примечаниях Л. А. Евстигнеевой в "Стихотворениях" М. Волошина (малая серия "Библиотеки Поэта", Ленинград, 1977) говорится, что "перегруппировки циклов были связаны в первую очередь с творческой эволюцией Волошина, изменением его эстетических и философ-

ских взглядов. В неопубликованном предисловии к сборнику "Иверни" ("Предварение") поэт так объяснил внутреннюю связь разделов книги: "Лирическое средоточие этой книги – странствие. Человек – странник: по земле, по звездам, по вселенным. Человеческий дух древнее, чем земля и звезды... Вначале странник отдается чисто импрессионистическим впечатлениям внешнего мира ("Странствия", "Париж"), переходит потом к более глубокому и горькому чувству матери-земли ("Киммерия"), проходит сквозь испытание стихией воды ("Любовь", "Облики"), познает огонь внутреннего мира ("Блуждания") и пожары мира внешнего ("Армагеддон"), и этот путь завершается "Двойным венком", висящим в междузвездном эфире. Таков психологический чертеж этого пути, проходящего сквозь испытания стихиями: землей, водой, огнем и воздухом". Соответственно "Иверни" делились на восемь разделов, упомянутых Волошиным." (стр. 377–378).

Таким образом, в основе деления произведений Волошина на книги и разделы лежал строго выработанный идейно-художественный план, и отказ от этого плана, из-за частичного переименования отдельных его разделов и частичного перемещения стихов из раздела в раздел – в пользу расположения стихов и поэм в хронологическом порядке (как это сделала редакция "Библиотеки Поэта"), – есть не только нарушение воли поэта, но и искажение всего замысла, всего основного направления его творчества.

Этот замысел, замысел "испытания стихиями – землей, водой, огнем и воздухом" – странника-человека в его пути "к седьмому небу", и лежит в основе распределения стихов поэта по разделам. Часто этот замысел объясняли принадлежностью Волошина к антропософскому движению (об этом – много во вступ. статье Э. М. Райса к нашему изданию). Так, покойный поэт-антропософ Дм. И. Кленовский, хорошо знавший Волошина, писал: "... Он был сознательным и последовательным антропософом. Волошин был лично знаком с Рудольфом Штейнером и даже жил одно время в мировом центре антропософского движения – Дорнахе (Швейцария), где работал над постройкой так называемого Гетеанума. . . . Многие стихи на оккультные темы... являются просто недоступными для читателя, незнакомого с оккультным миропониманием" (Дм. Кленовский. Оккультные мотивы в русской поэзии нашего века". "Грани", № 20, 1953, стр. 133–134, 136). И, еще в начале творческого пути Волошина, в более затуманенном виде писал о нем один из основателей русского антропософского движения, Б. А. Леман (литературный псевдоним – Борис Дикс): "Есть души, обреченные одиночеству. Души, приносящие с собой тайну воспоминаний, тайну далеких грез иных, полузабытых существований. И, приближаясь к ним, мы смутно сознаем, что они лишь проходят среди нас, молчаливые и удивленные, не сливаясь с нашей жизнью. . . . Эта далекая правда, это чувство одиноких исканий становятся мучительно

понятными в стихотворениях Максимилиана Волошина. Откуда пришел он? Почему его слова так странно знакомы? – спрашиваем мы и потом долго молчим, охваченные загадочными видениями его поэзии..." (Б. Дикс, в кн.: "Книга о русских поэтах последнего десятилетия", под ред. Мод. Гофмана, СПб–М, 1907, стр. 367). "Какой внутренний опыт выковал своеобразие волошинской поэзии с ее прожилками оккультных и древних идей, не отторжимых от самого в ней интимного??" – спрашивает хорошо знавшая поэта Евгения Герцык ("Воспоминания", Париж, 1973, стр. 89). И рассказывает о том, как Волошин "с легкостью переходил . . . на широкие исторические обобщения". Вот, только что отгремели выстрелы 9 января, только недавно были и декабрьские революционные дни 1905 года в Москве... "Революция, – говорит Волошин, – революция – пароксизм чувства справедливости. Революция – дыхание тела народа... И знаете, – Волошин оживляется, переходя на милую ему почву Франции, – 89-й год, или, вернее, казнь Людовика – корнями в XIV веке, когда происками папы и короля сожжен был в Париже великий магистр Ордена Тамплиеров – Яков Молэ, – этот могущественный орден замышлял социальные преобразования, от него же и принципы, и т. д. И вот во Франции пульсация возмездия, все революционное всегда связано с именем Якова: крестьянские жакерии, якобинцы"... Исторический анекдот, остроумное сопоставление, оккультная догадка – так всегда строил мысль Волошин и в те давние годы, и позже, в зрелые. Что ж – и на этом пути случаются находки. Вся эта французская пестрядь, рухнувшая на нас, только на первый взгляд мозаична – угадывается в ней свой, ничем не подсказанный Волошину опыт". (там же, стр. 79). Да, отнюдь не только несомненно присущие поэзии Волошина антропософские элементы, но и средневековые ордена и ересиархи, но и увлечение "Эннеадами" Плотина (об этом свидетельствует и Е. Герцык), и, конечно, масонство, с которым соприкоснулся Волошин в Париже. Ведь когда вы читаете об этом прохождении человеком-странником в его духовно-материальном бытийном пути через испытания землей и водой, огнем и воздухом – в цитированном выше предуведомлении Волошина, – разве не вспомнятся сразу же испытания этими четырьмя стихиями принца Тамино в масонской опере Моцарта "Волшебная флейта"? Ну, буквально слово в слово с Моцартом–Шикандером...

Так или иначе, но порядок расположения стихов и поэм Волошина – отнюдь не случаен и не произволен. И мы стремимся придерживаться этого, а не хронологического порядка. Тем более, что почти во всем он совпадает с тем, какой поэт установил в своих "творческих тетрадях" последних творческих лет.

Кроме стихов и поэм, а также избранных переводов, мы включили в наше собрание поэму в прозе "Три дня" и статью "Чему учат иконы?", чрезвычайно важную для понимания колористики в мировосприятии

и поэтическом творчестве М. А. Волошина. Но не только учение о цветовой гамме Р. Штейнера повлияло на мировосприятие и творчество нашего поэта, но и близкое соприкосновение с французскими импрессионистами, но и глубокое проникновение в мир древней русской иконы.

Редакторы выражают глубокую благодарность всем лицам, оказавшим нам помощь и содействие в собирании материалов, проверке текстов и подготовке к печати этого собрания стихотворений и поэм М. А. Волошина, – Л. А. Алексеевой-Иванниковой, А. С. Беляеву, С. Л. Голлербаху, Е. Ф. Данилову, Е. В. Жиглевич, М. В. Найдану, Г. Г. Панину, Т. О. Раннит, В. А. Синкевич, А. В. Фесенко и особенно много нам помогшим – проф. Ю. П. Иваску, куратору Русского архива при Колумбийском университете Стефану Коррсину, г-же Сузен Смернов, Л. В. Тремль и известным и неизвестным нам друзьям в России.

Редакторы

Приводим список принятых нами в примечаниях сокращений – при цитировании тех или иных книг, журналов, газет и других источников.

Здесь мы даем только те сокращения, какие не учтены в предварительных замечаниях к нашей библиографии (см. том II).

Герцык – Евгения Герцык, Воспоминания. Париж, 1973.

Евст. – Примечания Л. А. Евстигнеевой в кн.: Максимилиан Волошин. Стихотворения. "Библиотека Поэта", мал. серия, Ленинград, 1977.

Купр. – И. Т. Куприянов. Судьба поэта (Личность и поэзия Максимилиана Волошина). Киев, 1978.

Купч.–Сол. – М. А. Волошин и Ф. Сологуб. Публик., вст. ст. и коммент. Вл. Купченко. "Ежегодник Рукописного Отдела Пушкинского Дома на 1974 год", Ленинград, 1976.

Купч.–Цвет. – Письма Марины Цветаевой к М. А. Волошину. Публик. В. П. Купченко. "Ежегодник Рукописн. Отд. Пушкинского Дома на 1975 год", Ленинград, 1977.

Лавр.–Купч. – И. Ф. Анненский. Письма к М. А. Волошину. Вст. ст., публик. и коммент. А. Б. Лаврова и В. П. Купченко. "Ежегодн. Рукоп. Отд. Пушкинского Дома на 1976 год", Ленинград, 1978.

Мак. – С. К. Маковский. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955.

Мак.–Парнас. – С. К. Маковский. На Парнасе Серебряного века. Мюнхен, 1962.

Хрул. – Р. П. Хрулева. Из студенческих лет М. А. Волошина. Статья и публ. писем Р. П. Хрулевой. "Ежегодник Рукоп. Отд. Пушкинского Дома на 1973 год", Ленинград, 1976.

Цвет. – Марина Цветаева. Живое о живом. В ее кн. "Проза", Нью-Йорк, 1953.

книга первая

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

Стихотворения 1900–1910

Если не считать случайного опубликования юношеского стихотворения Волошина в феодосийском сборнике памяти В. К. Виноградова в 1895 году, то первыми публикациями стихов и поэтических переводов его были публикации в ташкентской газете "Русский Туркестан" в январе 1900 и январе 1901 года. Но кто читал в России эту провинциальную газету? Поэтому поэтическим крещением Волошина были, по сути, первые публикации стихов в третьем выпуске альманаха "Северные Цветы", Москва, 1903 ("В вагоне") и в № 8 журнала "Новый Путь" – в том же 1903 году в СПб. (10 стих.) "Масса исправлений и сокращений, сделанных П. П. Перцовым", – характеризует эту последнюю публикацию Волошин. В том же "Новом Пути", в следующей же книге журнала (№9), Антон Крайний (З. Н. Гиппиус), в статье "Нужны ли стихи?" резко обрушивается на стихи Волошина: "Таковы поэты– комми-вояжеры. Во все времена были особые, "комми-вояжерские", души. Они отличались необыкновенной легкостью, пустотой воздушности, дешевизной и непереносной (тоже во все века) пошлостью. Душа комми имеет способность наряжаться во всякие одежды, извне, издали, очень современные, – и с первым прыжком их сбрасывает, запылив. Такие души встречаются и у стихосложителей – у поэтов. Да, все-таки у *поэтов*, потому что ведь и комми-вояжер – молится. Только у него свои, комми-вояжерские, молитвы, и обращены они к соответственному богу, – кажется, неизменному. Он один для всех комми-вояжеров, а потому они все, вероятно, друг друга понимают. И стихи их друг другу нужны. Укажу из множества таких поэтов на одного, очень мало известного, – но он сейчас под руками. Это – Макс Волошин. ...Так как комми-вояжерские души не редки и у читателей, то молитвы эти, конечно, нашли отклик в соответственных местах, несмотря на всю их "последнюю модность", которая хочет притвориться "современностью" и запугать. Цитировать его подпрыгивающие гимны "кастаньетам" и "стрекозиным красотам" не буду" (стр. 250–251; перепеч. в ее кн. "Литературный дневник. 1899–1907", СПб.,

1908, стр. 163–165). Краткие отзывы о стихах Волошина, данные Александром Блоком и Валерием Брюсовым, не привлекли к поэту большого внимания публики. Блок писал в статье "Литературные итоги 1907 года" ("Золотое Руно", 1909, № 11–12, стр. 95) об альманахах того же года: "В оба альманаха Федор Сологуб, Сергей Городецкий, Макс. Волошин дали не лучшие свои стихи" (Собр. соч. в 8 тт., т.5, М–Л, 1962, стр. 233). И все. И, в сущности, лишь антропософ Б. Дикс, как мы указывали выше, приветствовал Волошина: "...Одиноко стоит М. Волошин среди современных ему русских поэтов, и если вначале и можно предполагать, что кто-либо имел влияние на него, то это Верлен, Малларме и затем Верхарн. Долгое пребывание в Париже наложило отпечаток на его поэзию, и М. Волошин – единственный русский поэт, сумевший понять и передать нам сложное очарование готики и воплотить в русском стихе опьянение католицизмом, с таким искусством переданное им в цикле стихов, названных поэтом "Руанским собором". ...Строгая красота и гармоничность образов, подчас очень сложных и требующих от читателя близкого знакомства со средневековыми мистиками и современным оккультизмом" ("Книга о русских поэтах последнего десятилетия", СПб–Москва, 1907, стр. 367–368). Одобрительно отозвался о стихах Волошина и Иннокентий Анненский в статье "О современном лиризме" ("Аполлон", 1909, № 2, стр. 9–10).

Первая книга поэта – "Стихотворения. 1900–1910" – получила положительную оценку Михаила Кузмина и, что еще важнее, самого "Вячеслава Великолепного" – В. И. Иванова (обе рецензии в "Аполлоне", 1910, № 7/4, стр. 31–38 хроники). Даже невзлюбивший поэта Валерий Брюсов писал о выходе этой первой книги. "Стихи М. Волошина не столько признания души, сколько создания искусства; это – литература, но хорошая литература. У М. Волошина нет вовсе непосредственности Верлена или Бальмонта; он запоем слагает свои строфы, чтобы выразить то или иное пережитое им чувство, но его переживания дают ему материал, чтобы сделать в стихах тот или иной опыт художника. ... М. Волошин никогда не забывает о читателе и пишет лишь тогда, когда ему есть что сказать или показать читателю нового, такого, что ему еще не было сказано или испробовано в русской поэзии. Все это делает стихи М. Волошина по меньшей мере интересными. ...Книга стихов М. Волошина, до некоторой степени, напоминает собрание редкостей, сделанное любовно, просвещенным любителем-знатоком, с хорошим, развитым вкусом. ...Наконец, в третьем периоде своей деятельности, М. Волошин обратился к темам более глубоким, расширил кругозор своей поэзии, попытался ставить и разрешать в стихах некоторые философские проблемы. Но стихи всех этих периодов сделаны рукой настоящего мастера, любящего стих и слово, иногда их безжалостно ломающего, но именно так, как не знает к алмазу жалости гранящий его ювелир" ("Русская Мысль", 1910, № 5, стр. 127–128; перепеч.:

Собр. соч. в 7 тт., т. 6, Москва, 1975, стр. 341–342). Вообще отзывы были тепло-хладны. Волошин – не свой, он не пришелся "ко двору": "... на ретине памяти сохранилось, – пишет о читателях Волошина его первый биограф – Евгений Ланн, – не только необычное и громоздкое имя автора, но и "воображаемый портрет" его – парадоксальное, слегка эпатирующее его "лицо", всегда смелое, всегда свежее и самостоятельное – прекрасный выходец из чужой нам французской культуры. Столь же парадоксальной предстанет и судьба Волошина, когда станем проверять удельный вес его имени на отношении писателей-профессионалов. Горько могут звучать слова поэта: "Вся моя литературная деятельность была не открытием дверей, а закрытием". ...Крепкое звено нашей культурной связи с Францией..." (Евг. Ланн. Писательская судьба Максимилиана Волошина. М., 1926, стр. 8).

Таким – русским французом – и представлялся тогдашний Волошин современникам: "...спец литературы, настоянный на галльском духе, ценитель Реми-де-Гурмона, Клоделя, знакомый М.М. Ковалевского, свой "скорпионам" (символистское издательство, БФ), и свой – радикалам, – обхаживал тех и других; если Брюсов, Бальмонт оскорбляли вкус, то Волошин умел стать на сторону их в очень умных, отточенных, неоскорбительных, вежливых формах; те были – колючие. он же – сама борода, доброта, – умел мягко, с достоинством сглаживать противоречия; ловко парируя чуждые мнения, вежливо он противопоставлял им свое: проходил через строй чуждых мнений собою самим, не толкаясь... Всей статью своих появлений в Москве заявлял, что он – мост между демократической Францией, новым течением в искусстве, богемой квартала Латинского и – нашей левой общественностью... "Кто он такой?" – "Парижанин?" – "Вот дядя-то!" ...Если б Волошин в те дни умерил свое поварское искусство в подаче стихов, он во многом бы выиграл; а то иные умаляли значенье его стихов, пока печатные книги не выпрямили впечатленье, что интерпретатор Волошин – настоящий поэт; он и в поэзии модернистической скоро занял почетное место" (Андрей Белый. Начало века. М–Л, 1933, стр. 226, 227, 228). "Не знаю, – пишет хорошо знавшая Волошина Евгения Герцык, – может быть говорит во мне пристрастие, но мне кажется, что в его стихах 7-го года больше лиризма, меньше, чем обычно, назойливого мудрования, меньше фанфар. В кругах символистов недолюбливали его поэзию: все сделано складно, но чего-то чересчур, чего-то не хватает..." (Герцык, стр. 78). Поэт и художник, – он был чужим и русским деятелям "Мира Искусства", хотя и участвовал в их выставках. "Его стихи не внушали того доверия, без которого не может быть подлинного восторга, – писал о нем "идеолог" "Мира Искусства" Александр Бенуа. – Я "не совсем верил" ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли... Но влекло его к этим восхождениям совершенно есте-

ственно, и именно слова его влекли. ... Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе. ... Близорукий взор, прикрытый пенснэ, странно нарушал все его "звероподобие", сообщая ему что-то растерянное и беспомощное.., что-то необычайно-милое, подкупающее..." (Бенуа, некролог и воспоминания о Волошине в парижских "Последних Новостях" 1932).

И даже – в общем одобрительно отозвавшийся на книгу Волошина – его друг в те годы, Вячеслав Иванов, в своей рецензии оговорился: "Волошин – поэт большого дарования и своеобразных, горьких чар; но он еще не утвердился как самобытный поэт. ...есть высокие достижения, но нет образцов; изумительные синтетические копии: но недостает прекрасных оригиналов: слишком трудные стремится он разрешить и слишком ответственные задачи! ...Любители поэзии и исследователи путей современной души будут радоваться существованию этой сгущенной и насыщенной идеалистическим опытом книги; но не должно желать, чтобы она влияла на творчество молодых наших поэтов". ("Аполлон", 1910, № 7, стр. 38 хроники). Волошин откликнулся на эту рецензию из Коктебеля. 17 мая он пишет В. И. Иванову: "Твое предостережение от моей поэзии я бы принял, если бы оно не было голословно. Такие слова требуют точных указаний, анализа и комментария" ... "В упреках Волошина, – пишет О. Дешарт, – слышится ...не столько обида на отзыв, сколько отзвук каких-то существенных споров, больших идеологических расхождений. Так оно и было: Волошин в ту пору все больше и больше увлекался антропософией.., а В. И. учение Рудольфа Штейнера горячо отвергал. Но вопреки всему Волошин не сомневается, что В. И. его понимает как никто, а В. И. продолжает Максимилиана любить и ценить, свидетельством чему является посвящение ему в 1911 г. поэмы "Сон Мелампа"... ...После 1912 г. друзья встречались редко, мельком и почти ничего друг о друге не знали". (Вяч. Иванов. Сочинения. Том II, Брюссель, 1974, стр. 715–716).

Тексты первой книги стихов Волошина в нашем собрании взяты из экземпляра "Стихотворений 1900–1910", изд. "Гриф", М, 1910, с внесением в ряде случаев изменений и дополнений по позднейшим публикациям тех же стихов (и с проверкой ряда их по автографам, вернее, копиям с них). При этом тот экземпляр, какой был в нашем распоряжении, был с частичной авторской правкой – и принадлежал Александре Васильевне Гольштейн (ныне он находится в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне), с дарственной надписью: "Дорогой Александре Васильевне: Эта книга ровесница нашей дружбы, и большинство стихов было написано в той тетради, которую Вы мне подарили. Максимилиан Волошин. 1910. Коктебель. Март".

"Александра Васильевна Гольштейн (1850–1937), дочь швейцарца Баулера и рязанской помещицы, родилась в России. После шумных

исторических переживаний 60-х годов, она тайком перебралась заграницу, в Швейцарию, не подозревая, что Россию покидает навсегда. В Швейцарии она встретила Михаила Бакунина. Это было незадолго до его смерти. Молодая женщина подпала под влияние старого бунтаря и стала анархисткой. Только в теории и не надолго. ... Первую половину жизни она была позитивисткой, ... потом стала вдумчивой читательницей Бергсона и отличной переводчицей его книг. Ее метафизическое мироощущение дальше этого не пошло, хотя под самый конец жизни она уже иногда подходила под благословенье митрополита Евлогия... У нее бывали художники – Александр Бенуа, Лансере, Серов, поэты – Максимилиан Волошин, Вячеслав Иванов. Она всем указывала, как находить дорогу в лабиринте парижских библиотек, архивов, музеев... ...Почти одновременно со мной в орбиту Александры Васильевны втянулся Максимильян Волошин. Мы его попросту звали Максом. Он не был эмигрантом, у меня сохранилось смутное воспоминание, что он был за что-то выслан в Туркестан. Родные выхлопотали ему разрешение уехать заграницу, за что он с удовольствием ухватился. Он был вне партий и политических кружков, иногда шутливым парадоксом подчеркивая свою далекость от того, чем в "Освобождении" все кипели. Александра Васильевна одна из первых угадала талант в этом молодом, любящем почудить сумасброде, который и сам еще не знал, кто он – критик? художник? поэт? Она привязалась к нему. Под ее руководством Волошин изучал французское искусство, живопись, поэзию. После 9 января он написал несколько замечательных стихотворений о смуте. В этих стихах уже слышался голос певца русского лихолетья. Когда на Россию стали обрушиваться одна революция за другой, Волошин, живя под советской властью, ярче всех русских поэтов выразил гибельность и горечь революционного безумия. Но в 1905 г., да еще сидя в Париже, мы не умели вглядываться в страшный лик революции и слушали пророческие стихи Волошина снисходительно, порой с усмешкой. В этом отчасти был виноват сам Волошин. Он нарочно держал себя так, чтобы его нельзя было принять всерьез, выкидывал всякие штучки, баловался, забавлял себя и других. Волошин был, как Н.А. Бердяев, генеральский сын, очень благовоспитанный, с хорошими манерами, которые он сохранял даже когда потешался над людьми. О своем житье в Туркестане, куда он попал, кажется, за студенческую историю, он не говорил. Много было тем для него несравненно более интересных. Невысокий, широкоплечий, крепко сложенный, с розовым, цветущим лицом, с шапкой золотых кудрей, с окладистой золотой бородой и веселыми голубыми глазами, Волошин напоминал удалого ямщика-троечника. Свистнет, гикнет, птицей помчится по степи. Он и по Парижу всегда готов был мчаться, знакомился с французскими художниками и поэтами, добрался до Анатоля Франса и Метерлинка, самых недоступных брал приступом, подкупал широкой детской улыбкой, открывав-

шей чудесные белые зубы. Делал он это очень просто. Находил адрес, звонил в двери... и без всякой рекомендации к нему попадал. Он ни перед кем не робел и своего фантастического французского языка ничуть не стеснялся. К нему в Париж приехала мать, с которой он был очень дружен. Она тоже была чудачка, но молчаливая. Носила она мужской костюм, широкие шаровары, засунутые в голенища отлично сшитых, высоких, нарядных лакированных сапог. Тогда еще европейские франтихи ни в штанах, ни в сапогах с голенищами не щеголяли. Волошина была единственная во всем Париже. На ней была красная шелковая косоворотка и черный бархатный кафтан. Волосы были подстрижены в кружок. В таком наряде она появилась на вечере, который Александра Васильевна устроила для своих русских и французских друзей. Волошин, сияя подкупающей улыбкой, подошел с матерью к жене французского писателя и заявил: – Et ça, c'est mon mère. – Молодая француженка оторопела и с отчаянием посмотрела на меня. Мать Волошина невозмутимо молчала. Я видела по глазам француженки, что на нее напал сумасшедший смех, и поскорее отвела ее в другую комнату. Там она дала волю смеху... – Oh, mon Dieu... Et moi qui ne savais pas qu'est ce qui est sérieux – le mon ou la mère?!" (А. Тыркова-Вильямс. Тени минувшего. "Возрождение", № 34, 1954, стр. 135–136, 138–139). Знакомство Волошина с А. В. Гольштейн и ее мужем – Владимиром Августовичем Гольштейн (1849–1917), обвиненным в 1871 г. по делу Нечаева и эмигрировавшим, относится к гораздо более раннему времени, чем по воспоминаниям А. В. Тырковой. 23/10 мая 1901 г. Волошин писал матери из Парижа: "Очень интересна семья русских эмигрантов Гольдштейн, с которой я познакомился ...через Поленовых. Это бывшие друзья Бакунина" (Хрул., стр. 151). Гольштейны находились в дальнем родстве с Поленовыми (там же, стр. 152). А. В. Гольштейн, переписка с которой продолжалась, по крайней мере, до начала 1920-х гг., посвящены в первой книге поэта стихи "Старые письма" и весь раздел "Алтари в пустыне".

I. Годы странствий. Весь раздел посвящен Якову Александровичу Глотову (1877–1943), двоюродному брату поэта, с которым поэт был очень дружен всю жизнь, с которым путешествовал по Крыму.

... И мир, как море пред зарею. Впервые – "Новый Путь", 1903, № 8; в книгу Волошин включил лишь последнее четверостишие

стихотворения. Полный журнальный текст – см. Первые редакции.

Пустыня. Впервые – там же. В журн. стихотв. заканчивается еще одним четверостишием:

Жизнь – бесконечное познанье.
Возьми свой посох и иди!
И я иду – и впереди
Пустыня, ночь и звезд мерцанье...

Но в журн. публик. отсутствуют строки 12–9 (с конца стих.), начиная со строки: "Да одиноко городища" ... "Вторая часть стихотворения (стр. 34–50) записана в "Дневнике" № I, который Волошин начал вести, вернувшись из Средней Азии. Под текстом помета: "26 мая, вечер, Париж". Волошин приехал в Париж в марте 1901 г. Первая часть стих., вероятно, была создана позже. В альбоме Н. Л. Ауэр-Миклашевской она сопровождается следующим посвящением, датированным 24 февр. 1902 г.: "Если Вам это стихотворение будет напоминать наши карабканья по Монмартру, я буду спокоен, что все недостатки этих скверных стихов будут скрадываться великолепным видом". "Но мне мерещится порой" и т. д. – Волошин провел в пустыне полгода, работая на изысканиях Ташкентско-Оренбургской ж.д. ...Джюсан – степная трава" (Евст.)

В вагоне. Впервые – "Северные Цветы", альман. III, М., 1903. Разночтения: после нашей стр. 12 в альм. еще одна строка:

Ропот вечный

Строки 26–27 в альм.:

С шумом колес мои мысли сливаются,
Поезд летит, перегнать их старается...

Стр. 55 в альм.:

Веет родимою Русью...

"Я его писал ночью в вагоне между Парижем и Тулузой под стук поезда..." – сообщил Волошин А. М. Петровой 14 сент. 1901 г., вернувшись из путешествия в Андорру, Испанию и на Балеарские острова" (Евст.). Вскоре после опублик. этого стих. З. Н. Гиппиус (Антон Крайний) издевалась над ним в статье "Два зверя": "Шаловливый Макс Волошин подпрыгивает:

Прожито,–обжито,–вынуто,–выпито,
Та–та–та...та–та–та...та–та–та...та–та–то..."

(см. ее кн. "Литературный дневник. 1899–1907", СПб, 1908, стр. 101). "Его просили читать; он, читая, описывал, как он несется в вагоне – сквозь страны, года и рои воспоминаний и мнений; а стук колес – в уши бьет: "ти-та-та, ти-та-та". Мы удивлялись ритмическому перебою их: то "ти-та", то "ти-та-та"; было досадно: хорошее стихотворение он убивал поварской подачей его, как на блюде, отчего сливались достоинства строчек с достоинством произношения, так что хихикали..." (Андр. Белый. Начало века. М–Л., 1933, стр. 228). "...наш общий дневник... В нем мы должны были ежедневно по очереди вписывать или врисовывать впечатления дня путешествия. Макс начал его в первую же ночь стихотворением "В вагоне" (Е. С. Кругликова. МВХ, стр. 101).

Кастаньеты. Впервые – "Новый Путь", 1903, № 8, под назв. "Вальдемоза". Разночтения в журн. публикации:

Стр. 6: Отбивают звонкий стих...
Стр. 26: Грациозный, молодой, –
Стр. 39: И танцоры ходят в ряд,
Стр. 31: А гитары говорят

"Начато на Балеарских островах (остров Майорка), куда Волошин приехал 18 июня 1901 г., закончено в Испании. 24 июня он писал матери из Вальдемозы: "Здесь чувствуешь себя совсем как будто в XIII веке. По вечерам все крестьяне... собираются в деревенском кабачке и там идут бесконечное пенье, танцы, гитара и кастаньеты". Кругликова Елизавета Сергеевна (1865–1942) – художница, спутница Волошина в путешествии по Испании и Балеарским островам" (Евст.). Е. С. Кругликова вспоминает об этом путешествии: "... В поезде доехали до Тараскона. Когда прошли несколько километров, я легла на дорогу, говоря, что дальше не пойду. Макс взял мой рюкзак в зубы, так как сам был перегружен. Так дотащились до границы, откуда все лишнее отправили в Париж. ...Раннее утро. Впереди горы. Не веря "кратчайшим путям" Макса, я беру пастуха-проводника. Макс недоволен. Убегает вперед, не желая пользоваться им: "Сам лучше знаю, куда идти". Догнали его на вершине. Спит на снегу. Далее спуск на собственных салазках. Встреча. Два подозрительных субъекта. Страшновато, да и они, видно, испугались. Остановились. Шепчут что-то на непонятном языке. Предлагают Максу сигареты. Очевидно, контрабандисты. ...Вторая ночь была в каком-то сарае. Утром Макс уверял нас, будто его разбудил поцелуй коровы. Поздравили его с успехом... После полудня добрели до столицы

Андорры. Крошечный городок... Макс сейчас же отыскал президента республики, хозяина кабачка, и привел его к нам... Каким образом Макс сумел договориться с ним – неизвестно, так как президент ни на каком европейском языке, кроме андорро-испанского жаргона, говорить не мог. ...Пробыв в Андорре до следующего утра, тронулись дальше. Вот и граница Испании. Таможня. Макса увели куда-то. Возвращается слегка сконфуженный. Дело в том, что его толщина показалась подозрительной и ему пришлось раздеться, чтобы доказать, что она природная, а не контрабандная" (МВХ, стр. 99, 101–102). "Прежде всего, – писал Волошин матери 23/10 мая 1901, – я поеду в эту республику. ...Туда нет никакой дороги, и она замечательна уже тем, что об ней никто никогда ничего не писал. ...Затем спущусь пешком к Барцелоне и оттуда проеду на Балеарские острова" (Хрул., стр. 151). В письме к А. М. Пешковскому 18 мая 1901 он сообщал, что в Андорру он собирается ехать "с несколькими художниками, и мы предполагаем составить целое литературно-художественное описание этой неизвестной еще в Европе страны". "После посещения Андорры Волошин стал писать статью о ней. ...Статья "Андорра" не была закончена..." (Хрул., стр. 152). В своей неопублик. статье "По глухим местам Испании" Волошин так описывает Пальму, столицу Балеарских островов: "Ослепительно белый город, под ослепительно жгучим солнцем, на берегу ослепительно синего моря. Ослепительно белый... Это не совсем точно передает впечатление. Это скорее цвет только что вымытых простынь, сушащихся на солнце. Что-то не вполне сухое, немного полинялое... чуть заметные следы синьки – вероятно, отсветы моря"... (Об испанских танцах). "Начинается "болеро". Перебор струн идет все быстрее и быстрее, сухой треск кастаньет становится все ярче, все солнечнее... Откуда-то в толпе появляется еще несколько кастаньет, и кажется, что это треск нескольких сотен цикад, который повис среди застывшего полуденного зноя... ...Кастаньеты в исступлении рассыпаются на тысячи игл, на тысячи жгучих, отточенных солнечных лучей, веками копившихся в сухом стволе оливы, из груди которой их вырезали... ...Все то, что Италия поет, – Испания танцует. Она танцует всегда, она танцует везде" (В. Бабенко, Вл. Купченко. Путник по вселенным. "Литературная Армения", 1977, № 6, стр. 69–70). В письме к матери от 8 июля 1901 Волошин пишет: "Ни по каким балетам об них себе понятия составить невозможно. Я никогда не предполагал, чтобы в них могло быть столько же увлекательности, чувства и настроения, как в хорошей музыке. Если Вы сможете себе представить, как человек поет всем телом, то Вы себе представите, что такое испанский танец... ...Только на Мальорке я и видел настоящие народные танцы" (Купр., стр. 66).

Via Mala. Впервые – "Новый Путь", 1903, № 8, причем за нашим текстом, принятым автором в его книжной публикации, идут еще 9 строк:

Чу! протяжный и печальный
И далекий звон,
Словно отзвук песни дальней,
Слышен...
Это он!
Генрих-Бальдур! С кем боролась
Ты за счастье; кто любил
Лишь тебя – твой ясный голос
С медью колокола слил!

"... Швейцария разбудила меня снова, – писал поэт, – и повернула к художественным впечатлениям. Особенно поразила меня "Via Mala" в Грубиндере около Тузиса" (Письмо М. Волошина к А. Петровой от 13 ноября 1899 г. Тузис – город в Швейцарии, где находится метеорологическая станция). В сентябре в Тузисе Волошин написал стих. "Via Mala". Так в стихах воссоздавались дорожные впечатления поэта" (Купр.., стр. 59). "Подделка внутреннего ощущения, нарочитое сооружение молитв, все равно для каких целей – ради ли денег, известности, или ради доброго поучения, благотворного влияния – всегда кощунство", – писала З. Н. Гиппиус (Антон Крайний) в статье "Нужны ли стихи?" о стихах Волошина ("Новый Путь", 1903, № 9, стр. 251; перепеч. в ее кн. "Литературный Дневник. 1899–1907", СПб, 1908, стр.165).

Тангейзер. Впервые – "Новый Путь", 1903, № 8. "Стихотворение навеяно впечатлениями от поездки Волошина в Андорру в июне 1901 г., а также первым актом оперы Вагнера 'Тангейзер"... "Это стихотворение называется просто "Тангейзер", – писал Волошин А. М. Петровой 14 сент. 1901 г., – а об Андорре тут я упомянул только потому, что писал его под этим впечатлением. Меня страшно поразила эта картина своим полным тождеством с первым актом вагнеровской оперы, когда грот Венеры исчезает в громе и молнии, а Тангейзер остается один в широкой долине". (Евст.). Типичный для поэта и проходящий через все его творчество мотив: извечный круговорот исторических эпох, мировых культур и традиций, великих религий – при известной все же преемственности культурных, религиозно-мистических традиций. 'Традиция и канон, – писал Волошин в статье "Индивидуализм в искусстве", – это не мертвые механические формы, а живой и вечно растущий язык символов и образов. И только на нем может возникнуть индивидуальное искусство" ("Золотое Руно", 1906, № 10). Прорастание эллинистической религии в христианство – и мистический синтез его в "духе музыки" – здесь много и от ницшеанства, какой-то одной его стороны, увлекавшей Волошина в первое десятилетие нашего века.

Венеция. Мы помещаем текст, опубликованный впервые в "Антологии", изд. "Мусагет", М., 1911. В "Стихотворениях. 1900–1910", М., 1910 – лишь несколько измененный текст последнего четверостишия:

Венеция сказка. Старинные зданья
Горят перламутром в отливах тумана.
На всем бесконечная грусть увяданья
Осенних тонов Тициана.

В этом последнем варианте – впервые – "Новый Путь", 1903, № 8. "И ничто не может удержать ускользания мгновений, потому что каждое "Остановись, мгновенье – ты прекрасно" несет в себе срыв в небытие. Но искусство – алмазный мост между бытием и тем, что вне бытия, и когда Аполлон приказывает: "Остановись!" – мгновенью, оно, окоченев в своем трепете, свертывается и застывает в мраморе ли, в золоте, в эмали или в бронзе, в штрихе ли карандаша или в размахе кисти, в крылатом вознесении каменной башни или в оттиске медной доски. Так сохраняется форма мгновения – гробница полая его земным телам". (Волошин. "Horomedon", "Золотое Руно", 1909, № 11–12, стр. 55). Головин Александр Яковлевич (1863–1930), крупнейший художник театра, живописец. Об этом стих. Волошина Головин писал. "О Венеции можно рассказать очень много и – все-таки ничего не сказать, потому что самое главное в ней трудно выразимо словами. Верные и тонкие намеки дали в своих стихах о Венеции Блок и Волошин; их стихотворения о Венеции совсем коротки, и, я думаю, это именно вследствие "невыразимости" Венеции" (А. Я. Головин. Встречи и впечатления. Л–М., 1940, стр. 38–39).

На Форуме. Впервые "Гриф", альм., М., 1903. Разночтения в альманахе за первыми четырьмя стихами, после строки. "Сломанной сцены", следуют опущенные в книге строки.

Кончена пьеса. Ушли
Хор и актеры. Покрыты
Траурным слоем земли
Славные плиты.

Стр. 6: Там возвышаются ростры,
Стр. 7: Там говорил Цицерон
Стр. 18: Тени проходят иные.

Акрополь. Было ли опублик. до "Стихотв. 1900–1910", М., 1910, – установить не удалось. "Волошин, сдав экзамены за второй курс, полу-

чил заграничный паспорт и уехал в конце мая через Австро-Венгрию в Германию, Швейцарию, Италию, Грецию. Вернулся он в Крым 28 июля (1900) " (Хрул., стр. 147). В журнале путешествия, по прибытии в Афины 21 июля, Волошин записал – его больше всего поразил Акрополь: "Самое характерное для него это стройный, белый профиль тонкой ионической колонны на темно-синем небе. Странным кажется, как этот белый, хрупкий мрамор, местами облитый бронзовым оттенком, точно загорелый от солнца, мог еще настолько сохраниться до нашего времени" (Купр., стр. 62).

Париж: С Монмартра. Было ли опублик. до "Стих. 1900–1910", – установить нам не удалось. "Волошин впервые посетил Париж в 1899 г., жил там в 1901–1905 гг. и в 1915–1916 гг., приезжал в Париж в 1906, 1908 и 1911 гг." (Евст.). "У Волошина "создалось решение на много лет уйти на Запад, пройти сквозь латинскую дисциплину формы" (Автобиография, ЦГАЛИ...) ... Весной 1901 г. Волошин уехал в Европу, поселился в Париже и на долгие годы связал свою жизнь с этим городом. ...Волошин начал посещать лекции в Сорбонне, в Школе изящных искусств и других учебных заведениях. Он слушал лекции Ковалевского, Аничкова и других в Вольной русской школе социальных наук... Записался он и в Луврскую школу, однако скоро оставил ее. Волошина "интересовало не старое искусство, а новое, текущее", поскольку он хотел "подготовиться к делу художественной критики", в теоретических же лекциях школы он не находил ничего, что бы помогло ему "разобраться в современных течениях живописи. Оставался один более практический путь – стать самому художником...". Е. Кругликова предоставила Волошину свою мастерскую, познакомила его со многими живописцами и скульпторами. Он стал заниматься в студиях Колоросси... Постепенно ... вошел в художественную жизнь Парижа... Он стал секретарем русского артистического кружка "Мон-Парнас"... (Купр. стр. 51–58). Во время своих наездов из Парижа в Москву Волошин и производил на всех, с ним встречавшихся, впечатление "парижанина". Так, Брюсов отмечал в своем дневнике 1903г.: "Юноша из Крыма... Жил в Париже, в Латинском квартале. ... Интересно рассказывает о Балеарах... Уезжает в Японию и Индию, чтобы освободиться от европеизма" (февр.). Но, в том же году, осенью: "Макс не поехал в Японию, едет ... в Париж. Он умен и талантлив..." (Дневники. 1891–1924. М., 1927). "...От европеизма, – замечает Андр. Белый, – ... пишет зигзаги вокруг той же оси – Парижа, насквозь "пропариженный" до... до... цилиндра, но ... демократического; демократическим этим цилиндром Париж переполнен... Индия плюс Балеары, деленные на два, равнялись ... кварталу Латинскому в нем" ("Начало века". М–Л., 1933, стр. 225). "Он казался мне в те годы весьма европейцем, весьма французом.

М. А. появлялся в Москве, быстро входя в ее злобы дня... и потом бесследно исчезал или в Европу, где он собирал, так сказать, мед с художественной культуры Запада, или в свой родной Коктебель, где он в уединении претворял все виденное и слышанное им в то качество, которое впоследствии и создало Дом Волошина, как один из культурнейших центров не только России, но и Европы" (Андр. Белый. Дом-музей М. А. Волошина. "Звезда", 1977, № 5, стр. 189). Таким же "парижанином" вспоминает Волошина и Борис Зайцев: "...(огромная шляпа, широченная лента на пенснэ, бархатная куртка – только что приехал из Парижа. Полон самоновейшими поэтами французскими, посетитель кафе Closerie de Lilas и т. п.) ..." (Б. Зайцев. Далекое. МСЛ, 1965, стр. 44). Но увлечение Волошина средиземноморской культурой, и, в частности, тогдашней новейшей живописью, – никак не было безраздумным, слепым поклонением. Несколько позже он писал о французской живописи: "Растворившись в отвлеченной геометрии форм, зрение перестало быть болью, а стало знанием. Так человек стал снова слепым". (Устремления новой французской живописи. "Золотое Руно", 1908, № 7–9, стр. V).

Париж: Дождь. Впервые – "Северные Цветы Ассирийские", альм. IV, М., 1905, в цикле: "Минуты прозрения", I. "Париж", I, с разночтениями:

Стр. 5: И по окнам танцуя
Стр. 6: Все быстрей и быстрее,

"В начале марта 1904 г. Волошин писал М. В. Сабашниковой: "Я так люблю парижский дождь. Всегда такой внезапный, такой неожиданный. У меня давно вертятся отдельные строфы, но я их никак не могу заключить". 9 марта 1904 г. он отправил стихотворение В. Брюсову. "Морды чудовищ" – химеры ...Нотр Дам..." (Евст.). Не только это, но и многие другие стихотворения Волошина, в особенности же – стихотворения "парижского цикла", посылались поэтом М. В. Сабашниковой, ставшей вскоре женой его. "В 1903–1907 гг. большое значение в идейно-эстетических и религиозно-философских исканиях Волошина имело сближение с Маргаритой Васильевной Сабашниковой. Они познакомились весной 1903 г. в Москве у коллекционера С. Щукина и потом часто встречались в доме Екатерины Алексеевны и Константина Дмитриевича Бальмонтов, где увлеченно беседовали об искусстве... ...Сабашникова (1882–1973) была незаурядным человеком. Ученица И. Репина и М. Врубеля, она хорошо рисовала, ...писала стихи и печатала их в символистских изданиях. Вместе с тем... она испытывала тяготение к оккультным наукам. ...В поэтический мир Волошина вторглась ... волнующая лирическая тема любви". (Купр., стр. 96–97).

"29 июня 1904 г. он отмечал в своем дневнике: "Все, что я написал за последние два года, – все было только обращением к М. В. и часто только ее словами". Но и в последующие годы поэт испытывал ее влияние". (Купр., стр. 99). Но сближение, но брак не были – несмотря на большую *душевную* близость – прочными и долгими. "Я познакомился как-то в Москве... с этой неудавшейся подругой жизни Волошина – Сабашниковой (из просвещенной московской купеческой семьи), – рассказывает С. К. Маковский. – Разойдясь с Волошиным, она сохранила с ним товарищескую связь. Злые языки утверждали, что она никогда и не была ему женой. Я спросил ее про мужа с полушутливой откровенностью: – Скажите, кто он, и почему так странны его дружеские приключения с женщинами? – Подумав, она ответила с какой-то полуобиженной усмешкой: – Макс? Он недовоплощенный..." (Мак., стр. 318). "...На девственности этой замужней женщины поэт (Вяч. И. Иванов, БФ) настаивает:

Таинственная светится рука
В девических твоих и вещих грезах.

...все их (М. В. Волошиной-Сабашниковой и Вяч. И. Иванова, БФ) общения происходили в "легкой стране воздушных тел", не умели они отяжелеть и спуститься на землю. ... Они впервые встретились в ноябре 1906 г. ... Комиссаржевская устроила в своей театральной студии чтение Ивановского "Тантала". ... Среди многих приглашенных на чтение присутствовали поэт Максимилиан Волошин ... и молодая жена его, художница, поэтесса Маргарита Васильевна, сестра мецената-издателя Михаила Сабашникова. Накануне этого вечера у Комиссаржевской супруги Волошины поселились в доме, где жил В. И. (Иванов), этажом ниже его квартиры. Оба они задолго до личного знакомства были горячими поклонниками В. И., считали стихи его откровением... Волошины стали часто бывать на "башне". В. И. по своему обыкновению предложил Маргарите обучать ее греческому языку, и они вместе по вечерам читали Евангелие от Иоанна. ...он начал давать ей уроки стихосложения, на которых неизменно присутствовали Макс и Лидия (жена Вяч. Иванова, БФ). ... Лидия и Вячеслав весьма скоро решили, что Маргарита, умная, духовно встревоженная, вполне способна быть "*третьей*" (в любовно-духовно-телесном трио: Лидия-Вячеслав-Маргарита, БФ). Они стали усердно вводить ее в свою жизнь. Между женщинами установились простые, дружеские отношения. ... А Вячеслав? Сонеты – "Золотые завесы" – столь же мало автобиографичны, как стихи "Эроса", и столь же, как они, передают действительное переживание. Вполне биографической, подлинно реальной в них является лишь атмосфера мифа и сна. Та, к которой сонеты обращены, была существом мятежным, себя еще не нашедшим. ... Отказавшись зани-

маться ненавистным естествознанием, она стала бросаться от учения к учению в поисках такого, которое привело бы ее к интуиции потустороннего, но к интуиции не бессознательной. Попав однажды на доклад Рудольфа Штейнера – "Ясновиденье как продолжение естествознания", она решила, что "духовная наука" и есть то, чего она искала, и сделалась антропософкой. Но в пору своего увлечения В. И. она еще во всем сомневалась. В. И. страстно влюблялся в души людей, в глубине которых он слышал зов и плач "платонова младенца". Так он влюбился и в ищущую, взбаломученную душу Маргариты... ..Соединение в духе, которого они ждали, не получилось. Осталась лишь горечь утраты..." (О. Дешарт. Введение. В кн.: Вяч. Иванов. Собр. сочинений. I, Брюссель, 1971, стр. 103–105). Это сближение Волошина с М. В. Сабашниковой и привело к усилению оккультных, антропософских элементов в его творчестве. Эти же элементы (но не антропософия) отличали творчество поэтов и прозаиков круга Вяч. Иванова. Вторгалась – и весьма активно – в жизнь и творчество Волошина (но отнюдь не в его "романическую" жизнь) и А. Р. Минцлова, ярая антропософка, о которой скажем ниже. Крайне запутанные, весьма неестественные взаимоотношения с Вяч. Ивановым и его женой – также весьма осложнили жизнь М. А. Волошина. "Разрыв В. И. с Маргаритой Волошиной, происшедший после смерти Лидии, был мучителен, хотя та. . .попытка "слияния трех жизней в одну" в свое время протекала сновидчески, без драм. Маргарита, проездом в Коктебель, к "Максу", посетила Ивановых в Загорье и провела с ними день. В своей книге "Зеленая Змея" (Margarita Woloscin. Die Grune Schlange. 1954) она говорит о том заезде в деревню: "Он (Вячеслав) был полон любви с отеческим оттенком, что мне было только приятно... ...И тот день у Ивановых был для меня счастливым сном". А Максимилиан Волошин писал из Крыма в Загорье (почт. шт. 18.8.07): "Дорогой Вячеслав, вчера приехала в Коктебель Амори (так они звали Маргариту), радостная и счастливая после свидания с тобой, и принесла с собой твое веянье и твои отблески, и мое сердце тоже с радостью устремлено к тебе теперь и благословляет то, что ты *еси*. Я жду тебя и Лидик в Коктебель. Мы должны прожить все вместе здесь на этой земле, где подобает жить поэтам, где есть настоящее солнце, настоящая нагая земля и настоящее одиссеево море. Все, что было неясного и смутного между нами, мне кажется просто и радостно. Я знаю, что ты мне друг и брат, и то, что мы оба любили Амори, нас радостно связало и сроднило и разъединить никогда не может. Только в Петербурге с его ненастоящими людьми и ненастоящей жизнью я мог так запутаться раньше. Я зову тебя не в гости, а в твой собственный дом, потому что он там, где Амори, и потому что эти заливы принадлежат тебе по духу. На этой земле я хочу с тобой встретиться, чтобы здесь навсегда заклясть все темные призраки петербургской жизни..." А раньше, в том же 1907 г., он писал:

"Дорогой Вячеслав, эти дни были очень смутными днями, и много писем к тебе и к Лидии было разорвано. Только сегодня, сейчас кончилось это наваждение и могу снова с полной верой, как брат, говорить тебе. Я снова верю, что мы можем и найдем те формы, ту истину общей любви, которая позволит нам всем жить вместе, верю в то, что мы – я и ты – преодолеем любовью к Амори те трепеты вражды, которые пробегают между нами невольно. Я верю в то, что я, обрученный ей и связанный с нею таинством, и принявший за нее ответственность перед ее матерью и отцом, не предам ни ее, ни их, ни мою любовь к ней, ни ее любовь к тебе..." (О. Дешарт. Комментарии. В кн.: Вяч. Иванов. Собр. соч., т. II, Брюссель, 1974, стр. 808–809).

"...стихотворение "Дождь" (1904), о котором А. Толстой писал, что оно "удовлетворяет нас совершенно" (Автограф очерка А. Толстого о Волошине. ИМЛИ...) (Купр., стр. 72).

Париж: Как мне близок и понятен. Впервые: "Новый Путь", 1903, № 8, под назв. "Париж", I, и с разночтениями:

Стр. 5:	Отлетел покров туманов.
Стр. 8:	Снова вспыхнул яркий лист.
Стр. 9:	Небо целый день играет,
Стр. 10:	(Брызнет дождик, брызнет луч),
Стр. 12:	Покрывало сизых туч.

"У Волошина интерес к импрессионистическому лиризму возник в парижский период, когда его внимание сосредоточилось преимущественно на французском искусстве. Особенно сильно он обнаружился в цикле стихотворений "Париж" (1902–1909), занимающем значительное место в его дневнике. Волошин любил Париж. ...В этих поэтических зарисовках в Волошине, пожалуй, преобладал живописец. "Как мне близок и понятен..." (Купр., стр.70). Пристрастие к акварели в живописи (в двадцатых годах Волошин отказался и от гуаши, и от темперы!) сквозит и в ранней пейзажной лирике, и в статьях поэта: "Масляные краски лишили живопись интимного общения с материалом и стихии бессознательного творчества" (М. Кириенко-Волошин. Индивидуализм в искусстве. "Золотое Руно", 1906, № 10, стр. 72).

Париж: Осень... осень... Весь Париж. Впервые: "Новый Путь", 1903, № 8, с разночтениями:

Стр. 1:	Утро. Пасмурный Париж...
Стр. 3:	Скрылись в траурной вуали,

Стр. 13: Ночью грустно... Вкруг огней
Стр. 14: Тени борются с тенями.
Стр. 15: От покинутых аллей

Записано в "Дневнике" № 1.

Париж: Огненных линий аккорд. Впервые: "Северные Цветы Ассирийские", альм. IV, под общ. назв.: "Минуты прозрений: I. Париж, 3".

Париж: Закат сиял улыбкой алой. Впервые там же, где и предыдущее, под тем же назв. и "...Париж, 2". "Послано М. В. Сабашниковой из Женевы в авг. 1904 г. По замыслу Волошина, должно было войти в поэму, начатую стихотворным письмом" (Евст.). См. "Письмо" и "Второе письмо". О красочной палитре лирики Волошина – см. очень для него важную статью "Чему учат иконы?", помещенную в нашем издании, вступ. статью Э. М. Райса. В своей автобиографии (ГБЛ) поэт писал: "...пути ведут меня на Запад – в Париж, на много лет – учиться: художественной форме – у Франции, *чувству красок – у Парижа*, логике – у готических соборов, средневековой латыни – у Гастона Париса, строю мысли – у Бергсона, скептицизму – у Анатоля Франса, прозе – у Флобера, стиху – у Готье и у Эредиа" (Купр., стр.77).

Париж: В серо-сиреневом вечере. Впервые: "Весы", 1907, № 1, под общим назв. цикла: "Картины Парижа: 1. В Булонском лесу". "Записано в творческой тетради № 1 под загл. "В Булонском лесу". Послано в письме М. В. Сабашниковой (начало июля 1905 г.). В том же письме Волошин сообщил, что читает книгу А. Л. Волынского... "Леонардо да Винчи" (Евст.).

Париж: На старых каштанах сияют листы. Впервые: "Русь", 1 ноября 1906. "Авторская дата: 1905. Датируется по записи в творческой тетради № 1 и письму к М. В. Сабашниковой 23 марта 1906 г. "Строй геральдических лилий" – т. е. лилий в гербах французских королей" (Евст.).

Париж: В молочных сумерках за сизой пеленой. Была ли публикация, предшествующая "Стихотв. 1900–1910", нами не установлено. Волошин начала века – отнюдь не ортодоксальный последователь импрессионизма – ни в живописи, ни в критических его статьях, ни в поэзии. "В импрессионизме он видел лишь одну сторону творческого процес-

са, – являющуюся "не временным течением, а вечной основой искусства", – связанную с впечатлением, "психологическим моментом в творчестве каждого художника". Другая сторона творческого процесса, по мнению Волошина, – изучение натуры, документальность. "Наблюдение, документ, – натурализм, – писал он, – это основа всяческого искусства. Но надо уметь обращаться с собранными документами. Импрессионисты в живописи, натуралисты в литературе думали, что простая систематизация этих документов может создать произведение искусства. ...Документ не только должен быть найден и воспринят, но еще должен быть *забыт*. Другими словами, должен стать частью художника настолько, чтобы перестать доходить до его сознания. Потому что забвение это не потеря, а окончательное усвоение" (Волошин. Письмо из Парижа. "Весы", 1904, № 10, стр. 46) " (Купр., стр. 74–75). "Волошин проникся уверенностью в том, что "реализм – это вечный корень искусства, который берет свои соки из жирного чернозема жизни" ... ("Весы", 1904, № 10, стр. 46) ...Занятие живописью помогло... (Волошину) выработать точность эпитетов в стихах, преодолеть импрессионистическую зыбкость. Об этом свидетельствует, напр., сонет...: "В молочных сумерках..." (Купр., стр. 75–76). Импрессионизм, да и все французское искусство в целом, да и все европейское культурное творчество в целом, мыслились Волошиным уже тогда как некий этап к *всечеловеческому.* Еще до увлечения антропософией с его учением об "эонах" человеческой истории, Волошин писал А. М. Петровой: "Теперь туда – в пространство человеческого мира – учиться, познавать, искать. В Париж я еду не для того, чтобы поступить на такой-то факультет, слушать то-то, – это все подробности, это все между прочим, – я еду, чтобы познать всю европейскую культуру в ее первоисточнике и затем, отбросив все "европейское" и оставив только человеческое, идти учиться к другим цивилизациям, "искать истины" – в Индию и Китай. Да, и идти не в качестве путешественника, а пилигримом, пешком, с мешком за спиной, стараясь проникнуть в дух незнакомой сущности.., а после того в Россию окончательно и навсегда". (Письмо от 12 февр. 1901. Купр., стр. 77–78).

Париж: Парижа я люблю осенний, строгий плен. Была ли публикация, предшествовавшая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. "Большое колесо" – огромные перекидные качели на гигантском колесе, – аттракцион на Всемирной выставке в Париже – 1900. "Башня-великанша" – Эйфелева.

Париж: Перепутал карты я пасьянса. Было ли опубликовано до "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. Посвящено поэтессе Аделаиде

Казимировне Герцык (1871–1925), поэтессе, большому другу и Вячеслава Иванова, и Волошина. "Маленькая, тихая, нежная, хрупкая... скользила "глухонемой и потаенной тенью", наводя шепотом Сивиллы и ворожащим стихом своим "страх присутствия незримой вещей силы". (О. Дешарт. Комментарии в кн.: Вяч. Иванов. Собр. соч., т. II, Брюссель, 1974, стр. 733). "Но Волошин умел (не только говорить, БФ) и слушать. Вникал в каждую строчку стихов Аделаиды, с интересом вслушивался в детские воспоминания ее, углубляя, обобщая то, что она едва намечала. Между ними возникла дружба или подобие ее, не требовательная и не тревожащая. В те годы, когда ее наболевшей душе были тяжелы почти все прикосновения, Макс Волошин был ей легок: с ним не нужно рядиться напоказ в сложные чувства, с ним можно быть никакой. А он, обычно такой объективный, не занятый собою, чуждый капризам настроений, ей одной, Аделаиде, раскрывался в своей внутренней немощи, запутанности. "Объясните же мне, – пишет он ей, – в чем мое уродство? Все мои слова и поступки бестактны, нелепы всюду, и особенно в литературной среде, я чувствую себя зверем среди людей, чем-то неуместным... А женщины? У них опускаются руки со мной, самая моя сущность надоедает очень скоро, и остается одно только раздражение. У меня же трагическое раздвоение: когда меня влечет женщина, когда духом близок ей – я не могу ее коснуться, это кажется мне кощунством..." Так он говорил и этим мучился. Но поэту все впрок. Из этого мотка внутренних противоречий позднее, через несколько лет, он выпрял торжественный венок сонетов: "В мирах любви неверные кометы". (Герцык, стр. 79–80). Послано в письме Волошина А. М. Петровой в ноябре 1908 г.

Диана де Пуатье. Впервые: "Русская Мысль", 1907, № 6, стр. 138. "В душе художника всегда живут два момента, жаждущие воплощения: воспоминание и идеал красоты. Воспоминание – это основа всего, что есть ценного и важного в искусстве. Это реальность внешнего мира, прошедшая через призму личности. Тут живая связь, здоровый корень, касающийся своим концом самых чистых и могучих источников жизни. Воспоминание всегда субъективно и оригинально. Идеал красоты вырастает в нездоровых областях человеческой души, засоренных общими местами, чуждыми мыслями, моральными учениями, всякими общественными условностями. Идеал по своему смыслу есть нечто пригодное для всех, т. е. безличное, потому что он растет, в противоположность воспоминанию, в той области мысли, которая составляет достояние всех. Этим определяются и два отношения к искусству. Люди поверхностные, практические, чуждые искусству, не носящие в своей душе зерна мудрости, ищут в искусстве идеала и поучения. Они требуют, чтобы им изобразили жизнь так, как им хочется, чтобы она была. Люди,

любящие жизнь во всех ее проявлениях, понимающие, мудрые, ищут воспоминания. Эпохи великих идеалов были всегда эпохами грубых и варварских форм жизни. В эти эпохи бывают яркие личности, но не бывает истинного индивидуализма. Личность проявляется скорее своей несдержанностью, чем своей силой. Истинные индивидуальности редко оставляют по себе имя. Они чаще целиком переливаются в свое произведение, до тла сгорая в нем, как это было с неведомыми гениями XIII века. Художники XIX века выпустили из своих рук нити жизни. Они уходили в разные стороны, увлекаемые социальными идеалами века, и забывали, что они только до тех пор могут оставаться великими владыками жизни, пока они будут простыми ремесленниками, пока через их руки будет проходить весь внешний материальный мир жизни. Свою власть они отдали в руки фабрик и иронией истории оказались подчиненными в изображении современной жизни вкусам портных. ...Художникам давно пора оставить абстрактные области "большого искусства" и начать делать искусство несравненно "большее" по силе той власти, которую окружающие вещи имеют над человеком. Художник должен стать заклинателем вещей в современной обстановке". (М. Волошин. Сизеран об эстетике современности. В его кн.: Лики творчества. Кн. 1, СПб, 1914, стр. 337–338). "Индивидуализм возникает из чувства самосохранения, но только тогда он достигает крайней точки своего развития, когда добровольным отказом от себя находит свое высшее утверждение" (М. Кириенко-Волошин. Индивидуализм в искусстве. "Золотое Руно", 1906, № 10, стр. 72). "Диана де Пуатье" – в какой-то степени стихотворение-манифест, отражающий указанные выше взгляды Волошина на искусство.

В цирке. Была ли публикация, предшествующая "Стих. 1900–1910", нами не установлено. Несомненно, стихотворение отчасти навеяно воззрениями Бергсона (лекции которого Волошин слушал в Париже) на природу смеха. Позднее, в неопубликованной статье "О смехе и пошлости" (1911) "Волошин ... ставит вопрос об общественной функции смеха. Он трактует его по Бергсону, считая, что смех всегда является принадлежностью какой-то социальной группы. "Смех, – пишет Волошин, – подразумевает известную общественную группу, охраняющую те устои, на которых она держится". Волошин полагает, что смех по своей природе консервативен и играет охранительную роль. Это протест уже сложившегося общества против всего, что выходит за установленные рамки, покушается на его устои. Будь то эксцентричность нового костюма, нового течения искусства или новых форм литературы. "Для общества смешно все, что не похоже на старое". "Но, – добавляет Волошин, – если для общества, существующего исторически, смешна *эксцентричность*, то для общества, долженствующего быть в

идеале, смешна *пошлость*". Развивая свою мысль, он прослеживает, как меняется смех, становясь орудием борьбы за новое: из простой насмешки он превращается в ироническую, окрашивается сарказмом. "В этом смехе уже нет удовлетворенности. Он бичует, негодует. Он борется против всякой косности. Его убедительность зависит исключительно от силы и от глубины лиризма той индивидуальности, оружием которой является смех. Этот смех тоже охранителен, как и первый. Только он охраняет идеал маленькой группы против всего общества. И можно себе представить, что если этой группе удастся сделаться ядром нового общественного строя, то этот же самый смех иронии и сарказма незаметно и естественно превратится в самодовольный хохот первого типа". Итак, по мнению Волошина, смех господствующего большинства клеймит эксцентричность, новизну, а смех прогрессивно настроенной общественной группы – пошлость. ...По мнению Волошина, пошлость – это "то, что еще недавно было завоеванием и достоянием гения индивидуализма, но уже начинает становиться собственностью масс, то, что еще только что было исключительным и уже становится общедоступным". Он пессимистичен, философствуя о неизбежном торжестве неодолимой пошлости или предсказывая, что в литературе будущего не останется места для смеха, юмора, сарказма" (Л. А. Спиридонова/Евстигнеева/. Русская сатирическая литература начала XX века. М., 1977, стр. 92–93). Анри Бергсон говорил, что смех – всегда отстранение, осуждение, *отталкивание* тем, что является в нас живым, неповторимым, органическим, механического, мертвого... И, в частности, приводил примеры и из цирковой клоунады. Отнюдь не случайно и посвящение этого стихотворения Андрею Белому. Ведь уже и много позднее, в стихах, посвященных смерти А. Белого, Мандельштам писал:

На тебя надевали тиару – юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак.

Белый представлялся толпе юродом, клоуном, слишком отличным от обычайного...

Рождение стиха. Впервые: "Северные Цветы Ассирийские", альм. IV, М., 1905, с незначит. разночтениями:

Стр. 8: Вот молния в белом излучьи...
Стр. 12: В влюбленном созвучьи.

"Приводится в письме Волошина к М. В. Сабашниковой от 28 янв. 1904 г." (Евст.).

К твоим стихам меня влечет не новость. Была ли публикация, предшествовавшая "Стих. 1900–1910", нами не установлено. Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873–1944) – русский, а после Октября – и литовский поэт, переводчик, видный участник русского символистского течения. "Мрачный как скалы Балтрушайтис", назвал его некогда Бальмонт. ...А Балтрушайтис был просто умен, не словоохотлив и замкнут, без всякого мрака. В жизни его литературной не было ни шума, ни широкой известности. Принадлежал к символистам московским старшего поколения (Бальмонт, Брюсов), их сверстник и товарищ. ...Читатели знали его мало, писатели ценили и уважали. В 1918 г. Юргис Казимирович был избран председателем Союза Писателей. На следующий год получил назначение литовского посланника... в Союзе его заменил другой. Но личных связей с писателями он не прерывал. В 1920 г. помог уехать заграницу Бальмонту, в 1922-м мне с семьей в том же содействовал. С тех пор так и остался на дипломатическом посту в Москве до самой войны, погубившей самостоятельность Литвы. Посланничество его кончилось, Юргис Казимирович с Марией Ивановной (его женой) поселились во Франции". (Борис Зайцев. Далекое. Вашингтон, 1965, стр. 144–145).

Концом иглы на мягком воске. Гр. Софья Исааковна Толстая (1889–1963), которой посвящены эти стихи, жена Ал. Н. Толстого. И. А. Бунин рассказывает, как "однажды Толстой неожиданно нанес ... визит ...вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли ее все, а сам Толстой неизменно так: "моя жена, графиня Толстая". Дымшиц была одета изящно и просто..." (И. А. Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, стр. 210). Первая публикация стихов нам неизвестна.

К этим гулким морским берегам. Была ли публикация, предшествующая "Стих. 1900–1910", нами не установлено. Посвящено Елизавете Ивановне Дмитриевой. Дмитриева-Васильева (1887–1928), – поэтесса, автор пьес для детей, друг Волошина. Ей посвящено немало стихов поэта, познакомившегося с нею в апреле 1908 г. в Москве. В 1909 г. она гостила у Волошина в Коктебеле. С Ел. И. Дмитриевой связан один из любопытнейших эпизодов не только в жизни самого Волошина, но и всей группы писателей и поэтов, связанных с журналом "Аполлон". О ней писали многие, в частности, Волошин опубликовал о ней статью "Гороскоп Черубины де Габриак" ("Аполлон", 1909, № 2)... "Жила-была молодая девушка, скромная школьная учительница, ...с маленьким физическим дефектом – поскольку помню – хромала. ...В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный,

нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал. Жил внутри, один, сжирая и сжигая. Максимилиан Волошин этому дару дал землю, т. е. поприще, этой безымянной – имя, этой обездоленной – судьбу. ...Прежде всего он понял, что школьная учительница такая-то и ее стихи – кони, плащи, шпаги, – не совпадают и не совпадут никогда. Что боги, давшие ей ее сущность, дали ей этой сущности обратное – внешность: лица и жизни. ...Разрыв, которого она не может не сознавать и от которого она не может не страдать... ...Максимилиан Волошин знал людей, т. е. знал всю их беспощадность ...и, особенно, мужскую – ничем не оправданную требовательность, ...не ищущую в красавице души, но с умницы непременно требующую красоты... ...Напечатай Е. И. Д. завтра же свои стихи, т. е. влюбись в них, т. е. в нее весь Аполлон – и приди она завтра в редакцию Аполлона самолично – такая, как есть, прихрамывая, в шапочке, с муфточкой, – весь Аполлон почувствует себя обокраденным, и мало разлюбит, ее возненавидит весь Аполлон. ...Как же быть? Во-первых, и в-главных: дать ей самой перед собой *быть*, и быть целиком. Освободить ее от этого среднего тела – физического и бытового – дать другое тело: ее. Дать ей быть ею! Той самой, что в стихах, душе дать другую плоть... ...Кто, какая женщина должна по-существу писать эти стихи..? Нерусская, явно. Красавица, явно. Богатая, о, несметно богатая, явно, ...т. е. внешне счастливая, явно, чтобы в полной бескорыстности и чистоте быть несчастной по-своему. ...И главное забыла: свободная – явно: от страха своего отражения в зеркале приемной Аполлона и в глазах его редакторов. Как же ее будут звать? Черубина рождалась в Коктебеле, где тогда гостила Е. И. Д. Однажды, год спустя, держу у Макса на башне какой-то окаменелый корень, принесенный приливом... – А это, что у тебя сейчас в руках, это – габриак. Его на песке, прямо из волны, взяла Черубина. – А Черубина откуда? – Керубина, т. е. женское от Херувима, только мы К заменили Ч, чтобы не совсем от Херувима. Я, впадая: – Понимаю. От черного Херувима. – Итак, Черубина де Габриак. Француженка с итальянским именем, либо итальянка с французской фамилией. Единственная дочь, живет в строгой семье, где и не пытаются выследить – не выследят никогда, если пишут – то уж, конечно, не печатают. Гонорара никакого не нужно. В Аполлон никогда не придет. ...В редакцию Аполлона пришло письмо. Острый отвесный почерк. Стихи. Женские. В листке заложен не цветок, пахучий листок... Адрес: "До востребования Ч. де Г". (Цвет., стр. 148–151). Редактор "Аполлона", С. К. Маковский, вспоминает: "Стихи меня заинтересовали не столько формой, мало отличавшей их от того романтико-символистического рифмотворчества, какое было в моде тогда, сколько автобиографическими полупризнаниями:

И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклятый круг,
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?

...Адреса для ответа не было, но вскоре сама поэтесса позвонила по телефону. Голос у нее оказался удивительным: никогда, кажется, не слышал я более обвораживающего голоса. ... Так разговаривают женщины очень кокетливые, привыкшие нравиться, уверенные в своей неотразимости. ...Промелькнуло несколько дней – опять письмо: та же траурная почтовая бумага и новые стихи, переложенные на этот раз другой травкой... (и позже – сколько писем, столько и травок...). ...Хвалили все хором, сразу решено было. печатать. Но больше, чем стихи, конечно, заинтересовала и удивила загадочная, необычайная девушка... ...С особым азартом восхищался Черубиной Максимилиан Волошин... Влюбились в нее все "аполлоновцы" поголовно, никто не сомневался в том, что она несказанно прекрасна, и положительно требовали от меня.., чтобы я непременно "разъяснил" обольстительную "незнакомку". ...Среди сотрудников "Аполлона" начались даже раздоры. Одни были за нее, другие – против нее. Особенно издевалась над ней и ее мистическими стихами (не мистификация ли?) некая поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева... ...Она сочиняла очень меткие пародии на Черубину. ... (Разразилась "семейная драма") в редакции "Аполлона". Я разумею дуэль Максимилиана Волошина с Гумилевым. ...Ближайшие сотрудники "Аполлона" часто навещали в те дни А. Я. Головина в его декоративной мастерской на самой крыше Мариинского театра. ...Хозяин куда-то вышел. ...Я прогуливался с Волошиным, Гумилев шел впереди с кем-то из писателей. Волошин казался взволнованным, не разжимал рта и только посапывал. Вдруг, поравнявшись с Гумилевым, не произнеся ни слова, он размахнулся и изо всей силы ударил его по лицу могучей своей дланью. Сразу побагровела правая щека Гумилева и глаз припух. ... Вызов на дуэль произошел тут же. ... Причина увесистой пощечины Волошина так и осталась неразъясненной. ... Ясно было, как будто, одно: Волошин счел нравственным долгом своим "проучить" Гумилева за оскорбление женщины, бывавшей у него, Волошина, на его крымской даче в Коктебеле. Но кто она была? Многие полагали, что она и есть ... та самая Черубина де Габриак, что будто бы Гумилев ее обидел ... Волошину все создавало ореол "рыцаря без страха и упрека" ... Мой "роман" продолжался, заманивая меня все глубже в омут безысходной мечты. ... Наконец, Кузмин приехал меня предуведомить: – Дело зашло слишком далеко. Надо положить конец недостойной игре! Вот номер телефона: позвоните хоть сейчас. Вам ответит так называемая Черубина... ...Она – не кто иной, как поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева, ненавистница

Черубины, школьная учительница, приятельница Волошина". (Мак., стр. 336–349). О дуэли рассказывает секундант Волошина – гр. А. Н. Толстой (другим его секундантом был кн. Шервашидзе, секундантами Гумилева – Зноско-Боровский и М. Кузмин): "...Выехав за город, мы оставили на дороге автомобиль и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. ...Гумилеву я поднес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным черным силуэтом различимый в мгле рассвета. ...Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выждал, когда я выберусь, – взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего расставив ноги, без шапки. Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: "Я приехал драться, а не мириться". Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: "Раз, два..." (Кузмин, не в силах стоять, сел на снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов). "Три", – крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет, и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: "Я требую, чтобы этот господин стрелял". В. проговорил в волнении: "У меня была осечка". "Пускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Гумилев, – я требую этого..." В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. ... Гумилев продолжал неподвижно стоять. "Я требую третьего выстрела", – упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям". ("Последние Новости", Париж, 23 и 25 окт. 1921). "Их было много, она /Дмитриева-Черубина, БФ/ одна. Они хотели видеть, она – скрыться. И вот – увидели, т. е. выследили, т. е. изобличили. Как лунатика – окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного Черубинского замка – на мостовую прежнего быта, о которую разбилась вдребезги" (Цвет., стр. 152).

Эти страницы – павлинье перо. Было ли опубликовано до "Стих. 1900–1910" – нами не установлено. Жюль Лафорг (1860–1887) – французский поэт-символист.

Небо запуталось звездными крыльями. Впервые: "Новый Путь", 1903, № 8, без первого четверостишия, с разночтением:

Стр. 16: Светлого Феба сестра?

Первая строфа появляется уже в "Книге о поэтах последнего десятилетия", под ред. Мод. Гофмана, СПб–М., 1907. В журн. под назв. "Охота". В "Книге..." под ред. М. Гофмана с разночтением в стр. 1:

Вьются, дрожат и ложатся с усильями

Когда время останавливается: I. Тесен мой мир. Впервые: "Северные Цветы Ассирийские", альм. IV, М., 1905, под общим назв. цикла "Минуты прозрений: IV. Тесен мой мир". "Написано после поездки с М. В. Сабашниковой в St. Cloud..., пригород Парижа, которая состоялась летом 1904 г. Впоследствии Волошин неоднократно вспоминал о Сен-Клу и описал прогулку во втором послании к М. В. Сабашниковой... "Лампа Психеи". Образ навеян книгой Марселя Швоба "Лампа Психеи", а также известным мифом об Амуре и Психее" (Евст.). "Всюду, где есть жизнь, существует свиток, в который время вписывает себя" (перевод эпиграфа к статье – из А. Бергсона, БФ). В сущности, это та же самая мысль, что и в известной надписи на циферблате часов "Volnurant omnes, ultima necat" – "ранят все, последний убивает". На живом каждое пережитое мгновение оставляет свой знак. ...Из этих знаков складывается индивидуальное лицо человека, предмета, местности, страны. Везде есть свиток, который можно развернуть и прочесть в нем историю жизни". (Волошин. Константин Богаевский. "Аполлон", 1912, № 6, стр. 5).

Когда время останавливается: II. Быть заключенным в темнице мгновенья. Была ли первая публикация этого стих. до "Стих. 1900–1910" – нами не установлено. "Судя по творческой тетради № 1, начато в 1904 г. Послано в письме А. М. Петровой 15 июля, М. В. Сабашниковой – 16 июля 1905 г." (Евст.). "Когда смерть внезапно обрывает жизнь талантливого человека в самом ее рассвете, не дав выявиться силам и возможностям, в нем затаенным, ум невольно начинает искать смысла, обобщения, причины. Нельзя подавить в себе убеждения, что смерть не может быть случайна; что удары ее как бы ни были прихотливы, вызываются некиим, скрытым от нашего сознания, законом; что смерть наступает только тогда, когда дух дает внутреннее, тайное согласие на прекращение своих земных действенных проявлений..." (Волошин. Памяти Н. Н. Сапунова. "Аполлон", 1914, № 4, стр. 5).

"9 авг. 1904 г. Волошин записал в "Истории моей души": "Мы заключены в темницу мгновения. Из нее один выход – в прошлое. Завесу будущего нам заказано подымать. Кто подымет и увидит, тот умрет, т. е. лишится иллюзии свободы воли, которая есть жизнь. Иллюзия возможности действия. Майя. В будущее можно проникать только желанием". 24 окт. 1905 г. Волошин писал А. М. Петровой: "Я его считаю стихотворением не цельным – это энциклопедия целого периода и нуждается во многих комментариях. Но отдельные строфы очень ценны". (Евст.).

Когда время останавливается: III. И день и ночь шумит угрюмо. Была ли первая публикация этого стих. до "Стих. 1900–1910" – нами не установлено.

Когда время останавливается: IV. По ночам, когда в тумане. Впервые: "Северные Цветы Ассирийские", альм. IV, М., 1905, без посвящения В. Я. Брюсову и с разночтениями:

Стр. 17: Как ядро прикован к телу
Строки 19-й в альм. н е т.

После нашей стр. 20-й ("Вниз на звезды заглянуть") следуют опущенные в "Стих. 1900–1910" строки:

Я решаюсь лишь несмело.
Мир отрывочен и пуст...
Непривычно мне сознанье
Знать его, как сочетанье
Лишь пяти отдельных чувств.

В альм. под общ. назв. цикла: "Минуты прозрений: II. Когда время останивливается". В своей лекции, прочитанной 3 марта 1909 г. в петербургском "Салоне" – "Аполлон и мышь" (затем опублик. в виде очерка в альм. V "Северных Цветов", М., 1911), – Волошин писал: "Для всякого ясно то несоответствие, которое существует между внутренним ощущением времени и механическим счетом часов. Каждый знает дни, в которые вмещается содержание целого года, и месяцы, мелькнувшие, как одно мгновение. ...Это происходит потому, что в той внутренней сфере интуитивного сознания, в которой мы ощущаем время, не существует представления ни о количестве, ни о числе; им там внутри соответствуют представления о качестве и напряженности. Представления внутреннего мира чередуются, не исключая одно другое, но взаимно

друг друга проникая, существуя одновременно в одной и той же точке, следуя своими путями друг сквозь друга, как волны эфира или влаги. Этот мир, текучий и изменяемый в самой своей сущности, не имеет никаких соотношений с числом и с пространственной логикой, построенной на законах несовместимости двух предметов в одной точке и отсюда на законах чередования и числа. Между сферами времени и пространства то же отсутствие соотношений и параллелизма, как между интуитивным знанием и логическим сознанием. Первое постигает изнутри жизненные токи, второе снаружи исследует грани форм. Единственная связь между временем и пространством это – мгновение. ...Способность пророческого вйдения связана неразрывно с углублением в мгновение". (М. Волошин. Лики творчества. Кн. I. СПб, 1914, стр. 171, 172). В письме к Волошину, 3.III 1909, И. Ф. Анненский писал: "Да, Вы будете один. Приучайтесь гореть свечой, которую воры забыли, спускаясь в подвал, – и которая пышет, и мигает, и оплывает на каменном приступке, и на одне зигзаги только и светит – мыши, да и то, может быть, Аполлоновски-призрачной. Вам суждена, может быть, по крайней мере на ближайшие годы, роль мало благодарная. Ведь у Вас школа... у Вас не только светила, но всякое бурое пятно не проснувшихся еще трав, Ночью скосмаченных... знает, что они – *слово* и что ничем, *кроме слова, им,* светилам, не быть, что отсюда и их красота, и алмазность, и тревога, и уныние. А разве многие понимают, что такое *слово* – у нас? Да почти никто. Нас трое, да и обчелся. ...Но знаете, за последнее время и у нас – ух! – как много этих, которые нянчатся со словом, и, пожалуй, готовы говорить об *его культе.* Но они не понимают, что самое *страшное* и *властное* слово, т. е.самое *загадочное,* – может быть именно слово *будничное*". (Лавр.–Купч., стр. 247). Здесь – и ободряющие и одобряющие Волошина нотки – и некое ироническое напоминание о *будничном* слове, как самом страшном и властном. Религиозно-философские искания и метания начала века и философическую и, особенно, теософствующую поэзию тех же лет Анненский глубоко презирал: "в ней носятся частицы и теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов", – иронизировал он в статье "О современном лиризме" ("Аполлон", 1909, № 1, стр. 1–32).

II. **Amori Amara Sacrum.** Весь раздел посвящен Маргарите Васильевне Сабашниковой (см. примеч. к стих. "Париж: Дождь", где говорится о ней). Евгения Герцык вспоминает встречу с ней в 1907 г.: "...соперница моя по толкованию лирики Вячеслава Иванова и по восхищению самим поэтом. ...Она, как и мы, пришла ... из патриархального уюта, еще девочкой-гимназисткой мучилась смыслом жизни, тосковала о Боге. ... я не запомню другой современницы своей, в которой бы так

полно выразилась и утонченность старой расы, и отрыв от всякого быта, и томление по необычайно-прекрасному. На этом-то узле и цветет цветок декадентства" (Герцык, стр. 73–74). "29 июня 1905 г. он (Волошин) отмечал в своем дневнике: "Все, что я написал за последние два года, – все было только обращением к М. В. и часто только ее словами". (История моей души. Тетрадь I. – ДМВ). Но и в последующие годы поэт испытывал ее влияние". (Купр., стр. 99).

Я ждал страданья столько лет. Была ли публикация этого стих., предшествовавшая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. "В поэтический мир Волошина вторглась и трепетно зазвучала волнующая лирическая тема любви. Эта тема в основе своей автобиографична. Однако лишь отношениями с Сабашниковой не исчерпывается запас автобиографического элемента. Немало нежных слов Волошин посвятил художнице Вайолет Харт ("Если сердце горит и трепещет...", 1905, "Милая Вайолет, где ты?", 1912) и поэтессе Елизавете Дмитриевой ("Сочилась желчь шафранного тумана", 1909, "Теперь я мертв...", "Себя покорно предавая сжечь", 1910 и др.). А порой внешние соответствия между событиями личной жизни и содержанием поэзии вообще не обнаруживаются ("Она", 1909, "Судьба замедлила сурово", 1910, "В эту ночь я буду лампадой", 1914 и др.). ...Пылкой любви и горечи последующей разлуки Волошин посвятил цикл стихотворений "Amori amara sacrum..." (Купр., стр. 97). "Судя по письму Волошина А. М. Петровой от 1 июля 1905 г., написано в ноябре 1903 г. в поезде между Москвой и Парижем. Авторская дата: "Декабрь 1903. Москва". Стихотворение автобиографично: Волошин познакомился с М. В. Сабашниковой в Москве в 1903 г.; в 1904 г. Сабашникова приехала в Париж учиться живописи и пробыла там до 21 июня. В 1905 г. она жила в Париже с января по июнь. ...В 1906 г. состоялась их свадьба..." (Евст.).

О, как чутко, о, как звонко. Впервые: "Золотое Руно", 1906, № 11–12, с разночтениями:

Стр. 1: О, как страшно, о, как звонко

и опущенным в "Стих. 1900–1910" последним четверостишием:

Время медленней и шире,
Всюду просветы аллей...
О, как ясно в этом мире
Быстро шепчущих теней.

В журн. стих. озаглавлено – "Детство". "Первый вариант стихотворения послан в письме М. В. Сабашниковой 6 янв. 1904 г. со словами: "Письмо – кусочек души, отрывок мысли, закрепленный именно в эту минуту". (Евст.).

Спустилась ночь. Погасли краски. Впервые: "Новый Путь", 1903, № 8, с разночтением в стр. 7: Мерцали сны, блуждали сказки.

Портрет. Впервые – без названия – "Золотое Руно", 1906, № 10. "На автографе имеется помета Волошина: 'К портрету Мар/гариты/ Вас/ильевны/". (Евст.). "В этом стихотворении Волошин опосредствованно, как французские парнасцы, выразил свои чувства. Воспевшая себя красавица не столько образ любви поэта, сколько натура, объект для скульптора или живописца, умеющего не только резцом или кистью, но и словами передать пластику форм или чистоту красок". (Купр., стр. 98).

Пройдемте по миру, как дети. Была ли первая публикация этого стих., предшествовавшая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. "Упомянуто в ответном письме М. В. Сабашниковой Волошину 17 дек. 1903 г. 10 марта 1904 г. Волошин писал А. М. Петровой: "Пройдемте по миру" – главное в первой строфе, а не в последней". (Евст.).

Сквозь сеть алмазную зазеленел восток. Впервые: "Золотое Руно", 1906, № 10. Прямо посвящено М. В. Сабашниковой: "О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!"

"Авторская дата: "1904. Париж", однако стихотворение могло быть создано раньше, т. к. записано в творческой тетради № I перед стихотворением "Я вся – тона жемчужной акварели...". 6 янв. 1904 г. оно было послано М. В. Сабашниковой..." (Евст.).

Письмо. До "Стих. 1900–1910" опубликовано в "Чтеце-Декламаторе", т. 3, изд. 2-е, Киев, 1909. Но была ли еще более ранняя публикация – нами не установлено. В "Ивернях" и в "Стихотворениях", мал. серия "Библиотеки Поэта", Л. 1977, соединены отрывки из "Письма" с "Вторым письмом" воедино – под назв. "Отрывки из посланий". "Адресованы М. В. Сабашниковой... Первое послание является письмом из Парижа от 5 июля 1904 г. ... "Я соблюдаю обещанье" – стих "Онегина". (Письма) написаны онегинской строфой и пронизаны реминис-

ценциями пушкинской поэзии... "Таиах" (Тайа) – бюст египетской царицы, находящийся в парижском музее Гиме..., оригинал – в Каире (копия – в кабинете Волошина в Коктебеле, БФ). Волошин и Сабашникова посетили музей Гиме 6 июня 1904 г. "Королева Таиах, – записал в тот же день Волошин в дневнике. – Она похожа на Вас. Я подходил близко. И когда лицо мое приближалось, мне показалось, что губы ее шевелились. Я ощутил губами холодный мрамор и глубокое потрясение. Сходство громадно" (Евст.). "Маргарита уехала в Париж учиться живописи. У нее подлинное дарование, чистота рисунка, вкус. Почему она не стала художником с именем? ...Не потому ли, что ... она стремилась сперва решить все томившие вопросы духа, и решала их мыслью, ...не кистью. Маргарита уехала в Париж и там встретилась с Волошиным... По галлереям Лувра, в садах Версаля медленно зрел их роман, – не столько роман, как рука об руку вживание в тайну искусства. ...Но в их восприятии прошлого – какая рознь: он жадно глотает все самое несовместимое, насыщая свою эстетическую прожорливость, не ища синтеза и смысла. ...А рядом с ним тоненькая девушка с древним лицом, брезгливо отмечает и одно, и другое, сквозь все ищет единого пути, и ожидающим, и требующим взглядом смотрит на него. Он уставал от нее, уходил. Но месяцы проходили, и опять, брызжущий радостью, спешил в Европу, туда, где она". (Герцык, стр. 75). Оба письма, как и стих. "Закат сиял улыбкой алой" (см. выше) должны были, по замыслу Волошина, войти в поэму, автором не осуществленную. "Орган. Готические своды". Насмешливый И. А. Бунин вспоминает "всякие слухи" о Волошине: "что он, съезжаясь заграницей с своей невестой, назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора". (И. А. Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, стр. 188). "Фуке – безжалостный анатом" – "Портреты Жана Фуке, – пишет Волошин в статье "Константин Богаевский", – раскрывает нам историю страстей XV века, а портреты Клуэ характеры XVI века, независимо от того, какие имена помечены внизу рамы. ...Истинно-великие портретисты передают не сходство, а *судьбу* человека". .("Аполлон" 1912, № 6, стр. 5). "Им мир Рэдона так созвучен" – Одилон Рэдон (1840–1916) не раз привлекал внимание Волошина. Ему посвящено стих. "Я шел сквозь ночь" (см. ниже), ему же посвящена статья "Одилон Рэдон" ("Весы", 1904, № 4): "Шевелящийся хаос – это единственная реальность Рэдона. Бесконечная скорбь Познания – это его лиризм. ...На высотах познания одиноко и холодно..." (стр. 2,4). С Рэдоном Волошин лично познакомился еще в 1901 г. В письме к матери 23/10 мая 1901 он пишет, что познакомился "даже с некоторыми французскими литераторами и художниками: известным художником Рэдоном... "Познакомила его с Рэдоном А. В. Гольштейн. В письме к А. М. Петровой 22 авг. того же года он рассказывает: "...мы встретились в "Салоне независимых". К ней (Гольштейн, БФ)

подходили разные лица, и нам не удалось поговорить. Подошел француз старик с седой, коротко остриженной головой, усами с проседью. Живой, элегантный, с очень умными глазами. Небольшого роста. "Позвольте Вас познакомить ... Одилон Рэдон... (по-русски мне) наша слава и знаменитость". Имя мне было совершенно незнакомо. Мы пожали руки, и я, конечно, не решился сказать ни одного слова на своем ужасном французском языке". (Хрул., стр. 151, 153). Волошину явно не хватало времени, чтобы посетить все, охватить все в Париже: в письме к В. Я. Брюсову, 17.1.1904, он жалуется: "Что касается меня: я весь с головой в живописи. Чувствую хронический недостаток в том, чего в Париже ужасно мало: во времени. Разрываюсь между Академией и Национальной библиотекой..." (МВХ, стр. 23). Не только Лувр, музей Гиме, но и выставки, но и "Салон Независимых": "Интерес Салона Независимых – в том, что здесь можно видеть все французское искусство целиком, в самых глубоких и в самых пошлых его проявлениях... В шумном хаосе этих двух с половиною тысяч картин широкими струями проходят великие исторические течения живописи". (М. Волошин. Письмо из Парижа. "Весы", 1904, № 3, стр. 44). "Художники – глаза человечества... Они открывают в мире образы, которых никто не видал до них". (М. Волошин. Скелет живописи. "Весы", 1904, № 1, стр. 42).

Старые письма. Впервые: "Русская Мысль", 1907, № 12, без названия. Разночтение в стр. 4: Увядших листов.

Посвящено А. В. Гольштейн. См. выше – в общем введении к кн. I-й. "Первый вариант послан Сабашниковой в начале марта 1904 г. 18 сент. того же года он сообщал ей: "Я часто перебираю Ваши письма. Это дерева Познанья облетевшие цветы". Лирические стихи 1904–1905 гг. Волошин думал объединить в цикле под заглавием "Старые письма". (Евст.).

Таиах. Впервые под назв. "Эпилог": "Русь", 1 янв. 1908. "Датируется по "Истории моей души". Обращено к М. В. Сабашниковой... Написано после временного разрыва с ней. Автограф стихотворения под заглавием "Эпилог" имеет приписку: "Это последние слова к Вам... Прощайте, царевна Таиах!" (Евст.). "Поэт видел у Сабашниковой, особенно в нижней части лица, большое сходство с Таиах, матерью Эхнатона (Аменхотепа IV), свекровью Нефертити..." (Купр., стр. 101). "А царевну Таиах воочию вскоре увидела в мастерской Макса в Коктебеле: огромное каменное египетское улыбающееся лицо, в память которого и была названа та, мне неизвестная, любимая и оставленная земная женщина". (Цвет., стр. 157). Акмеисты, в особенности Гумилев, сразу же стали "в оппозицию к символизму, к "Прекрасной Даме" Блока,

к волошинской "Царевне Таиах"... (Мак.–Парнас, стр. 207).

Если сердце горит и трепещет. Впервые: "Золотое Руно", 1906, № 10, с заключительной строфой, опущенной в "Стих. 1900–1910":

Необъятною звездною сказкой
Прижимались к земле небеса,
И рука с безнадежною лаской
Разбирала мои волоса.

Посвящено М. В. Сабашниковой. Поэт, женившийся на ней в 1906 г., развелся с нею в 1907. Но дружеские отношения любви-вражды продолжались еще сравнительно долго. М. В. Сабашникова, всецело преданная антропософии, стремилась "спасти" Волошина, вырвав его из земной ауры. "В декабре 1908 г. поэт, еще не терявший надежды на восстановление прежних отношений с Сабашниковой, писал из Парижа матери: "Она (Сабашникова) очень хочет меня спасать, меня учить, обращать в теософию. Все это надо преодолеть". А в феврале 1909 г. поэт с горечью констатировал: "Она живет религиозным откровением, которое она находит в словах Штейнера. И поэтому когда с ней говоришь и высказываешь ей свое, то чувствуешь, что она все сравнивает с тем, что она считает верным и единственным, и без всяких колебаний отвергает все, что не ортодоксально. В этом, теперь особенно, когда я отошел от теософии, между нами глубокое разделение". (Купр. 110–111). Но уже и в более ранние годы это "глубокое разделение" давало себя знать. Это письмо лишний раз подчеркивает, что увлечение Волошина антропософией не было глубоким и длительным: антропософия для него была лишь одним из интересных и чем-то отчасти близких течений... Куприянов пишет, однако, что это стихотворение посвящено Вайолет Харт.

Мы заблудились в этом свете. Была ли публик. этого стих. до "Стих. 1900–1910" – нами не установлено. "В автографе имело заглавие: "Надпись на античном барельефе". Имеется в виду барельеф в парке Версаля с изображением Орфея, уходящего из царства Аида. Авторская дата в "Стих. 1900–1910": "Весна 1905". Датируется по творческой тетради № I. Посвящено "египетской царевне Таиах", как сообщил Волошин А. М. Петровой 1 июля 1905 г., имея в виду М. В. Сабашникову". (Евст.).

Зеркало. Впервые: "Русская Мысль", 1907, № 12, с указ. ниже разночтением. В окончат. редакции – "Вестник Европы", 1909, № 4. Разночтение:

Стр. 4: Но не могу в себе их удержать.

"Датируется по творческой тетради № I. В письме к М. В. Сабашниковой (в июле 1905 г.) Волошин сообщил, что стихотворение написано под впечатлением ее слов, сказанных во время прогулки в Сен-Клу: "Как глаз, лишенный век, я брошено на землю". 29 сент. 1905 г. он снова вспомнил о стихотворении и сообщил Маргарите Васильевне: "Я сказал себе весной: я – зеркало... И я стал зеркалом, трепещущим, вечно отражающим и ничего не задерживающим". "И капает вода" – 13 июня 1904 г. Волошин записал в "Истории моей души": "Сумерки в мастерской. Кто-то смотрит в зеркало. Часы тикают. Капля капает из крана. Иногда перебивая: "Да, да, да. Так". "Тик-так... да-да..." В зеркале видны только большие, грустные, безнадежные глаза и черные губы. За окном город. Вечерний. Громады домов. И как будто он вдруг лопнет от напряжения" (Евст.).

Мир закутан плотно. Впервые: "Русская Мысль", 1907, № 12. "Послано в письме М. В. Сабашниковой в начале июля 1905 г." (Евст.).

Небо в тонких узорах. Впервые: "Русская Мысль", 1907, № 12. "Датируется по творческой тетради № I. Посылая стихотворение М. В. Сабашниковой, Волошин писал 6 июля 1905 г.: "Теперь идет дождь... Я слышу за окном, как он стелется мягко, непрерывно, ровно, не нарушаясь никаким звуком города. Я хожу по комнате, прислушиваюсь, и в душе у меня складываются и плывут строфы, которые еще в парке все пели и никак не могли найти себя" (Евст.).

Эта светлая аллея. Впервые: "Весы", 1907, под назв. "St. Cloud", в цикле "Картины Парижа", 2.

В зеленых сумерках, дрожа и вырастая. Была ли публикация, предшествовавшая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. "В автографе озаглавлено: "Resignation", т. е. "Смирение". Послано в письме М. В. Сабашниковой 26 июня 1905 г. "Я теперь понимаю смирение, – писал Волошин. – У меня есть один путь, один выход – забыть о себе". (Евст.).

Второе письмо. Впервые: "Золотое Руно", 1906, № 7–9, под назв. "Amori Sacrum", с разночтениями:

Строк 57–58 (10–11 строфы 5-й) в журн. н е т.
Стр. 60 (13 строфы 5-й) : И нас той кровью окропил.
Последних двух строк (73–74) в журн. н е т.

Последняя строка стих. принята нами не по тексту "Стих. 1900–1910", а по более поздн. тексту "Иверней" и "Стих." 1977 ("Библ. Поэта", мал. серии). В "Стих. 1900–1910":

Страдать, искать и вновь найти.

"Какая темная Обида". – "Я думал о Деве-Обиде и стою за это", – писал Волошин М . В. Сабашниковой, вероятно, имея в виду образ Девы-Обиды в "Слове о полку Игореве". "И крови жертвенной напиться" – намек на эпизод, рассказанный в "Одиссее" Гомера. у входа в Аид совершил жертвоприношение; кровь жертвенных животных лилась в яму, к которой сразу же слетелись души умерших: напившись жертвенной крови, они вновь обрели язык людей... ..."Некий встал с востока" и т. д. (набрано у нас курсивом, БФ) – цитата из стихотворения, записанного Волошиным в "Истории моей души" и принадлежащего, по всей вероятности, М. В. Сабашниковой (Евст.). Про стихи Сабашниковой Н. С. Гумилев писал: "Стихи Маргариты Сабашниковой, очевидно, порождены мистицизмом автора, но они не убедительны ни как мистические прозрения, ни как поэзия". (Статьи и заметки о русской поэзии. Собр. соч. в 4 тт., т. 4. Вашингтон, 1968, стр. 271). "Второе (письмо) создано под впечатлением поездки в Сен-Клу в 1904 г. (см. примеч. к стих. "Тесен мой мир"). Окончательный вариант послан в письме М. В. Сабашниковой 29 июня 1905 г." (Евст.). Второе письмо, несомненно, навеяно воззрениями и настроениями Сабашниковой – и мистико-теургическими воззрениями масонства, с которым Волошин соприкоснулся в Париже достаточно близко.

В мастерской. Впервые: "Русь", 25 декабря 1906. "Стихотворение является письмом к М. В. Сабашниковой, отправленным 11 окт. 1905 г. из Парижа. В нем описана новая мастерская Волошина на Монпарнасе (Boulevard Edgar Quinet, 16), куда он переселился в августе 1905 г. после отъезда Сабашниковой в Цюрих" (Евст.). В эти – и во все последующие – годы Волошин много работает в своей мастерской, учится и переучивается, главным образом, в Париже. Позднее, 7 янв. 1914, он пишет матери из Парижа: "Ты сама говоришь, что мне все легко дается. Это правда. Но то, что легко дается, – это не ценно. А замечала ли ты, что я делаю в искусстве только то, что трудно. Мне легко дается стих. Я довел требование к нему до такой степени, что мне трудно писать стихи, и я пишу их очень мало. В живописи я переступил уже

многие грани, которыми довольствуются средние художники, но я еще не дошел до пределов трудностей, поэтому я себя еще не считаю художником и продолжаю работать; даже переводы – я выбираю очень трудных, почти непереводимых авторов; то же самое и в статьи мои я влагаю часто содержание, которое можно было бы развить в целую книгу. ...В этом сказывается мое *серьезное* отношение к искусству (страстность – в холодности и законченности формы)". (Купр., стр. 124). Мысль о Сабашниковой не оставляет Волошина и после развода с нею. Тем более – в год написания этого стихотворения. Он часто подчеркивал – в стихах, в дневниках, в письмах, – что смотрит на все ее глазами...

Вослед. Было ли впервые опубликовано еще до "Стих. 1900–1910", - нами не установлено.

Как Млечный Путь любовь твоя. Впервые: "Белые Ночи". Петербургский альманах, СПб., 1907. "Послано в письме М. В. Сабашниковой от 17 марта 1907 г." (Евст.). И это, и предшествующее стих. – посвящены Сабашниковой.

In mezza di camin... Было ли опубликовано до "Стих. 1900–1910" – нами не установлено. "Это стихотворение написано 16 мая 1907 г., сразу после разрыва Волошина с Сабашниковой. Солнечным Зверем был Вячеслав Иванов, вторгшийся в их жизнь и способствовавший ее разрушению". (Купр., стр. 104; см. выше примеч. к стих. "Париж: Дождь"). "В ту весну седьмого года мы как-то вечером сидели вчетвером: Волошин, Сабашникова, сестра и я. Волошин читает терцины, только что написанные. "С безумной девушкой, глядящей в водоем..." ...Маргарита невесело смеялась, тихо, будто шелестела. "И все неправда, Макс! Я не в колодец прыгаю – я же в Богдановщину еду". Это был канун их отъезда, его – в Коктебель, ее – в имение родителей. – "И не звал ты меня прочь. И сам ты не меньше меня впился в Солнечного Зверя! И почему птичий крик? Ты лгун, Макс". "Я лгун, Амори, – я поэт". Так дружелюбно они расходились". (Герцык, стр. 76–77). "В автобиографии 1925 г. Волошин разделил свою жизнь на семь семилетий, обозначив пятое (1905–1912) как "блуждания духа", или "Selva oscura" (итал. – "темный лес")". (Евст.). Так и названа вторая книга стихов поэта.

III. З в е з д а П о л ы н ь. Весь раздел посвящен Александре Михайловне Петровой (1871–1921). "Волошин в гимназические годы жил...

в Феодосии на квартире у Петровых. Дочь Петровых Александра Михайловна была большим другом и первой ценительницей стихов Волошина. ...Сохранилась большая переписка Волошина и А. М. Петровой. Ей же он посвятил статью "Киммерийская сивилла. (Памяти А. М. Петровой)", рукопись которой хранится в архиве поэта". (Хрул., стр. 143). "Петрова... – знаток татарского искусства, преподавала в Александровском училище в Феодосии; ...впоследствии он писал о Петровой: "...она оказалась моим очень верным спутником во всевозможных путях и перепутьях моих духовных исканий". (Евст.).

Быть черною землей. Впервые: "Перевал", 1906, № 2. "Датируется по письму Волошина к матери (1906) и упоминанию в письме М. В. Сабашниковой к Е. О. Волошиной от 22 сент. 1906. ...Богдановщина – имение Сабашниковых под Москвой (ст. Издешково, Московско-Брянской ж.д.)". (Евст.).

Я шел сквозь ночь (Одилону Рэдону). Впервые: "Северные Цветы Ассирийские", альм. IV, М., 1905, в цикле "Минуты прозрения. V. Одилон Рэдон". Разночтения:

Стр. 3: Лишь вечность зыблется ритмичными веками...
Стр. 4: И с грустью, как сквозь сон, я помню иногда

О знакомстве Волошина с Рэдоном – см. примеч. к стих. "Письмо". "22 авг. 1901 г. он писал А. М. Петровой, что чувствовал себя совершенно потрясенным лицом Сатаны на рисунках Рэдона к "Искушению святого Антония". "Такого лица никто и никогда не давал Сатане. В наклоненной голове и в глазах, смотрящих в сторону, бесконечная скорбь познания. "Где же цель?" – спрашивает Антоний, которого Сатана уносит на своих крыльях за пределы мироздания. "Нет цели", – грустно отвечает Сатана". ...Офорт О. Рэдона, изображающий ангела, висел в парижской мастерской Волошина; ныне находится в Доме поэта". (Евст.).

Кровь. Было ли опубликовано прежде, чем в "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. "Посвящение на книге "Эрос". Очевидно, это дарственная надпись Волошина, подарившего кому-то книгу Вяч. Иванова (с которым у Волошина – несмотря ни на что – связь не прервалась) "Эрос", – СПб. 1907. В этой "книге лирики" Вяч. Иванова, вошедшей затем в качестве третьей книги в "Cor Ardens", есть и перекликающееся с "Кровью" Волошина стих. "Двойник":

Ты запер меня в подземельный склеп,
И в окно предлагаешь вино и хлеб...
"...И в подземном склепе я про солнце пою,
Про тебя, мое солнце, – про любовь мою,
Твой, солнце, славлю победный лик...
И мне подпевает мой двойник.
Где ты, темный товарищ? Кто ты, сшедший в склеп
Петь со мной мое солнце из-за ржавых скреп?
– "Я пою твое солнце, замурован в стене, –
Двойник твой. Презренье – имя мне".

См. историю взаимоотношений Вяч. Иванова, М. В. Сабашниковой-Волошиной и Волошина в примеч. к стих. "Париж: Дождь".

Сатурн. Была ли публикация этого стих., предшествующая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. М. А. Эртель – сын известного прозаика А. И. Эртеля. Михаил Александрович Эртель, по своей специальности историк, близкий к кругам символистов ("мой *самый* яростный поклонник", – как писал А. А. Блок матери в письме 14–15 янв. 1904 г. из Москвы. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, М–Л., 1963, стр. 82).

Солнце. Была ли публикация этого стих., предшествовавшая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. Борис Алексеевич Леман – поэт, критик, переводчик, писавший под псевдонимом Борис Дикс, – один из основоположников и возглавителей русского антропософского движения, неоднократно бывавший по делам антропософского общества у Волошина на даче в Коктебеле, "где перебывали в качестве гостей почти все лучшие русские поэты того времени, (и дача явилась) местом их встречи со многими, тоже гостившими там, антропософами (в частности, с руководителями петербургского антропософского общества Б. А. Леманом и Е. И. Васильевой (Дмитриевой, БФ), – и общение с ними, а также с хозяином дачи, убежденным антропософом, не могло пройти бесследно". (Дм. Кленовский. Оккультные мотивы в русской поэзии нашего века. "Грани", № 20, 1953, стр. 130). Поэты-антропософы, в частности, Б. Леман-Дикс и Д. И. Кленовский, сильно преувеличивают значение антропософии в жизни и творчестве Волошина. Б. А. Леман-Дикс – автор первой статьи о творчестве Волошина ("Книга о поэтах последнего десятилетия", под ред. Мод. Гофмана, СПб., 1907).

Грот нимф. Впервые: "Золотое Руно", 1907, № 4, в цикле "Terre Antique", V. Посвящено Сергею Михайловичу Соловьеву (1885–1942),

поэту, литературному критику, троюродному брату Блока, входившему в теснейшее окружение Блока, в особенности в ранний период его творчества. После революции – священник, то православный, то католический. В 1913 году, после духовного перелома, поступил в Моск. Духовную академию. Был в эти годы близок к неославянофилам. Неоднократно репрессировался после Октябрьской революции. Но в 1907 г., когда С. М. Соловьеву было посвящено это стих. Волошина, был еще убежденнейшим эстетом-символистом. Блок, впрочем, весьма критически относился к поэтическим опытам раннего Соловьева. О первой книге поэта "Цветы и ладан" он писал в статье "О лирике" (1907): "Не может быть сомнения в том, что автор ее – оригинален и талантлив, так же как и в том, что он пишет *стихи*; но точно так же почти не может быть сомнения в том, что автор – не поэт, и то, что выходит из-под его пера, – *не поэзия*". (Собр. соч. в 8 тт., т.5, М–Л., 1962, стр. 151). Впоследствии Блок несколько смягчил свою оценку поэзии С. М. Соловьева. Но, независимо от оценки Серг. Соловьева как поэта, следует отметить, что его роль в символистском течении была значительна.

Руанский собор. Весь цикл впервые опубликован в журн. "Перевал", 1907, № 8–9, с разночтениями лишь в названиях отдельных стихотворений, входящих в цикл, и в пунктуации. Весь цикл посвящен А. Р. Минцловой, с которой Волошин посетил собор 24–25 июля 1905 г., "сообщив затем М. В. Сабашниковой: "Моя душа проходит через ряд мистерий готических соборов". ...Минцлова Анна Рудольфовна (ум. 1910) – теософка, переводчица, знаток истории и искусства Франции; была гидом Волошина в Руане и Шартре". (Евст.). Видная деятельница не только русского, но и европейского теософского движения, оккультистка, в некоторые периоды своей жизни противница Рудольфа Штейнера (см. Андр. Белый. Воспоминания о А. А. Блоке. "Эпопея", Берлин, № 4, 1923, стр. 176). "Я все более не понимал ее крайне запутанного поведения: стремления образовать среди нас круг людей, изучающий духовное знание; не понимал я намеков ее, что какие-то руководители духовного знания, о которых пока ничего она больше сказать не решается, появляются среди нас..." (там же, стр. 175–176). "Кто же могли ими быть? Темплиеры? Масоны? Нет, нет; розенкрейцеры? Право, терялись в догадках". (там же, стр. 176). "Странная женщина, судьбы доброй или недоброй, вкравшейся в жизнь не одного только Иванова" – зачеркнутые слова в воспоминаниях Евг. Герцык: "Теософка, мистик, изнутри сотрясаемая хаосом душевных сил: она нивесть откуда появлялась там, где назревала трагедия, грозила катастрофа. Летучей мышью, бесшумно шмыгает в дом, в ум, в сердце – и останется. ...О, какой бы она была Крюднер в другой век!" (Герцык, стр. 46, 58).

"...Анну Рудольфовну Минцлову, вернувшуюся в Россию после долгого пребывания на западе, привела на "башню" (к Вяч. И. Иванову, БФ) Маргарита (Сабашникова, БФ): они встречались заграницею в антропософических кругах, руководимых Рудольфом Штейнером. ...плохо сложенное тело, неопределенные черты лица, слегка выпуклые близорукие глаза – все было некрасиво. Но близорукие ее глаза, ничего не умевшие разглядеть в ближайшем окружении, жадно и упорно всматривались во что-то дальнее. ...она волновала людей наличностью в ней какой-то спиритической, магической силы..." (О. Дешарт. Введение. В кн.: Вяч. Иванов. Собр. соч. т. I, Брюссель, 1971, стр. 128). "Я не сомневаюсь, что А. Р. страдает вместе со мной, несмотря на всю соблазнительность и противоречивость всей совокупности ее поступков за все время нашей дружбы. ...Она приехала в 11-м часу. Долгая прекрасная беседа о храмовой легенде..." (Вяч. Иванов. Дневник. Записи в ночь на 26 и на 28 июня 1908. Собр. соч., т. II, Брюссель, 1974, стр. 776, 777). Нужно заметить, что в любовной драме Волошина-Маргариты-Вяч. Иванова Минцлова играла немаловажную роль. А на Волошина она воздействовала и через Маргариту, и через Вячеслава Великолепного, и непосредственно – не только как антропософка и оккультистка, но и как тонкий знаток искусства Франции и знаток теории цветов-красок Гете и Штейнера.

I. **Ночь.** В журн. – "Собор вечером". "Волошин впервые побывал в соборе в полночь 24–25 июля 1905 г." (Евст.).

II. **Лиловые лучи.** В журн. – "Фиолетовые лучи. Розасы собора". "В стихотворении почти дословно повторяются строки из письма к М. В. Сабашниковой 24 июля 1905 г., в котором Волошин уверял, что видел в фиолетовом луче ее душу". (Евст.). В статье "О современном лиризме" Анненский говорит об этом стихотворении: "Право, кажется, что нельзя ни искусней, ни полней исчерпать седьмой полосы спектра, ласковее изназвать ее, чем Волошин, воркуя, изназвал своих голубок-сестриц в лиловых туниках". ("Аполлон", 1909, № 2, стр. 9–10). В черновике этой статьи еще более интересны зачеркнутые Анненским строки о Волошине: "У нас понес туда (в "лиловые тени Руанского собора", БФ) молодое, чистое, свежее сердце Максимилиан Волошин... ...Но не жалко ли вам этого большого ребенка, который так хотел бы, так до смерти, хоть на минуту хотел бы там молиться, а из его слов завтра же, пожалуй, оперу стилизованную сделают и поставят ее в кабаре – в лиловых тонах". (Лавр.-Купч., стр. 245).

III. Вечерние стекла. В журн. явная опечатка во 2-й строке:

Длинный камень лиловат и сер.

IV а. Лирического интермеццо в прозе "Семь ступеней..." – в "Стих. 1900–1910" нет. Но мы включаем его в цикл, как чрезвычайно существенное для понимания всего цикла.

IV. Стигматы. О символическом и мистическом значении цветов – см. в помещенной в нашем собрании статье Волошина "Чему учат иконы?".

V. Смерть. В журн.: "На башне. Смерть. "Восхождение на башню Руанского собора состоялось в полдень 25 июля 1905 г. Волошин описал его в письме к М. В. Сабашниковой 26 июля того же года". (Евст.).

VI. Погребение. В журн. назв.: "Погребение. Крипты".

VII. Воскресение. "И стоит собор – первопричастница". "24 июля 1905 г. Волошин писал М. В. Сабашниковой из Руана: "А снаружи весь собор, светлый и пышный, был похож на 13-летнюю первопричастницу, которая, осторожно подобрав кисеи, кружева и ленты своего белого облака, ступает кончиками ног по черным плитам запыленного временем города". (Евст.).

Гностический гимн Деве Марии. Была ли первая публикация этого стих. прежде его помещения в "Книге о русских поэтах последнего десятилетия", под ред. Мод. Гофмана, СПб.–М, 1907, – нами не установлено. В этой публикации разночтения:

Стр. 25: Морем свита, (м.б. опечатка)
Стр. 27: Мать-Афродита...
Стр. 28: Звезда над морем.
Стр. 44: Несущихся звезд
Стр. 46: Голубая завеса.
Строки 47-й в кн. н е т
Стр. 49: Мы круг завершили,

Кроме того, в "Книге..." строки 23 и 24, 30 и 31, 45 и 46 слиты – каждая пара – в одну строку. Одно из наиболее оккультно-гностических

стихотворений Волошина, да еще периода его увлечения буддизмом (не без влияния увлеченной в те годы буддизмом А. В. Гольштейн).

Киммерийские сумерки. Художник Константин Федорович Богаевский (1872–1943), которому посвящен этот цикл, друг и крымский сосед Волошина, оказавший значительное влияние на него как на акварелиста и рисовальщика, автора "киммерийских" пейзажей. Богаевский создал графические заставки к первой книге Волошина. Богаевскому Волошин посвятил еще ряд других стихотворений и ряд статей: "К. Ф. Богаевский" ("Золотое Руно", 1907, № 10), "Архаизм в русской живописи. Рерих, Богаевский, Бакст" ("Аполлон", 1909, № 1), "Константин Богаевский" ("Аполлон", 1912, № 6). В последней статье Волошин говорит: "*Киммерией* я называю восточную область Крыма от древнего Сурожа (Судака) до Босфора Киммерийского (Керченского пролива), в отличие от *Тавриды*, западной его части (южного берега и Херсона Таврического)... Само имя Киммерии происходит от древне-еврейского КМР, обозначающего "мрак", употребляемого в Библии во множественной форме "KIMERIRI" (затмение). Гомеровская "Ночь Киммерийская" – в сущности тавтология". (Прим. Волошина на стр. 7). В своей автобиографии Волошин писал: "Истинной родиной духа для меня был Коктебель и Киммерия, земля, насыщенная эллинизмом и развалинами Генуэзских и Венецианских башен". (Евст.). Богаевский, которому посвящены "Киммерийские сумерки", писал Волошину 14 янв. 1907: "...Ваши стихи, они так глубоко коснулись моих самых заветных исканий, что не теперь, так после я должен буду ответить на глубоко поразившие меня слова "земли отверженной застывшие усилья, уста праматери, которым слова нет"... В этих словах весь символ веры моего искусства". (МВХ, стр. 33). "Редчайшее слияние поэта и художника образует в творчестве Волошина необычайную монолитность", – писал Э. Голлербах (Э. Ф. Голлербах. Миражи Киммерии. В кн. "Акварели М. А. Волошина. Выставка 14–21 апр. 1927", Л., 1927, стр. 16). Киммерийские стихи Волошина – глубоко лиричны и драматичны. В них, несомненно, отразились и переживания поэта после разрыва с Маргаритой Сабашниковой. Но в них отразились и пантеистические и несколько антропоморфические воззрения поэта на природу. В уже цитированной статье его "К. Ф. Богаевский" в "Аполлоне" он писал: "Лицо земли складывается геологически, так же, как человеческое лицо – анатомически, и точно так же определяется морщинами, шрамами и ранами, оставленными на нем стихиями и людьми: знаками мгновений. В этом смысл Исторического Пейзажа". (стр. 5). Эти прозаические строки – хороший комментарий и ко всем многочисленным киммерийским стихам, и к поэме "Дом Поэта", и к акварелям Волошина. Уже пережив не только личные драмы, но и обще-

российскую трагедию, годы революции, гражданской войны, небывалого размаха тирании и террора, поэт писал о Киммерии, да и вообще о родине, что "художник должен перестрадать ту землю, которую он пишет. Он должен пережить историю каждой ее долины, каждого холма, каждого залива. Опыт сердца, исходившего тоской в ее сумерках, и опыт ступней, касавшихся всех ее тропинок, ему дают не меньше, чем впечатление глаза". (Волошин. Культура, искусство, памятники Крыма. В кн. Крым. Путеводитель. М–Л., 1925, стр. 142).

I. Полынь. Впервые: "Русь". Иллюстр. приложение к газ. "Русь", 1907, № 6, под назв. "Коктебель", с разночтениями:

Стр. 4:	В истомной тьме качалась и текла.
Стр. 10:	Я сам – твои глаза, разверстые в ночи
Стр. 18:	Склоняюсь я в рассветной тишине...

"В сб. "Стихотворения 1900–1910" авторская дата: 1907, но, по-видимому, стихотворение было написано раньше, т. к. приводится в письме Волошина жене от 14 дек. 1906 г. Судя по письму А. М. Петровой от 28 янв. 1907 г. Волошин предполагал включить "Полынь" в сборник "мистических и философских стихотворений для немногих". Этот сборник под заглавием "Ad rosam" он предполагал издать в "Орах", но не осуществил этого замысла. В автографе стихотворение имело заглавие "Звезда Полынь", указывающее на ассоциативную связь с одноименной картиной К. Ф. Богаевского, написанной на сюжет Апокалипсиса (окончена в 1907 г.). Волошин неоднократно обращался к этому образу, считая его не только символом ужаса (Звезда Полынь в Апокалипсисе, 8, 10–11), но также и символом познания и магии". (Евст.).

II. Я иду дорогой скорбной. Впервые: "Золотое Руно", 1907, № 4, под общ. назв. цикла "Terre Antique", I. "Имеется в виду дорога из Феодосии в Коктебель, по которой Волошин с юношеских лет ходил пешком, отдыхая обычно на вершине горы Кучук-Янышары, где находится его могила". (Евст.)."В конце мая мы в Судаке, и в один из первых дней он у нас: пешком через горы, сокращенными тропами (от нас до Коктебеля 40 верст), в длинной по колени кустарного холста рубахе, подпоясанной таким же поясом. Сандалии на босу ногу. Буйные волосы перевязаны жгутом, как это делали встарь вихрастые сапожники. Но жгут этот свит из седой полыни. Наивный и горький веночек венчал его дремучую голову. Из рюкзака вынимает французские томики и исписанные листки – последние стихи. "Я иду дорогой скорбной..."

И еще в таких же нерифмованных античных ладах. Музыка не жила в Волошине – но вот зазвучала музыка". (Герцык, стр. 77–78).

III. Темны лики весны. Впервые: "Золотое Руно", 1907, № 4, в том же цикле, что и предыдущее стих., II. Образ *свитков* и *древних свитков* – частый гость в киммерийских стихах поэта.

IV. Старинным золотом и желчью напитал. Впервые: "Цветник Ор. Кошница I-я", СПб., 1907, в цикле "Киммерийские сумерки", I, с разночтениями:

Стр. 7: В крылатых сумерках шевелятся фигуры:
Стр. 8: Вот лапа тяжкая, как челюсти оскал.

Описание Карадага. "Взлобье горы. ...справа, ограничивая огромный коктебельский залив, скорее разлив, чем залив – каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль. Так его и звали. ...Голова спящего великана или божества". (Цвет., стр. 169).

V. Здесь был священный лес. Впервые: "Цветник Ор. Кошница I", СПб., 1907, в цикле "Киммерийские сумерки", II, с разночтениями:

Стр. 4: По склонам выжженным ползут стада овец.
Стр. 5: Как четки скаты гор! Зубчатый их венец
Стр. 10: И море скорбное, вздымая тяжко гребни,

VI. Равнина вод колышется широко. Впервые: "Золотое Руно", 1907, № 4, в цикле под общ. назв. "Terre Antique", IV.

VII. Над зыбкой рябью вод. Впервые: "Русская Мысль", 1907, № 9, под общ. назв. цикла "Киммерийские сумерки", I, с разночтениями, и, одновременно: "Книга о русских поэтах последнего десятилетия", под ред. Мод. Гофмана, СПб–М., 1907. Разночтения:

Стр. 1: Над темной рябью вод встает из глубины
Стр. 2: Тяжелый кряж земли; хребты скалистых гребней,

VIII. Mare Internum. Была ли первая публикация этого стих., предшествующая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. Любовь к Среди-

земноморью, любовь к странствованиям – сквозь ”Киммерийские сумерки”: ”Земля настолько маленькая планета, что стыдно не побывать везде...”, – писал поэт матери из Парижа, 12 дек. 1901 (Купр., стр.64).

IX. Гроза. Впервые: ”Русская Мысль”, 1907, № 9, в цикле ”Киммерийские сумерки”, II, без названия, с разночтениями:

Стр. 5: И стонет гулкая. Див кличет пред бедой
Стр. 8: Птиц стоном убудил, и встал звериный вой.

Эпиграф – искаженный (очевидно, написанный по памяти) текст из ”Слова о полку Игореве”. Подлинный текст: ”див, кличет връху древа: велит послушати Влъзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тьмутараканьский бъван!”. В журн. эпиграф ближе к подлинному тексту ”Слова”. В журн. примечания автора: ”*Ардавда* – древнейшее имя Феодосии (город семи богов). *Сурож* – старое имя Черного моря”.

X. Полдень. Впервые: ”Золотое Руно”, 1907, № 4, под общ. назв. цикла ”Terre Antique”, III, с разночтениями:

Стр. 12: Слепят сознание. И зной дрожит от крика...
Стр. 14: Огромный взгляд страдающего Лика.

В конце своего автобиографического очерка ”О себе” Волошин писал в 1930 г.: ”Я горжусь тем, что первыми ценителями моих акварелей явились геологи и планеристы, точно так же, как и тем фактом, что мой сонет ”Полдень” был в свое время перепечатан в Крымском журнале виноградарства. Это указывает на их *точность*”. (см. в наш. собр. Приложение второе).

XI–XIII. Облака. – Сехмет. – Сочилась желчь шафранного тумана. Были ли первые публикации этих стихотворений, предшествовавшие ”Стих. 1900–1910”, – нам установить не удалось. ”*Сехмет* – богиня Мемфиса, супруга Пта, изображалась с головой льва, была олицетворением солнечного зноя. *Луда* – сплав олова со свинцом”. (Евст.).

XIV. Одиссей в Киммерии. Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал (1872–1907) – вторая жена Вяч. Иванова, писательница. ”Макс с

мифом связан и через свою вторую родину. Землю входа в Аид Орфея. ...Макс, я. На веслах турки-контрабандисты. Коктебель за много миль. ...Десятисаженный грот: в глубокую грудь скалы. – А это, Марина, вход в Аид. Сюда Орфей входил за Эвридикой. – Входим и мы. Света нет, как не было и тогда, только искры морской воды, забрасываемой нашими веслами на наседающие.., и все-таки расступающиеся – как расступились и тогда – базальтовые стены входа. ..." (Цвет., стр. 170, 171). Была ли первая публикация этого стих., предшествовавшая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено.

Зеленый вал отпрянул и пугливо. "Датируется по письму Волошина А. М. Петровой от 10 марта 1904 г." (Евст.).

Вещий крик осеннего ветра в поле. Впервые: "Остров", 1909, № 1.

Священных стран. Впервые: "Остров", 1909, № 1.

Осенью. Было ли опубликовано до "Чтеца-Декламатора", т. 3, Киев, 1908, – нами не установлено.

Над горестной землей. Впервые: "Русъ", 1 янв. 1908, с разделением не на четверостишия, а на двустишия. Посвящено сестре Вл. С. Соловьева, поэтессе Поликсене Сергеевне Соловьевой, писавшей под псевдонимом Allegro (1867–1924).

Возлюби простор мгновенья. Была ли первая публик. этого стих., предшествовавшая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. Посвящено жене К. Д. Бальмонта Екатерине Алексеевне. "Посылая стихотворение матери, Волошин сообщил ей 2 янв. 1909 г.: "Эту осень у меня бывали моменты глубокой грусти. Вот еще одно стихотворение, написанное в эту же осень". (Евст.).

IV. А л т а р и в п у с т ы н е. Весь этот раздел стихотворений посвящен А. В. Гольштейн (см. о ней выше, в общих примеч. к первой книге – "Годы странствий". В кругу поэтов и критиков, группировавшихся вокруг журнала "Аполлон", стихи эти, частично в "Аполлоне" и опубликованные, сочувствия не встретили. Редактор журнала, С. К. Маковский, вспоминал уже десятки лет спустя: "Среди сотрудников "Аполлона" он

оставался чужаком по всему складу мышления, по своему самосознанию и по универсализму художнических и умозрительных пристрастий. ...поэзия Волошина в то время не производила особого впечатления, хоть он и удивлял уже техническим мастерством. Недоставало его стихам той силы внушения, которая не достигается никакими внешними приемами. От их изысканной нарядности веяло холодом... ..."Годы странствий", "Звезда Полынь", "Алтари в пустыне" воскрешают средиземноморские века и мифы. Это – Парнас с уклоном к мистике (в том числе и посвященный мне "Дэлос"...). Но среди всех Горгон, Персефон и Гераклов нет-нет и зазвучит волнующая лирическая нота, пафос, рожденный не ухом, а сердцем". (Мак. стр. 314, 315). В эти годы (1909–1910) Волошин как-то отходит от символистских кругов. Они, эти символистские круги, относились к Волошину сначала настороженно, а затем – и полувраждебно (позднее, начиная с 1913 г., – и просто враждебно. Впрочем, о "братстве" символистского ордена Волошин однажды обмолвился весьма выразительно: он "сказал, что традиция этих братских чувств восходит к глубокой древности: к самому Каину". (В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Брюссель, 1939, стр. 37). Приветствовал – и тоже лишь в известной мере – "Алтари в пустыне" лишь И. Ф. Анненский, которому Волошин послал в письме ряд стихотворений из этого цикла. 13 авг. 1909 г. Инн. Ф. Анненский писал Волошину: "Стихи Ваши мне понравились, конечно, очень; да и не может не понравиться то, что "осуществляет мысль". ...Мысль... мысль?.. Вздор все это. Мысль не есть плохо понятое слово; в поэзии у мысли страшная ответственность... И согбенные, часто недоумевающие, очарованные, а иногда – и нередко – и одураченные словом, мы-то понимаем, какая это сила, святыня и красота. Присылайте еще *алтарей*... ...хотелось бы и из Ваших ненапечатанных пьес сделать подбор для первого номера". (Аполлона, БФ). (Лавр.-Купч., стр. 249).

Станет солнце в огненном притине. Была ли первая публик. этого стих., предшествовавшая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено.

Κλητικοί. Впервые "Весы", 1909, № 10–11, с разночтениями:

Стр. 8: Оглашает ликованьем всех существ великий хор –
Стр. 11: Вещих слов слепые узы бременят сердца Сивилл,

Строка 23-я в "Весах" предшествует строке 22-й. М. б. – опечатка?

Дэлос. Впервые: "Аполлон", 1909, № 1, с разночтениями:

Стр. 18: Здесь не видят корабли.
Стр. 32: Дымы темных алтарей.

Стихотворение носит характер программы вновь открытого журнала (в известной мере – наследника традиций "Мира Искусства"). Посвящено редактору журнала – художественному критику и поэту Сергею Константиновичу Маковскому (1878–1962). Родина Феба-Аполлона, небольшой скалистый остров Дэлос, по записи Волошина в творческой тетради № 2, – "бродячий остров, рожденный ударом Посейдонова трезубца. Зевс приковал его ко дну моря алмазными цепями в сердце Циклад. На нем вырос впервые лавр". (Евст.).

Дельфы. Призыв. Были ли первые публикации этих стихотворений до "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. Очевидно, по поводу стихотворения "Призыв", в его первой редакции, писал Волошину 8 янв. 1909 г. Ал. Н. Толстой: "Стихи твои очень хороши, звучны и искренни, немного нехорошо, что повторяется "желтым золотом", а потом "белым золотом". (І. Т. Купріянов. До історії відносин О. М. Толстого і Максиміліана Волошина. "Радянське Літературознавство", 1974, № 4, стр. 67). Речь идет, по всей вероятности, о строках 11 и 23, где "Желтым золотом" было изменено на "Темным золотом" – и "Белым золотом" на "Беглым золотом".

Полдень. Впервые: "Аполлон", 1909, № 1, с разночтениями:

Стр. 3: В сине-черном огне расцветают медные тучи.
Стр. 8: В зное плывут над землей.

"Датируется по творческой тетради № 2". (Евст.).

Сердце мира, солнце Алкиана. Была ли первая публикация, предшествовавшая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. Строка 11 нами принята по публикации в "Івернях". В "Стих. 1900–1910" она читается:

Ночь-Фиал из уст твоей Лилеи

Созвездия. Впервые: "Аполлон", 1909, № 1; нами строка 26-я принята по более поздней публикации ("Иверни"). В "Стих. 1900–1910":

Сплетались там в мерцаниях огней.

Она. Была ли первая публикация этого стих., предшествовавшая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. Тема, общая многим русским символистам. Вслед за Вл. С. Соловьевым ("Идея человечества у Августа Конта", "Три разговора" и др.) и Вяч. Иванов, и Блок, и многие другие начали воспевать Мировую Душу, Софию, Вечную Женственность. Стало популярным цитировать слова Марии Тимофеевны Лебядкиной, вспоминавшей некую странницу-старицу в монастыре – с ее утверждением, что Мать сыра Земля – Богородица ("Бесы"). То же – в "Сказании о Невидимом Граде Китеже" Римского-Корсакова (либретто – В. И. Бельского; первое представление в Мариинском театре в февр. 1907). "В сент. 1900 – февр. 1901 гг. Волошин находился в Средней Азии. В автобиографии он писал: "Сюда до меня дошли "Три разговора" и "Письмо о конце всемирной истории" Владимира Соловьева... Но надо всем было ощущение пустыни, той широты и равновесия, которое обретает человеческая душа, возвращаясь на свою прародину. Здесь же создалось решение уйти на Запад, пройти сквозь латинскую дисциплину формы". (Евст.).

V. Corona Astralis. Венок сонетов. Была ли первая публикация этого венка сонетов, предшествующая "Стих. 1900–1910", – нами не установлено. Ключевой сонет в "Стих. 1900–1910" стоит в венке первым, в "ИверНях" – последним, 15-м. Мы приняли порядок сонетов по "Иверням", как более поздний авторский. Венок сонетов, навеянный и антропософскими воззрениями Руд. Штейнера, и "Ночной стороной естествознания" Г. Шуберта, и Бергсоном, и, в еще большей степени, Вяч. Ивановым, посвящен Елизавете Ивановне Дмитриевой, антропософке, поэтессе, "Черубине де Габриак" (см. о ней выше – в прим. к стих. "К этим гулким морским берегам"). Преувеличивая антропософские элементы в творчестве Волошина, поэт Дм. И. Кленовский, сам убежденнейший антропософ, писал: "Два его венка сонетов на космические темы "Corona Astralis" и "Lunaria"... могут быть поняты и осмыслены только тем, кто уже солидно знаком с оккультными учениями". ("Оккультные мотивы в русской поэзии нашего века", "Грани", № 20, 1953, стр. 134). "Макс принадлежал другому закону, чем человеческому, – говорит о нем Марина Цветаева, – и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Макс сам был планета. ...Макс был знающий. У него была тайна, которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто. ...Она была в нем, жила в нем, как постороннее для нас, однородное ему – тело. Не знаю, сумел ли бы он сам ее назвать. Объяснить эту тайну принадлежностью к антропософии или занятиями магией – не глубоко. Я много штейнерианцев и нескольких магов знала, и всегда впечатление: человек – и то, что он знает; здесь же было единство, Макс сам был тайна, как сам Рудольф

Штейнер – своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках, у М. В. – ни в стихах, ни в друзьях – самотайна, унесенная каждым в землю. – Есть духи огня, Марина, духи воды, Марина, духи воздуха, Марина, и есть, Марина, духи земли. – Идем по пустынному уступу, в самый полдень, и у меня точное чувство, что я иду – вот с таким духом земли. Ибо каким (*дух*, но *земли*), кроме как вот таким, кем, кроме как вот этим, дух земли еще мог бы быть! Макс был настоящим чадом, порожденным, исчадием земли. Раскрылась земля и породила: такого, совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко быка, немножко бога, ... со всеми морскими и земными солями в крови ("А ты знаешь, Марина, что наша кровь – это древнее море"...), со всем, что внутри земли кипело и остыло. Нутро Макса, чувствовалось, было именно нутром земли". (Цвет., стр. 167–168). Мы уже ранее сообщали о Е. И. Дмитриевой-Васильевой. Сообщали и о происхождении ее мистифицирующего имени, созданного Волошиным в Коктебеле в 1909 г. Волошин писал: "Габриак был морской черт, найденный в Коктебеле на берегу против мыса Мальчик. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду". В ноябре 1909 г. Волошин писал А. М. Петровой: "О Черубине создана легенда, и она существует уже как совершенно самостоятельная личность". Впоследствии Е. И. Дмитриева писала Волошину: "Черубина" поистине была моим рождением, увы! – мертворождением". (Евст.). Волошин хотел опубликовать этот венок сонетов в журн. "Аполлон", еще в 1909 г. В дневнике 6 сент. 1909 г. Вячеслав Иванов, тоже создавший к тому времени венок сонетов, рассказывает, что редактор "Аполлона", С. К. Маковский, поведал "о том, что явился (в редакцию журнала, БФ) Макс с "Венком Сонетов". Иронически я сказал, что рассчитываю на деликатность Макса и счел бы опубликование "Венка" раньше моего не вполне корректным". (Вяч. Иванов. Собр. соч., т. II, Брюссель, 1974, стр. 803). "Венок сонетов" Волошина в "Аполлоне" опубликован не был.

книга вторая

SELVA OSCURA

Книга эта издана не была. Отдельные стихотворения вошли в книгу избранных стихов – "Иверни" (изд. "Творчество", М., 1919). Название – из "Божественной комедии" Данте ("Темный лес"). К моменту выхода в свет первой книги стихов Волошина он все больше и больше становится чужаком в кругах символистов. А когда Волошин выступил с лекцией о Репине, где осудил прославленного маститого живописца за крайний натурализм – и это в те дни, когда полотно Репина, с анатомо-физиологической дотошностью воспроизводящее Ивана Грозного над телом убитого им сына, было изрезано полусумасшедшим Балашовым, – поэт был предан "всероссийскому остракизму". Перед Волошиным буквально захлопнулись двери редакций. "Одинокость. Отчужденность от кругов модернистов", – вспоминает Е. Герцык (стр. 86). Помогла отчуждению и история с Дмитриевой-Черубиной де Габриак. Но еще больше – своеобразие воззрений и независимость мыслей и характера поэта. Уже в 1909 г., в декабре, он писал А. М. Петровой о своем сотрудничестве, весьма не "активном" в "Аполлоне": "...От этого журнала я духовно далек. Моего влияния там нет никакого". (Купр., стр. 111). "Волошин глубоко переживал "любви незримые надломы и медленный отлив друзей". ... В конце 1912 г. он порывает с редакцией журнала "Аполлон", переходившей от символизма к акмеизму, продолжает художественные поиски. Весной 1912 г. Волошин был избран действительным членом Общества любителей российской словесности. Именно в этом году, по автохарактеристике поэта, в нем начал "назревать внутренний перелом (по отношению к творческой работе)". (Письмо Волошина к матери от 17 дек. 1913 г.)". (Купр., стр. 112, 113). "Что же произошло? – спрашивает автор первой критико-биографической работы о Волошине Евгений Ланн: – Почему в 1913 году по словам самого поэта "я покончил с литературой". Конечно, эта фраза есть поэтическая фигура; на язык прозы она переводима так: разрыв с миром редакций поставил меня вне основного русла литературы. Поэтому ответ должен быть дан на такой вопрос: что

привело Волошина к разрыву с журнальным миром, после чего он оказался "партизаном"? Освещение этого вопроса необходимо не только для понимания того, какое своеобразное место занимает Волошин в русской литературе. Оно имеет и принципиальное значение: небрежение Волошиным читателя сказалось в той позиции, какую он занял в отношении журнального мира. Систематически Волошин ставил себя в своих многочисленных критических статьях особняком в кругу тех эстетических идей, которые всасывались в сознание читателя к концу первого десятилетия нашего века. Систематически он занимал автономную позицию в трактовке этих идей, благодетельная прививка которых производилась руководящими литературно-художественными органами". (Писательская судьба Максимилиана Волошина. М., 1926, стр. 11). Модернисты отвергли Волошина за своеобычность его творческого облика, рядовому читателю и обслуживающему рядового читателя редактору Волошин был неприемлемым "декадентом"... "Осмысливая ретроспективно захлопывание дверей, поэт как-то бросил: "Меня травили. Почему? до конца я не понимаю. В каждой моей газетной статье я давал свои мысли, а этого не прощают. Я привык писать и говорить в одиночестве". Нам думается, что эта проблема – "до конца я не понимаю" – разрешена самим же поэтом. ...Собратья его, союзники по символизму, приняв поэта, не могли ... не чувствовать, что символизм для него какая-то временная остановка, что поэт неустанно *изживает* символизм и в этих "*своих мыслях*" прорубает себе шире и шире выход за его пределы". (там же, стр. 16). 3/IV 1914 г. Волошин, благодаря Федора Сологуба за приглашение участвовать в основанном Сологубом журнале "Дневники Писателей", писал:"Участие в "Дневниках" мне тем более приятно, что для меня сейчас закрыты *все* газеты и большинство журналов". (Купч.-Сол., стр. 159). Сологуб и его жена, Ан. Н. Чеботаревская, сочувственно относились к положению "опального" поэта. 6 марта 1915 г. Волошин пишет матери из Парижа: "Я начал рассылать свои стихи по редакциям: часть послал в "Русскую Мысль", часть Сологубу – с просьбой устроить в петербургских журналах". Ан. Н. Чеботаревская передала стихи в "Аполлон", и сообщила об этом Волошину (Купч.-Сол., стр. 153). В годы войны несколько усилились и антропософские влияния на поэзию Волошина. Встреча поэта с таким ярым антропософом, как Андрей Белый, произошедшая в 1914 г. в Дорнахе, в Швейцарии, где оба приняли участие в строительстве Гетеанума (и куда Волошин прибыл 31 июля, накануне объявления войны). В интимном, оставшемся в рукописи (ЦГАЛИ), предназначенном лишь для опубликования после смерти автора "Материале к биографии", Андр. Белый писал: "...какою-то бурею появился в Дорнахе Макс Волошин, заявивший, что он едва успел проскочить в Швейцарию через Австрию... Так он скоро зажил в нашей дорнахской группе". (С. Гречишников, А. Лавров. Неизданный очерк Андрея Белого о Макси-

милиане Волошине. "Звезда", 1977, № 5, стр. 192). Еще более усилилось в эти годы и мистическое понимание Волошиным разных оттенков цвета.

В эту книгу включены и лирические стихи Волошина, написанные после революции. "Француз культурой, русский душой и словом, германец – духом и кровью. ...В другой свой дом, Россию, Макс явно вернулся. Этот французский, нерусский поэт начала – стал и останется русским поэтом. Этим мы обязаны русской революции". (Цвет., стр. 194). Если не во всем, то в какой-то мере Марина Цветаева права.

Являясь непосредственным продолжением первой книги поэта, второй книгой его лирики, "Selva Oscura" сохранилась лишь в машинописном экземпляре, хранящемся в Доме поэта. В этот экземпляр – время от времени – автор вклеивал новые лирические стихи. "Война и революция помешали ей выйти отдельной книгой в свое время, – писал Волошин, – но отдельные стихотворения ее вошли в сборник моих избранных стихотворений "Иверни"... С начала войны я уже не писал больше чистой лирики, но несколько стихотворений, дописанных в последующие годы, включены мною в эту книгу". "В 1922 г. Госиздат заключил с Волошиным договор на издание "Selva Oscura", но книга не вышла в свет". (Евст., стр. 378–379). В нашем распоряжении находилась копия с машинописного экземпляра, переписанная в очень давние годы.

I. Блуждания

Теперь я мертв. Впервые: "Камена", 1918, № 1 и, почти одновременно, "Весенний Салон Поэтов", М., 1918. И. Куприянов указывает, что стихотворение посвящено Е. И. Дмитриевой. (Купр. стр. 97).

В рукописи Русск. Архива Колумбийск. университета (Нью-Йорк) разночтение:

Стр. 5: Теперь меня ты можешь в час тревоги

Судьба замедлила сурово. Была ли первая публикация до "Стихотворений" (Библиотека Поэта), Л., 1977, – нами не установлено.

Себя покорно предавая сжечь. Впервые: "Камена", 1918, № 1. И. Куприянов говорит, что это стих. посвящено Е. И. Дмитриевой (Купр., стр. 97).

В рукописи Русск. Архива Колумб. ун-та разночтения:

Стр. 3: Нам древней было суждено судьбою
Стр. 6: Смиряя персть, мы клали меж собою:
Стр. 13: Излечит стигмы страстного пути:

С тех пор как тяжкий жернов слепой судьбы. Очевидно, публикуется в первый раз. Во всяком случае, первую публикацию мы не обнаружили. Строка "Горечь рассвета и сладость смерти" перекликается с наброском статьи Волошина "Федор Сологуб": "Жизнь безобразна и чудовищна. Смерть утончает и просветляет ее. Он (Сологуб, БФ) помнит символы леонтинских мистерий: желчь жизни и мед смерти". (Купч.-Сол., стр. 157).

Пурпурный лист на дне бассейна. Была ли первая публикация, предшествовавшая "Иверням", М., 1918, – нами не установлено. "В этом стихотворении вневременная встреча". (Купр., стр. 101).

В неверный час тебя я встретил. Впервые: "Gaudeamus", 1911, № 1. Первые два четверостишия в журн. без разночтений. Вслед за ними следуют еще два:

Служил неверующий жрец,
И жертва тайны не страшилась,
И в кровь вино не претворилось
Во тьме кощунственных сердец.

И без смущенья, без укора
На скучный ужас я глядел
Неискупимого позора
Погасших душ и вялых тел.

Раскрыв ладонь, плечо склонила. Впервые: "Ветвь", М., 1917, в цикле "Облики", 3. "Не к М. Цветаевой ли обращено и стихотворение "Раскрыв ладонь, плечо склонила...", написанное Волошиным 3 декабря?" – задает вопрос один из лучших знатоков Волошина – Вл. Купченко. (Купч.-Цвет., стр. 152).

Обманите меня... Впервые: "Биржевые Ведомости", 3 мая 1915, под назв. "Встречной", с разночтением в стр. 4-й:

Чтоб за кем-то идти в темноте наобум.

Мой пыльный пурпур был в лоскутьях. Была ли первая публикация этого стих. до "Иверней", М., 1918, – нами не установлено. В этом стихотворении – отклики не только "Федона" Платона, но и той драмы "любви троичной", какая не раз разыгрывалась Вяч. Ивановым, в частности, и с Волошиными. "...Ты же знаешь и помнишь, что всякая вещь, которою овладевает идея троичности, есть непременно и три, и нечетное. ...К такой вещи, утверждаем мы, никогда не приблизится идея, противоположная той форме, которая эту вещь создает. ...А создавала ее идея нечетности? – Да. – И противоположная ей идея четности? – Да. – Стало быть, к трем идея четности никогда не приблизится. ...У трех, скажем, нет доли в четности. ...тройка: она не противоположна четному и тем не менее не принимает его, ибо всегда привносит нечто ему противоположное. Равным образом двойка привносит нечто противоположное нечетности, огонь – холодному и так далее". (Федон. – Платон. Сочинения. т.2, М., 1970, стр. 77). И на этой основе неоплатоники и гностики и говорили о духах парных и непарных: есть духи парные, обретающие полноту личности лишь воссоединяясь со своей утраченной в глубине времен половиной: женой, мужем. Но есть духи непарные, обреченные одиночеству изначально – и до конца...

Я к нагорьям держу свой путь. Впервые: "Аполлон", 1915, № 4–5, под названием "Венчание".

К тебе пришел я через воды. – Я глазами в глаза вникал. Очевидно, публикуется нами впервые. Опять идеи Платона и гностиков.

Я быть устал среди людей. Впервые: "Аполлон", 1915, № 4–5, под назв. "Усталость", с разночтением в строке 4-й:

И я иду, смущаясь, мимо,

"В автобиографическом очерке "О самом себе" Волошин писал: "В 1913 г. у меня произошла ссора с русской литературой из-за моей публичной лекции о Репине. Я был предан всероссийскому остракизму, все редакции периодических изданий для меня закрылись, против моих книг был объявлен бойкот книжных магазинов". (Евст.). Дело было, конечно, не только в лекции о Репине. Волошин был слишком *сам по себе*, слишком обособленно мыслил, чтобы быть приемлемым для редакций.

Как некий юноша в скитаньях без возврата. Впервые: "Аполлон", 1915, № 4–5, под назв. "Странник". Опять тот же платонический и гностический мотив, что и в стих. "Мой пыльный пурпур был в лоскутьях", но в еще более открытой форме – и с привнесением в эллинскую тему евангельской притчи о Блудном сыне. В "Пире" Платона: "Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой. Прежде всего, люди были трех полов, а не двух, как ныне,.. ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, – андрогины... Кроме того, тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, ... и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у этих двух лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая... ...А было этих полов три, и таковы они были потому, что мужской (род) происходит от Солнца, женский – от Земли, а совмещающий оба этих – от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала. Что же касается шаровидности этих существ и их кругового передвижения, то и тут сказывалось сходство с их прародителями. Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов...: это они пытались совершить восхождение на нёбо, чтобы напасть на богов. ...Мириться с таким бесчинством ... нельзя было. Наконец, Зевс, ... говорит: – Кажется, я нашел способ и сохранить людей, и положить конец их буйству, уменьшив их силу. Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезней для нас, потому что их число увеличится. ...Вот с каких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу". (Платон. Соч., т. 2, М., 1970, стр. 116–118). Но, конечно, согласно платоновскому мифу, рассеченные надвое мужчины – порождения Солнца – ищут вторую мужскую же свою утраченную половину, рассеченные надвое женщины – свою утраченную женскую половину, и лишь исконные "андрогины", рассеченные Зевсом, ищут половину другого пола... Но отсюда – поиски не только Эрота, но и просто дружества... А этим последним устремлением Волошин отличался в высокой степени – и по отношению к мужчинам, и к женщинам. И именно, в первую очередь, искал он д р у ж е с т в а.

Ступни горят, в пыли дорог душа. Впервые, возможно, в альм. "Норд", Баку, 1926. Несомненны реминисценции соловьевской лирики. Ср.:

Бедный друг! истомил тебя путь,
И усталые ноги болят.
Ты войди же ко мне отдохнуть.
Догорая, темнеет закат. ...

Именно этот вариант известного стихотворения Вл. Соловьева как-то перекликается с волошинским. И, думается, не случайно. (См.: В. С. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Изд. 8-е, стр. 23).

В рукописи Русск. Архива Кол. ун-та разночтение в стр. 2:

Скажи, где путь к Невидимому Граду?

И было так, как будто жизни звенья. Впервые: "Стремнины", кн. 2, М., 1918, в цикле под общ. назв. "Киммерийские сумерки", 4, и, почти одновременно: "Иверни", М., 1918. "У Волошина "жизни звенья" не были согласованы между собой, находились в разладе. 5 июля 1913 г. он, оглядываясь на недалекое прошлое, откровенно писал: "И было так..." (Купр., 113).

Я, полуднем объятый. Было ли это стих. опубликовано до сборн. "Иверни", – нами не установлено. О солнце, о земле и луне – см., в частности, в примеч. к стих. "Как некий юноша...". "Мне враждебны рабыни Смертно-влажной Луны..." – ср. в венке сонетов "Lunaria" – "Живые звенья, которыми связует нас луна": "теософы утверждали, что на Луне человеческий дух развивает образное сознание с его символическим характером". (Евст.).

В рукописи автора (Русский Архив при Кол. ун-те) между четверостишиями 2-м и нашим 3-м два четверостишия:

Скорбь желаний угасла
Перед ликом Огня.
Ты – принесшая масла –
Не касайся меня.

К душным ульям зачатий,
Ночью, в дымном бреду,
Я, возжаждав объятий,
Припадать не приду.

Дети солнечно-рыжего меда. Впервые: Макс. Волошин. Стихотворения. "Б-ка Поэта", мал. серия, Л., 1977. "Ответ на стихотворение А. Н. Толстого (1882–1945) "Талисман" ("Родила меня мать в гололедицу"... 1909)". (Евст.). С Ал. Н. Толстым Волошина связывала долголетняя дружба. "Близостью к поэту и переводчику М. Волошину я обязан началом моей новеллистической работы", – писал А. Н. Толстой в краткой автобиографии, говоря, что в знакомстве с русским народным

творчеством (и знакомстве творческом) ему "помогли А. Ремизов, М. Волошин, Вячеслав Иванов". (Собр. соч. в 10 тт., т. I, М., 1958, стр. 56). В № 3 "Аполлона" за 1909 г. появилась рецензия Волошина на "Сорочьи сказки" Ал. Толстого.

Надписи: I. Вячеславу Иванову (Еще не отжиты связавшие нас годы). Была ли первая публикация до появления в кн. И. Куприянова "Судьба поэта (Личность и поэзия Максимилиана Волошина)", Киев, 1978, в подстр. примеч. на стр. 105-й, нами не установлено. "При всем уважении к Вяч. Иванову-поэту Волошин долго не мог преодолеть в себе чувства ненависти к Иванову-человеку. В дарственной надписи на книге "Стихотворения" он писал: "Еще не отжиты..." (Купр., стр. 105). Но взаимоотношения Волошиных и Вяч. Иванова и его жены Зиновьевой-Аннибал – были гораздо сложнее, и их объяснить просто "уважением к Иванову-поэту" и "ненавистью к Иванову-человеку" со стороны Волошина никоим образом нельзя. См. примеч. к стих. "Париж: Дождь" в "Годах странствий".

Надписи: II. В горькой купели... – III. Вместе в один водоем поглядим мы осенью поздней... Очевидно, относится к той же любовно-дружеской драме – см. "Париж: Дождь". Оба посвящения публикуются впервые.

Я верен темному завету. Впервые: "Биржевые Ведомости", 5 апр. 1915, под назв. "Путями усталости".

Замер дух – стыдливый и суровый. Впервые: "Биржевые Ведомости", 25 декабря 1915, под назв. "Грехопаденье".

Пещера. Была ли первая публикация этого стихотв. до "Иверней", М., 1918, нами не установлено. Буквально – схематически-поэтическое изложение Платоновой системы. "А теперь взглянем, как приобретается способность мышления. Препятствует ли этому тело или нет, если взять его в соучастники философских разысканий? ...Могут ли люди сколько-нибудь доверять своему слуху и зрению? Ведь даже поэты без конца твердят, что мы ничего не слышим и не видим точно. Но если эти два телесных чувства ни точностью, ни ясностью не отличаются, тем менее надежны остальные, ибо все они, по-моему, слабее и ниже этих двух. ...Когда же в таком случае... душа приходит в соприкосновение с истиной? Ведь, принимаясь исследовать что бы то ни было совместно

с телом, она всякий раз обманывается – по вине тела. Мне кажется, это бесспорно. ...Так не в размышлении ли – и только в нем одном – раскрывается перед нею что-то от подлинного бытия? ...И лучше всего мыслит она, конечно, когда ее не тревожит ничто из того, о чем мы только что говорили, – ни слух, ни зрение, ни боль, ни удовольствие, когда, распростившись с телом, она остается одна, или почти одна, и устремится к подлинному бытию, прекратив и пресекши, насколько это возможно, общение с телом". ("Федон", Сочин. Платона, т. 2, М., 1970, стр. 23). И образ сна в пещере – образ Платона. И знание как *воспоминание* о нашем как бы до-жизненном бытии – его же идея.

Материнство. Впервые – "Вестник Русского Христианского Движения", № 120, 1977. Может быть, была, неизвестная нам, первая публик. этого стих. в СССР – еще до "Стих.", М., 1977. "По замыслу тесно связано со стих. "Пещера"... Судя по творческой тетради № 2, задумано еще в 1912 г. Первый вариант стихотворения был создан в 1915 г., после того, как мать Волошина Елена Оттобальдовна (1850–1923) 27 июня сообщила ему содержание своего сна: "...во сне только ты да я; никакой обстановки, без времени и пространства. Ты только упорно молчишь. Я прошу, молю, требую, негодую, упорно говоря и повторяя только несколько слов: скажи мне имя свое, Макс!" 16 авг. 1915 г. Волошин писал А. М. Петровой, что этот сон "даже не символичен, а вполне реален. Это общая формула всей жизни и всех наших отношений". Окончательный вариант стихотворения был послан Ю. Ф. Львовой 15 июля 1917 г." (Евст.). Опять Платоново: мысль и жизнь – одно и то же. Вернее, идея-имя-бытие.

Отроком строгим бродил я. Была ли первая публикация этого стих., предшествовавшая "Иверням", М., 1918, – нами не установлено. Опять платоновские и гностические идеи о "разделении тел" – см. в примеч. к стих. "Как некий юноша..." В "Иверням" последние 8 строк искажены (редактором или типографией).

Склоняясь ниц, овеян ночи синью. Впервые: "Аполлон", 1915, № 4–5, под назв. "Благодарность". Разночтения:

Стр. 12: Но не угас.
Стр. 14: Я ж расточил, что было мне дано:

II. Киммерийская весна. Куда бы ни ездил Волошин, куда бы ни занесла его судьба, душа его всегда тяготела к Киммерии, он

всегда возвращался в свой излюбленный Коктебель. И как поэт, и как художник. 13 янв. 1912 г. он писал из Парижа А. М. Петровой: "...я все время мечтаю о живописи, но только о том, как я буду писать Киммерию. Когда бываю в музеях, то смотрю на пейзажи с мыслью: а как это можно применить там?" (Купр., стр. 130). "Для Волошина священны: – древняя Греция и отпрыск ее, Крымская Киммерия, а к Христу привели его Вилье де Лиль-Адан и Штейнер"... (Мак.-Парнас, стр. 22). "В молодые годы Волошин был страстным искателем новых впечатлений, новых ощущений. Ему хотелось все видеть, все пережить. К пожилому возрасту эта страсть утихла. Появился опыт и равновесие. ...Максимилиан Александрович очень любил Коктебель. Понимал, как никто, его изысканную и терпкую красоту. Мать его и он были пионерами этих мест. В молодые годы он исходил горы и степь на много километров кругом". (А. П. Остроумова-Лебедева. Лето в Коктебеле. МВХ, стр. 107, 108). "Крым, Киммерия, Кермен, Кремль... Всюду один и тот же основной корень КМР, который в древне-еврейском языке соответствует понятию неожиданного мрака, затмения и дает образ крепости, замкнутого места, угрозы и в то же время сумрака баснословности. Полуостров, отделенный от материка гниющими и зловонными Меотийскими болотами, солончаковыми озерами, узкими песчаными косами, а море вбирающий в себя глубокими бухтами, проливами, гаванями. Материк был для него стихией текущей и зыбкой – руслом Великого океана, по которому из глубины в Европу текли ледники и лавины человеческих рас и народов. Море было стихией устойчивой, с постоянной и ровной пульсацией приливов и отливов средиземноморской культуры. "Дикое Поле" и "Маре Интернум" определяли историю Крыма. Для Дикого Поля он был глухой заводью". (Волошин. Культура, искусство, памятники Крыма. – "Крым. Путеводитель. М.–Л., 1925, начало статьи).

Моя земля хранит покой. – Седым и низким облаком дол повит. – К излогам гор душа влекома. – Солнце! Твой родник. – Звучит в горах, весну встречая. – Облака клубятся в безднах зеленых. – День морозносизый. Впервые: "Антология", изд. "Мусагет", М., 1911, под общим назв. цикла "Киммерийская весна", II, I, III, VII, V, IV, VI. Разночтения:

М о я з е м л я... Стр. 6: Сложить дары моей печали,

К и з л о г а м г о р... Строки 1 и 2-я в "Иверных" переменились местами.

С о л н ц е! Т в о й р о д н и к. В "Антологии" еще одна, последняя строфа:

Солнце! Млеет даль...
Облачи яры и балки
В дымно-розовый миндаль,
В желтый ирис и фиалки.

Звучит в горах...

Стр. 12: Не зажжены еще огни. (Опечатка?)

День морозно-сизый...

Стр. 1: День молочно-сизый расцвел и замер,

"Седым и низким облаком" – "Опыт применения ... алкеевой строфы в русском стихосложении. 4 мая 1910 г. Волошин писал А. М. Пешковскому: "Я, когда уехал из Москвы после нашего разговора, целый месяц выстукивал в уме алкееву строфу и сделал потом несколько опытов". (Евст.). "Киик–Атлама" в стих. "Облака клубятся..." – гористый мыс в Черном море возле Коктебеля.

Над синевой зубчатых чащ. Впервые: "Радянське Літературознавство", 1977, № 3, и одновременно – М. Волошин. Стихотворения. Б-ка Поэта, мал. серия, Л., 1977.

Гамадриада – сонм дриад.

Сквозь облак тяжелые свитки. Впервые: "Свиток", альм. № 2, М., 1922, и "Возрождение", т. I, М., 1922. В "Литературн. Приложении" к газ. "Накануне", 28 янв. 1923 г. – в составе цикла стихов, посвященных Киммерии.

Стр. 10: Ложась на песок голубой,

Опять бреду я, босоногий. Впервые: "Возрождение", т. I, М., 1922. В "Литературн. Приложении" к газ. "Накануне", 29 янв. 1923, разночтение или опечатка в стр. 10-й:

Их жажду счастья, хмель отрав

Твоей тоской душа томима. – Заката алого заржавели лучи. – Ветер с неба хлопья облак вытер. Впервые: "Стремнины", кн. I: цикл, под назв. "Киммерийские сумерки", I, II, III, с разночтением в стр. 5-й первого стихотворения:

Ныряли чайки в глубь морскую,

В стих. "Заката алого заржавели лучи" была еще одна – заключительная – строфа, оставшаяся в рукописи: автор изъял ее:

Мир – чаша, до краев наполненная алым
И черным сумраком... За траурным порталом
Звезда затеплилась... За нею две... и три,
И стынет бледный край замедлившей зари,
Как влага синяя, наполненная светом.

("Радянське Літературознавство", 1972, № 7).

Карадаг. Вторая часть стих. впервые: "Южный Альманах", кн. I, 1922; все стих. в целом – впервые: "Литературн. Приложение" к газ. "Накануне", 28 янв. 1923. Разночтение в "Южн. Альманахе", в строке 8-й:

Безвыходность немых усилий

"В журнале "Аполлон" Волошин писал: "...на базальтовых стенах Карадага, нависших над морем, можно видеть окаменевшее сложное шестикрылье Херубу, сохранившее формы своих лучистых перьев". *Вход в Аид.* Волошин имеет в виду Ревущий грот в Карадаге". (Евст.).

Коктебель. Впервые: "Парус", 1919, № 1; в альм. "Свиток", № 2, 1922, опечатка: стр. 15: От древних недр и дождевая влага

Разночтение в самой последней строке:

Судьбой и временем иссечен профиль мой.

"Южная оконечность горы Кок-Кая в Карадаге, обращенная к морю, напоминает профиль Волошина". (Евст.). В "Свитке" № 2 стих. называется "Киммерия".

Города в пустыне. Впервые: "Стремнины", кн. 2, М., 1918. В "Ивернях", М., 1918, почти одновременная публикация – без назв., как и в "Стихотворениях" ("Б-ка Поэта"), Л., 1977.

Пустыня. "Сполохи", 1922, № 6; в "Литературн. Приложении" к газ. "Накануне", 20 янв. 1923, разночтение:

Стр. 10: Земные множества текли,

"О своем восприятии Азии и Европы Волошин писал в творческой тетради № 3 в апреле 1919 г.: "Мне было дано почувствовать в пустыне материнство Азии. Европа – кактус среди пустыни (Азии). Вернись. Иди в латинский мир приобрести грани, чтобы отражать радугу света. Россия отпустила меня. Теперь она зовет: пойми, проникнись мной, назови меня, разгадай мои сны!" (Евст.). "Вернувшись (из Парижа, БФ) на родину, Волошин восстановился в числе студентов (он был исключен из Московского университета за участие в студенческих волнениях, БФ), но осенью 1900 г. последовала новая высылка, и он отправился в Ташкент. Друзья помогли Волошину пристроиться к научной экспедиции. В его обязанность входило делать промеры новой ташкентско-оренбургской железной дороги. "На казенный счет" он прошел тысячи верст с караваном по пустыне от подножия Памира до северных границ современного Казахстана. 1900 год, рубеж двух эпох, был значительным для Максимилиана Волошина, который считал его годом духовного рождения. Рыжие степи пустыни, сыпучая рябь барханов, залитые солнцем буддийские храмы и монастыри – все увиденное обогащало творческую натуру". (Р. И. Попова. Жизнь и творчество М. А. Волошина. МВХ, стр. 16). "Он смотрит "на всю европейскую культуру ретроспективно – с высоты азийских плоскогорий", и это дает ему возможность "произвести переоценку культурных ценностей" (Волошин. Автобиография. ГБЛ)". (Купр., стр. 50). Воспоминания о Средней Азии неоднократно появляются в стихах Волошина.

Выйди на кровлю. Склонись на четыре... Впервые: "Новые Стихи", сборн. 2-й, М., 1927. "Это и два следующих стихотворения были вклеены в машинописную тетрадь "Selva oscura", где они примыкают к циклу "Киммерийская весна". В автобиографическом очерке "О самом себе" Волошин цитировал строки из этого стихотворения для характеристики цикла акварелей восточного Крыма: "Это страна, по которой я гуляю ежедневно, видимая, естественно, сквозь призму Киммерии, которую я знаю наизусть и за изменением лица которой я слежу ежедневно". (Евст.).

Каллиера. Была ли первая публикация, предшествовавшая очерку Н. Лесиной – "Планерское" (Коктебель), 1965, – нами не установлено. "Шервинский Сергей Васильевич (р. 1892) – поэт, переводчик, литературовед, бывал в Доме поэта в Коктебеле. *Каллиера* – средневековый город, обнаруженный при раскопках возле Коктебеля. Волошин еще в 1915 г. нарисовал и подарил Феодосийскому музею акварель "Возможный вид Каллиеры", угадав примерное место ее расположения". (Евст.).

Фиалки волн и гиацинты пены. Впервые – "Литературная Грузия", 1972, № 10. "9 дек. 1926 г. Волошин отправил это стихотворение и "Выйди на кровлю" в письме художнице А. П. Остроумовой-Лебедевой, сообщив ей: "Посылаю два маленьких стихотворения о Коктебеле, написавшихся после стольких лет лирического молчания". (Евст.).

III. О б л и к и. "Судя по творческой тетради № 2, в 1911 г. Волошин задумал цикл "Облики" и написал для него несколько "портретов женщин". (Евст.). "Соприкосновение с действительностью прежде всего прослеживается в его поэзии, и особенно наглядно – в цикле "Облики". Поэт создал концепцию стихотворного реалистического портрета..." (Купр., стр. 114). "Валя (Катаев, БФ) ругал Волошина. Он почему-то не переносит его. Ян (Бунин, БФ) защищал, говорил, что у Волошина через всю словесность вдруг проникает свое, настоящее. "Да и Волошиных не так много, чтобы строить свое отношение к нему на его отрицательных сторонах. Как хорошо он сумел воспеть свою страну. Удаются ему и портреты". (Из дневников В. Н. Буниной, 24 авг./6 сент.) 1919. В кн.: "Устами Буниных", т. I. Франкфурт-на-Майне, 1977, стр. 311). Проступают в этих стихах и воспоминания о Маргарите Сабашниковой, которую и Волошин, и Вяч. Иванов прозвали "Амори". "То застенчивая, то высокомерная Маргарита оттесняла его. "Ах, Макс, ты все путаешь, все путаешь..." Он не сдавался: "Но как же, Амори, только из путаницы и выступит смысл". (Герцык, стр. 84). Конечно, *портреты* Волошина – не конкретны, не реалистичны, как утверждает Куприянов. Они – именно *облики* и облики импрессионистические, часто с привнесением в них черт других лиц. И уж, конечно, самого поэта-портретиста в первую очередь: портретист рисует самого себя – *по поводу* портретируемого...

В янтарном забытьи полуденных минут. Впервые: "A Book of Homage of Shakespeare. The Golden Book of Poetry". London-Oxford, 1916; в русских изданиях впервые: "Творчество", кн. 2, М–Пг., 1918, под назв. "Облики", I (цикл). "В 1916 г., возвращаясь в Россию через Англию, Волошин заехал в Оксфорд и принял участие в шекспировских торжествах". (Евст.). Разночтение:

Стр. 4: Фанфары Тьеполо и флейты Джиорджоне.

Ты живешь в молчаньи темных комнат. Впервые: "На Рассвете", кн. I, Казань, 1910 (1911), под назв. "Черубине де Габриак". Разночтения.

Стр. 3: Где твой взгляд таят в себе и помнят
Стр. 8: Грех молитв и сладости соблазна.

В рукописи автора в Русск. Архиве Кол. ун-та в стр. 3 и 8 разночтения те же, что и в альман. "На Рассвете", но еще и разночтение в стр. 10·

Сладкий дух бензоя, запах нарда,

О Черубине де Габриак – см. примеч. к стих. "К этим гулким морским берегам" и "Corona Astralis" и стихи, посвященные Е. И. Дмитриевой. "Некоторые стихи Черубины де Габриак Волошин тщательно правил". (Евст.). Насколько все поэты, группировавшиеся вокруг журнала "Аполлон" влюбились в таинственную невидимку-поэтессу, свидетельствуют, хотя бы, стихи (сонет), посвященные Черубине де Габриак редактором Аполлона С. К. Маковским (помещены в том же альм. "На Рассвете" – непосредственно под стихами "Ты живешь..." Волошина):

О, дай хоть раз упиться горькой славой –
Прочесть в глазах любимых приговор.
В твои глаза дай посмотреть в упор
И отравить желанье – их отравой.
Пусть для тебя случайною забавой
Останется наш долгий разговор.
Во мне любовь зажгла ты, как костер,
Твоей мечтой безумной и лукавой.
И в тишине ночей моих скорблю,
Не ведая богиня иль обман ты,
Но голос твой и речи я люблю,
И нежный стан, и бледный лик инфанты...
Тебя, тебя, как Беатрису Данте,
Моим стихом в веках благословлю.

Двойной соблазн – любви и любопытства. – Не успокоена в покое. – Пламенный истлел закат. Впервые: "Творчество", кн. 2, М–Пг., 1918, в цикле "Облики", 2, 5, 6. "Ты живешь в молчаньи темных комнат", ..."Двойной соблазн любви и любопытства..." и др. еще свидетельствуют о чисто эстетских, мифотворческих увлечениях Волошина..." (Купр., стр. 114). "Пламенный истлел закат" – в "Иверних" разночтение в стр. 4-й: Вызовет тебя назад.

В эту ночь я буду лампадой. Впервые: "Ветвь", М., 1917, в цикле "Облики", 4. В "творческой тетради 1907–1918 гг." в этом стихотворении было еще две заключительные строфы:

Тобою в тебе молиться
Молиться в небытие,
Исчезнуть, угаснуть, слиться,
Сгореть во имя твое.

Я мир в преходящих годах,
Я пламенник, что погас,
Отразившись в глубоких водах
Слишком печальных глаз.

(Купр., стр. 118).

То в виде девочки, то в образе старушки. Впервые: "Творчество", кн. 2, М., 1918, в цикле "Облики", 3. "В машинописи стихотворения имеются инициалы посвящения балерине Наталии Алексеевне Милюковой, с которой Волошин встречался в Париже в декабре 1911 г. В письме 22 сент. 1912 г. она благодарила Волошина за отзыв в газете и добрые советы: "По крайней мере в душе "девочки-старушки" они пустили глубокие корни. И если что выйдет из моих танцев, из моих попыток создать нечто новое, то Вам, первому моему учителю и руководителю, буду я обязана этим". (Евст.).

Безумья и огня венец. Впервые: "Творчество", кн. 2, М., 1918, в цикле "Облики", 4. Посвящено А. Р. Минцловой (см. примеч. к стих. циклу "Руанский собор").

Альбомы нынче стали редки. Впервые: "Ветвь", М., 1917, в цикле "Облики", 2. Стихотворение посвящено Марии Алексеевне Новицкой. "...именно с "пушкинской легкостью" он создает портрет дочери будущего академика Новицкого". (Купр., стр. 115).

Майе ("Над головою подымая"). Впервые опубликовано в альм. "Гриф. 1903–1913", М., 1914, в виде стихотворного посвящения венка сонетов "Lunana". "Майе" – кн. Марии Павловне Кудашевой, урожд. Кювилье (р. 1895), впоследствии жене Ромена Роллана, "с которой Волошин познакомился в январе 1913 г." (Евст.). "...Волошин, ... в один из наездов в Москву, рассказал.., как к нему пришла совсем девочка с нерусским острым личиком и прочла ему свои искусные по форме французские стихи. Он пленен ею. ...И вот Майя Кювилье у нас и стала частой гостьей. Хрупкая детская фигурка, прямые, падающие на глаза волосы, а в глазах – нерусская зрелость женщины. Не от того ли эта

двойственность в существе Майи, в уме ее, то поражающем сухой трезвостью, то фантастически дерзком, что к французской крови примешалась в ней русская? У нее были какие-то основания думать, что отец ее мичманом погиб в Цусиме, но мать – с юности гувернантка в разных русских семьях – почему-то не соглашалась назвать ей его имя. В те годы раскрыть эту тайну преследовало Майю. В спущенных уголках губ горькая черточка разочарования неверия. А вела себя часто по-детски: плененная поэзией Вяч. Иванова и внезапно влюбившаяся в него, когда встретилась с ним у нас, взобралась вместе с сестриным мальчиком на фисгармонию, уставилась на него и слова не вымолвила. А в стихах ее к нему сквозь изящную галантность – зоркое и чуть насмешливое проникновение в его характер. Потом начался у нее другой роман. ...Вызывало сомнение, сам ли Сережа Кудашев (кончающий гимназист, БФ), титул ли влек Майю... ..Муж был убит на войне, кажется, гражданской, уже в рядах белых..." (Герцык, стр. 143, 144). Увлечений у Майи было немало – и Волошин, и Блок. "Его (Блока) тщетно осаждают женщины... ...Майя Кювилье". (Вл. Орлов. Гамаюн. Жизнь Александра Блока. Л., 1978, стр. 519). Был и какой-то коммунист-комиссар... У Волошина живала не раз в Коктебеле. В "Грифе" стр. 1: Над головою поднимая.

Вечернее. Впервые: "Ветвь", М., 1917, в цикле "Облики", 1 – без названия.

Любовь твоя жаждет так много. Была ли первая публикация этого стих., предшествовавшая "Иверням", М., 1918, – нами не установлено.

Я узнаю себя в чертах. Была ли первая публикация этого стих., предшествовавшая "Иверням", М., 1918, – нами не установлено. "*Отриколийский кумир* – "Зевс Отриколи", бюст "отца богов и людей" Зевса. В Ватикане (музей Пио-Клементино) находится римская копия с греч. оригинала IV в. до н. э." (Евст.).

М. С. Цетлин. Очевидно, первая публикация этого стих. Мария Самойловна Цетлин (1882–1976), как и ее муж, Михаил Осипович Цетлин, члены партии социалистов-революционеров, после Октября – эмигранты, близкие друзья Волошина. Мария Самойловна была близка не только к кругу поэтов и прозаиков, но и художников. Ее портрет работы В. А. Серова – один из наиболее известных портретов художника. Цетлины были более чем обеспеченными людьми. В России

они основали издательство "Зерна", – в нем вышла вторая книга Волошина "Anno Mundi Ardentis". В эмиграции – одни из основателей и меценатов журналов "Современные Записки" (Париж), "Новый Журнал" (Нью-Йорк). После смерти мужа М. С. финансировала в Нью-Йорке, в первой половине 50-х гг., журнал "Опыты". Волошин познакомился с Цетлиными еще в Париже. Когда, в начале 1919 г., Цетлины уезжали в Париж, перед приходом Красной армии в Одессу, в их квартире оставался – до того, как перебрался снова в Крым, Волошин. 10 мая 1917 г. писал из Коктебеля М. С. Цетлиной, помнившей его "пацифистские" взгляды и настроения еще в первый год войны: "...От людей и разговоров, в которых революция главным образом и выражалась, я устал смертельно. Хочется здесь в уединении осознать, осмыслить исторически и апокалиптически совершающееся, и пока это невозможно: все одна боль и тревога... Надо ли говорить, что с первого марта мое отношение к войне сразу переменилось. Если бы теперь мне пришлось быть призванным, я бы, конечно, не стал отказываться. Мне самому выяснилось, что в моем предполагающемся отказе главным побуждением было недоверие. Мое отношение к войне, разумеется, не изменилось, но явилось новое чувство: личной ответственности за поведение России. Все невыносимо и тревожно. никто не знает ни смысла, ни объема тех сил, что призваны к действию. Точно кидаешься с шестого этажа и даже не знаешь, куда полетишь – вверх или вниз, потому что самые законы тяготения изменились. Психология социалистов – это еще самое простое. ...С горечью заглядываю в глубину души и думаю о том, что внешний мир так расхлябался, что, очевидно, много лет придется думать только о нем. Хорошее время для тех, кому надо бежать от самого себя"... ("Время и Мы" № 27, 1978, стр. 184).

Р. М. Хин. Впервые: "Русская Мысль", 1917, № 11–12, в цикле "Облики", 4. Раиса Мироновна Хин (по первому мужу – Фельдштейн, во втором браке – Гольдовская, 1863–1927) – писательница. Волошин был в приятельских отношениях с Р. М. Хин. Сохранилось его интересное письмо к ней – 28 ноября 1917 г. из Коктебеля: "...Знаю ... от Сережи Эфрона, что Вы живы и благополучно пережили страшные дни. Но как пережили, что у Вас делается, не знаю. У нас пока тихо в Коктебеле, но что будет – кто может сказать? На Севере у Вас ясно, что дело идет к 2 июня, то есть к изъятию вооруженной силой из Учредительного Собрания "Жирондистов", а затем к новому году – свержению большевиков и захвату власти анархистами (то есть красногвардейцами, матросами и солдатчиной). А затем к гражданской войне между Югом и Севером... Это классически простой путь. А у нас татары выбирают (и, верно, уже выбрали) Хана и собираются присоединить Крым к Турции. Рада украинизирует Черноморский флот, идет в войс-

ках великорусское самоопределение... Из этих зол, пожалуй, самое страшное и самое безобидное – первое: Турция, к счастью, не культурная и не социалистическая страна. Но как все это отразится на Крыме... Единственно, что есть утешительного в настоящее время, это то, что все равно спастись некуда: везде одинаково на всем земном шаре, и если у нас пока хуже всего, то за то, что будет завтра там, где пока тихо, поручиться нельзя". ("Время и Мы", № 28, 1978, стр. 189–190).

Ропшин. Впервые: "Русская Мысль", 1917, № 11–12, в цикле "Облики", 2. В. Ропшин – литературный псевдоним Бориса Викторовича Савинкова (1879–1925), одного из лидеров партии эсеров, террориста, убийцы (вместе с Каляевым) Вел. кн. Сергия Александровича. В 1917 – Военный министр Временного правительства. После Октября – активнейший организатор антибольшевистских восстаний, сначала – в пределах Сов. России, затем – из-за рубежа СССР. Был провокационным образом завлечен в СССР – якобы для свидания со своими тайными сотрудниками, находившимися в Советском Союзе, арестован и – по официальной версии – в тюрьме ГПУ покончил самоубийством... "Мне хочется все же рассказать Вам кое-что о Савинкове, – пишет Волошин из Коктебеля 27 окт. 1917 г. А. М. Петровой. – ...Савинков относился к Корнилову с большим уважением и любовью, но считает его человеком политически неумным, которым воспользовались, как силой, скрытые контрреволюционные течения. Сперва они друг друга долго осматривали и пытали. Когда еще Савинков был комиссаром, а Корнилов командующим 7-й армией, Корнилов сказал ему однажды неожиданно: "Борис Викторович, а что если я вас повешу?" – "Я постараюсь вас предупредить, Лавр Георгиевич". На следующий день Корнилов сказал ему: "Знаете, Борис Викторович, я со вчерашнего дня начал уважать вас". Потом между ними возникла настоящая дружба. Но Савинков, человек, обладающий высшей степенью холодного мужества, говорит, что ему иногда в присутствии Корнилова бывает жутко. И ставши во главе министерства, он имел всегда около Корнилова человека, который должен был его убить в случае измены. Керенский Савинкова боялся, но цеплялся за него. После того как Савинков и Корнилов вырвали у Керенского согласие на восстановление смертной казни, и проект закона был на следующий день составлен Савинковым, Керенский стал прятаться от него, как ребенок. Наконец, через неделю Савинков поймал его в пустой комнате, запер двери на ключ и сказал: "Александр Федорович, если бы на вашем месте был другой, я бы его застрелил, но вас я умоляю подписать этот закон. "И не отпустил его, пока закон не был подписан. Отставку он получил от Керенского по телефону в таких выражениях: "Борис Викторович, я назначил военным министром Верховского, что вы об этом думаете?" – "Что даже

при старом режиме отставка министра не совершалась подобным образом...” – и повесил трубку. На следующий день они встретились, и Борис Викторович сказал Керенскому: ”Александр Федорович, я вас раньше любил и уважал, а теперь не люблю и не уважаю”. Керенский в ответ закрыл лицо руками и расплакался. ...Для него подписать смертный приговор является актом, действительно немыслимым. Он глубоко искренен, но у него слишком много того, что Савинков называет ”очередным и неотложным празднословием”. (”Время и Мы”, № 27, 1978, стр. 200–201). После получения в Праге известия о смерти в тюрьме ГПУ Савинкова, Марина Цветаева писала 25 мая 1925 г. О. Е. Колбасиной-Черновой: ”...Есть чувство – над всеми: взаимочувствие *личностей*, тайный уговор единиц против масс: каковы бы эти единицы, каковы бы эти массы ни были. И в каком-то смысле Борис Савинков мне – брат”. (Мар. Цветаева. Неизданные письма. Париж, 1972, стр. 180).

Бальмонт. Впервые: ”Русская Мысль”, 1917, № 11–12, в цикле ”Облики”, 2. Волошин познакомился с Константином Дмитриевичем Бальмонтом в 1902 г. Метод несколько неопределенной, ”текучей” музыкальности ”роднит Волошина с Бальмонтом, который ради музыкальности нередко пренебрегал смысловой стороной строки или даже строфы, часто логически не связывал новую строку с предыдущей. По-видимому, не случайно ”Рождение стиха” посвящено Бальмонту, который с 1902 г. влиял на Волошина. Бальмонтовское влияние сказалось и на том, что Волошин заставлял слово не столько говорить, сколько живописать созвучиями цветов, пытался превратить слово в нечто подобное звуку”. (Купр., стр. 74). В дальнейшем элементы осязаемой вещности, конкретности, даже некой плакатности начинают преобладать в поэтическом творчестве Волошина. Достаточно сравнить стих. ”Бальмонт” с ”Напутствием Бальмонту”.

Напутствие Бальмонту. Возможно, публикуется нами впервые. Публикации этого стих. мы не обнаружили.

Фаэтон. Впервые: ”Русская Мысль”, 1917. № 11–12, в цикле ”Облики”, 3.

Два демона. Первая публикация этого стих., если она была до книги ”Anno Mundi Ardentis”, – нами не обнаружена.

IV. П л я с к и.

Кость сожженных страстью – бирюза. Впервые: "Биржевые Ведомости", 3 апр. 1916, под назв. "Бирюза", с опущенным позднее эпиграфом: "Бирюза – кость умерших от любви. – Персидское поверье". Разночтение:

Стр. 6: Тени ль? Пряди мглы?

Осенние пляски. – Трели. Были ли первые публикации этих стих. до книги "Иверни", М., 1918, – нами не установлено.

V. П о д м а с т е р ь е. Этот раздел содержит одно стихотворение – "Подмастерье", впервые опубликованное: "Ипокрена", № 1, 1918, и, почти одновременно: "Иверни", М., 1918, с разночтениями: и в "Ипокрене", и в "Івернях" – иное деление на строчки и строфы. Разночтений "Иверней", очевидно, вызванных вмешательством редактора, указывать не будем. Разночтения с "Ипокреной":

Стр. 16:	Помни: в "Стих." (Б-ка Поэта), Л., 1977 – о т с у т с т в у е т (нами принята по "Ипокрене")
Стр. 33:	Ограничение себя.
Стр. 69:	Что ты не сын Земле, –

"...посвящено композитору Юлии Федоровне Львовой (1873–1950). "Мой поэтический символ веры – см. стихотворение "Подмастерье"..., – писал Волошин в автобиографии. 17 июля 1917 г. он сообщил А. М. Петровой: "Подмастерье" и есть по замыслу стихотворение дидактическое и написано и обработано как таковое. Оно написано вполне по тому рецепту, который в нем изложен: "Речение, в котором все слова притерты, приглажены и сплавлены... становится лирической строфой". ...я вовсе не "переделывал" мою прозу в стихи: я просто ее продолжал обрабатывать и чеканить до тех пор, пока она не стала стихом – вот и все. Так же написаны были и "Аполлион", и "Воскресение мертвых". *Словесного святого ремесла* – неточная цитата из стихотворения Каролины Павловой "Ты, уцелевший в сердце нищем..." ("Моя напасть, мое богатство, мое святое ремесло") ". (Евст.). Ю. Ф. Львова – автор пяти романсов для голоса и ф-но на слова Волошина.

VI. L u n a r i a. Венок сонетов. Впервые: "Гриф. 1903–1913". М., 1914, с посвятительным стих. "Майе". Заключительный – XV – сонет

впервые, в первоначальной редакции: "Белые Ночи. Петербургский Альманах", СПб., 1907, – см. стр. 191 настоящего тома. "В. И. Язвицкий вспоминал высказывание Брюсова 1917 г.: "...Пожалуй, кроме меня и Макса Волошина, ни у кого нет правильного сонета. ...Сонет – это диалектическая форма. Первая часть его – теза, вторая – антитеза, а последние строфы – становление. Кроме того, в двух заключительных строфах должны быть логические цезуры". (Н. Ашукин. Валерий Брюсов. М., 1929, стр. 347)". (Цит. по: Купр., стр. 129). Во втором венке сонетов, пожалуй, еще в большей степени, чем в первом, отразились свойственные вообще символизму тех лет магизм, гностические поэтические учения о Мировой Душе, как-то незаметно переходящие у символистов в антропоморфическое восприятие космоса – и это и у Вяч. Иванова, и у Блока, и у Белого, и у Ремизова, и у Волошина. Недаром в "Иверрнях" он объединил оба венка сонетов в единый раздел: "Двойной венок" – как бы два концентрических круга, две сферы бытия-инобытия-небытия. Исходя из этих же соображений, подсказанных поэтом, мы поставили венки сонетов на завершающие книги лирики места. "...Русское гетеанство и духовный германизм усложнились в двадцатом веке возродившимся языческим всебожием и даже пандемонизмом. Отсюда – Рудольф Штейнер и штейнеровцы: Андрей Белый и Макс Волошин. Отсюда их мифотворческий христианствующий гностицизм, соскальзывающий в игру с Люцифером". (Мак., стр. 319). "Поэзия, как касание к сверхчувственной реальности, граничит с чудотворством. Как отделить доступное ей от недоступного, дозволенное от запретного? Ее истина где-то выше человеческих умственных и моральных категорий. Обольщенный величием своего призвания поэт-символист почитал себя членом высокого ордена, жрецом не только метафорически; поэтическое творчество, обращаясь из искусства в тайнодействие, связывало его с судьбой человека на земле, с судьбой всего человечества... И вот, замечтавшись о прошлом, наши символисты встретились на духовных путях – с древнейшими мифами, с оргиастическим дионисианством, с Элевзисом, с тайновидением гностиков, герметистов, алхимиков и с христианской эзотерикой – от Экхарта, Беме, через Жерара де Нерваля до... Штейнера". (Мак.-Парнас, стр. 19). Но и помимо магизма, штейнерианства – другие влияния были сильны в то время на Волошина. Как раз в те годы выходит ряд книг в русском переводе, которые свидетельствуют о возросшем интересе к немецкой спиритуалистической натурфилософии, к пессимистической и окрашенной индо-буддийскими тонами онтологии Шопенгауэра. Первый венок сонетов Волошина написан в августе 1909 г., второй – во второй половине июля 1913 г. А в августе 1908 г. вышел русский перевод "Философских исследований о сущности человеческой свободы" Шеллинга; книги, оказавшей большое влияние на Шопенгауэра, слившего учение Шеллинга об организации и преображении Богом первозданной хаоти-

ческой, подсознательной и даже бессознательной предосновы самого Божества, его темной воли, стремящейся к самообнаружению и самопросветлению, – в *мир* (не сотворение мира *из ничего*, а организация его – почти принудительная – из этой подосновы самого Бога) – с индуистическими и буддийскими учениями о вне нас лежащем мире как обманчивом "покрывале Майи". "Мир как воля и представление" Шопенгауэра был также весьма популярен в годы написания венков сонетов Волошина. Второй венок, кстати, и начинался в альманахе с посвящения "Майе" – не только Майе Кювилье-Кудашевой, но и *Майе*. И дело не в том, что, мол, Волошин мог прочитать тех же Шеллинга и Шопенгауэра *до* появления русских переводов (да и первый перевод "Мира как воли и представления" – Фета – появился уже очень давно), прочитать на языке подлинника. Дело в том общественном внимании к этим идеям, какие в первом десятилетии нашего века вызвали переводы Шеллинга, Шопенгауэра (перевод Ю. Айхенвальда), Якова Беме, Экхарта...

книга третья

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

СТИХИ О ВОЙНЕ И РЕВОЛЮЦИИ

"Неопалимая Купина" – книга о войне, России и революции – объединяет произведения, созданные после 1914 г. Машинопись "Неопалимой Купины" в 1922 г. была передана Волошиным В. В. Вересаеву для издания в Политиздате, но этот замысел не осуществился. В 1925 г. Волошин подготовил новое издание сборника. 3 августа 1925 г. он послал заявление в Главлит, в котором сообщил, что в книгу будут включены произведения 1914–1924 гг., в свое время опубликованные в различных периодических изданиях. Судить о составе этой книги можно по авторизованной машинописи. Творческие пометы и правка свидетельствуют о том, что Волошин уточнял текст и состав этой книги вплоть до 1929 г. 1929 г. был последним годом деятельности Волошина-поэта". (Евст., стр. 379).

Эта книга наиболее разнородна и разновременна: от стихов, посвященных революции 1905 года, и "параллелей" – картин Великой французской революции и бонапартистского переворота – и до Европы в годы Первой мировой войны; от "смутняков" на Руси, Разиных да Пугачей, ревнителей древлей веры и ее порушителей, Никона да Петра, – и до Февраля и Октября 1917-го, гражданской войны и террора и развала первых пооктябрьских лет. . . А говорить порознь о поэте Волошине и Волошине-человеке – как ни о ком другом, больше, чем о ком-либо другом, – никак нельзя: может статься, сама личность Волошина больше, чем его творчество.

Поэтому, не рассказывая (как всегда в этих комментариях – словами, по преимуществу, современников Волошина и его самого) о юных и студенческих годах Волошина, остановимся на свидетельствах и оценках знавших поэта в годы 1904–1906, в годы войны 1914–1918, в годы революции, террора, гражданской войны, голода и холода. . . Даже некоторые трагико-анекдотические моменты иной раз необходимы – и лучше многих статистических и социологических выкладок помогут понять эпоху, жизнь и творчество Волошина. Часть

комментариев – мозаики высказываний автора и об авторе – будет приурочена к отдельным произведениям поэта, часть – к разделам и циклам. Редакторы не сочли нужным дать последовательную биографическую канву – и даже придать некое единообразие свидетельствам и оценкам: в противоречивых, иногда и неточных, но непосредственных отзывах и показаниях больше жизни, чем в критико-биографических очерках, катящихся с любой скоростью по хорошо ухоженным автострадам. Выверенные биографические и текстологические данные читатель может получить в обильно нами использованных работах знатоков Волошина – И. Т. Куприянова, Вл. П. Купченко, Л. А. Евстигнеевой. Наша задача – дать историко-биографический фон, необходимый для лучшего проникновения в творчество поэта.

Хорошо знавший Волошина в 1904–1905 гг. П. Б. Струве (он даже, получив известие о конституционном манифесте 17 октября и решивши не ждать амнистии и разрешения на возвращение в Россию, "19 (октября). . . уже выехал из Парижа в Петербург, запасшись для беспрепятственного переезда границы паспортом. . . Максимилиана Волошина"), пишет о поэте тех лет: "Несуразности" во внешнем виде и личном поведении у Волошина соответствовал уклон, мне совершенно чуждый, но понятный и – в известных пределах – даже привлекательный: анархический. У Волошина этот уклон в то время сочетался со спокойствием, доходившим до невозмутимости. Это была какая-то флегматически-анархическая певучая богема, неспособная на страсть, но понимавшая и ценившая чужую страстность. . . В это время, бурное время идеалистической политической борьбы, отвергавшей всякую мысль о жестокости, Максимилиан Волошин пел обо всем, только не о борьбе. . . . После революции 1905–1906 гг. в поэзии Максимилиана Волошина появились политические ноты, и ему, по справедливости, должна быть приписана – не знаю уж как сказать ! – историческая заслуга, высокая честь или горькая участь: едва ли он, как поэт, не первый уловил еще в буре первой революции 1905–1906 гг. жестокий рев разнузданной стихии и смутный гул, возвещавший роковое крушение великого государства". (П. Б. Струве. Заметки писателя. Памяти М. А. Волошина. "Россия и Славянство", 27 августа 1938). "В Париже, где прожил он довольно долго до нашей "первой" революции, занимаясь живописью, он офранцузился не на шутку, примкнув к монпарнасской богеме (хотя очень плохо владел французским языком, так никогда и не научился). В то же время – вращался он среди тогдашних эмигрантов социалистов-революционеров и даже сотрудничал в "Красном Знамени" Александра Амфитеатрова, где появлялись его стихи: "Принцесса де Ламбаль", "Ангел Мщения" и др.". (Мак., стр. 314). Но не только накануне самой революции 1905 г., но и значительно ранее, Волошин как-то провидел надвигающийся гул событий. А в 1904 г. он писал уже весьма

определенно: "Подымается иная действительность – чудовищная, небывалая, фантастическая, которой не место в реальной жизни потому, что ее место в искусстве" (см. "Магия творчества. О реализме русской литературы". – "Весы", 1904, № 11, стр. 5). Но, конечно, революцию Волошин понимал и принимал в плане историософском и просто мистическом. "Он антропософ, – посмеивается в своих "Воспоминаниях" И. А. Бунин, – уверяет, будто "люди суть ангелы десятого круга", которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел. . ." (И. А. Бунин. Волошин. – Воспоминания. Париж, 1950, стр. 191–192).

I. **В о й н а.** Почти все стихи этого раздела были включены автором в его книгу "Anno Mundi Ardentis 1915", М., 1916. "В 1913 и в первой половине 1914 г. Волошин жил в Коктебеле, совершая путешествия по Крыму. . . .Для завершения работы над монографией "Дух готики", готовившейся для издательства М. и С. Сабашниковых, ему необходимо было предпринять поездку в Западную Европу, чтобы пополнить книгу недостающими материалами. И такой случай представился. Весной 1914 г. М. Сабашникова пригласила его в Германию. Поэт писал К. Кандаурову (20 апреля 1914 г.): ". . .я решил в конце июня уехать из Коктебеля на июль и август (т. е. на время, когда слишком тесно и все ссорятся) в Германию, куда зовет меня Маргарита и дает деньги на путешествие (я-то сам, конечно, без копейки)". Воспользовавшись приглашением Сабашниковой, перед началом Первой мировой войны, 21 июля, Волошин выехал из Коктебеля и через Румынию, Венгрию и Германию добрался до Швейцарии. О начале войны он узнал в Будапеште. . . .31 июля с последним поездом он прибыл в Базель; в этот же день швейцарскую границу закрыли". (Купр., стр. 159).

Прежние единомышленники и друзья "сурово приняли Волошина, осуждая его "пацифизм". "Война 1914 г. застала его в Швейцарии, у Рудольфа Штейнера, – пишет А. В. Тыркова-Вильямс. – Вместе с Андреем Белым и другими послушными учениками разных национальностей, Волошин строил знаменитую антропософскую кумирню, которая, как только была отстроена, в первую же ночь сгорела. Противники Штейнера увидали в этом карающее вмешательство светлых сил, т. к. штейнерианцы отрицают Божественную сущность Христа, лицемерно прикрывая свое отрицание почтительными словами. В области земных ценностей они, уже открыто, отрицают войну, оборону отечества, патриотизм". (Тени минувшего. Парижские встречи. – "Возрождение", № 34, 1954, стр. 142). Интересно заметить, что, как рассказывают, Волошин при строительстве Гетеанума главным образом занимался резьбой по дереву. Он часто, говоря о скульптуре, вообще отдавал преимущество

дереву: "Дерево более живой, более чувствующий материал, ближе стоящий к той осязающей себя на разных степенях плоти, которую она (А. С. Голубкина. БФ) так ясно прочувствовала". (М. В. А. С. Голубкина. – "Аполлон", 1911, № 6, стр. 12). "Помню, – рассказывает С. К. Маковский, – в 1915 году, пробравшись из Базеля в Петербург (ошибка памяти Маковского: Волошин вернулся в Россию в 1916 г. БФ), Волошин повествовал с умилением, как он участвовал в постройке нового штейнеровского капища. . . . после того, как первоначальное здание сгорело дотла от поджога. Он совсем сразил меня тогда своим "германофильством" (очевидно, от общения с Штейнером, сопоставлявшим немецкое Ich, с большой буквы, с первохристианским символом рыбы – ἰχθύς!). Дела наши на фронте в то время были из рук вон плохи. "Ну, что же? – вкрадчиво улыбаясь утешал Макс. – Все к лучшему. Европе предстоит Pax germanica. . ." (Мак., стр. 319).

Эти пацифистские (и германофильские отчасти) настроения тоже помешали появлению Волошина в печати. Ему навстречу пошли немногие: Федор Сологуб, его жена Ан. Н. Чеботаревская. 16 марта 1915 г. она писала в Париж Волошину, что "с редакцией "Биржевых Утренних" поговорила, и они просят Вас присылать им неочередные корреспонденции на актуальные темы (о жизни Парижа, богемы, поэтов и пр.)". (Купч.-Сол., стр. 153). Наша библиография показывает, как щедро откликнулся Волошин на это приглашение "Биржевых Ведомостей". Но был ли пацифизм Волошина (кстати, оставивший его в 1917 г., как мы видели из отрывка письма Волошина к М. С. Цетлин от 10 мая 1915 – см. примеч. к стих. "М. С. Цетлин", в разделе "Облики") "прогерманизмом"? "В Париже отрыв его от символизма, – пишет Евг. Ланн, – сказался еще более резко, чем до 14-го года. Проблема мировой войны пролегла между ним и его прежними товарищами. Барабанная дробь последних, – их "приятие" войны, заправленное острым национализмом, – донеслась до поэта, когда он в Базеле работает над постройкой "Гетеанума", работает над этим символом культурного братства народов вместе с представителями всех брошенных в бойню наций. И в ответ на приявшие эту бойню стихи символистов Волошин пишет: "В эти дни нет ни врага, ни брата – Все во мне и я во всех". (Писательская судьба Максимилиана Волошина. М., 1926, стр. 18–19).

Но лучше всех поняла Волошина Цветаева. "Не став ни на чью сторону, или, что то же, став на обе, человек чаще осужден обеими. Ведь из довода: "он так же прав, как ты" – мы, кто бы мы ни были, слышим только: о н п р а в и даже: о н прав, настолько, когда дело идет о нас, равенства в правоте нету. Не становясь на сторону мою или моего обидчика, или, что то же, становясь на сторону и его, и мою, он просто оставался на своей, которая была вне (поля действия и нашего зрения) – внутри него и au dessus de la mêlée. Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит и другому, и даже Иисус Навин,

остановивший солнце, остановил его и для врага. Человек и его враг для Макса составляли целое: мой враг для него был часть меня. Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и гражданскую войну, и меня с моим неизбывным врагом – всеми. Так можно видеть только сверху, никогда сбоку, никогда из гущи. А так он видел не только чужую вражду, но и себя с тем, кто его мнил своим врагом, себя – его врагом. Вражда, как и дружба, требует согласия (взаимности). Макс на вражду своего согласия не давал и этим человека разоружал. Он мог только противостоять человеку, только предстоянием своим он и мог противостоять человеку: злу, шедшему из него. Думаю, что Макс просто не верил в зло...” (Цвет., стр. 164–165).

”Что касается антропософов, – писал Волошин, – то они, естественно, разделились по расам, и, живя между собой в мире, теоретически пламенели страстями своих народов”. (Письмо к А. М. Петровой от 7 февраля 1915 – Купр., стр. 160). Как видите, Волошин шел в своем отрицании войны дальше антропософов... В письме к матери от 13 авг. 1915: ”Это война не национальная, не освободительная. Это все выдумано, чтобы сделать ее популярной. Просто несколько осьминогов (промышленности) силятся попирать друг друга. Ради этого и идет все. А заманивают благородной ложью. Идут на войну и святые, и мученики. Но все для того, чтобы стать желудочным соком в пищеварении осьминога”. (Купр., стр. 161). В статье ”Адские войны” Волошин писал об этих государствах-осьминогах, что они ”начинают самостоятельное биологическое существование с пожирания друг друга”. (”Биржевые Ведомости”, 7 авг. 1915). Но нельзя представить себе, что здесь прямое следование марксизму или даже учению Ленина об империализме: для Волошина и марксизм – явление той же ”космической биологии”...

В предваряющей книгу его переводов из Верхарна статье ”Судьба поэта” Волошин писал: ”В те эпохи истории, когда человеческое миросозерцание давало мистическую точку опоры в самом небе и сводило земные противоречия к единому жесту Божественной Жертвы, поэту легко было подняться на ступени лобного места, с которого совершится Страшный Суд, и с этой перспективы наметить план ”Божественной Комедии”. Совершенно иные трудности возникают для поэта века материалистической науки и неверия. Наука по самому свойству своего знания, лишенного мудрости, не дает необходимого разбега. Поэту необходимо создать свое небо, чтобы оттуда судить современность, воздвигнуть свою Вавилонскую башню, чтобы с ее вершины взглянуть на расстилающуюся под его ногами землю”. (Эм. Верхарн. Стихотворения. Одесса, 1919, стр. 25–26). О бессмысленно-элитарной бойне писал он в корреспонденциях из Франции: Франция ”...в первые же дни войны ... кинула в плавильный горн все свои духовные и интеллектуальные силы, она положила на полях сражений весь цвет молодого

поколения, она пожертвовала всею своей возможной литературой, всем расцветом завтрашнего дня. . . .Но этот героический акт, если посмотреть на него не со стороны, а изнутри, является бессмысленной тратой духовных сил". ("Франция и война" – "Биржевые Ведомости", 19 мая 1916). "Франция в первый же год войны швырнула на убой все свое молодое искусство. Одних поэтов было убито во Франции больше трехсот. Во имя республиканского равенства, для того, чтобы показать, что художник не лучше чернорабочего, их ставили застрельщиками при атаках, т. е. обрекали на верную гибель: равенство всегда обрубает ноги более высокому, так как не может заставить вырасти карлика. На наших глазах погибало то, что было величайшей драгоценностью Европы – ее чувство, ее мысль, ее цветок. . . За лязгом оружия и за грохотом пушек мы не заметили этой катастрофы. Ее результаты скажутся в 20-х, 30-х годах, когда мечта Европы окажется лишенной крыльев, а мозг обескровленным". (Эм. Верхарн. Вступительная статья к ук. книге, стр. 5).

"Храм Св. Иоанна строился высоко в горах, там, где Базельский кантон граничит с Францией и Германией. Строители слышали артиллерийские залпы первых битв, доносившихся с равнин Эльзаса. Здесь слагались первые стихи Волошина о войне". (Купр., стр. 162). Отсюда – и известное противоречие в датировке: в публик. "Русской Мысли", напр., стихотворение "Посев" датируется: "Ноябрь 1914. Дорнах", а в дальнейших публикациях – 3 февр. 1915, Париж. "Из Дорнаха в Париж Волошин приехал в середине января 1915 г., после того, как закончил работу над эскизами большой занавеси для Гетеанума на тему гетевских "Geheimnisse", изображающих подход Марка к скалам Монсальвата". (Купр., стр. 169). В Париже поэт много пишет – и стихов, и статей в "Биржевые Ведомости". В июле переезжает на дачу своих друзей Цетлиных в Биарриц, где также много пишет. У него накапливается достаточное количество стихов для того, чтобы могла быть выпущена "отдельная книжка стихов о войне" (письмо поэта к А. М. Петровой 22 окт. 1915 – Купр., стр. 175). Заканчивает он книгу в Париже, вернувшись туда в октябре, и посвящает ее Амари, т. е. поэту Михаилу Осиповичу Цетлину, и тот издает эту книгу – "Anno Mundi Ardentis" – в Москве, в основанном М. С. и М. О. Цетлиными издательстве "Зерна". Книга начинается с посвящения: "Амари: Посвящаю эту книгу Вам, угадавшему ее еще в первых разрозненных стихах и этим призвавшему к бытию. М. В. 1915. Декабрь. Париж". Книга вышла в начале 1916 года. В. Брюсов писал, что в ней слишком высказывается "настойчивая забота говорить непременно красиво, непременно оригинально, не так, как другие", что, по мнению Брюсова, – "лишает книгу светлости, прозрачности и легкости, составляющих высшее очарование поэзии". . . ."Стихи Волошина похожи на иератические сосуды литого серебра, которые искусный резчик затейливо украсил хитрыми, затейливыми

узорами, требующими пристального внимания и подготовленного к такой красоте глаза". ("Русская Мысль", 1916, № 6, стр. II, 1, 2). Исключение, по мнению Брюсова, – картины военного Парижа. . .

Не желая воевать, т. е. "убивать", Волошин не хочет быть и дезертиром, и в апреле 1916 г., с трудом, через Лондон и Норвегию, пробирается в Россию, где его ожидает призыв в армию. М. В. Сабашникова-Волошина вспоминает много лет спустя: "Когда его призвали на военную службу – он отправился в Россию, но с твердым решением уклониться. Он соглашался скорее быть расстрелянным, чем убивать". (M. Wolochin. Die grüne Schlange. Stuttgart, 1955, S. 300). Волошин отправляет на имя Военного министра письмо с категорическим, по моральным соображениям, отказом от военной службы, заканчивая его словами: "Отказ мой чисто индивидуален: он не имеет ни цели пропаганды, ни содержит в себе упрека тем, кто идет на войну. Один и тот же поступок может быть подвигом для одного и преступлением для другого. Я преклоняюсь перед святостью жертв, гибнущих на войне, и в то же время считаю, что для меня, от которого не скрыт ее космический моральный смысл, участие в ней было бы преступлением. Я знаю, что своим отказом от военной службы в военное время я совершаю тяжкое и сурово караемое преступление, но я совершаю его в здравом уме и в твердой памяти, готовый принять все его последствия". (Купр., стр. 175–176). По счастью, военная врачебная комиссия – из-за астмы и больной руки – признала поэта к военной службе непригодным. Уже из цитированного письма к М. С. Цетлин от 19 мая 1917 г. видно, что "с первого марта (1917) (его) отношение к войне сразу переменилось. Если бы мне пришлось быть призванным, я бы, конечно, не стал отказываться. . . .Мое отношение к войне, разумеется, не изменилось, но явилось новое чувство: личной ответственности за поведение России".

Плывущий за руном. . . Была ли публикация этого стих., предшествовавшая "Anno Mundi Ardentis" (в дальнейшем – AMA), – нам неизвестно.

Россия. Впервые: "Власть Народа", 28 июля 1917, под назв. "России". Подзаголовок в некот. публикациях: "Во время галицийского отступления". В этом стихотворении уже совершенно явны влияния славянофильства и Достоевского. Тут и Тютчев с его Русью, которую "В рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя", тут и сон Раскольникова – образ – "Наотмашь хозяин хлещет/Тебя по кротким глазам"...

В эти дни. Впервые: "Русская Мысль", 1915, № 4, в цикле АМА, III, с разночтением:

Стр. 8: Ужасом разъявшихся знамен. (Опечатка?).

В исправленной рукой автора машинописи сборника "Пламена", посланной им в Париж кн. А. К. Шервашидзе, разночтение в последней строке:

Желанием – развоплотиться.

В журн. датировано: "Октябрь 1914. Дорнах". "... Посвящено ... Илье Григорьевичу Эренбургу (1891–1967), с которым Волошин сблизился в Париже в 1915 г. Посылая стихи А. М. Петровой, Волошин писал 7 февр. 1915 г.: "Они лучше скажут все, что делалось внутри". (Евст.). С Эренбургом Волошина связывала долголетняя дружба. Он писал о нем – "Илья Эренбург – поэт" ("Речь", 30 окт./12 ноября 1916), "Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург" ("Камена", 1919, № 2). В последней статье знаменитую "Молитву о России" И. Эренбурга Волошин поставил почти наравне с "Двенадцатью" Блока и назвал эту книгу и стихотворение, по которому названа вся книга, книгой, "на которую кровавый восемнадцатый год сможет сослаться как на единственное свое оправдание". (стр. 28). 27 ноября 1917 г. Волошин писал Эренбургу: "Да, мы в аду – ты прав. С тою лишь разницей, что в настоящем – церковном – аду гораздо больше порядка, логики и системы. Наш страшнее". ("Время и Мы", № 28, 1978, стр. 189).

Под знаком Льва. Впервые: "Русская Мысль", 1915, № 4, в цикле АМА, I. "Ковчегом", в который вошел поэт, был Гетеанум, центр антропософов. Около деревни Дорнах, расположенной в 8 верстах от Базеля, антропософы образовали международную общину, в которую входили представители многих наций, и стали строить Гетеанум, или храм Святого Иоанна, символизирующий объединение религий и наций. Из русских в постройке Иоаннова здания принимали участие Андрей Белый, М. Сабашникова, А. Тургенева, О. Форш и др." (Купр., стр. 160). Волошиной-Сабашниковой и посвящено это стихотворение.

Над полями Альзаса. Впервые: "Русская Мысль", 1915, № 4, в цикле АМА, II. В книге АМА каждая строчка разделена надвое.

Посев. Впервые: "Русская Мысль", 1915, № 4, в цикле АМА, с иной датой – ноябрь 1914. Дорнах. Строки 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 12 в кн. АМА разделены каждая надвое.

Газеты. Впервые, возможно, в книге АМА, М., 1916. О двух заключительных строках поэт писал матери 13 авг. 1915 г., что "они самые искренние и ценные лирически", – ибо он боялся "поддаться соблазну ненависти, презрения, "святого гнева". Он стремился "не уставать любить и врагов, и извергов, и даже союзников". (2 последн. цитаты из письма к А. М. Петровой от 26 окт. 1915 и статьи Волошина в "Бирж. Ведомостях", 1916, 9 сент. Цит. по Купр., стр. 163).

Другу. Впервые, очевидно, в АМА. Посвящено другу Волошина – художнику К. Ф. Богаевскому, призванному в 1915 г. в армию. О нем см. примеч. к стихотворн. циклу "Киммерийские сумерки".

Петербург. Впервые, очевидно, в АМА.

Пролог. Впервые, очевидно, в АМА. "...посвящено ...Андрею Белому, который принимал участие в строительстве антропософского храма св. Иоанна (Гетеанума). "В начальный год Великой Брани"... Перед самым началом Первой мировой войны Волошин приехал в Базель и Дорнах. "И, на замо̀к небесных сводов". Имеется в виду храм св. Иоанна, который строился высоко в горах" (Евст.). Разночтение:

Стр. 8: Подобный реву бурных волн.

Армагеддон. Впервые, очевидно, в АМА. Посв. Льву Самойловичу Баксту (1866–1924), после 1917 г. – эмигранту, большому художнику, о котором Волошин писал в статье "Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский, Бакст)" – "Аполлон", 1909, № 1.

Не ты ли. Впервые, очевидно, в АМА, под назв. "Над законченной книгой". Волошин 28 янв. 1914 г. писал матери, что в "Новом Завете есть, в сущности, только одна заповедь: Люби!" (Евст.).

Усталость. Впервые, очевидно, в АМА.

II. Пламена Парижа. В этот раздел входят как стихотв. из кн. "Anno Mundi Ardentis", так и более ранние публикации, еще 1906 г., – и более поздние стихи, посвященные Великой французской револю-

ции. Некоторые из стихов опубликованы в книге, изданной почти одновременно с "Anno Mundi Ardentis" – "Париж накануне войны – в монотипиях Е. С. Кругликовой", Пг., 1916 (всего 500 нумер. экз.). "Доход от продажи этой книги предназначается на оказание помощи русским художникам, застигнутым войной во Франции". Впрочем, АМА была издана всего в 300 экз. "Волошин связывал французскую революцию с событиями 9 января (1905 г. БФ) и пришел к выводу, что революции не проходят без больших жертв. В статье "Гильотина как филантропическое движение" он рассказал об истории создания во Франции гильотины, сосредоточив внимание на мысли: усовершенствование казни было исторической необходимостью. ("Двадцатый Век", 30 июня 1906). Статью "Разговор" Волошин построил в форме диалога. Один из собеседников – сам автор – излагает мысль о том, что всякая революция – это террор, и настоящий террор еще наступит ("Око", 28 сент. 1906). Содержание этих статей свидетельствует, что Волошин разглядел в революциях только кровопролитие, разрушение материальных и культурных ценностей. . ." (Купр., стр. 93–94).

И был повергнут я судьбой. Была ли публикация до АМА – нами не установлено. "Сей град" – Париж, в гербе которого имеется изображение ладьи, плывущей по волнам. "Горькою звездой". Имеется в виду Звезда Полынь, предвестие конца света (Апокалипсис)". (Евст.).

Весна. Впервые, очевидно, в АМА, с посвящением А. В. Гольштейн (о ней см. в предисловии к первой книге стихов – "Годы странствий"). Почти одновременно – в "Париж накануне войны. . ." (в дальнейшем сокращ. ПНВ), без посвящения. Разночтение:

Стр. 2: Даль не светла и не темна.

Париж в январе. Впервые: "Русская Мысль", 1915, № 4, в цикле АМА, V, под назв. "Париж", с разночтениями:

Стр. 6: И гул толпы глухой и дальний.
11: Улыбки горькие блудниц,
23: И бесконечно-долгий гуд

в "Иверних", кроме тех же разночтений:

Стр. 9: Да ловит глаз в потоке лиц

Париж зимою 1915. Впервые, очевидно, в АМА. И, почти одновременно, в ПНВ. Разночтения:

Стр. 13: На небе сквозь узор ветвей
17: По ним течет живой поток
19: Не видно лиц, но к стеблям ног
20: Простерты копья отражений,
22: В разверстых зевах ресторанов,

Ночь весеннего равноденствия. Впервые, очевидно, в АМА и ПНВ. Разночтение:

Стр. 15: И гас меж звезд Кассиопеи.

"Датируется по творческой тетради № 2. 30 апр. 1915 г. Волошин писал А. М. Петровой: "Цеппелины устраивают великолепные фейерверки. . . над Парижем. Мы любовались на них в слуховое окошко, и весь "бой" в воздухе был у нас на глазах". (Евст.) . Даже весьма прохладно отозвавшийся о военных стихах Волошина Брюсов отмечал достоинства парижских военных стихов из цикла "Армагеддон": "Среди тягостного убожества и вопиющей пошлости современных "военных стихов" стихи Волошина, при всей надуманности их стиля, при всех их внутренних и внешних недостатках, – благородное исключение". ("Русск. Мысль", 1916, № 6, стр. II–2) .

Реймская Богоматерь. Впервые: "Русская Мысль", 1915, № 4, в цикле АМА, VI, без посвящения. О М. С. Цетлин – см. стих. "М. С. Цетлин" в разделе "Облики". Разночтения: в журн. (и в "Иверняx") нет строк 25 и 26.

Стр. 30: Святую плоть. Но по ночам

"Написано после разрушения собора немецкими войсками при отступлении из Реймса (город был занят немцами в сентябре 1914 г.) . Стихотворение навеяно также книгой Огюста Родена "Кафедральные соборы Франции" (Париж, 1914) ". (Евст.) .

Lutetia Parisiorum. Впервые, очевидно, в АМА и ПНВ. Увы, новая орфография заставляет пояснить, что в строке 4-й "мир" означает вселенную...

Парижу. Впервые, очевидно, в АМА и ПНВ. Разночтения:

Стр. 7: Я каждый камень жгучей мостовой
9: Я никогда не чувствовал больней
10: Присутствия трагических теней
11: И древний яд отстоенной печали, –

Голова Madame de Lamballe. Впервые – одновременно: "Красное Знамя", Париж, 1906, № 1 и "Вольница", СПб., 1906, под назв. "Голова принцессы Ламбаль". Разночтения:

Стр. 8: Оставив лоскутья
15: Причесал мои светлые кудри,
16: Нарумянил он губы мои

"27 сент. 1905 г. Волошин сообщил Сабашниковой, что прочел в книге французского историка Жюля Мишле "История французской революции" о том, "как отрубленную голову маркизы де Ламбалль принесли к куаферу – он завил ее, напудрил, и ее после понесли на пике к окну Марии-Антуанетты". Окончено в 1906 г., судя по письму Волошина М. В. Сабашниковой 16 марта 1906 г. ("Я все утро писал стихи о мадам де Ламбалль"). Авторская дата: 1905. . . .Мария-Тереза-Луиза де Ламбалль, принцесса Кариньян (1749–1792), приближенная королевы Марии-Антуанетты. В феврале 1792 г. . . .была заключена в тюрьму и 4 сент. того же года казнена". (Евст.).

Две ступени. I. Взятие Бастилии. Впервые: "Ипокрена", № 1, 1918, с разночтениями:

Стр. 1: Бурлит Сент-Антуан. Гудит Пале-Рояль.
7: И победители, очистив от камней

"13 дек. 1917 г. Волошин сообщил А. М. Петровой, что пишет "целый цикл из французской революции". В него входили созданные в 1917 г. стихотворения "Бонапарт", "Термидор", "Робеспьер". (Евст.).

Две ступени. II. Взятие Тюильри. Впервые: "Ипокрена", № 1, 1918, под назв. "Бонапарт" с разночтением:

Стр. 9: А офицер, неведомый никем,

Термидор. Цикл из 4 стихотворений. Впервые, очевидно, в кн. "Демоны глухонемые".

III. П у т и Р о с с и и. Наиболее популярный раздел стихов Волошина. Почти все, как мы уже неоднократно указывали, излишне преувеличивают ту перемену, какая произошла в мировосприятии и творчестве Волошина после Октября 1917 г. Так, хорошо знавший Волошина с 1903 г. Андрей Белый, после посещения (уже далеко не первого) Коктебеля в 1924 г., пишет Р. И. Иванову-Разумнику 17 июля того же года: "Как странно судьба меняет людей, – я не узнаю Максимилиана Александровича; за пять лет революции он удивительно изменился, много и серьезно пережил и теперь естественно перекликается в темах о России со мною; с изумлением вижу, что "М а к с" Волошин стал "Максимилианом"; и хотя все еще элементы "л а т и н с к о й к у л ь т у р ы в и с к у с с т в е" разделяют нас с ним, но в точках любви к современной России мы встречаемся, о чем свидетельствуют его изумительные стихи. Вот еще "старик" от эпохи символизма, который оказался моложе многих "молодых". (По примеч. к кн.: Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. Библиотека Поэта, больш. серия, Л., 1966, стр. 606, и статье С. Гречишникова и А. Лаврова "Неизданный очерк Андрея Белого о Максимилиане Волошине" – "Звезда", 1977, № 5, стр. 192). О том, что "любовь к современной России" не является любовью к режиму, свидетельствуют как раз те стихи Волошина, на которые ссылается Андрей Белый. . . Но было бы весьма неосновательно называть стихи Волошина и "контрреволюционными", как это делали как раз в те годы Таль и ему подобные (об этом – ниже). Поэт старался изо всех сил, и иногда это ему удавалось, стоять не в н е, а н а д схваткой. "В дни революции быть человеком, а не гражданином" – было его девизом.

Не политика, а человечность: "Политику", к которой раньше относился отрицательно, теперь ненавижу – как крикливую и кровавую бессмыслицу, отвлекающую внимание от главного". (А. Кулинич. Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х гг. Киев, 1967, стр. 28). В 1918 г. он пишет своему старому другу А. М. Пешковскому: "Ты спрашиваешь, что я думаю о теперешних событиях? Посылаю тебе несколько новых стихотворений. Они тебе скажут глубже и больше. . . Не знаю, примешь ли ты мой оптимизм: в смысле устройства земных дел я не вижу улучшения в ближайшее время, но все происходящее мне кажется плодотворным в смысле исторического опыта: Россия так долго была лишена его многовековой государственной опекой, что ей необходимо наверстать упущенное". (Там же, стр. 26).

Так же, как и Блок, Волошин видел в Октябре и первых месяцах 1918 года разбушевавшуюся стихию, стихию бунтарскую, анархическую, и лишь позже убедился (см., напр., поэму "Россия", а до того – "Китеж") в том, что "опека" стала тысячекратно более мощной и давящей. . . И, видя разор и террор, разбой и разнобой, развал всего и вся, – он и отмежевывался всячески от всяческой "политики" насколько мог. . . Еще и до Октября, видя начало полного развала и бесчинств, он писал

своему другу М. О. Цетлину 14 авг. 1917 г.: "В человеке есть только две творческих силы: вера и скептицизм. Первая творит будущее, вторая упорядочивает настоящее. Если они сочетаются в одном лице, то происходит взрыв, молния, общественный сплав на много веков. А политические деятели хотят вместо взрыва приготовить безопасный химический препарат – политическую программу: целлулоид из нитроглицерина! Не является ли "политическая программа" патентом на творческое бессилие? А она служит критерием доверия. . . . . .У меня глубокая ненависть к политическим теориям. . . и я сам только и делаю, что строю все новые и новые. Но мое оправдание в том, что я не только не проповедую их, но даже не пишу о них иначе, чем в письмах. Я чувствую себя вправе говорить теперь только в стихотворной форме. . ." ("Время и Мы", № 27, 1978, стр. 186). Волошин почти вовсе не пишет статей: в письме к Я. А. Глотову, 26 авг. 1917, он пишет: "Я не печатаюсь: мне же лучше – все это сосредоточится с течением времени в стихи и не расплещется по мимолетным статьям. И теперь такое время, когда молчание является определенной услугой родине". (Там же, стр. 188). В письме к молодой певице-композитору, 29 ноября 1917, он пишет: "Из тех книг, что Вы читаете, важнее всего Апокалипсис – он самая современная из всех возможных книг, и от современных событий многие образы его выясняются. С самого начала войны я его читаю каждый день. Его и пророков. Наверно, Вы плохо знаете пророков. Прочтите Исайю, начиная с 40 главы, особенно 42-ю. С этими обетованьями можно не страшась пройти все ужасы современности. . . Достоевский тоже во многом русский Апокалипсис. Перечтите внимательно страницу за страницей, останавливаясь и медитируя, "Бесы". Там уже все, что происходит теперь". ("Время и Мы", № 28, 1978, стр. 191).

Сказывается на историософии Волошина и соловьевское предчувствие грядущей схватки Европы и Азии – и именно на равнинах России. В письме к Я. А. Глотову 4 сент. 1919 г. он говорит: "Я, конечно, переживаю все совершающееся глубоко и интенсивно, но мне нужен известный исторический разбег, чтобы иметь возможность реагировать художественно. Это мне дает Коктебель. Он дает взгляд из пустыни. Какое страшное время, и какое счастье, что мы до него дожили. Сейчас мне Азия интереснее Запада – разрешение всего придет оттуда". (Там же, стр. 196). ". . .Я смотрю, – писал Волошин А. М. Петровой 10 мая 1918, – с точки зрения того "Армагеддона", который разразится в ближайшие годы между Европой и монголами на всем пространстве Европейской России, от которой после этого камня на камне не останется". (Там же, стр. 192). Разве нет здесь явной переклички с "Краткой повестью об Антихристе" Вл. Соловьева, со "Скифами" Блока? Да и с блоковскими "Двенадцатью" – с их идеей революции как и с к у п л е н и я. Недаром в лекции, которую читал в Феодосии или Симферополе Волошин, он доказывал, к негодованию большевиков, "что "Двенад-

цать" Блока отнюдь не большевистская вещь". (Там же, стр. 198). "Вспоминается мне, – пишет С. К. Маковский, – как Максимилиан Волошин, навестивший меня в Ялте (в 1918 г.), толковал конец "Двенадцати":

– Да ведь это против большевиков написано! Двенадцать лжеапостолов не идут за Христом, а преследуют Его как врага, расстреливают Его. Революция распинает Христа. Вот смысл!

– Однако же Христос машет красным флагом, – возражал я.

– Красный флаг в руках Христа, – волнуясь доказывал Волошин, – очень страшный символ. Кровь ведет народную стихию – и человеческая, и Божья; ведет кровавая хоругвь ко вратам грядущего Царствия...

Блок ощущал революцию не как политик. В минуты прозрения он ощущал революцию эсхатологически. Поэт слышал голос народный о преображающей силе "черной злобы, святой злобы" на погибель старого мира". (Мак.-Парнас, стр. 174). И недаром Волошин избрал эпиграфом к своему "Северовостоку" слова св. Лу, обращенные к Аттиле: "Да будет благословен приход твой, – Бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя". Поэтому-то поэт и молчал в первые месяцы революции, до Октябрьских дней, ибо предвидел, "что это только начало, что русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой великой разрухи Русской земли, нового Смутного времени". (М. Волошин. Россия распятая. См. стр. 353–379 настоящего тома и – Купр., стр. 177).

Что же поэту писать д о наступления апокалиптических событий революции? Поэт объясняет причину своего молчания (до Октября) в неопублик. статье "На весах поэзии": "Все дифирамбы, которые возглашались в то время в честь свободы и демократии, все статьи, которые писались в газетах, все речи, которые произносились на митингах, – были ложью; поэтому поэты ничего не могли сказать в те дни: то, что терпимо и даже убедительно в газете, в стихе звучит нестерпимой фальшью". (Купр., стр. 178). Октябрь, террор, гражданская война заставляют Волошина то переезжать из Коктебеля в Одессу, то возвращаться в Крым. Смена властей, флагов, партий. Голод. Гонорары, в сущности, символичны: на них никак не прожить. "Небольшая сумма денег, которую прислал издатель С. Абрамов за книгу "Иверни"; быстро разошлась". (Купр., стр. 183). Да и получил-то он гонорар с опозданием. а деньги падали в цене с молниеносной быстротой. Издатель, то ли по небрежности, то ли по обстоятельствам, от него не зависящим, долго не посылал книгу автору (конечно, и гонорар тоже). 2 июня 1918 г. Волошин пишет своей приятельнице, художнице Ю. Л. Оболенской. "До меня дошел слух, что мои избранные стихи "Иверни" вышли в свет. Видали ли Вы эту книжку? Какова она по внешности? Какая ее цена? Приложен ли к ней мой портрет? Я так ее и не получил. Если

будет оказия, пришлите мне ее, пожалуйста, экземпляр". ("Время и Мы", № 28, 1978, стр. 195). В Одессе было тоже трудно. Он часто бывал у И. А. и В. Н. Буниных, и в дневнике В. Н. сохранилось немало известий о Волошине. При всей разнице в подходе к жизни, к литературе, к политике, В. Н. отмечает (запись 25 марта/7 апр. 1919): "Вчера вечером был Волошин, читал нам свои стихи, которые нам понравились. Он производит очень приятное впечатление, хотя отношение к жизни у него не живое. . ." ("Устами Буниных", т. I, Франкфурт, 1977, стр. 224–225). Волошин часто выступает в Одессе с чтением стихов, пишет в газетах и журналах – то "красных", то "белых", то опять "красных" (Одесса переходит из рук в руки, не исключая и "рук" абсолютных бандитов – зеленых, анархистов). Невероятно хамски ведут себя, в периоды большевистского владычества в городе, "братья писатели". В. Н. Бунина записывает 30 марта/12 апр.: "Отличительная черта в большевицком перевороте – грубость. Люди стали очень грубыми. Вчера на заседании профессионального союза беллетристической группы. . . .группа молодых поэтов и писателей, Катаев, Иркутов, с острым лицом и преступным видом Олеша, Багрицкий и прочие, держали себя последними подлецами, кричали, что они готовы умереть за советскую платформу, что нужно профильтровать собрание, заткнуть рты буржуазным, обветшалым писателям. Держали они себя нагло, цинично, и, сделав скандал, ушли. Волошин побежал за ними и долго объяснялся с ними. Говорят, подоплека такова: во-первых, боязнь за собственную шкуру, так как почти все они были добровольцами (в Добровольческой армии Деникина. БФ), а во-вторых, им кто-то дал денег на альманах, и они боятся, что им мало перепадет. . ." (Там же, стр. 229–230). 4 апреля 1919 г. друзья Волошина Цетлины и будущий "красный граф" Ал. Н. Толстой бежали из Одессы. Они уговаривали Волошина уехать вместе с ними, но мать поэта, Елена Оттобальдовна, была очень больна. Да и не верил Волошин в прочность и долгую жизнь Запада. . . Волошин остался в квартире Цетлиных, вместе с цетлиновской прислугой, буквально морившей его голодом: "горничная ему ничего не дает, – записывает В. Н. Бунина 14/27 апр. 1919 г., – кроме стакана горячей воды утром. Но он относится и к этому весело: "Похудею, а то я за время пребывания у Цетлиных очень растолстел". (Там же, стр. 242). Наконец, бежит обратно в Крым, в свой Коктебель (об этом – см. примеч. к стих. "Плавание" в разделе "Усобица"). Голодает, преследуется, болеет, но не теряет бодрости и своего апокалипсического и НАДмирного отношения к действительности и в Крыму. В письме к своей давней приятельнице А. В. Гольштейн, 10 сент. 1920 г., он пишет: "Большевиков мы видели у себя дважды, и первое их господство – разложение Черноморского флота – было кроваво и страшно. Второе – томительно и тяжко, потому что мы были верстах в пятнадцати от линии фронта. Были мы и под немцами, и под французами, и под англичанами, и под

татарским правительством, и под караимским. Боюсь, Александра Васильевна, что мы с Вами и теперь, как и во время войны, во многом не будем согласны, потому что и теперь для меня не так важны политические программы и стороны, сколько человеческая личность. Но это мне очень помогало и помогает в тех условиях, в которых приходится жить. . . .Но никогда, кажется, мне так хорошо не работалось и не писалось, как в эти годы. Обстановка постоянной небезопасности и неуверенность в завтрашнем дне дают работе особую сосредоточенность. Но не будучи ни с одной из борющихся сторон, я в то же время живу только Россией и в ней совершающимся, и все стихи мои, написанные за эти годы, отвечают только на текущие события. Я Вам посылал их в письмах, а если они не дошли, то, вероятно, Вам их показывал и читал Шервашидзе, которому я дал полный экземпляр книги с просьбой и полномочиями издать ее в Париже или в Лондоне". ("Время и Мы", № 28, 1978, стр. 200). К вопросу об издании стихов о революции мы еще вернемся.

Тяжкое положение поэта продолжалось годы и годы. В письме в Берлин (начало 20-х гг.) он сообщал: "Летом 21 года я тяжело заболел. Шесть месяцев я пролежал в постели, шесть – пробыл в феодосийских санаториях, и еще шесть провел на грязях и электризациях (Саки, Севастополь), и только теперь, в декабре, вернулся в Феодосию и вот снова застрял на полдороге Коктебеля, захваченный длительным и тяжелым припадком астмы. Но все эти болезни и прикованность к постели не помешали мне жить полной духовной и волевой жизнью. К сожалению, только обстановка жизни и преизбыток человеческих дел мешали все это время поэтическому творчеству, и я не мог еще записать всего, что назрело. Материальное положение бывало очень тяжело. . . Эти годы мне удалось писать сравнительно немного, благодаря совершенно невозможным условиям и обилию человеческих дел. Но у меня много задумано". В начале января скончалась его мать. Волошин собрался выехать, если ему удастся, на Запад: ". . . покинуть Россию я ни за что не покину, но поехать взглянуть на Запад мне очень хотелось бы". ("Новая Русская Книга", Берлин, 1923, № 1, янв.).

Стихи, посвященные войне и революции, удалось издать лишь частично. В письме к двоюродному брату, Я. А. Глотову, 18 окт. 1919 г., Волошин писал: "Всеобщая безалаберщина весьма способствует сосредоточенности духа и работы. Пишу стихи исключительно на современные темы – о России и о революции. Как всегда, все, что бывает со мной, оказывается парадоксально: мои стихи одинаково нравятся и большевикам и добровольцам. Моя первая книга "Демоны глухонемые" вышла в январе 1919, в Харькове, и была немедленно распространена большевистским Центрагом. А второе ее издание готовится издавать Добровольческий Осваг. Из этого ты можешь видеть, что я стою действительно над партиями. И это понятно: для меня уже давно

стало абсурдом осуществлять какие бы то ни было свои предпочтения и государственные формы. Между тем как развертывающаяся историческая трагедия меня глубоко захватывает. . . . . .Я. . , относясь ко всем партиям с глубоким снисхождением, как к отдельным видам коллективного безумия, ни к одной из них не питаю враждебности: человек мне важнее его убеждений. Поэтому единственная форма активной деятельности, которую я себе позволял, – это мешать людям расстреливать друг друга. И пока довольно удачно". ("Время и Мы", № 28, 1978, стр. 197). 5 апр. 1920 г. Волошин отправил весь проект (и все тексты) книги стихов о войне и революции своему другу, кн. А. К. Шервашидзе, известному художнику (декоратору "Тристана и Изольды" Вагнера – в постановке Вс. Мейерхольда – в Мариинском театре, в частности), эмигрировавшему в Париж из Крыма, сопроводив его письмом, в котором писал: ". . .посылаю Тебе текст моей книги "Пламена", которую Ты согласился попытаться устроить в Лондоне у Сытина. Очень и очень прошу о том же и Наталью Ильиничну (вторую жену А. К. Шервашидзе, Бутковскую. БФ). Мне очень важно издать ее заграницей по двум причинам. Во-первых, невозможность издать ее полностью в России в ближайшие годы и желание ее закрепить немедленно. Во-вторых, необходимость заработка, хотя бы та сумма, которую я могу за нее получить, и осталась, за невозможностью переправить деньги в Россию, заграницей (кто знает, не придется ли и мне через некоторое время очутиться там самому). Я посылаю Тебе полный текст и прилагаю пояснение, в каком порядке стихи должны быть расположены. К сожалению, не было у меня ни времени (ни бумаги), чтобы переписать все, как следует. . . . . .Экземпляр "Демонов глухонемых" – один из трех, которые я получил от издателя, – я посылаю Тебе. Он – с моим портретом Твоей работы. . . .Лирические стихи мои были в свое время переведены Цетлиным в сотрудничестве с Фонтенасом, издать их должен был Жорж Крэс, но о судьбе их я не знаю ничего. Для Англии у меня взял летом рукопись "Демонов глухонемых" Вильямс, но что он сделал – тоже не знаю. Да – сведение для издателя: "Армагеддон" (т. е. АМА. БФ) был издан в России в количестве 300 экземпляров в 1916 г., и "Демоны глухонемые" в 1919 г. в Харькове в количестве 1 200 экз. И то и другое издание разошлось полностью. . . .В "Пламена" вошел ряд нигде не напечатанных стихов, в частности, весь отдел "Неопалимая Купина", кроме стихов, перенесенных из "Демонов". ("Новый Журнал", № 39, 1954, стр. 133–135). Но издать "Пламена" и заграницей не удалось, особенно еще и потому, что, без ведома автора, очень большое число стихотворений, преимущественно из второй и третьей части книги, было уже опубликовано в Берлине: "Демоны глухонемые" – в 1922, "Стихи о терроре" – в 1923. . .

В самые первые годы после Октября поэту как-то удавалось "стоять над схваткой" – и все же уцелеть (правда, венгерско-советский

палач Крыма, Бела Кун, собирался его расстрелять – см. примеч. к "Дому Поэта"). Он даже осмелился прочитать свои наиболее крамольные стихи в салоне О. Д. Каменевой, сестры Троцкого, в присутствии нескольких богов и полубогов коммунистического Олимпа. Это как-то сошло ему с рук, но, как полагает Ал. Н. Бенуа, "вероятно, только потому, что и там его не пожелали принять всерьез", – сочли за юродивого. . . Как бы то ни было, его как-то терпели, хотя, как он сам жаловался, и сильно прижимали, особенно местные власти – из местного и пришлого хамья. Не то сталось года через три-четыре. Способствовала сначала подозрительному, а затем враждебному отношению к Волошину все растущая и растущая популярность в русском зарубежье стихов о России и революции, написанных Волошиным в послереволюционные годы. Да тут еще волошинское "Заклинанье о Русской земле" перепечатал монархический альманах "Детинец", вышедший в 1922 г. в Берлине. Началась дикая травля Волошина в советской прессе, особенно же в погромном красносотенном журнале "На Посту", "критические" статьи которого, по сути, были не чем иным, как простыми и неприкрытыми доносами в ГПУ. В одном только 1923 г. в этом журнале были опубликованы направленные против Волошина статьи А. Зонина "Надо перепахать" (№ 2–3), С. Родова "Оригинальная" поэзия Госиздата" (в том же №) и наиболее гнусная статья Б. Таля "Поэтическая контрреволюция в стихах Максимилиана Волошина" (№ 4). Поношения Б. Таля приводить нет смысла: это обычная марксистско-ленинская ругань. В письме в редакцию Волошин не счел нужным особенно оправдываться: он закончил это письмо словами: "Стихи мои достаточно хорошо заряжены и далеки от современных политических и партийных идеологий: они сами сумеют себя отстоять и очиститься от нарастающих на них шлаков лже-понимания". ("Красная Новь", 1924, № 1, стр. 312). А в личном письме к Б. Талю 12 янв. 1924 г. он писал: "Я вынужден ответить Вам (не по предмету Вашего обвинения) письмом в редакцию, которое посылаю одновременно в "Правду" и "Известия" с полной уверенностью, что оно напечатано не будет. Наши силы не равны: Вы обвиняете, но обвиняемый отвечать не может. . . .Спасибо за опровержение моей "нейтральности". Я не нейтрален, а гораздо хуже: я рассматриваю буржуазию и пролетариат, белых и красных, как антиномические выявления единой сущности. . . . . .Между противниками всегда провожу знак равенства. Понятие "России" и "Русского Царства" для меня вовсе не совпадает с понятием "монархизма", так же, как "революция" с "большевизмом". Но зато "самодержавие" и "большевизм" (принимая последний как бытовое выявление коммунистической идеологии) исторически совпадают друг с другом по закону тождества противоположностей. . . .Ваши домыслы о моем "монархизме" не больше, чем прокурорская подтасовка. Я пишу четко и ясно, и надобно особо предвзятое мнение, чтобы вычитать в моих стихах то, что находите в них

вы". ("Время и Мы", № 28, 1978, стр. 206–208). Но травля продолжалась. Наконец, Волошина окончательно вытеснили из печати. Он зарабатывал на скромный кусок хлеба только рисованием акварелей. Да и сейчас, когда вышла, наконец, через 58 лет после последней книги стихов поэта, опубликованной не за рубежом, небольшая книжка в малой серии "Библиотеки Поэта", в ней то и дело встречаешь фразы о порочности его взгляда, который, мол, "приводил его к неверным оценкам происходящего, а отсутствие четких классовых критериев обуславливало ложную трактовку ряда событий современности". (Вступ. статья Сергея Наровчатова, стр. 28). Конечно, в эту книжку не включены даже такие широко известные стихи Волошина, как "Святая Русь", "Китеж", "Стихи о терроре"...

Зато в эмиграции Волошину зачастую создавали совершенно не заслуженную им славу контрреволюционера и антисоветчика. И, любя его за его стихи о России и революции, понимали их столь же однобоко, как и Тали, Родовы и прочие, только с обратным знаком... Может быть, только И. А. Бунин, отвергая эти стихи категорически, вернее воспринял их (см. примеч. к разделу "Усобица"). Да и чуждый в общем Волошину Георгий Иванов закончил свою позднюю заметку о Волошине излишне патетическими, может быть, но искренними и близкими к пониманию духа волошинской поэзии словами: "Я пытался выявить веру поэта в высокие судьбы человека, указать на самое пленительное в творении его: молитву надмирную и скорбную провидца и страдателя земли русской, чрез все и вся вознесшего над миром великую весть, веру благую в возрождение, светлые судьбы человеческие. В этом главный, священный завет стиха его – аду и небу наперекор, чрез бездны и века, чрез ужас и муку – набат души высокой о надежде и вере скорбному и грешному нашему миру". (Г. Иванов. Максимилиан Волошин. – "Русская Мысль", 22 авг. 1961).

Чем глубже в раковины ночи. Была ли публикация до АМА – нами не установлено.

Предвестия. Впервые: "Русь", 14 авг. 1905, с разночтениями: после строфы 3-й, после строки "И выступила кровь на снежной пелене" – следует строфа, автором в дальнейшем опущенная:

По улицам толпой нестройной и неслитной
Бродили мы, и каждый был далек
С одной мечтой – бесстыдно-любопытной –
Увидеть кровь – святой, запретный плод.

Эта строфа присутствует в "Стихотворениях 1900–1910".

Стр. 13: А ночью по пустым и темным перекресткам
Стр. 20: И шепчет тайные заклятья и слова.

"Авторская дата 9 января является элементом текста. Судя по творческой тетради № 1, стихотворение окончено 20 июня. 1 июля 1905 г., посылая его А. М. Петровой, Волошин писал: "Несколько недель назад я написал такое стихотворение под впечатлением того, что мне пришлось видеть, слышать и перечувствовать в январе в Петербурге". Волошин приехал в Петербург утром 9 января, был свидетелем Кровавого воскресенья и описал свои впечатления в статье "Кровавая неделя в Санкт-Петербурге", опубликованной во французском журнале Courier Européen (февр. 1905) ". (Евст.).

Ангел Мщенья. Впервые: завершает статью Волошина "Пророки и мстители" в журн. "Перевал", 1906, № 2; одновременно: "В Борьбе", сборн. 3, СПб., 1906; "Красное Знамя", Париж, 1906, № 1. Разночтения:

Стр. 10: Я грезы о любви слезами затоплю.
13: О, камни мостовой, которых лишь однажды
19: И где тебя нагайками хлестали
24: Но смысл иной для каждого придам.
28: И в душу мстителя вопьется страшный бред. (Опечатка?)
29: Меч справедливости – провидящий и мстящий –
32: Им сын зарежет мать, им дочь убьет отца.

"Знаки рыб – средневековый символ тайного отмщения" (примеч. в "Кр. Знамени". Статья "Пророки и мстители" (1905), перепеч. затем в кн. "Лики творчества", СПб., 1914, не случайно завершалась этим стихотворением. Начинается она большой цитатой из "Преступления и наказания" (Сон Раскольникова). Вот несколько характерных цитат из этой статьи: "Души пророков похожи на темные анфилады подземных зал, в которых живет эхо голосов, звучащих неизвестно где, и шелесты шагов, идущих неизвестно откуда. Они могут быть близко, могут быть далеко. Предчувствие лишено перспективы. Никогда нельзя определить его направления, его близости. Толща времени, подобно туману, делает предметы и события грандиознее и расплывчатее" (стр. 343). "Обезьяна сошла с ума и стала человеком. Следующий день начнется, когда человек сойдет с ума и станет Богом" (стр. 346). "Революции – эти биения кармического сердца – идут ритмическими скачками и представляют непрерывную пульсацию катастроф и мировых переворотов. Духовный кризис наций, который является неизбежным бичом в руке каждой из Великих Революций, – это кризис идеи справедливости. Идея справедливости – самая жестокая и самая цепкая из всех идей,

овладевавших когда-либо человеческим мозгом. Когда она вселяется в сердца и мутит взгляд человека, то люди начинают убивать друг друга. Самые мягкие сердца она обращает в стальной клинок и самых чувствительных людей заставляет совершать зверства. Она несет с собой моральное безумие, и Брут, приказывающий казнить своих сыновей, верит в то, что он совершает подвиг добродетели. Кризисы идеи справедливости называются революциями" (стр. 349–350). "Страх – это скачок в бессознательное" (стр. 356). Но уже и за год перед этой статьей Волошина преследовала идея, вернее, предчувствие – близящегося возмездия. "Свершилось. . . Наступают минуты возмездия. Это действительность мстит за то, что ее считали слишком простой, слишком понятной! Будничная действительность, такая смирная, такая ручная, ощетинилась багряным зверем, стала комком остервенелого пламени, фантастичнее сна, причудливее сказки, страшнее кошмара". ("Магия творчества. О реализме русской литературы". – "Весы", 1904, № 11, стр. 5). Это стихотворение сразу же было замечено и отмечено П. Б. Струве. В февральском номере "Русской Мысли" за 1907 г. он писал: "Я напишу: Завет мой – Справедливость./И враг поймет: Пощады больше нет.". В этой "справедливости", перед которой "нет пощады" врагу, т. е. несогласно мыслящему, схвачена психическая сущность многих явлений русской революции, накопившей внутри себя такой огромный капитал иррационального недоверия и озлобления. "Один ты видишь свет. Для прочих он потух" – это сознание своей личной и групповой непогрешимости тоже в высшей степени характерно для русской революции. Сомнение в своей абсолютной личной правоте или непогрешимости есть основа человеческого отношения к другим лицам и соглашения с ними. Там, где отсутствует эта основа, открывается простор для пожирания одних людей другими, сперва идейного, а потом и практического. Соглашение, как компромисс, недоступен больным политической злобой, насквозь пропитанным "хмельной отравой гнева" душам". (перепеч. в сборн. "Patriotica" СПб., 1911, стр. 25).

Москва. Впервые, очевидно, в кн. "Демоны глухонемые", Харьков, 1919 (в дальнейшем – ДГ). 27 ноября 1917 г. Волошин писал Ал. Н. Толстому ("Алехану"): "Милый Алехан, мне хочется напомнить тебе, как ты сердился на меня, когда в марте месяце, во время торжества революции, я говорил тебе, что Красная площадь мне представлялась вся залитой кровью. Видишь теперь, что я был не совсем неправ. Не неправ был я и тогда, когда я бил тревогу в предчувствии теперешнего большевистского мира. Тот, кто видит слишком ясно вперед, не должен заниматься политикой: он будет только раздражать. Его дело

писать стихи. . ." ("Время и Мы", № 28, 1978, стр. 188). Владимир Александрович Рагозинский, художник-архитектор, друг Волошина – "сосантиметр меганомских пустынь" (А. Марков. ". . .Мой дом открыт навстречу всех дорог". – "Дружба народов", 1977, № 5).

Петроград. Впервые, очевидно, ДГ. Сергей Яковлевич Эфрон (1893–1941), муж Марины Цветаевой, погибший либо в застенках НКВД, либо в лагерях НКВД по возвращении в СССР.

Трихины. Впервые, очевидно, ДГ. Стихотворение, сплошь пронизанное реминисценциями из Достоевского. Ему оно и посвящено: его пророчеству. Бредовый сон Раскольникова: "Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии в Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучился, глядя на других. . . . . .Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. . . Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. . . .Остановилось земледелие. . . Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. . ." (Полн. собр. соч. в 30 тт., т. 6, Л., 1973, стр. 419–420). Идея же, что каждый виноват за всех – и все за каждого, и что мир спасет красота – у Достоевского во всех произведениях позднего периода.

Святая Русь. Впервые, очевидно, ДГ. Почти одновременно – журн. "Объединение", Одесса, 1919, (нами № не установлен). Перепечатывалось бесчисленное количество раз. . . Посвящено давнему другу поэта, переписка с которой нами многократно цитировалась.

Мир. Первоначально называлось "Брестский мир", хотя написано ДО заключения Брестского мира. Очевидно, впервые – ДГ. "Пошли на

нас. . . Германцев с Запада, монгол с Востока": см. об этом в общем предисл. к примечаниям – раздел "Пути России".

"Видение Макса В. на приступочке башни, с Тэном на коленях, жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух, С/ереже/ и мне, завтрашних и послезавтрашних судеб России. – А теперь, Сережа, будет то-то. . . Запомни. – И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой – всю русскую революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь. . ." (Марина Цветаева. Из дневников и записей. В кн. Избр. проза в 2 тт., т. 1, Нью-Йорк, 1979, стр. 25). Мария Авинова рассказывает об одном из первых, возможно, чтений Волошиным его стихотворения "Мир" – в доме у ее "старой приятельницы Р. М." (Рашели Мироновны Хин-Гольдовской. БФ). "Эта умная, образованная, уже немолодая женщина сохранила пыл душевный, живой интерес к жизни и умение объединять людей. . . . .Всякий, кто знаком с волошинскими стихами, поймет, что я хочу сказать (о мистическом понимании истории и судеб России. БФ), но только тот, кто слышал его вдохновенное чтение, поймет то, что мы испытали в тот вечер. Он читал: "С Россией кончено. . ." . . .Как удар грома раскатился голос поэта по притихшей комнате. Мы сидели зачарованные, взволнованные. Я, чтобы успокоиться, ушла в соседнюю комнату. Пришла наша хозяйка и, взяв меня за руки, сказала: – Ну что скажете? Правда, потрясающе, изумительно? – Ничего не могу сказать. . . слов нет, чтобы выразить то, что я испытываю". ("Новое Русское Слово", 8 марта 1964).

Из бездны. Впервые, очевидно, ДГ. Видя все ужасы распада, смерти, мучительства, страданий безвинных, осуждая кровавый разгул революции, в автобиографии Волошин все-таки писал в 1925 г.: "Из самых глубоких кругов преисподней Террора и Голода я вынес свою веру в человека". (Евст.).

Демоны глухонемые. Впервые, вероятно, в альм. "Весенний Салон Поэтов", М., 1918. Этим стихотворением открывался сборник ДГ, при этом был и второй эпиграф, предваряющий библейский:

Одни зарницы огневые
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.
Тютчев.

"19 янв. 1918 г. Волошин сообщил А. М. Петровой: "Тут не только рус-

ские бесы, но демоны истории, перекликающиеся поверх формальной ткани событий". Смысл образа он пояснил в письме к ней же 30 дек. 1917 г.: "Ведь демон, Вы знаете, не непременно бес, это среднее между Богом и человеком: в этом смысле ангелы – демоны и олимпийские боги – тоже демоны. В земной манифестации демон может быть как человеком, так и явлением. И в той и в другой форме глухонемота является неизбежным признаком посланничества, как Вы видите по эпиграфу из Исайи. Они ведь только уста, через которые вещает Святой Дух". (Евст.). Здесь к Библии примешиваются и неоплатонизм, и идеи гностиков, и средневековая магия...

Русь глухонемая. Впервые, очевидно, ДГ. Опять: Евангелие от Луки, 8: 32–36, и "Бесы" Достоевского. Абсолютно то же противопоставление, что и в словах Степана Трофимовича в конце романа: "...видите, это точь-в-точь, как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, – это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! ...Но Великая Мысль и Великая Воля осенит ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть! Это мы, мы и те.., и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море, и все потонем, и туда нам дорога... Но больной исцелится и "сядет у ног Иисусовых"..." (Полн. собр. соч. в 30 тт., т. 10, 1974, стр. 499). Многие послереволюционные стихотворения и поэмы Волошина построены по образцу коллажей: куски остихотворенных цитат, более или менее обширных, из Библии – и Достоевского, Евангелия – и Ключевского, протопопа Аввакума – и гностиков. Но все слито воедино искусно и с большим эмоциональным напором.

Родина. Впервые, очевидно, ДГ.

Преосуществление. Впервые, очевидно, ДГ. Эпиграф из "Истории Римского государства" Аммиана Марцеллина (330–400): "После разрушения сорок или более дней Рим оставался настолько опустошенным, что из людей никто в нем не задерживался, но только звери". Опять реминисценция из Достоевского: конец стихотворения – цитата из Евангелия, взятая Достоевским в качестве эпиграфа к "Братьям Карамазовым" – тоже в качестве аналога с Россией...

Ангел Времен. Это стихотворение, пронизанное славянофильскими мотивами, Волошин часто называл – "Европа". Впервые, очевидно, ДГ. В письме к А. М. Петровой 10 мая 1918 г. Волошин писал: ". . ."Европу", хотя я ее уже много переделывал, не чувствую законченной. . . .Наша физическая – земная родина хирургически отделяется сейчас от родины духовной (Св. Русь); но даже изгнанничество, эмиграция невозможны, потому что России вообще теперь нет. И родина духовная – Русь – Славия – не имеет больше государственного, пространственного выражения. Она для нас остается ценностью духовной, какой, в сущности, была и раньше". ("Время и Мы", № 28, 1978, стр. 191–192, 193). Поэт-антропософ Дм. И. Кленовский пишет: "По-антропософски трактует всегда Волошин тему России-Славии, ее прошлого, настоящего и, особенно, будущего. Здесь следует разъяснить, что, по утверждению Р. Штейнера, славянскому народному гению предопределена в будущем ведущая духовно-культурная миссия в истории человечества: на смену нынешнему периоду романо-германской духовной культуры придет (сроки называть еще рано) период культуры славянской. Слова Волошина: "России нет, она себя сожгла, Но Славия воссветится из пепла!" – отнюдь не являются поэтому лишь брошенной на ветер "патриотической" фразой. Россия, в представлении поэта, истлеет и расцветет "царством духа". ("Оккультные мотивы в русской поэзии нашего века". – "Грани", № 20, 1953, стр. 134). Думается, что в этом случае играет бо̀льшую роль славянофильство Вл. Соловьева. . .

Китеж. Впервые, очевидно, в одесском журн. "Объединение", в одном из номеров, оставшихся нам недоступными, начала 1919 г. Многократно перепечатывалось в эмигрантской периодике.

Дикое Поле. Возможно, что впервые опубликовано в одном из следующих журналов и альманахов, вышедших почти одновременно: "Наши Дни", кн. 1, М., 1922; "Южный Альманах", кн. 1, Симферополь, 1922; "Трилистник", кн. 1, М., 1922; "Русская Мысль", Прага-Берлин, 1922, № 1–2. Разночтения:

1: Стр. 6: Да темна Киммерийская степь.
9: Вся копытом да конями взрыта, (явная опечатка)
13: Мутит воды степных плоскогорий
18: Вихрит вихрями клочья тумана
38: Много было их – люты и храбры,
39: Но исчезли – "изникли, как обры"

2: 6: Стал в парче облачений и риз
15: Наложили московскую пядь

Стр. 17: От московских тугих благолепий
23: этой строки в "Трилистнике" и "Усобице" НЕТ
24: Убегали за Волгу, за Дон.
29: С Беломорья, да с Приазовья
32: Да низы вечевых городов.
33: Лишь Никола-Заступник, Егорий –

Волошин, начиная с Октября, стал видеть в разгуле большевистской революции и бунтарской мужицко-солдатской стихии начало не только конца "Святой Руси", но и мирового развала великой средиземноморской культуры, и предвидел наступление этих событий в чрезвычайно краткие сроки. При этом он продолжал идеализировать романо-германский мир, видя его сквозь призму не столько штейнерианства, сколько гетеанства и немецкой идеалистической философии. Он представлял германскую роль в борьбе Запада с новыми гуннами, грядущими с Востока, – монголами (к которым, вслед за Вл. Соловьевым и Блоком, относил объединившийся японо-китайский мир) в качестве рыцарственного, крестоносного передового отряда Европы. В условиях тогдашнего кровавого развала и разброда – оккупация Крыма, как он писал А. М. Петровой 10 мая 1918 г., – на него не произвела "тяжелого впечатления, которого я ожидал... ...было, скорее, удивление: как будто я воочью увидел римских солдат, вступивших в Митридатово царство. ...В факте присутствия германцев в Крыму для меня нет ничего оскорбительного, как это, вероятно, было бы, если бы я встретился с ними в Москве. ...Вы ведь знаете, что для меня ничего не будет удивительного, если через несколько лет Германия окажется крестоносной защитницей Европы от монголов..." С другой стороны, в этой грядущей схватке Востока с Западом на просторах вековечной дороги Великого переселения народов, на "Диком Поле", он видел и грядущую смерть физического тела России – и воскрешение ее в Духе и Истине – в образе Великой Славии. В этой утопии, как и в родственных утопиях Вл. Соловьева ("Краткая повесть об Антихристе"), Блока ("Скифы") – было немало реальных зерен, в более или менее густой смеси с мистико-поэтически воспринятым славянофильством. Увы, "крестоносная защитница Европы" оказалась по духу весьма близкой родственницей тоталитарного коммунизма-большевизма. Волошин сравнительно скоро увидел это, а впрочем, как мы видели в приводившихся в примечаниях выдержках из его писем, предсказывал и конец европейской средиземноморской культуры и нарождение какого-то иного исторического эона. Характерно, что в 1919 г. была создана первая редакция "Серафима Саровского" ("Святого Серафима"), и над этой поэмой-житием он продолжал работать до 1923 г., сопрягая русского Серафима с кротким и поэтическим западнохристианским св. Франциском... Не на этих ли путях, впрочем, весьма далеких от официального христианского веро-

учения, видел Волошин будущее Руси-Славии и Средиземноморья? И опять – "красота спасет мир" Достоевского? И тут же – характерное для Волошина резчайшее антиномическое противопоставление двух сторон общечеловеческого, а особенно русского характера: Бога и Дьявола, Духа и мелкого беса. Недаром, как уже в ранние сравнительно годы писал Волошин, мастера наиболее ярко выраженного европеизма – французы – рассматривают эту русскую ширь и этот диапазон размаха как что-то варварское, постыдное даже: некую излишнюю обнаженность человеческого нутра. В статье "Лица и маски" Волошин писал: "Французов поражает в русских больше всего наше духовное бесстыдство. Ни один француз, разумеется, не определит этим словом то волнующее и притягательное впечатление, которое производят на него русские, между тем это именно так". ("Лики творчества", СПб, 1914, стр. 210). Титанические образы Карамазовых. О, нельзя и сравнивать их по величине и глубине, но в том же ключе волошинские поэзоидеи:

Все, что было, повторится ныне,
И опять затуманится ширь,
И останутся двое в пустыне:
В небе Бог, на земле – богатырь.
Эх! не выпить до дна нашей воли...

Воли, но не свободы. Может быть, эта упорядоченная, рационализированная свобода и европеизм так и влекли Волошина, ибо в нем жили две души: западно-европейская – и русская. И отсюда внутренний неразрешенный диссонанс в его творчестве, придающий его поэзии динамизм эмоционального размаха – и холодноватый рационализм.

На вокзале. Впервые: "Помощь", № 1, Симферополь, июль 1922, и "Трилистник", кн. 1, М., 1922, в последнем под назв. "1919 год". Разночтения:

Стр. 1: В смутном свете увялых
9: Одни раскидались, будто
13: Меж ними ходит зараза
15: Холера, тиф и проказа,
21: Точно в загробном мире
35: И бабы с кучей ребят
36: Дезертир, налетчик, солдат
37: Спекулянт, мужики – вся Россия!
43: В крови, в грязи и во зле
44: Ловит воздух руками

Русская революция. Впервые, возможно, "Новый Журнал", № 39, 1954. Разночтения:

Стр. 11: Сущность отстоенной работы,
31: Все бреды будущих времен –

В авторской машинописи сборника "Пламена" разночтение также в 5-й строке с конца: И кисти рук и ног – Распятый.

Опубликовано вместе со стих. "Бегство", "На вокзале", "Красногвардеец" и "Матрос". В предваряющей все эти стихи статье С. К. Маковского, "К стихотворениям Максимилиана Волошина", говорится, что "печатаемые ниже стихи сам Максимилиан Александрович включил в проект своего нового сборника "Пламена" ("Война и революция"), о котором мечтал после того, как были изданы в Харькове, в 1919 г., издательством "Камена", – "Демоны Глухонемые". Каждое из этих, не вошедших в харьковскую книжку, стихотворений перепечатано на отдельном листке и подписано автором собственноручно. Указан и порядок стихотворений в новом сборнике. Весь он распадается на три части: "Армагеддон", "Демоны Глухонемые" и "Неопалимая Купина". Текстов на отдельных листках 31. Волошину удалось переправить из Коктебеля своему другу кн. Александру Константиновичу Шервашидзе весь этот проект. . . 5 апр. 1920 года". . . .В свое время кн. Шервашидзе передал весь материал Н. Н. Евреинову, которому, однако, не посчастливилось с "Пламенами": издателя не нашлось. . . .Когда (Н. Н. Евреинов) . . .умер, вдова его, Анна Александровна Евреинова-Кашина, хорошо знавшая Волошина, ездившая к нему в Крым еще летом 1924 г., нашла эти стихи. . . и передала мне . . . для опубликования. . ." ("Новый Журнал", № 39, 1954, стр. 133).

Русь гулящая. Впервые, очевидно: "Литературное Приложение" к газ. "Накануне", 18 февраля 1923. "Зло для него было тьмой, бедой, напастью, гигантским недоразумением. . , чьим-то извечным и нашим ежечасным недосмотром, часто – просто глупостью. . . – прежде всего и после всего – слепостью, но никогда – злом" . . .(Цвет., стр. 165). Разночтение:

Стр. 29: Но я верю: расступится бездна

Благословенье. Существует ли публикация этого стих., предшествующая публикации в "Вестнике Русского Христианского Движения", № 120, 1977, – нами не установлено.

Неопалимая Купина. Впервые, очевидно, в одесском журн. "Объединение", в одном из первых №№ 1919 (№ нами не разыскан). Многократно перепечатывалось ("Руль", Берлин, 1920, № 20, "Вершины", Полтава, 1920, № 1, и т. д.). В подготовленной к печати Волошиным машинописи "Неопалимая Купина" завершала раздел "Пути России". "Мы – зараженные совестью: в каждом Стеньке – Святой Серафим". 10 сент. 1920 г. Волошин писал А. В. Гольштейн: "Я свободно подхожу к большевику, и к монархисту, и к матросу, и к генералу. И вот неожиданный опыт гражданской войны: чем человек более жесток и более обагрен кровью, тем легче с ним иметь дело, если подходишь к нему без злобы, без страха и без осуждения. Проливаемая кровь смягчает волю, делает ее пластичной, как воск, подчиняющейся чужой воле почти как под гипнозом, я это проверил многократно в разных столкновениях с самыми страшными начальниками Контр-Разведок и Чрезвычаек, когда приходилось отстаивать чужие жизни". ("Время и мы", № 28, 1978, стр. 194). Скептический и здравомыслящий Бунин постоянно возражал Волошину, в бытность обоих в страшной и кровавой Одессе 1919 года. "Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине, сокрыт страждущий Серафим, что есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы приять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокаленные и просветленные лики. . ." (И. А. Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, стр. 193). В те же дни примерно разговор Волошина с Буниным о тогдашнем одесском председателе ЧК Северном, по дневниковой записи В. Н. Буниной 14/27 апр. 1919: "Волошин: Он многих спасает. Ян (Бунин. БФ): На сто – одного человека. . ." (Устами Буниных. т. 1, Франкфурт/М., 1977, стр. 242–243). И все-таки: своими хлопотами, своими обращениями даже непосредственно к палачам и начальникам палачей, Волошин кого-то спасал, и его твердая уверенность, что "в каждом Стеньке – Святой Серафим", помогала ему. . .

IV. Смутняки. "В автобиографии Волошин писал: "Мои стихи о России, написанные за время революции, вероятно, будут восприняты как мое перерождение как поэта: до революции я пользовался репутацией поэта наименее национального, который пишет по-русски так, как будто по-французски. Но это внешняя разница. Я подошел к русским современным и историческим темам с тем же самым методом творчества, что и к темам лирическим первого периода моего творчества. Идеи мои остались те же. Разница только в палитре, которая изменилась соответственно темам, а может быть, большей осознанности формы". Давно интересовавшую его историю Смутного времени Волошин изучал по работам П. Пирлинга, В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова и др. Судя по записям в творческой тетради № 3, он задумал не-

сколько стихотворений о "смутняках", в том числе "Написание о царях Московских" и др." (Евст.). Эти стихи, так же, как и поэма "Россия", в особенности построены Волошиным по принципу коллажа: берутся и остихотворяются или отдельные куски соответствующего жития (Аввакума, Епифания), или большие цитаты из разных исторических документов и даже повествования историков ("Россия", поэма), иной раз – остихотворяется краткое изложение одного исторического повествования, по примеру, скажем, опоэтизированных "бревиариев" римских историков ("Написание о царях Московских" – стихотворный "бревиарий" по кн. Катыреву-Ростовскому). И если мы принимаем романсированные биографии в прозе и коллаж в живописи – то следует принять эту форму, как вполне правомерную, и в поэзии.

Написание о царях Московских. Впервые опубликовано в "Стихотворениях" Волошина, в мал. серии "Библиотеки Поэта", Л., 1977. Перепечатано в "Трудах Отдела Древнерусской Литературы", т. XXXIII: "Древнерусские памятники", Л., 1979, в статье О. Ф. Коноваловой "Написание о царях московских" И. М. Катырева-Ростовского в переложении М. А. Волошина". На стр. 382–384 даны параллельно: текст Катырева-Ростовского и волошинский текст. Коновалова пишет, что этому стихотворению Волошин "дает два названия: "Запись о смутняках" и "Написание о царях московских". . . .представляет собой поэтическое переложение последней главы "Повести книги сея от прежних лет: о начале царствующего града Москвы". . , автором которой считается приближенный царя Михаила Федоровича князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский. Внимание М. А. Волошина не случайно привлекла заключительная часть исторической повести XVII в., носящая название "Написание вкратце о царех московских, о образех их и о возрасте и о нравах". . . В своих произведениях М. А. Волошин неоднократно использовал прием исторических аналогий. . . . . ."Написание о царях московских", помимо всего прочего, интересно тем, что оно было первым опытом М. А. Волошина в переложении оригиналов древнерусской литературы". (стр. 380).

Колдовство. Впервые: Максимилиан Волошин. Стихотворения. (Библиотека Поэта, мал. серия). Л., 1977.

Dmetrius-Imperator. Впервые – ДГ. Задумав цикл стихов о "смутняках" – бунтарях и расколоучителях, Волошин писал А. М. Петровой: "Пока у меня единый русский демон – Дмитрий-император. Он уже – историческое выявление демонизма. . ." "В тот же цикл поэт думал включить

поэмы о Степане Разине, Ермаке, протопопе Аввакуме и др. В авторизованной машинописи имеется помета Волошина, объясняющая даты, вынесенные в название стихотворения: "1591 – убиение Дмитрия в Угличе; 1613 – казнь сына Дмитрия в Москве". (Евст.). Стихотворение посвящено художнице Юлии Леонидовне Оболенской, которой Волошин жаловался в письме 4 сент. 1917 г.: "Все понемногу сходят с ума. Очень беспокойно". ("Время и Мы", № 27, 1978, стр. 190) – и ссылался на полнейшую неопределенность положения... Разночтение:

Стр. 27: Шестернею в полночь над Москвою

"Мне показалась, – писал Волошин в 1920 г., – заманчивой и благодарной идея написать все Смутное время как деяния одного и того же лица, много раз убиваемого, но неизбежно воскресающего, неистребимого, умножающегося, как темная сила в былине о том, как перевелись витязи на Святой Руси, как единое царствование зарезанного Дмитрия царевича, начинающееся его убиением в Угличе и кончающееся казнью другого младенца – царевича Ивана, сына Марины, повешенного у Серпуховских ворот в Москве в 1613 г. в царствование первого из Романовых". ("Россия распятая").

Стенькин суд. Впервые, очевидно, – ДГ. Перепечатано в газ. "Руль", Берлин, 1920, № 28. Многократно перепечатывалось. "Мне хотелось Святой Руси противопоставить Русь грешную и окаянную", – писал Волошин А. М. Петровой 26 дек. 1917 г. ...В неопубликованном наброске статьи "Как Стенька Разин придет русскую землю судить" Волошин пересказывает легенду о том, что Разин не умер, а заточен в горе на берегу Каспийского моря; иногда он бродит по берегу и спрашивает у встречных, предают ли его еще анафеме в церквах, зажигают ли сальные свечи и т. д. Это – условный знак, что приближается день, когда он придет судить русскую землю и расправляться с угнетателями". (Евст.). "Мне не нравится в Стеньке слишком большая законченность, – писал Волошин А. М. Петровой, – хочется его порастрепать в смысле рифм, что я может и сделаю, но общего образа Стеньки я не собираюсь менять". (Письмо от 9 янв. 1918 г.; Купр., стр. 192).

Протопоп Аввакум. Впервые: "Земля Родная", Киев, 1918, № 1. Затем – ДГ. Над стихотворным переложением жития Аввакумова Волошин работал долго, многократно переделывая написанное. 10 мая 1918 г. он писал А. М. Петровой: "...мне не хочется ехать в город, пока я не окончу Аввакума, а работа что-то идет туго". ("Время и Мы", № 28,

1978, стр. 191). "Все это время, за исключением марта, я очень усиленно работал: написал "Аввакума. . .", – сообщает он Ю. Л. Оболенской 2 июня 1918. Писалась поэма в страшные годы большевистского террора и кровавой гражданской войны. И переживания этих лет входили составным элементом в стихи Волошина о Руси, Смутном времени, расколе, Петре. . . ". . .Здесь мы испытали, – пишет он А. В. Гольштейн 10 сент. 1920 г., – все прелести гражданской войны со всем ее разнообразием. Жестокости расправ с обеих сторон превосходят всякое вероятие и совершаются походя, как самая обычная вещь. Закон уподобления на противников действует во всей полноте. Рядом на глазах совершается все то, о чем мы когда-то с ужасом читали в истории Смутного времени, Петровских и Иоанновских казней, и в то же время, и воображение и сердце каким-то образом приспосабливаются, притупляются, а линия индивидуальной судьбы так гнется, что проходишь безопасно и невредимо сквозь тесный строй опасностей". Но нужно заметить, что несмотря на "закон уподобления" Волошин написал много о терроре большевиков – и ни одного стихотворения о терроре белых. Слишком они были несоизмеримы. В том же письме к А. В. Гольштейн он пишет о "давящем и однообразном ужасе большевистского режима" (там же, стр. 194, 199–200). "Своего Аввакума, по его выражению, переплавил семь раз", – рассказывает Марина Цветаева (Цвет., стр. 193). "В представлении поэта, – пишет А. И. Мазунин в статье "Три стихотворных переложения "Жития Аввакума", – Аввакум – "огонь, одетый пеплом плоти", посланный на землю из "Небесного Иерусалима". Он явился в мир, чтобы показать людям пример "неослабного страдания" ради Христа. Между рождением его "по подобию небесного огня" и огненным, через пламя костра, возвращением на небо протекает земная жизнь Аввакума, полная страданий". ("Труды Отдела Древнерусской Литературы", т. XIV, М.-Л., 1958, стр. 410). "В этой поэме, – пишет А. Н. Робинсон в статье "Неизданная поэма М. А. Волошина о Епифании", – М. А. Волошин пользуется приемом кольцевой композиции, при помощи которой подчеркивается мистическая интерпретация судьбы Аввакума: сначала от лица героя повествуется о жизни его души в "Небесном Иерусалиме" (до рождения), затем – о его земной жизни (на основе Жития), завершается же поэма рассказом самого героя о его сожжении как о возвращении в "Иерусалим Небесный". ("Труды Отд. Древнерусск. Литературы", т. XVII, М.-Л., 1961, стр. 513). Как видно, опять мистическая (и гностическая) интерпретация о г н я. То же "кольцевое строение" увидим и в "Святом Серафиме". Тот же "Пролог на Небе", то же возвращение на Небо. . . В задачу художника слова ли, кисти ли Волошин с первых своих зрелых шагов в литературе вкладывает поиск истинной реальности, которая таится за нашей призрачной реальностью практического, житейского (да и научного эмпирического) опыта. Уже в ранней статье "Скелет живописи" он

говорит: "Мы – не художники – видим вокруг себя только свои призраки и свои мысли. Мы видим только то, что мы знаем. Задача художника из всего этого видимого мира, украшенного тяжелыми гроздьями нашей фантазии, наших знаний, наших воспоминаний, выделить его реальную зрительную основу, найти те корни, на которых распускаются эти цветы". ("Весы", 1904, № 1, стр. 41). Так и в истории в пестроте и сумятице явлений Волошин ищет подлинную реальность (отчасти напоминающую платоновскую идею). Поэтому-то Волошин опять создает некий мистико-стихотворный коллаж, вовсе не перелагая только аввакумово "Житие": "Для повествования о земной жизни протопопа Волошин использовал не только автобиографию Аввакума, но и его "Книгу бесед", послания и челобитные (I, II и V) царю Алексею Михайловичу. Жизнь Аввакума в поэме полна символики, причем автор не только использует символику Жития (например, видение Аввакумом трех кораблей), но и придает отдельным вполне реальным фактам символическую трактовку: заключение Аввакума в тюрьму – это способ скрыть он народа "огненного" проповедника: "думали погасну, а я молитвами да бдениями свечу на весь крещеный мир"; костер, на котором сжигают Аввакума, становится символом огненного корабля, увозящего протопопа на небо". (А. И. Мазунин, цит. статья, стр. 410). В. Н. Бунина записывает 5/18 апр. 1919 г. в дневнике: "Вечером Волошин читал нам своего Аввакума. Справился с ним хорошо, фигура написана выпукло. Техника стиха превосходна". (Устами Буниных, т. 1, Франкфурт/М., 1977, стр. 234).

Для поэта не столь важны сами по себе воззрения Аввакума, как его горячая и непреклонная, цельная вера в них. Волошин написал даже проект предисловия к поэме (не опубликован), в котором писал, между прочим: "Религиозная ценность борьбы не в ее причинах и лозунгах, а в том, как человек верит, борется и мечтает среди извечных антиномий своей судьбы". (цит. по статье А. Горловского "Тютчев и Волошин", ВолЧ, стр. 69).

"Меня волнует то лицо, – писал Волошин, – которое я чувствую все время за Аввакумом. Это – Бакунин. Я чувствую их органическую связь, но совершенно не знаю, как ее выявить и передать, настолько они исторически сейчас далеки для общего представления. Между тем они выражают собой основную черту русской истории: христианский анархизм". (Письмо к А. М. Петровой от 15–19 янв. 1918 г.; Купр., стр. 192).

Сказание об иноке Епифании. Впервые: "Труды Отдела Древнерусской Литературы", т. XVII, в конце статьи А. Н. Робинсона "Неизданная поэма М. А. Волошина о Епифании". "По сообщению М. С. Волошиной, поэма о Епифании была задумана автором в 1918–1919 гг., следова-

тельно, непосредственно за тем, как им была написана поэма об Аввакуме (в мае 1918 г.); закончена она была позже: текст датирован 16 февраля 1929 г. М. А. Волошин внимательно отнесся к отбору источников для поэм об Аввакуме и Епифании. Он пользовался "Житием" Епифания, очевидно, по изданию Я. Л. Барскова: именно в этом издании было опубликовано также привлеченное поэтом к работе над данной темой "Сказание о кончине блаженного Епифания и прочих с ним страдальцев в Пустозерском городке". . . . . .В поэме о Епифании . . .искусственно созданной символики нет. . . .Основываясь на тексте "Жития Епифания, поэт правильно воспроизводит основные вехи его жизни и только в одном случае допускает неточность. Арест Епифания по поэме происходит еще в пустыне (на Виданском острове) . . .В действительности Епифаний был арестован в Москве в 1666 г., куда он сам отправился со своей обличительной книгой для того, чтобы "спасти" царя от "ереси". (Там же, стр. 512–513). "Первый вариант, "Житие инока Епифания", написан в 1926 г., беловой автограф с датой 15 февр. 1929 г. озаглавлен "Старец Епифаний". Посылая авторизованную машинопись профессору Сергею Федоровичу Платонову (1860–1933) 15 марта 1929 г., Волошин писал: "Посылаю Вам мою последнюю поэму на раскольничью тему. Моя творческая роль была здесь самая скромная: выбрать самое ценное и характерное из подлинника и стих подчинить интонациям живой речи". Волошин пользовался следующими источниками: "Житие инока Епифания" в кн.: "Старая вера. Старообрядческая хрестоматия. Сост. А. С. Рыбаковым, К. Н. Швецовым и П. Г. Носовым", М., 1914, и "Памятники истории старообрядчества XVII века", кн. 1, вып. XXXIX "Русской исторической библиотеки", Л., 1927". (Евст.).

V. Личины. В этот раздел Волошин включил ряд "портретов" – но не лиц – и даже не типов, а личин деятелей и жертв революции. Это – по Волошину – именно не лица (ибо в каждом лике – Серафим), а личины, маски, надеваемые прегрешеньями людей на их лица. Отсюда – окарикатуренные облики-маски. В ноябре 1919 г. Волошин писал И. А. Бунину: ". . .Мне бы очень хотелось, И. А., чтобы Вы прочли все мои новые стихи, что у Гроссмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле "Личины", стих.: Матрос, Красногвардеец, Спекулянт и т. д.), и мне бы очень хотелось знать Ваше мнение. Я еще до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех ее партиях и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники. . . Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке. . ." (И. А. Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, стр. 198).

Красногвардеец. Публикация до "Нового Журнала", № 39, 1954, нам неизвестна. В авторской машинописи сборника "Пламена" разночтение:

Стр. 28: И выбить плечом окно.

Матрос. Впервые опубликован в каком-то одесском (?) журнале, т. к. в машинописи "Пламен", посланной автором кн. А. К. Шервашидзе в Париж, стихотворение это вклеено автором как листок из какого-то печатного органа, конечно, выходившего на занятой Белой армией территории.

Большевик. Впервые: "Новое Русское Слово", 27 янв. 1952, под названием "Председатель", но восстановленное по памяти поэтом Ю. Трубецким, с пропусками и искажениями. В полном и подлинном виде публикуется впервые.

Феодосия. Вероятно, это – первая публикация (более ранние – кроме Самиздата – нам неизвестны).

Буржуй. Вероятно, публикуется впервые.

Спекулянт. Впервые: "Трилистник", кн. 1, М., 1922. Одновременно: "Сборник литер.-худож. революц. произведений", М., 1922.

VI. У с о б и ц а. (Цикл о терроре 1920–21 гг.). Впервые, очевидно, в берлинском журн. "Новая Русская Книга" появилась бо̀льшая часть стихов этого цикла (9 стихотворений из общ. числа 13), в № 2 за 1923 год (в дальнейшем – НРК). В "Новой Русской Книге" публикация этих стихов (и еще одного – "Заклятия") сопровождалась следующим предварением редакции: "Живущий в Крыму (Феодосия, дача Айвазовского) поэт М. А. Волошин прислал в редакцию нашего журнала цикл своих стихотворений о терроре, предлагая напечатать их вместо своей автобиографии за последние годы. "Эти стихи, – как пишет он в своем письме, – лучше, чем всякие письма, дадут понятие, что делалось и что переживалось за эти годы. Они написаны с точностью документов". (Стр. 46).

Террор ЧК Волошин пережил в Крыму. "Трагедия занятия Крыма венгерским коммунистом Бела-Куном всем известна, – пишет С. К. Ма-

ковский. – Страшнее всего, может быть, сказал о ней Максимилиан Волошин. . ." (Мак.-Парнас, стр. 359). Иначе подошел к оценке стихов о терроре Волошина Бунин: "Теперь уже давно нет его в живых. Ни революционером, ни большевиком он, конечно, не был, но. . . вел себя все же очень странно. Вот девятнадцатый год: этот год был одним из самых ужасных в смысле большевистских злодеяний. Тюрьмы Чека были по всей России переполнены, – хватали кого попало, во всех подозревая контрреволюционеров, – каждую ночь выгоняли из тюрем мужчин, женщин, юношей на темные улицы, стаскивали с них обувь, платья, кольца, кресты, делили меж собою. Гнали разутых, раздетых по ледяной земле, под зимним ветром, за город, на пустыри, освещали ручным фонарем. . . Минуту работал пулемет, потом валили, часто недобитых, в яму, кое-как заваливали землей. . . Кем надо было быть, чтобы бряцать об этом на лире, превращать это в литературу, литературно-мистически закатывать по этому поводу под лоб очи? А ведь Волошин бряцал:

Носят ведрами спелые гроздья,
Валят ягоды в глубокий ров. . .
Ах, не гроздья носят, юношей гонят
К черному точилу, давят вино!

Чего стоит одно это томное "ах"! Но он заливается еще слаще:

Вейте, вейте, снежные стихии,
Заметайте древние гроба!

То есть: канун вам да ладан, милые юноши, гонимые "к черному точилу"! По человечеству жаль вас, конечно, но что же поделаешь, ведь убийцы чекисты суть "снежные, древние стихии":

Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии. . ."

(И. А. Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, стр. 198–199).

С нравственной точки зрения Бунин безусловно прав: нельзя делать предметом эстетического любования подобные вещи. С религиозной точки зрения нельзя признавать религиозно оправданными чужие, не свои страдания. Но как тогда вообще быть с искусством? Оно ведь все, как-никак, всегда является нарушением Божьих заповедей. (В каком-то, последнем смысле, правы были даже. . . иконоборцы, – если подходить ко всему крайне ортодоксально – и столь же прямолинейно понимать заповедь: "Не сотвори себе кумира". . .) А в отношении стихов о терроре, в большинстве случаев, Волошин переступил и какую-то

морально последнюю черту. . . Но вот С. К. Маковский все же милостивее подошел к этим стихам Волошина: "Быть выше человеческой борьбы, быть только созерцателем трагедии и вестником преображения – в этой мудрости была и сила его, и слабость. Но слабость, покорность этого мятежного демиурга переходила подчас в очень трогательное, глубоко христианское смирение. Оно вырывается у Волошина из сердца ребячливо-чистого, хоть и тронутого декадентской червоточиной, – из сердца, одержимого мукой за человека и о человеке, из сердца, готового принять и свою Голгофу, если жертва нужна во искупление". (Мак., стр. 322). Но, заметим мы, ведь Волошин, по счастью, был не только созерцателем чужих страданий: он и сам страдал, он старался выручить, помочь в беде. . .

Гражданская война. Впервые: НРК. Разночтения:

Стр. 11: И жив разбойный древний дух
12: Заруцких, Стенек, Кудеяров
21: В других – весь цвет и гниль империй,
23: Прах всех богов и фетишей,
24: Научных вер и суеверий.
26: Москву и вновь ковать стихию,

В авторской машинописи "Пламена" разночтения:

Стр. 11: И жив разгульный древний дух
23: Блеск всех богов и фетишей
30: Месть, жадность, мрачный хмель разгула, –

В машинописи разбито на четверостишия.

В оглавлении авторской машинописи сборника "Пламена" имеется еще стихотворение "Брестский мир", но в Бахметьевском архиве, куда поступила эта машинопись, этого стихотворения нет – и разыскать его нам не удалось.

Плаванье. Впервые, очевидно: "Сполохи", Берлин, 1922, № 5. Является параллельным стихотворению "Бегство" – посвящено тому же бегству из Одессы в Крым в мае 1919 г. Об обстоятельствах этого бегства – см. в примеч. к след. стихотворению. Вместе с Волошиным бежала из Одессы и Татида – литературный псевдоним писавшей стихи сотрудницы Карадагской биостанции Татьяны Давыдовны Цемах. В дневниковой записи В. Н. Буниной 27 апр./10 мая 1919 г. говорится: "Волошин устроил себе выезд через комиссара красного флота, поэта, который

пишет триолеты, тоже, по словам Волошина, очень милого человека. . . . – А велик ли красный флот? – спросил Ян /Бунин. БФ/. – Да несколько дубков. . . – Последний вечер Волошин проводит у нас со своей спутницей Татидой. Сидим при светильниках. . . .За последнее время мы привыкли к Максимилиану Александровичу. Он вносит бодрость, он все принимает, у него нет раздражения к большевизму, но он и не защищает его. . ." (Устами Буниных, т. 1. Франкфурт/М., 1977, стр. 249). Судя по надписи на портрете, подаренном Татиде Волошиным в 1918 г., он был ею увлечен, хотя бы и недолго. Трудно сказать, не была ли она той "Суламифью", о которой он в письме к Ю. Л. Оболенской 30 авг. 1917 г. рассказывал не без юмора: "Суламифь была. . . сперва она попросила стихов. Когда я прочел: ". . .коснись единый раз на миг единый – устами уст. . ." она задумчиво сказала: "Я не люблю, чтобы меня целовали. . . в губы. Но я люблю, чтобы меня ласкали. . .". На следующий день она исчезла: уехала в Кизильтан и там провалилась в колодец, довольно глубокий, но благополучно: ее монахи вытягивали в ведре с водой, потом она переодевалась в келье у схимника и вернулась ошеломленная и радостная, но с ужасом, не окрестили ли ее монахи, воспользовавшись ее трудным положением, пока она сидела внизу в воде. После я ее приспособил для позирования, и она, страдая нарциссизмом, проделывала это очень добросовестно. Я сделал с нее ряд набросков: у нее фигура прекрасная. Вообще она оказалась очень милой девушкой, но очень козой. Теперь она уехала". ("Время и Мы", № 27, стр. 189).

Бегство. Впервые, очевидно: "Наши Дни", кн. 1, М., 1922, и, одновременно, "Сборник литер.-худож. революционных произведений", М., 1922. "В творческой тетради № 3 посвящение расшифровано так: "Товарищам по шхуне "Казак" – Малишевскому, Врублевскому, Борисову, Парфену и Григорию. 10–15 мая 1919". Описание плаванья Волошина и его спутницы Татьяны Цемах на шхуне "Казак" из Одессы в Крым: "10 мая 9 час. утра – отход из Одессы, 11 – Кинбурн, 12 – Очаков, 13 – отход из Очакова, 14 мая – Ак-Мечеть, 15 – Евпатория на рассвете". . . .Малишевский, Врублевский и Борисов – большевики, которые везли из Одессы в Крым секретные бумаги Особого отдела". (Евст.). 16 мая Волошин писал Бунину из Евпатории: "Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждем поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской Косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французским миноносцем, болтались ночь без ветра, во время мертвой зыби, были обстреляны пулеметным огнем под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озерам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Все идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих

документов. . ." (И. А. Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, стр. 196). К строфам 7 и 8 – любопытный комментарий в воспоминаниях Волошина: "Мы были остановлены: к нам на борт сошел французский офицер и спросил переводчика. Я выступил в качестве такого и рекомендовался "буржуем", бегущим из Одессы от большевиков. Очень быстро мы столковались. Общие знакомые в Париже и т. д. Нас пропустили. . . "А здорово вы, товарищ Волошин, буржуем представились", – сказали мне после обрадованные матросы, которые вовсе не ждали, что все сойдет так быстро и легко". . . .В заливе Ак-Мечети шхуну . . . обстреляли из пулемета. "Матросы, – пишет Волошин, – ответили малым загибом Петра Великого. Я мог воочию убедиться, насколько живое слово может быть сильнее машины: пулемет сразу поперхнулся и остановился". (Евст.).

Северовосток. Впервые, очевидно, НРК, с разночтением:

Стр. 27: В комиссарах дух самодержавья,

Одно из наиболее характерных историософских стихотворений Волошина.

Сибирской 30-й дивизии. Впервые: в статье Вл. П. Купченко, в феодосийской газете "Победа", 21 янв. 1977, если не считать какого-то местного крымского листка 1920 г., название которого еще не установлено.

Бойня. Впервые, очевидно, НРК. Разночтение:

Стр. 8: Сколько сегодня – полтораста? сто?

Террор. Впервые, очевидно, НРК. Разночтения:

Стр. 7: Вызывали по спискам мужчин, женщин
13: Ночью гнали разутых, голодных
14: По оледенелой земле

Красная Пасха. Впервые, очевидно, НРК, под назв. "Красная весна". Разночтение:

Стр. 5: А под окном стучали пулеметы

Терминология. Впервые, очевидно, НРК. Разночтения:

Стр. 15: Чтоб разорить и поднять на ножи
16: Армии, царства, народы.

"К Духонину в штаб" – Николай Николаевич Духонин (1876–20.XI 1917) – последний Начальник Генерального штаба и последний исполняющий обязанности Верховного Главнокомандующего Русской армией, разорванный большевистской солдатней.

Голод. Публикуется впервые. Волошин поручил ведение всех своих литературных дел в Москве Викентию Викентьевичу Вересаеву. Вересаев хлопотал и об издании "Неопалимой Купины". В письме к Вересаеву 2 апр. 1923 г. Волошин пишет по поводу тех изменений в тексте стихотворения "Голод", какие предложили ему сделать Вересаев и завед. издательством Воровский. Речь идет о первой версии стихотворения, нам неизвестной. Книга все равно в свет не вышла. . . "Одновременно с Вашим письмом я получил записку от Воровского об изменении двух мест в "Голоде", прилагаю ответ ему. Что касается "емкости испражнений", то восстановите, пожалуйста, ее в тексте (если не поздно) : я вполне согласен с Вашими (вторичными) доводами: в первый раз Вы меня испугали "нелогичностью", но сердце предсказывало все же преимущество "испражнений" над "пищеводом", и я исправлял текст весьма нехотя". ("Время и Мы", № 28, 1978, стр. 203) .

На дне преисподней. Впервые, очевидно, НРК.

Готовность. Впервые, очевидно, НРК. В "Литературном Приложении" к газ. "Накануне", Берлин, 13 авг. 1922, оба эти стихотворения ("Готовность" и "На дне преисподней"), с пропуском первых 4 строк "На дне преисподней" и – оттуда же – строки 13 и 14, слиты в одно, с рядом разночтений. Приводим эту редакцию полностью.

Я не сам ли выбрал час рожденья,
Век и царство, время и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье
Совести, огня и вод?

Апокалипсическому зверю
Ввергнутый в зияющую пасть,
Павший глубже, чем возможно пасть,
В скрежете и в смраде – верю.

Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
        Говорю: "Ты прав, что так судил".

Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия:
Если же угля в горниле мало,
        Господи, – вот плоть моя!

Труден подвиг русского поэта,
И судьба недобрая ведет
Пушкина под дуло пистолета,
        Достоевского – на эшафот.

Может быть, сей жребий тоже выну,
Темная, обугленная Русь,
И на дне твоих подвалов сгину,
        Иль в кровавой луже поскользнусь.

Доконает ли тупая злоба,
Голод, мор, топор иль штык лихой, –
Волю умереть с тобой,
        И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.

Потомкам. Впервые, очевидно, НРК. Разночтение:

Стр. 6: Случайно стих изустно сохранит.

VII. В о з н о ш е н и я. Молитвы о любви и понимании России. Заклятья на Россию.

Посев. Впервые: "Литературное Приложение" к газ. "Накануне", Берлин, 20 янв. 1923. Разночтение в

Стр. 6: Их дух, и теплоту, и волю к жизни,

За исключением разбивки по строкам, принятой нами по публикации в печати, стихотворение приводится нами по авторской машинописи сборника "Пламена". В опубликованной версии отсутствуют наши строки 11 и 12.

Заклинание. Впервые: НРК, под назв. "Заклятье", почти одновременно:

"Свиток", № 2, М., 1922, под назв. "Заклинание". Разночтение:

Стр. 8: Я за нее одну молюсь

Молитва о городе. Впервые, очевидно, ДГ. В своей статье "О современном состоянии русской поэзии" (неизд. статья 1922 г.) кн. Д. П. Святополк-Мирский, более чем прохладно относившийся к поэзии Волошина, выделил это стихотворение, вместе с "Китежем" и "Святой Русью". "Но три раза, – пишет Святополк-Мирский, – все-таки "накатило" – и вышли "Святая Русь", "Китеж" и "Молитва о городе". "Святая Русь" уже стала классической, и действительно она имеет законченность произведения классического. Славянофильскому восприятию Революции в ней дано выражение окончательное. В ней создается миф о России, миф, которому предстоит, несомненно, большая будущность. Но миф этот, к сожалению, имеет все недостатки мифов – то есть, он рационалистичен, он создан ad hoc, чтобы объяснить явление с точки зрения мифотворческой логики, а не вызван непосредственной интуицией событий. Столь же произвольно этиологичен и "Китеж". В конце концов, тут нет глубокого, проникновенного знания фактов – историософия Волошина поверхностна и симплистична в сравнении, скажем, с историософией Струве. Нет здесь и смелого разреза, проницающего кору явлений к их мистической сути. . . .Значительнее поэтому, если не как стихи, то как психологический документ, "Молитва о городе", где Волошин, кажется, первый из всех, находит слова примирения и понимания. Все-таки и эта поэзия имеет высокую ценность – если не в высшем смысле, то как закрепляющая интеллектуально несомненно наличные лики России и Революции. Но скорей для музейного любования, чем для действительного воздействия". ("Новый Журнал", № 131, 1978, стр. 85–86). Любопытно, что здесь оценка Святополк-Мирского в какой-то мере совпадает с оценкой Бунина. . . "Минувшая и настоящая неделя были "неделями Максимилиана Волошина", – пишет М. В. Нестеров в письме к А. В. Турыгину 1 марта 1927 г. – Его сейчас таскают по Москве, был он и у нас – читал свои стихи. Стихи хороши, читал тоже хорошо. В субботу и сегодня в Акад. худож. наук о нем доклады и выставка его фантастических рисунков "Коктебель". . ." (М. В. Нестеров. Из писем. Л., 1968, стр. 261).

Видение Иезекииля. Впервые: ДГ. Разночтений (немногих) в публикации "Современных Записок" (№ 5, 1921) не указываем: по всей вероятности, это просто опечатки. В неопубликованном "Рассказе о генерале Н. А. Марксе" (1932) М. А. Волошин вспоминает: "В эти тяжелые и опасные времена единственные люди, которые пришли ко мне на помощь – это были феодосийские евреи. В то время (1919)

Феодосия была убежищем для ряда еврейских писателей, как молодежи, так и для пожилых и маститых, как Онеихи, автор талантливых и разнообразных рассказов из хасидского быта. "Ребин" – это имя одного из хасидских рабби. Книга проникнута ясным духом хасидской мудрости. У хасидов был собственный литературный кружок, который назывался "Унзер Винкель". Ко мне пришли представители этого кружка и сказали: "У вас, верно, сейчас очень трудные дни, вы наверное сидите без денег. Хотите, мы устроим для вас литературный вечер?" Я, конечно, с радостью согласился. Это было для меня честью, потому что не-евреи в "Унзер Винкель" не допускались. Чтения там были на древнееврейском языке или на жаргоне. И когда я начал серию своих стихов "Видением Иезекииля", то публика вся поднялась с места и пропела мне в ответ хором торжественную и унылую песню на древнееврейском языке. А когда я спросил о значении этой песни, то мне объяснили, что этой песней обычно приветствуют раввинов, а в моих стихах аудитория услыхала подлинный голос древнего пророка иудейского и потому приветствовала, как рабби. Так я был почтен еврейской национальной гордостью, и мои стихи о России, запрещенные при добровольцах так же, как они были позже запрещены при большевиках, впервые читались с эстрады в еврейском обществе "Унзер Винкель". ("Менора", Иерусалим, 1973, № 1, стр. 130). "Богом и жизнью зачтется Максимилиану Волошину, – добавляет в своем послесловии к "Видению Иезекииля" и этой выдержке из "Рассказа о генерале Н. А. Марксе" редактор "Меноры", – что в обличении людской лжи он не терял жалости и любви к заблудшим людям, что он находил в себе силы молиться за них. Многосторонне одаренной, изумительно цельной натуре великого русского поэта Сущее открывалось, как нечто родственное, родимое, ему подобное. Щедро наделенный любовью, он сумел постигнуть глубину трагической реальности. Не каждый может при таких жесточайших событиях управлять своей отзывчивостью, сохранить веру в Неизменное и Вечное". (Там же, стр. 130).

Иуда Апостол. Впервые: "Вестник Русского Студенческого Христианского Движения", № 107, 1973, с пропуском четырех строк (28–31).

Заклинание о Русской Земле. Впервые: "Русская Книга", Берлин, 1921, № 3. Перепечатано в берлинском альманахе "Детинец", кн. 1, 1922, с явными опечатками или просто искажениями – по памяти или плохой копии. Поэтому разночтений не приводим. Именно эта публикация и послужила предлогом для травли поэта – особенно в журн. "На Посту".

VIII. Р о с с и я. Поэма. Сильно урезанный текст, с подзаголовком "Фрагменты из неоконченной поэмы", опубликован в альм. "Недра", кн. 6, М., 1925. Варианты и разночтения:

Главка 2, последняя строка 1-го абзаца:

...распутным бабам с хахалями их.

Главка 4, строка 23-я 2-го абзаца:

Кончали жизнь на каторге в Сибири...

Эта поэма – самый яркий пример стихотворного коллажа в творчестве Волошина. Возьмем, скажем, в главке 4-й происхождение русского "лишнего человека": это – буквальный стихотворный "бревиарий" знаменитой статьи В. О. Ключевского "Евгений Онегин и его предки". Вот, к примеру, текст Волошина – и сокращенный соответствующий текст Ключевского:

В Петрову мрежь попался разночинец,
Оторванный от родовых корней,
Отстоенный в архивах канцелярий...
...Боярский сын, долбивший при Тишайшем
Вокабулы и вирши, – при Петре
Служил царю армейским интендантом.
Отправленный в Голландию Петром
Учиться навигации, вернувшись,
Попал не в тон галантностям цариц.
Екатерининский вольтерианец
Свой праздный век в деревне пробрюзжал...

"Прадеда нашего героя надобно искать во второй половине XVII в., около конца Алексеева царствования, в том промежуточном слое дворянских фамилий, который вечно колебался между столичною знатью и провинциальным рядовым дворянством. ...Его сына ждала менее торная дорога. ...за понятливость взяли в подъячие, за любознательность отдали в Спасский монастырь... в Москве, к ученому киевскому старцу "учиться по латиням". С кислою гримасой принимался он за "граматичное ученье" и то твердил по ходячим в то время словарькам исковерканные и вавилонски перемешанные греческие и польско-латинские вокабулы, написанные русскими литерами: л и к о с – волк, ... с п и р и д ы – лапти, о ф и р а – молебен..; то в ужасе от мысли, что все это ляхо-латинская ересь ...бежал к туземным благочестивым старцам... ...Киевский старец заставлял молодого подъячего читать переводные космографии.., обучал ...искусству слагать хитрые вирши. ...Но время шло, разгоралась петровская реформа, и чиновного латиниста с его виршами ...назначили комиссаром для приема и отправки в армию солдатских сапог. Тут-то, разглядывая сапожные швы и подошвы и помня государеву

дубинку, он впервые почувствовал себя неловко со своим грузом киевской учености. . : зачем этот киевский нехай, учивший меня строчить вирши, не показал мне, как шьют кожаные солдатские спириды? Дети этого меланхолического комиссара уже подпали под действие закона 1714 г. об обязательном обучении дворянства.., отправлялись за море для науки ... особенно "мореходским и сухопутским", навигации, инженерству... В числе этих навигаторов оказался ...прямой наследник неудачи нашего сапожного комиссара... Служил усердно, чая воздаяния, и тут впервые заметил, что времена переменились. Великого императора уже не было в живых. Навигацкие науки уступили место иным вкусам. ...Встретили его насмешками и ругательствами за "европейский обычай", привезенный из Голландии; другие... преследовали его ...за недостаточный запас европейского обычая.., за незнание модного катехизиса, которым вменялось благородному шляхтичу в обязанность то самое шпажное и танцевальное искусство, которое он считал бесполезным... К русской действительности этот ученый русский служака стал как-то криво... (Его сын) в царствование Екатерины ...подходил к самым источникам света. По желанию самой императрицы он посещал фернейский скит Вольтера..." (В. О. Ключевский. Сочинения в 8 тт., т. 7, М., 1959, стр. 409–414). Таким же образом переводятся на язык смиренной прозы источников и другие куски поэмы Волошина.

Даже в сильно сокращенном виде (полностью она публикуется нами впервые), в каком поэма была опубликована в "Недрах" (и после ни разу уже не публиковалась), она вызвала возмущенные отклики советской критики (см., напр., отзыв о поэме в сводной рец. Н. Кроткова, "Рабочий Журнал", 1925, № 3, 1956). Сдержанно откликнулся на поэму Валерьян Правдухин: "Поэма Волошина представляет собой историко-философский трактат, написанный густыми и тяжеловатыми крепкими словами. Волошин субъективен: его космический национализм с безликим и глухим духом истории объективно далеко не обязателен. Он – лишь свидетельство об яркой поэтической разновидности человеческой особи, социально довольно безразличной". (В. Правдухин. "Недра", кн. 6. "Красная Новь", 1925, № 3, стр. 289). Ну, а большинство журналов, и тем более газет, обошли поэму Волошина полным молчанием. Вообще историософия Волошина осуждалась крайне резко. С. В. в статье о Волошине в "Литературной Энциклопедии" (изд. Коммунистич. Акад., т. 2, М., 1929, стр. 284) осуждает поэта за то, что он в своих историософских стихах и поэмах связывает историю большевизма с протопопом Аввакумом и Степаном Разиным, самозванцами и Пугачевыми, и никак не хочет видеть в ней борьбы классов и прогрессивных устремлений революционных сил к светлому будущему. Уже по поводу "Дикого Поля" Н. Мещеряков разразился статьей "Волны мистики", громя поэта за его религиозную концепцию Божьего Суда, как основного смысла исторической драмы ("Печать и

Революция", 1922, № 2, стр. 36, 43). И до сих пор ставят в вину поэту это его непонимание истории, непонимание природы революции. "Мистическое восприятие революции отдавало народные судьбы во власть непостижимых сил. . . .Такой взгляд приводил его к неверным оценкам происходящего, а отсутствие четких классовых критериев обуславливало ложную трактовку ряда событий современности. . . Он воссоздает в своей поэтической памяти Смутное время, раскол, разинское восстание, эпохи народных движений. Такое опосредствование – в духе творчества Волошина, стремившегося к глубинному осмыслению путей России. . . .революцию он не понял и оценки событий у него бывали ошибочными. . ." Все это – из статьи С. Наровчатова, предваряющей, так сказать, юбилейный сборничек Волошина – "Стихотворения", в малой серии "Библиотеки Поэта", Л., 1977, стр. 26, 28, 29. Не исключены нападки на историософские стихи и поэмы Волошина (особенно – "Китеж" и "Россию") и справа: некоторые скажут о клевете на русское прошлое, укажут на чрезмерно сгущенные краски, на то, что такое отношение к русскому прошлому как бы роднит Волошина с безграмотными и полуграмотными верхоглядами и просто ненавистниками России – от маркиза Кюстина до Янова. Но такой вывод был бы крайне ошибочным. Для Волошина характерно совсем иное: даже сгущение красок служит определенной цели: в каждом Стеньке увидать распятого Серафима. . . Волошин, видимо, любил и ценил свою поэму. Л.Дадина в статье-воспоминаниях "Волошин в Коктебеле" пишет: "Читал Макс охотно и много. Часто читал свою лирику, последние вещи: "Путями Каина" и всегда "Дом Поэта". Стихов о революции я почти не слышала. Но много говорил о страдании, которое выпало на долю русскому народу, и об очищении страданием не только каждого человека в отдельности, а и всего русского народа в целом. Вспоминал страшную историю России. Читал свое большое стихотворение "Россия". ("Новый Журнал", № 39, 1954, стр. 189). Вся русская история, вся нынешняя трагедия России – есть суд не только за ее грехи, но и за всечеловеческие грехи: это – "суд за "муки казненных поколений", за преступления и исступления, породившие праведную Русь и Русь грешную, но создавшую такую нездешнюю, такую нетленную мечту, как "святящуюся в ярых битвах" и "строющуюся на жгучих мощах" мечту о великом национальном севе и Вселенском Преображении. . ." (Б. Филиппов. Поэт скорбной радости. "Посев", 1 июня 1947, стр. 9). "Волошин верил в силу исторического предназначения. От исторического прошлого никто не сможет уйти – даже большевики. В поэме "Россия" есть следующие строки:

Есть дух истории – безликий и глухой,
Что действует помимо нашей воли. . ."

(Вл. Н. Павлов. Историософские взгляды Максимилиана Волошина. "Грани", № 87–88, 1973, стр. 284–285).

Россия распятая. Публикуется впервые.

Первые редакции некоторых стихотворений.

Я – Вечный Жид. – Впервые: "Новый Путь", 1903, № 8.

Луна. – Впервые: "Белые Ночи", СПб., 1907. В переработанном виде – XV сонет в "Lunaria".

СОДЕРЖАНИЕ

Книга третья. Неопалимая Купина.

Приложения

СПИСОК ФОТОГРАФИЙ

Imprimerie de la Manutention à Mayenne – 28 juin 1982 – N° 7863